

ЛУЧШЕЕ
СОБЫТИЕ

ГЕРОЙ

ДРУГАЯ РЕАЛЬНОСТЬ



Олег ДИВОВ, Мария ГАЛИНА,
Виктор ТОЧИНОВ, Наталья РЕЗАНОВА
и многие другие

Олег ДИВОВ, Мария ГАЛИНА,
Виктор ТОЧИНОВ, Наталья РЕЗАНОВА
и многие другие



Санкт-Петербург
Издательская Группа «Азбука-классика»
2010

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6
Л 87

Оформление Александра Золотухина

Л 87 **Лучшее: Герои. Другая реальность: Антология альтернативной классики.** — СПб.: Издательская Группа «Азбука-классика», 2010. — 480 с.

ISBN 978-5-9985-0726-7

«Золушка» в исторических реалиях 1786 года — во Франции наливает революция, но дочь лесничего очень хочет выйти замуж за принца де Рогана. Питер Блад, пиратствующий на Волге. Александр Сергеевич Пушкин, живущий в XXI веке, публикующийся в Интернете и в роли гостя участвующий в программе Тины Кацелаки... Все это — альтернативная классика, литературные вариации на тему произведений, знакомых с детства. Любимое развлечение писателей — размышлять о том, как развивался бы сюжет классических произведений, если бы принц Гамлет вовремя принял противоядие, а у Боромира в загашнике оказался тяжелый пулепет? На страницах антологии, представленной на суд читателя, в эту увлекательную игру играют Олег Дивов, Далия Трускиновская, Наталья Резанова, Виктор Точинов и другие отечественные мастера фантастики.

- © Н. Резанова, В. Точинов, составление, 2008
© Т. Алёшкин, Е. Викман, М. Галина,
О. Дивов, Д. Клутгер, В. Мидянин,
Е. Первушина, Н. Резанова, В. Точинов,
Л. Трунова, Д. Трускиновская, А. Царёв,
Н. Штайн, 2008
© В. Черных, предисловие, 2008
© ООО «Медиана», концепция и название
сборника, 2010
© Издательская Группа «Азбука-классика»,
2010

ISBN 978-5-9985-0726-7

Русские разборки или игра в бисер?..

(Альтернативная классика как знамение времени)

В действительности все совсем не так,
как на самом деле.

Станислав Ежи Лец

90-годы XX века в беллетристике пролили под знаком «сиквелов» классической литературы. Но это давно пройденный этап. В наше время можно сказать, что в свои права вступает новый поджанр литературы, который по аналогии с «альтернативной историей» можно назвать «альтернативной классикой». Есть ли это влияние эстетики постмодернизма, кризиса оригинальных сюжетов, или стремления самоутвердиться за счет классиков, или всего, вместе взятого, — значение не имеет.

Содержание всех произведений, созданных в этом жанре, легко определяется фразой «не так это было, совсем не так». Ну вот, к примеру, д'Артаньян поступил не в мушкетеры, а в гвардейцы кардинала, а доктор Ватсон был на самом деле королем лондонской преступности или, еще того похуже, — Джеком-Потрошителем.

А-а-а! — скажет нынешний умудренный жизнью читатель. — Как же, как же, знаем-знаем! Фанфики.

И будет прав и не прав.

Потому что тысячи текстов, в которых фэнзы разных стран излагают свои версии «Властелина Колец» и «Гарри Поттера», — таки да, считаются фанфиками. Но назвать так «Последнего кольценосца» Кирилла Еськова или «Этюд в изумрудных тонах» Нила Геймана (про Шерлока Холмса в мире победившего Ктулху) как-то язык не поворачивается. И почему-то никто не имеет фанфиками произведения Бориса Акунина, увлечению отплясывающего на сюжетах классической литературы. Скажу страшную вещь: задолго до акунинской «Чайки» альтернативную версию этой же чеховской пьесы — «Почему застрелился Константин» — написал классик драматургии XX века Эдвард Олби, и ничего. Или вот другой живой классик, Джон Апдайк, не поленился написать альтернативную версию «Гамлета» — роман «Гертруда и Клавдий». Тоже про то, что все было совсем не так.

Стало быть, все упирается в авторское мастерство да в репутацию.

И все же что питает «альтернативную классику»? Прежде всего тексты, в силу давности приобретшие статус классичес-

ких и в то же время пользующиеся массовой популярностью, хотя бы в отношении сюжета. Такие, как произведения Дюма-пера и Конан Дойла, стоящие где-то на полпути между развлекательной литературой и своего рода мифологией. Разумеется, Толкин. А из тех, кого относят не к «малым», а к «великим» классикам, никак не обойтись без Вильяма нашего Шекспира.

Но авторы данного сборника — а среди них есть и авторы весьма маститые, имеющие за душой десятки книг и разнообразные литературные премии, причем не только фантастические, по из разряда «Боллитры», и дебютанты — вариациями на темы названных авторов не ограничились, не остались необожженными и Толстой с Достоевским, и «наше все», и Марк Твен с Дефо, да и «Божественная комедия» с «Илиадой» тоже не забыты. Но если альтернативные версии классических книг практически одновременно написали столько разных авторов, игнорировать это явление нельзя. Здесь, правда, представлены только авторы русскоязычные (хотя и проживающие на широтах от Балтийского моря до Средиземного), но я вас уверяю: на Диком Западе уже вышли альтернативные версии и «Доктора Живаго», и «Лолиты», и «Джейн Эйр», а вариациям на темы Конан Дойла и счету нет.

Можно, конечно, рассматривать это как филологические игры. Раскрывание шкатулок с секретом. Очень показательный пример «Графиня Монте-Кристо» Далии Трускиновской. Нам вроде бы показывают, как было на самом деле по сравнению с романом Дюма, но «расальный мир» в этой повести — это мир «Человеческой комедии» Бальзака, в который, как в матрешку, помещен мир Дюма. В «Ночи накануне юбилея Санкт-Петербурга» Виктора Точинова на марктилевском Юге появляются персонажи «Уцесенных ветром», и все это крепко приправлено вуду. А промелькнувший на задворках рассказа Натальи Резановой «Не is gone» краковский профессор Сабелликус был вполне историческим персонажем и звался по жизни Иоганн Сабелликус Фауст. Впрочем, этот Фауст не одинок, Василий Мидянин тоже потревожил дух профессора. Впрочем, в его рассказе за все в России, как и положено, отвечает Пушкин.

А можно воспринимать «альтернативную классику» как выражение несогласия с трактовкой, предложенной авторами, и своего рода восстановление «исторической справедливости», как в повести Марин Галиной «История второго брата» или в рассказе Олега Дивова «Мы идем на Кюрасао».

И все же логичнее отнести все эти тексты к фантастике, более того, к фантастике научной. История литературы, на которой они базируются, — она история, а история — наука. А кто не верит, что мир есть текст, может предложить альтернативную версию.

В. Черных

часть первая

ЭТИ СТАРЫЕ, СТАРЫЕ СКАЗКИ

МАРИЯ ГАЛИНА

История второго брата

Моего старшего брата зовут Жак. Младшего — Жан. А меня — Рене.

Смешно, правда?

Когда старик умер, Жак по завещанию получил мельницу. А Жан — кота. В общем-то, по заслугам. Старик знал, что делал, когда раздавал имущество, нажитое горбом... Жан, младшенький, из тех раздолбаев, которые либо умирают в канаве, либо жсятся на принцессах. С равной вероятностью. Уже после похорон пришел ко мне, говорит: дай, мол, денег на сапоги коту. Ну зачем, дурень, говорю, куроцапу твоему сапоги? Как он по деревьям будет лазить, как мышь ловить? В сапогах-то. А просит, говорит.

То есть кот просит. И говорит. Говорящий кот попался. Так Жан утверждает, по крайней мере. При мне кот только мяукал. Причем препротивно.

Навернос, Жан решил помянуть старика в ближайшем кабаке, вот и все. Ну, я что, жмот? Дал ему пару су. Больше-то у меня ничего и не было. Только Салли.

Вы не подумайте чего, Салли — это ослик. Мой ослик.

Жак, старший, как я уже сказал, получил мельницу. Ему принцесса не нужна, где вы видели принцессу, которая согласилась бы на мельнице ишачить? У старого Пьера по соседству дочка на выданье, крепкая девка, Жаку в самый раз.

Кстати, насчет ишачить...

Он все подкатывался ко мне — живи сколько хошь, но отай Салли. Она тебе ни к чему. Пускай вертит мельничный жернов.

Я отказался. Жак кого хочешь заездит. Я Салли помню, еще когда она маленьkim таким осликом была. Ушки бархатные, хвостик кисточкой... Копытца такие, знаете, — стук-постук.

Тогда, говорит, выметайся. Вместе с Салли. И скажи спасибо, что Салли все-таки ослица, а не кот. Говорящий.

То есть намекнул на то, что Жану, младшенькому, еще хуже. Но Жан, как я уже говорил, из везунчиков.

Не то что я. Я средний.

Во всем.

Думаете, легко быть средним братом?

* * *

— Если бы ты умела говорить, — я слегка хлопнул Салли по холке, — если бы ты умела говорить! Ты же не кот какой-то! Ты же умное животное! Осел, почти лошадь!

Салли равнодушно повела бархатным ушком.

Перед нами уходила вдаль пыльная горячая дорога. Мимо масличных кустов, мимо стогов сена, мимо тополей, лениво кланявшихся нам. «Топ-топ-топ...» — выбиваются в белой пыли копытца, солнце припекает...

Я высматривал чучело, чтобы снять с него шляпу. Не для себя, для Салли. Чучело обойдется, а Салли жалко. Живое божье создание.

На самом деле осел — почтенное животное.

На осле Господь наш въехал в белый город Иерусалим, и валаамова ослица была поумней своего всадника. И кстати, умела говорить.

А Салли... Эх!

Золотятся поля на солнце, пылит дорога...

Чучело стоит средь поля, рукавами машет.

Шляпа на нем соломенная, даже отсюда вижу, хорошая шляпа — как раз для моей Салли.

Свернул я с белой дороги, оставил Салли щипать сухую травку у обочины, а сам углубился в поле. Там, в

поле, мелькают согнутые спины, сверкают, как молнии, серпы в руках, белые рубахи темны от пота...

- Бог в помоць, люди добрые!
- И тебе, — говорят, — странничек.
- Чьи будете?

Переглянулись они, помолчали.

— Маркиза Карабаса, — говорит один как-то неуверенно. — Ступай, ступай отсюда, добрый человек, твой осел нам всю рожь вытопчет.

Смотрю, Салли надоело пасться у дороги и она направилась ко мне прямо через поле.

— Салли-то? — говорю. — Да она легче пушинки ступает. А замок вон тот чей?

Далеко, за полем, за лесом высится замок, темный, будто грозовая туча.

- А тоже маркиза Карабаса, — говорят.
- А мне сдается, — отвечаю, — что это замок людоеда. Потому как знаю, что в этих краях отродясь людоеды замок держали. А вы, люди добрые, врете все, путников заманиваете. Своих-то он не ест, людоед-то ваш, только цришлых.
- Иди, — говорят, — отсюда, странничек, а то как на валяем! И скотину свою забери, от греха подальше.

Ну мы и пошли с Салли. Мимоходом стащил я шляпу с чучела, нахлобучил Салли на голову, а в прорехи ушки вытащил, чтобы не мешали.

— Эй! Эй! — кричат, да мы уж далеко.

А надо сказать, земли у нас только с виду мирные. Замков что грибов, и в каждом кто-то сидит. Где людоед, где великан, где колдун, где все вместе взятые. В лесах полным-полно всякой нечисти, вилии, русалки, маленький народец. И опять же людоеды да колдуны. Или просто разбойники. Как раз мы с Салли мимо рощицы проходили, я дубинку себе выломал покрепче...

На самом деле в пути очень одиноко.

Несколько раз нас обогнали горячие всадники на горячих конях. Кони гиедые, шкура блестит, проскачет такой по дороге, только пыль оседает, а его уж и не видать. Несколько раз обгоняли господа в каретах. И телеги, ежели честно, тоже обгоняли.

Чего уж там!

Фрр! — карета пронеслась, с нас с Салли ветром аж чуть шляпы не посыпало. Пара лошадей черных, лоснящихся, кучер на занятках важный такой. А сама карета золотом отделана и вся в гербах. Только я успел ее взглядом пропроводить, смотрю, кучер поводья натянул, остановилась карета. Лишь пыль под колесами змеится. Кружевная занавеска чуть отодвигается, и блестит из-за нее чай-то черный глаз.

Потом дверца приоткрылась, и на ступеньку выпорхнул башмачок; пряжка-бабочка. И белая ручка подол пластины бархатного приподнимает, чтобы удобней было спускаться, значит. Так что я вижу, башмачок этот сидит на маленькой белой ножке в кружевном чулке.

— Что же ты, мужлан, — говорит чай-то нежный голос, — помоги мне спуститься!

Я с Салли спрыгнул, подскочил, локоть ей подставил. Она оперлась своей крохотной ручкой, пальцы у нее маленькие, розовые, точно виноградинки, но цепкие. Спустилась. Стоит, меня разглядывает.

— Ты чай будешь, мужик?

— Ничай, сударыня, — говорю, — сам по себе.

— А я думала, — говорит она несколько разочарованно, — что ты мой лесничий. Потому как еду я осматривать свои владения.

— Ты, дурак, голову-то наклони, — советует кучер, — это новая хозяйка твоя, господину нашему молодая жена.

Я поклонился пониже, однако говорю:

— Ты уж прости меня, сударыня, дурака, только твой господин мне не господин. Не местные мы с Салли. Странствую я, удачи ищу.

— Как знать, — говорит она, а сама глазами блестит, — может, твоя удача рядом ходит. Хочу я на волшебный источник посмотреть, говорят, он тут где-то в лесу бьет прямо из земли, и цветы вокруг него с мельничные колеса... Проводишь к источнику, получишь золотой.

— Ничего я про сие чудо не слыхал, госпожа моя, — говорю, — правда, родом я не из этих мест.

— А если омыться в источнике том, — продолжает она, — или хотя бы лицо умыть, то удача от тебя никогда

не отступится и во всех твоих делах и начинаниях будет тебе успех. И вообще, — говорит, — умыться тебе не помешает.

— Полагаю, ты права, сударыня, — согласился я, — да и Салли, наверное, хочет пить. С утра идем, по холодку вышли, а сейчас ведь самое пекло.

Она как-то поморщилась, когда я сказал про Салли, но ничего не сказала, а только позволила кучеру пакинуть себе на плечи плащ и юркнула в придорожные заросли, что твоя ящерица. Мы с Салли за ней; правда, помедленней, потому что Салли моя по бурелому ходить непривычна.

Деревья вокруг — будто колонны, мох — точно бархат, папоротник колышется, птица поет, лучи отвесно падают, словно на пути их встречает не листва, а цветные стеклыники в нашей церкви. Храм, а не лес.

До чего, говорю, красиво!

Она только обернулась, усмехнулась. Белыми зубами сверкнула...

Смотрю, а мы на поляну вышли, а там и впрямь источник меж двумя камнями журчит, вокруг березки белые точно свечки, а она уже поставила корзинку, накрытую салфеткой, плащ с себя скинула и на траву расстилает.

— Иди сюда, мужик.

— Ты что же, сударыня? — говорю. — Негоже это.

Она усмехается.

— Да ты никак дурень, — говорит. — Когда это мужчине с женщиной было негоже?

— Ты, сударыня, высокого рода, я низкого... Наверное, маркиза или баронесса...

— Когда лежишь, — отвечает, — все одинаковы. Но, да, ты угадал, я маркиза.

— Карабас? — спрашиваю.

— Первый раз слышу про такого.

— Где-то там он живет, — я махнул рукой в сторону полей, — в замке, темном, как грозовая туча.

— Нет, — отвечает, — я живу вои там, — и рукой в другую сторону показывает, — в замке белом и высоком,

муж мой, славный рыцарь, все время в разъездах, вот я и на хозяйстве, осматриваю принадлежащие мне владения. А в том замке, что ты говоришь, у нас людоед живет. Это все знают.

— Что ж твой супруг, коли он рыцарь, не побился с людоедом?

— С соседом? — подняла она брови. — Зачем? У них был один спор межевой, так они миром уладили.

Салли тем временем сунула свою бархатную мордочку в источник, фыркнула, напилась воды и стала щипать травку. А маркиза молодая легла на плащ, кудри этак разбросала, на меня поглядывает. А мне не по себе что-то, слыхал я, вот так можно и на вилюю нарваться, и на кого еще похоже... Мало ли кто на дорогах нынче встречается? Отведут глаза да и отравят душу на всю жизнь.

Откашлялся я, спрашиваю:

— Ты, часом, не виляя, госпожа моя?

— Проверь, — говорит.

Ну, думаю, не проверю, так ведь всю жизнь буду жалеть — дурак, дурак, такой случай упустил, одно слово — средний брат, не узнал, как оно там у маркиза устроено, может, не как у наших девок?

Принялся я проверять, и дальше уж не до разговоров стало. Хотя, между нами, особой разницы и нет.

Только вот что-то в бок меня кололо, неудобно так.

— Что там у тебя, сударыня? — спрашиваю, когда отышался.

Она отцепляет от пояса огромную связку ключей и трясет у меня перед носом.

— Господин мой и супруг, — говорит важно, — отправляясь в странствие, доверил мне ключи от всех своих владений. И теперь я полноправная хозяйка и гардероба, и кладовых, и оружейных, и....

Между бровями ее стала маленькая морщинка.

— Один вот только ключик не велел трогать. Вот этот, — говорит. И тычет мне в лицо маленький такой ключик, а тот на солнце сверкает, лучики бросает, точно серебро... Впрочем, наверняка оно и есть серебро, светлое, ясное, будто только что начищенное.

Лучше бы он тебе ключиком известное место запер, думаю. Слышал я, есть сеньоры, которые делают такое, когда уезжают в дальние края... А вслух говорю:

— Доверяет тебе господин твой...

— Да, — важно кивает она, — во всем доверяет, вот ключи от кладовых, заходи хоть сейчас, и на каретный двор, и в амбар, и в оружейную, и...

Помрачнела.

— Только вот этот маленький... от чего он?

— Да ладно тебе, сударыня, — говорю, — чего зря голову ломать? Давай лучше посмотрим, что у тебя в корзинке?

А в корзинке у нее пульярка и хлеб, белый как облако, и зелень...

— Пойду, — говорю, — и правда умоюсь и воды из родника попью...

— Умыться тебе, как я уже сказала, не мешает, — отвечает, — а воды зачем? Вот у меня вино есть наших виноградников, с западного склона, хорошее вино... С восточного склона похоже будет, а это отменного качества вино, и если его распробовать, то на языке будет такой почти незаметный привкус, знаешь...

— Батюшка твой, сударыня, часом, не винодел был?

— Ну... — опять морщинка у нее меж бровей появилась, — владел папа виноградниками. Знал в этом толк. Ну, продавал иногда на сторону... Но это еще не значит, что мы какие-то там виноделы. А я теперь и вообще маркиза...

Я все ж таки наклонился над источником, сложил руки ковшиком и глотнул. Чистая, свежая вода, холодная, аж зубы ломит. Лучи в ней играют, пляшут на дне, на камешках...

— Думаешь, это и правда источник, который удачу дарит? — спрашивает она. — Это я так... приувеличил для красного словца. Просто вода. Это ж теперь мои владения, я тут про все знаю. Вон осел твой сколько выдул, думаешь, теперь ему везти во всем будет?

Я поглядел на свою Салли. Та тихонько объедала куст терновника.

— В жару напиться из источника, — говорю, — уже удача. А теперь давай, сударыня, собираться, дорога дальняя, а нам с Салли еще ночлег найти надо.

— Зачем? — поднимает она бровки. — Поедешь в карете... ну, на запятах. Хочешь, конюхом тебя сделаю, хочешь, и правда лесничим? Я ведь хозяйка этих владений, кем захочу, тем и будешь.

И правда, думаю, почему бы мне лесничим не стать? Надену я куртку с гамунами, возьму мушкет, и пойдем мы с Салли по окрестным лесам, вон какая тут красота. Людоед тут, правда, по соседству живет, ну так он вроде бы со злениным господином в ладу.

Или конюхом. Чем конь лучше осла? Разве что крупнее.

— Добро, — говорю, — сударыня. Поехали.

— Госпожа, — поправляет она меня.

— Посхали, госпожа...

Она бросает корзинку на поляне, оправляет свои шелка и идет из лесу, не глядя, значит, следую я за ней или нет. А Салли так к терновому кусту и приросла. Еле я ее отогнал, пока то-се... В общем, вышли мы на дорогу, а там уже кони копытами роют, она из окошка высовывается, рукой машет.

— Влезай на запяtkи, поехали!

— Погоди, сударыня, — говорю.

— Госпожа!

— Погоди, госпожа, а как же Салли?

— Осел твой? Ну, брось его на дороге.

— Никак я не могу бросить свою Салли на дороге. Мне ее батюшка покойный в наследство оставил. Позвольте я ее привяжу за каретой, госпожа моя.

— И что, прикажешь мне шагом ехать до замка? Да меня ж... меня ж прачки да новарята засмеют, как увидят, что у меня за каретой осел трюхает!

— Ну так поезжай, — говорю, — сударыня. А мы сами доберемся.

Она что-то кучеру говорит, дотрагивается до его камзола белой ручкой, он как дернет поводья! Как свистнет кнутом!

Рванулись горячие кони, аж пыль за ними столбом встала.

Она высунулась из окна, кашляет, сквозь пыль кричит мне:

— Осел! Осел!

— Если вы про мою Салли, — кричу ей вслед, — так она ослица у меня!

— Я про тебя, дурень! — визжит она из последних сил, карета скрывается из глаз в белой пыли, и онять мы с Салли одни на дороге.

— Эх ты, — говорю я Салли, — такую удачу я из-за тебя упустил!

Она ухом повела и молчит.

А с другой стороны, думаю, вернется ее господин, с людоедом-то он по-соседски, в ладу он с людоедом, а вот как начет конюха или там лесничего? И почему это у него обе должности свободны?

— Ладно, — говорю я Салли, — может, это еще не удача была, а так — приключение? А настоящая удача ждет меня впереди? Пойдем, — говорю, — ей навстречу.

Поправил на ней соломенную шляпу, и пошли мы с ней дальние по белой дороге....

Только она уже не белая, а золотая и с отливом в багрянец, потому что солнце, которое до этого жарило немилосердно, садится за лесом...

Облака крохотные золотятся в синеве, а замок людоеда синеет вдали, как грозная грозовая туча.

Пчелы, которые сновали в придорожных цветах, потихоньку затихают, улетают в свои ульи, и цветы закрываются понемногу, сжимают свои соцветия в маленькие душистые кулачки, выходит, и нам пора бы найти себе на почь прибежище, тем более Салли моя устала топать по дороге, чертополох щипать.

В общем, выпили мы к постоянному двору. Не то чтобы большой, не то чтобы шикарный какой, обычный придорожный постоянный двор, при нем трактир, конюшня, все, что положено. Называется «Кот в сапогах». Читать-то я не обучен, но на вывеске именно что кот и именно что в сапогах.

Вот, думаю, откуда младшенький наш эту идею взял, про сапоги для кота своего драного! Наверняка ведь ошибался в этом самом трактире, когда батюшка посыпал его муку продавать!

В общем, зашли мы с Салли во двор, я ее привязал у колоды, воды ей налил, а сам захожу в трактир. Не то чтобы там полно народа было. Сидит у окна какая-то небольшая компания в темных суконных плащах — и пара местных у огня пиво пьют. Хозяйка ходит, еду разносит. И пахнет, ох, братцы, как пахнет! Нет, скажу вам, шулярка эта самая, господская еда, ни в какое сравнение не идет с жарким из баарных потрошков! У меня в брюхе желудок аж заворочался от этого запаха!

И тут я сообразил, что ни монеты у меня, потому как младшенький-то последние су выирисил, на сапоги эти... Коту сапоги, ну где это видано, кроме как на трактирной вывеске?

— Хозяйка, — говорю, — вечер добрый. Не приютиши ли нас с Салли на ночь?

Хозяйка отвечает в том смысле, что можно наверху, в спальню, а можно на сеновале, и сеновал дешевле будет. Только, говорит, глупостей я не потерплю. У меня все строго, мы не городские какие-нибудь. Кто такая эта твоя Салли? Малолетка небось, чья-то дочка, яблочко недозревшее...

— Господь с тобой, — говорю, — Салли — это ослик мой! Я ее у коновязи привязал! И кстати, хозяйка, в карманах у меня сегодня ветер гуляет, так что могу за ночлег и ужин дрова поколоть, воды натаскать, что там еще тебе требуется...

— Воды натаскать не помешает, — говорит она, — ступайте со своим ослом и натаскайте.

— Ладно, чего там, сам натаскаю! Салли, бедняжка, целый день шла по пыльной дороге, по белой дороге, по красной дороге...

— Не иначе как ты умом тронутый, — говорит хозяйка, — осла жалеешь, а себя не жалеешь.

А я — чего уж там, я двужильный. Старший брат Жак меня колотил, в хвост и гриву гонял, младшенького Жана

я на закорках таскал. Одна у меня была радость: приду я к Салли, бархатную мордочку ей поцелую, в ушко пощеччу. Она ресницами моргнет, копытцами переступит — вроде что-то понимает...

Старик мой, царство ему небесное, когда мне Салли отписал, доброе дело сделал.

— Ужин на стол, и все сделаю, — говорю, — а ночевать на сеновал пустишь, и то хорошо. Мы деревенские, нам не привыкать!

Она поглядела на меня, вздохнула, так что блузка на груди затянулась.

— Иди уж, ешь, — говорит, — блаженный!

Я присел за столик к господам в темных плащах, и она ставит перед мной миску с тушенными бараньими потрохами.

— Бог в помощь, — говорю, — люди добрые.

— И тебе, странничек, — отвечает один, видимо самый старший. — Издалека ли пришел?

— С дальних мельниц, — отвечаю, — мы с Салли. Вот, шли целый день по белой дороге, глядишь, и к вам дошли.

— И по какой надобности странствуешь?

— Долю свою ищу.

— Богатства, славы, денег, удачи?

— Всего понемножку. Я средний сын, мне многое не надо...

— Похвальная умеренность, — отвечает. — Не выпьешь ли с нами пива за компанию?

— Если за компанию, охотно, — говорю, — только погляжу, как там Салли, и вернусь.

Салли моя стояла у кормушки, сено жевала — и ее пожалела добрая хозяйка.

— А вот скажи, — спрашивает старший, когда я вернулся, — чего это ты со своим ослом так носишься? Не иначе, он у тебя заколдованный. Слышил я про такие случаи — с виду вроде осел, а на деле принцесса зачарованная, или там юный принц, или старый волшебник...

— Насколько я Салли знаю, — говорю, — а я присутствовал при ее появлении на свет, она самый что ни есть

ослик. А уж симпатичная была, когда маленькая, сил нет, ну прямо как игрушка. А вообще-то ее папаша мой покойный мне завещал, а значит, надо беречь — это все, что мне от дома родного осталось.

— Как я понял, ты средний сын, — замечает он. — Интересно, а старшему твой папа что завещал?

— Мельницу.

Он усмехается.

— Не подумай о моем почтенном родителе дурного. Младшему он и вовсе кота паршивого оставил. Папаша знал, кому что завещать. Жак человек солидный, он за мельницей присмотрит так, что лучше не надо. А Жан пустобрех, ветер у него в голове. И кот его пустобрех, ежли Жан не врет.

— Говорящий, значит, кот?

— Говорящий, сударь.

— Ну и дурень же ты, я погляжу! Впрочем, ты мне нравишься. Выпей со мной, сделай милость.

— Мне с утра воды хозяйке надо натаскать, — говорю, — и я подозреваю, что еще и дров наколоть, и огонь развести... В общем, сделать все, что делают честные люди, когда у них денег нет в уплату за кров и пищу. Потому пива я с тобой выпью по кружечке да и спать пойду. Устали мы с Салли, хлопотный денек выдался.

— Опять же похвальная умеренность, — говорит старший. — Сразу видно, ты и впрямь самый что ни есть средний сын. А вот ежели бы у тебя были деньги, что бы ты сделал?

— Не знаю, — говорю, — приоделся бы, купил Салли новую уздечку, попону купил бы.

— Мелко плаваешь, средний. Я про деньги говорю, а не про мелочь этакую!

— Домик бы купил с садиком. Лужок для Салли, маленький. Посватался бы к хорошей девушке. Свадьбу спрашивал. Чего еще?

— А больше?

— А зачем мне больше? Я что, маркиз? — отвечаю.

— Эх, — говорит, — средний, ничем тебя не проймешь! Ладно, бывай здоров!

— И тебе того же, добрый человек!

Он, значит, бросает на стол монету, служаночку проходящую по полке потрецал и встает. И остальные за ним.

— Кто это, милая девушка? — спрашиваю я служанку.

— Один добрый господин, — отвечает та, — он к нам частенько заглядывает. А уж какой щедрый! И другие господа, его друзья, щедрые тоже.

— И где живет добрый господин этот?

— Сдается мне, — говорит служанка, — что он нигде не живет, потому как господин вольный.

Ох, вовремя ушел господин вольный со своими вольными дружками, потому как, чуть солнце село, слышу я во дворе шум и крики и лязг железа, и служанки все забегали, и хозяйка тоже.

— Ты вроде подсобить мне обещал, — говорит, — так давай начинай. Вон там, в углу, поленница, топор, вон колун, давай-ка, работай. А еще воду натаскать надо, ты вроде обещал воду натаскать, если слух меня не подвел, когда я тебя похлебкой из бараных потрошков кормила.

— Кто это к нам пожаловал? — спрашиваю.

— Господин наш и хозяин здешних мест, — говорит она, — вернулся из дальнего похода. То ли он неверных трепал, то ли они его, то ли по каким другим делам ездил, а только вот он, а вот его рыцари, и все голодные, что твои сарацины.

— А не оставлял ли ваш хозяин за себя госпожу свою, — спрашиваю я, — такую беленькую, пухленькую, что твоя куропаточка, еще у нее папаша винодел?

— Что там в замке творится, — говорит она, — до нас не касаемо. Наше дело накормить-напоить, а спать он в замок к себе поскакет, в свои владения, к госпоже своей, беленькой, пухленькой, и туда ему и дорога, потому как уж очень больно циплется он, господин наш и хозяин, и нраву он до ужаса крутого, чуть что не по нем, так ярится, что держись!

Ну, делать нечего, пошел я во двор, к поленнице. Пока проходил, вижу их, несколько дюжих молодцов,

с факелами, с мушкетами да палашами, на горячих конях, хозяин среди них, как башня, на сером жеребце высятся, красивый господин, видный, борода такая черная, аж синяя.

Уж я и дрова наколод, и воду наносил, и огонь раздул, а они за столами сидят, кружками стучат, хозяйка бараний бок подает и зелень, и сыр, и еще много чего, чего мне не подавала... Тут мальчишка коющийся к господину подбежал, шепчет что-то на ухо. Тот вышел, возвращается мрачный как туча, в руках у него какая-то тряпка, то есть теперь-то это тряпка, а была шелковая попонка, шитая золотыми цветами и весьма красивая...

— Кто это сделал? — спрашивает. — Я, — говорит, — эту попону в самом Париже покупал, у лучшего тамошнего галантерейщика, золотом за нее платил, потому как шитье мавританское, тонкое... Я, — говорит, — ванн трактир воюющий сейчас по бревнышку растащу...

— Уж не взыщи, сударь! — Хозяйка, бедная, аж руками всплеснула. — Сдается мне, это вот его осел! Он тоже у коновязи был привязан, вот и ножевал изделие-то твое.

— Твой осел? — повернулся ко мне господин, глазами черными сверкает. — Ах ты жалкий, никудышный, мерзкий мужлан... Я эту попону хотел госпоже моей подарить, для ее кобылки-иноходца, а твой осел поганый... Я его сейчас порезу, чтобы впредь неповадно было! Понаехали, понимаешь, тут!

Я на коленях — бух! В ноги ему — бух!

— Помилосердствуй, — говорю, — кормилец ты наш, благодетель! Мы ж за тобой как за каменной стеной! Ты нам пример и опора. Кому, как не тебе, судить по справедливости? Неужто осел, тварь бессловесная, наказания заслуживает? Нешто она со злости?

А сам думаю: ах ты, Салли, глупая ты животина, неужто позавидовала красивой попоне на чужой спине? Вот ежели выберемся из этой передряги, куплю тебе попонку, хорошенькую, чтобы с вышивкой по краям, маргаритками там или незабудками...

Он вроде как остыл немножко.

— Были такие казусы, — говорит вроде рассудитель но, — когда судили животное по человечьим законам, если преступление было соразмернос, и карали соответственно.

— Так ведь какое тут, ваша милость, соразмерное преступление? Как мерить, когда ни один человек в жизни ни одной попоны не сжевал!

Он опять подумал.

— Если осел недееспособен, — говорит он, — тогда судить надо хозяина, проявившего столь преступное небрежение.

Я опять — бух головой ему в ноги.

— Смилуйся, — говорю, — я человек бедный. У меня, кроме осла-то, и нет ничего.

— Ну, раз ничего нет, — говорит, — то осла я и конфискую. Хотя твой паршивый осел и клошка шелковой попоны не стоит.

— Господин, — говорю, — да как же так! Это ж наследство мое, панаща покойный мне Салли завещал, чтобы я о ней заботился, холил и лелеял. Старшему он, значит, мельницу, младшему — кота, а мне, среднему...

Тут-то его терпение вышло, и он как засветит мис кулаком в ухо. Я где стоял, там и повалился. Крепко он бил, этот синебородый. Пришел я в себя, а их уж и след простыл. Хозяйка мне мокрую холстину на лоб положила и на лавку кое-как устроила. Я холстину скинул — тихо вокруг. Огонь в очаге трепещит.

— Где этот, — спрашиваю, — синебородый?

— Уехал, — отвечает, — слава тебе Господи, уехал, ох, крутой же господин, но на этот раз обошлось вроде.

— А Салли где?

— Увез он твою Салли, — говорит, — за жеребцом привязал и увез. В замок, не иначе, к хозяйству приспособит.

Я, кряхтя, с лавки сполз.

— Это что ж тут у вас такое делается, — спрашиваю, — что у честного человека последнего осла отбирают?

— А ты бы смотрел за своим ослом лучше, дурень, — говорит хозяйка, — вот напасти-то на свою голову и не

нажил. Иди, — говорит, — отдохни, бедолага, завтра уж на своих ногах в путь пойдешь...

— Спасибо, хозяюшка, — говорю, — а только пойду я в замок Салли свою выручать. Пойду, упаду хозяину в ноги, отработаю ему и за лопону, и за Салли. Может, — говорю, — госпожа за меня слово замолвит, вроде как не чужие мы с ней.

Хозяйка на меня поглядела, прищурившись.

— На твоем месте, — говорит она, — об этом я бы не упоминала.

— Да я и не собираюсь, Господи упаси, а только попрошу ее, чтобы она к делу меня пристроила.

— Неизвестно еще, как оно обернется, — говорит трактирщица. — Не везет что-то напрему господину с хозяйствами.

— Это как?

— Да так, — говорит она, — впрочем, мое дело маленькое. Хочешь — иди, может, что и выгорит. Сейчас выйдешь, как раз к рассвету и придешь. Давай, я тебе еду на дорогу соберу, что ли.

Вот истинно говорят: свет не без добрых людей. Она мне в котомку положила сало, и сыр, и полкаравая хлеба, и вина в баклажке. Пожалела.

— А то, — говорит, — хочешь, оставайся, трактир — он мужской руки требует, а одинокую женщину может обидеть каждый. А ты парень крепкий, здоровый, да и вроде душа у тебя добрая, вон как за свою Салли болеешь...

— Я и рад бы, — отвечаю, — хозяюшка: ты и добрая, ты и красивая. Да и о хозяйстве таком я даже не мечтал. Только, ты понимаешь, как же с Салли быть? Она же, бедная, совсем растерялась, ничего не понимает. С чего бы это ее увезли, почему к тяжелой работе приставили, куда я подевался? Я ж родителю моему покойному как бы обязался за ней присматривать, а то с чего бы он мне ее оставил, Салли-то?

— Лучше бы он тебе кота оставил, — говорит она с досадой. — Кот — он что? Запустил его в амбар мышцей ловить, и каждый из вас сам себе хозяин. Или хотя бы мельницу. Ты бы муку молол, я бы хлеб пекла...

— Я средний брат, — виновато разводжу руками, — вот и получил, что заслужил.

— Ладно уж, — говорит она, — иди, горе ты мое. Только как надумаешь, приходи, пока я не передумала.

Замок у того господина белый, как сахар. Так и сверкает на солнце. Красивый такой замок, с башенкой.

Я, значит, стучу в ворота, отпирает мне какой-то малый.

— Куда? — говорит.

— На работу наниматься. Господин-то где?

Он пожал плечами:

— Ночью приехал хозяин, и верная его дружина с ним. Погуляли-погуляли да и спать легли. По сию пору спят. Так что погоди, пока спустится он.

— Ночью, говоришь? А ослика с ним не видел?

— Там все силошь почти ослы, — говорит он, — кто не жеребцы.

— Нет, настоящий ослик, маленький такой ослик, ушки бархатные... Ах да, он еще в шляне.

— А, — говорит, — видел ослика в шляпе. Хозяин его огороднику отдал, воду возить, навоз таскать...

Огородник, думаю, это еще ничего. Все ж не мельник.

— Ладно, проснется твой господин, спустится вниз, как бы с ним словом перемолвиться?

— А как будет он на охоту выезжать или на прогулку, ты и подгадай... В замок, — говорит, — не пущу тебя, не того полета ты птица.

— Тогда, мил человек, ты мне какую-нибудь работу придумай, — говорю я. — Может, огороднику помощник нужен?

А чего, думаю, по крайней мере, буду вместе с Салли, и ей полегче, бедняге, что свой человек рядом.

— Я чего, — отвечает он, — я на воротах стою, а ты ступай к конюху или еще к кому. Может, у кого для тебя работа и найдется. Парень ты, вижу, здоровый, хотя и глупый.

За замком огорода разбиты, и сад яблоневый, и яблоки уже созревают, боками красными в листве светятся, и пчелы гудят в листве, и птичка какая-то свистит. Солнце

сквозь лучи пробиваются, листва шумит... Богатый у синебородого замок, что и говорить. Тут же, смотрю, старик какой-то яблоки собирает, а рядом моя Салли стоит. На боках у нее корзинки, и он туда уже яблоки положил и еще собирается.

Я к ней, за щеку обнял, в мордочку поцеловал.

— Салли моя, Салли, — говорю, — как же ты без меня, бедняжка?

Она копытцами переступила, вздохнула грустно так, ресницами махнула. Знаетс, какие у осликов ресницы? Длиннее, чем у иных девиц.

— Э, — говорит старик, — полегче, малый! Оставь моего осла в покое. Ты кто такой?

— Я ее прежний хозяин, — говорю, — мне ее папаша покойный завещал. Зовут ее Салли, она отзыается на это имя, вы уж сделайте милость, потрудитесь ее по имени звать, и ей знакомо, и вам удобно.

— Надо же, — говорит, — а я Женевьевой ее называл. Ну да ладно, Салли так Салли. А ты чего стоишь, мазый? Давай собирай яблоки, да в корзины — вон сколько нападало. И веди ее на кухню, славный сидр будет.

— Я сам отнесу корзины, дедушка, — говорю, — Салли к такой нощи не привыкла.

— Ты что, малый, — говорит, — совсем сдуруел? Ты ж ездил на ней.

— Да я больше рядом шел. А она смотри какая маленькая.

— Вот оно и видно, что ты большой дурень. Ладно, — говорит, — бери корзину и давай па кухню. Потом лопату возьмешь, яблоньки окопаешь, а вечером натаскаете с Салли воду, польете, а потом траву сгребете па сено, а потом...

— Полегче, — говорю, — я тебе не лошадь.

Впрочем, мы с ним поладили. Он па самом деле добрый стариан окказался, хотя и ворчливый, и нас с Салли попусту не гонял. Вот только никак не мог я господина этого замка увидеть, упросить его, чтобы Салли вернулся обратно. Не сейчас, конечно, через годик-другой. Когда отработаю. С одной стороны, работа не пыльная, огород-

ничать — это вам не мешки на мельнице таскать, да и кормили тут вроде неплохо. С другой — ну как взбредет господину синебородому в голову продать Салли или отобрать у огородника — кто ж ему помешает? Опять же не всю ведь жизнь в чужой земле копаться, надо и мир повидать, и себя показать...

Да только господин долго в замке не сидел. Приехал, привел дела в порядок и уехал опять.

Тут-то я почесал в затылке и задумался.

— Госпожа-то ваша где? — спрашиваю.

— Госложи у нас вообще-то долго не задерживаются, — говорит старик садовник, — по последняя вроде уже полгода как госпожой стала и до сих пор тут. На хозяйстве, где ж ей еще быть! Господин — он как ветер в поле, а госпожа — как скала у него на пути...

— Повидать бы ее, — говорю.

Он головой качает.

— И не думай, — говорит, — ты мужлан, а она маркиза. У нее слуги есть, лакеи, служанка есть, беленькая, хорошенькая. Тебя и не пустят в замок-то.

— Ну, наверняка ваша госпожа маркиза выезжает погулять, поохотиться?

А сам думаю: уж мы-то с Салли знаем, как она выезжает! Впрочем, не до того мне; как будет она на лошадь у крыльца садиться или в карету, тут я ей в ножки-то и кинусь! Неужто не отпустит она нас с Салли со двора, по старой-то дружбе?

— Кстати, — говорю, — а куда другие маркизы подвалились?

Старик плечами пожимает.

— Не лезь не в свое дело, наренъ, — говорит, — целее будешь.

Людям, как я понял, под синебородым неизлохо жилось. Не то чтобы они его любили, но уважали, это точно. Хозяин он был крепкий, с соседями в ладу, своих в обиду не давал. Рука, правда, тяжелая у него, так нашему брату мужику это только на пользу. Я сам ничего плохого про него сказать не могу — справедливый господин, иной мог бедняжку Салли и порешить сгоряча за попону шелковую

съеденную, а он просто конфисковал да к делу приставил, вон, цела-невредима, падалицей лакомится.

Вот только хозяйки, как я понял, у него что-то не задерживались.

Болтаюсь я, значит, во дворе, то соломки свежей постелию, то разровняю, то навоз лошадиный уберу... Вроде как при деле, а сам посматриваю на ворота, вдруг хозяйка выедет? Смотрю, и правда едет, па кобылке-иноходце, кобылка попоной вышитой крыта, правда нохуже той, что Салли ножевала... Сама госпожа в платье из Парижа, ух, какое платье, с хвостом, блестящее, с цветочками, с кружевами.

Я, значит, подошел, поклонился.

— Не обессудь, госпожа, — говорю, — вот, пришлось свидеться.

Она бровки хмурит.

— Мы разве знакомы? — спрашивает высокомерно.

— Как же, госпожа, — говорю, — встречались, на белой дороге, а потом в лесу на полянке...

— В каком еще лесу? — говорит эдак чуть визгливо, на повышенных тонах.

— Ну, как проезжали вы в карете, а я с моей Салли... Это ослик мой, Салли, если помните...

Она носик вздернула, кобылка под ней пляшет.

— Что ты, мужлан, бред какой-то несешь? Где и когда я могла тебя встречать? Я маркиза, господин мой и хозяин души во мне не чает, все мои просьбы выполняет, и даже то, о чем я не прошу. Вон какое платье мне из Парижа привез, гляди. — Одной рукой хвост платья подобрала и у меня перед глазами вертит. — И на руках меня носит, и лучшие куски мне, и всякие заморские яства — мне, и все ключи у меня, и от кладовых, и от бельевых, и от погребов... вот только этот ключик, — опять нахмурилась немножко, — маленький, беленький.... От чего он?

— О ключичке потом, госпожа. — Я придержал ее кобылку за узорный повод. — Раз ты надо всем хозяйка, прошу, отпусти нас с Салли, смилуйся! Или позволь мне выкупить ее, я отработаю, вот увидишь! Или...

— Салли твоя кто? Осел? Так Господь ослам трудиться назначил, — говорит она уже сердито и повод дергает — она на себя, я на себя, кобылка ее на месте пляшет. — А ты осел, хуже Салли твоей. И чтобы большие на глаза мне не поцадался, — говорит, — а то велю тебя высечь на конюшне!

Я повод отпустил, она хлыстиком кобылку сердито стукнула и поскакала, только солома из-под копыт. Я гляжу, приоткрыв рот, дурень я, дурень, средний брат, ис умею я с высокородными, напомнил ей о полянке, а надо было по-другому подойти... Как по-другому? Не ведаю.

Побрел я на огород к Салли.

— Эх, — говорю ей, — Салли, ослинька моя, дурак у тебя хозяин, средний брат, одно слово. Впрочем, я теперь тебе и не хозяин! Потерял я отцовское наследство, а с ним и отцовское благословение, вот уж воистину с женщинами хуже, чем с ослицами. И глупые они, и упрямые... Ты-то, — говорю, — Салли, мое золотко!

Ничего Салли, понятное дело, не отвечает, она же не кот говорящий, только копытцами переступает и мордой мне в руку тычется.

Я ее яблочком угостил и за лопату взялся, потому как дела есть дела, а я кто? — средний брат, помощник огородника на заднем дворе белого замка, где живет маркиз со своей маркизой.

Уже ближе к вечеру, значит, распрямил я спину... Белый замок на фоне синей тучи под закатными лучами то розовый, то золотой, в небе словно гирлянды роз закат развесил, в саду настоящие розы пахнут, сил нет, а еще душистый горошек, матиола и другие вечерние бледные цветы, которое только-только начали раскрываться, все лепестки в вечерней росе. Аист пролетел, машет тяжелыми крыльями.

Тут Салли моя что-то насторожила ушки, мордочку подняла. И я слышу, бежит кто-то, ломится через кусты.

Вот так диво, бежит ко мне госпожа маркиза. Платье нарядное кустами изодрапо, она его руками исцарапанными придерживает, волосы растрепаны, лицо в слезах, нос распух, глаза вытаращены.

— Там, — кричит, — там!!!

Бросается мне на грудь, и в слезы. Аж трястется вся.

— Успокойся, госпожа, — говорю я, похлопывая ее по спинке, — ты успокойся и все как есть мне расскажи.

Она нос утерла, всхлипнула.

— Ах, Жан, — говорит.

— Рене, сударыня.

— Ну, Рене, какая разница! — И тут опять как всхлипнет, как затрясется! — Какой ужас, Рене, какой ужас!

А вокруг тихо, цветы благоухают, небо темнеет, красные полосы в нем гаснут, яблони стоят темные, как вырезанные...

— Кто вас обидел, госпожа маркиза?

— Ключик, — рыдает она, — ключик!

И тыгчет мне в лицо зажатый кулечок.

— Разожмите ручку, — говорю.

На ладошке у нее ключик лежит, маленький. Только он уже не белый, а вроде как в бурых пятнах, в сумерках и не разглядеть.

— Ничего, — говорю, — что ж вы так убиваетесь? Сейчас писочком ототрем, и все будет в порядке.

Она головой растрепанной кивает:

— Да, да, ототри, будь любезен, Жан.

— Рене, сударыня.

— Да, Рене. Ототри, а то он убьет меня, — рыдает, — он меня тоже убьет и на крюк повесит, ах!

— Что ж вы такое говорите, сударыня! Кто ж на вас, на маркизу, осмелится руку поднять? Супруг ваш, маркиз, никому вас и пальцем тронуть не даст. Он господин строгий, но справедливый.

Говорю, а сам тру этот ключик. И вот в чем притча-то, не отираются пятна! Как ни тру, они словно бы все ярче проступают...

— Не получается, сударыня, — говорю.

Она аж взвизгнула, бедняга.

— Он строгий, но справедливый, и повесит. Ах, беда, беда! Я так и знала, — плачет, — я уж и сама терла-терла, и служанка терла-терла, и платочком шелковым, и уксусом винным, и уксусом яблочным, и...

— Полегче, — говорю. — Я средний брат, соображаю тут, вы уж простите, сударыня.

Она всхлипнула и вытерла нос ладонью.

— Я все думала, что там, в этой кладовке, которую открывать нельзя, — говорит она жалобно, — ведь как же это так: все можно, а это нельзя? Что там такого замечательного?

— Не велено, значит, не велено, — говорю, — чего ж тут думать?

— Да-а, — она утирает нос уже рукавом, — тебе легко говорить. Ты мужлан, тебе что скажут, то ты и делаешь. А я у папы не так воспитывалась, я ни в чем отказу не знала. Значит, раз господин и хозяин мне не доверяет, он меня не лю-ю-ю-юбит!

И опять в рев.

— Так ведь доверял же он тебе все ключи! Яствами заморскими кормил. Платяя из Парижа возил. Попону вот привез, ну, сс, правда, Салли сжевала. От супруги что требуется? Слушаться. Мужчина, — говорю, — он что ветер, а женщина — скала на его пути.

Красиво сказано было, я и запомнил, только ввернул, похоже, все-таки не совсем к месту.

— Да, — плачет, — а клю-ю-ючик! Я ночами не спала, все думала: пойду проверю, что там! Вот он в Париже был — я терпела, с маврами бился — я терпела, а как уехал на охоту, я и не вытерпела. Открыла кладовку, а та-а-а-ам!!!

И опять в рев.

— Да что там такое в кладовке той, сударыня?

А у самого аж в животе холдеет. Потому что понимаю, ничего хорошего в той кладовке быть не может. У нас, видите ли, что ни маркиз, то чернокнижник, что ни владетель, то людоед, места неспокойные, времена тяжелые... Этот, синебородый, еще не из худших, уверяю вас, судари мои.

— Крови-и-ищи на полу... И крюки на стенах. А на крюках...

Она меня за шею руками обхватила, трепещет, как птичка.

— Там мертвые женщины на крюках! Семь или восемь! Платья белые, висят-качаются. Глаза пустые. Семь или восемь. Не знаю, у меня в глазах потемнело, ноги подкосились, я ключик в лужу крови уронила, и он теперь кра-а-асный.

— От такого, — говорю, — у кого хочешь в глазах потемнеет. А ключик, он не иначе как зачарованный.

Вот куда, думаю, прежние хозяйки-то подевались.

— Что делать, Жан, — плачет-трясеется, — что делать?

— Повиниться. В ноги кинуться, может, простит. Он же любит вас, вон платье из Парижа привез!

— Нет-нет, — головой мотает, аж волосы ее мис по щекам хлещут, — это он нарочно... это испытание такое... Они тоже, Жан, тоже эту кладовку открывали. За то и пошлины. Семь или восс-еемь! И один крюк пусто-о-ой!

— Бежать надо, госпожа моя, — говорю, — может, и не пайдет, не догонит.

Уж и не стал ей говорить, что я не Жан, а Рене, все равно не запомнит, бедняга.

— Вы на свою кобылку, я на своего ослика... Довезу вас до дома батюшки вашего, он вас сирячет, не выдаст!

Она вроде как немножко успокоилась и говорит:

— Ах, как ты нрав, Жан! Именно к батюшке! Сейчас только платья свои парижские соберу, и поедем!

И, подбирая юбки, бежит через кусты обратно к замку.

— Стой, сударыня, — кричу, — ну зачем тебе эти платья?! Тут жизнь свою драгоценную спасать надо, знаю я этих маркизов-чернокнижников! А платья батюшка твой тебе другие купит.

— Ты ничего не понимаешь, дурень, — кричит она на бегу, не оборачиваясь, — они же парижские! И колье, колье, которое маркиз, мой супруг, чтоб ему пусто было, на свадьбу подарил, оно бриллиантовое, с рубинчиком.

Что с бабы возьмешь, хоть она маркиза, хоть кто. Я бегу за ней, чтобы, значит, уговорить ее сесть на лопатку да и скакать отсюда, и тут слышу — рога трубят, серебряные трубы поют. Маркиз в замок возвращается.

Маркиза бедная моя совсем побледнела, руки с растопыренными пальчиками к щекам прижала, а пальчики

у нее розовые, что виноградинки. Впрочем, это я уже говорил, кажется.

— Что же делать, Жан, — говорит, — что же делать?

— Пожалуй, сударыня, — говорю си, — мне пора вернуться к своим обязанностям. Мне еще две яблони полить, и дров натаскать, и золу рассыпать... Чеснок опять же, зелень... Раз супруг ваши с охоты, значит, дичь надо сплуговать, все такое, уж извините.

Она мне в руку вцепилась:

— Нет-нет, не оставляй меня, Жан, умоляю!

— Какой я тебе Жан, — говорю, — пусти, дура!

— Ох, Рене, — плачет (вспомнила!) — я ж с тобой! Мы ж с тобой! Мы ж не чужие... Полянку ту помнишь? Там еще источник воднебный...

— Обыкновенный был источник. И полянку я почти не помню, — отвечаю холодно, — подзабыл что-то...

А она все плачет, мне за руки цепляется, на шее виснет.

— На кого мне тут положиться, — спрашивавш, — все кругом чужие люди! Все его вассалы. Ты ему клятвы не давал ведь, так, Рене? Ты ж сам по себе?

— Что с того, сударыня, — говорю, — я сам по себе, вы сами по себе. Ладно, — говорю, — не оставлю вас. Только вот куда нам деваться? Ведь не выберешься уже, вон они в ворота въезжают — трубы трубят, псы лают.

— Ах! — стонет она, хватает меня за руку и куда-то тащит, — в башню надо. Вот туда, наверх, по винтовой лестнице!

— Ну и что, госпожа моя? Заберемся мы в башню... Он же нас оттуда выкурит по всем правилам фортификационной науки.

— Ничего ты не понимаешь в фортификации, дурень! Я заберусь на самый верх, буду платочком махать, будет рыцарь проезжать полем, белой дорогой, увидит, приедет, сразится с маркизом, спасет!

— А я тут при чем?

— А ты будешь лестницу от маркиза обороныть. — Она уже пришла в себя, охорашивается и платье разглаживает — видимо, представляет, как будет шевалье ее спасать. —

По всем правилам фортификации. Лестница узкая, винтовая. Там в одиночку целому отряду противостоять можно. У того, кто сверху, явное преимущество при обороне.

— Эх, сударыня, — говорю, — во что ты меня втравила!

Снял со стены алебарду и побежал с ней наверх. Пока бежал, аж упрел весь.

Внизу слышу топот, хлопанье дверей, грохот... И такой полный ярости и боли вопль. Нашел-таки маркиз открытую каморку.

Госпожа на балкончик вспрыгнула, платочком машет.

Вот ведь беда какая, вы понимаете, маркиза эта на самом деле хуже травы-белены. Дурная баба, так и поровит с кем попало на лужайке поваляться, в голове только платья, украшения да еще мужчины. А маркиз этот синебородый на все глаза закрывал, и паряды ей парижские дарил, и что там еще, и попонку на лошадку, ладно, бог с ней, с попонкой, по ведь и колье с рубинчиком, и ключи, и всему она полная хозяйка была, и вообще неплохой маркиз, ежели честно, строгий, но справедливый. Одно только от дуры-бабы требовалось — каморку не открывать. Не открыла, так бы и прожили всю жизнь в мире и согласии, вот ведь какая петрушка получается.

Слышу, по винтовой лестнице топот и лязг. Идет грозный синебородый господин вешать свою госпожу на крюк в кладовку, где уже семь таких висят. Или восемь.

Госпожа на каменном парапете так и скачет, платочком размахивает.

— Едет рыцарь?

— Нет. Никак не едет.

— Тогда, — говорю, — что ж.

И встал поперек лестницы, алебарду на изготовку.

Грозный маркиз бежит, пыхтит.

Увидел меня.

— А это кто еще такой? — спрашивает.

— Я это, ваша милость, — отвечаю, — моя Салли еще попону вашу съела, помните?

— Что за болезненный бред, — говорит, — я тебе что, лошадь, чтобы в попонах ходить?

— Вы-то не лошадь, — говорю, — да вот Салли ослик.

— Пшел вои, дурак!

— Не выйдет, — отвечаю, — госпожа ваша дура дурой, но вы бы ее оставили в покое, господин хороший! Отпустили к папе-виноеду.

— Не выйдет, — говорит он в свой черед. — Висеть ей на крюке, потому как нарушила она единственный запрет, который я на нее наложил. А коль скоро она этот единственный нарушила, значит, и остальные перед Богом не соблюдет.

— Господь с вами, добрый господин, она этот ван запрет дальше остальных соблюла.

— Не смей так говорить про маркизу, мужлан, — ревет он, — это тебе не шлюха какая-нибудь.

— Никуда эта госпожа не годится, — пробую я его уговорить, — вытолкали бы ее взашей, отпустили бы ее обратно к папе. А себе бы нашли другую, хорошую...

— Со временем найду, — говорит мрачно, — не эта, так другая.

— Да вы же сколькоих эдак перевешаете!

— Я хозяин, — ревет, — моя жена, что хочу, то и делаю.

Понял я, что дело плохо. Он из пижных, из мечтателей, все идеальную любовь ищет. Пока искать будет, у него там в кладовке черт знает сколько баб скопится, крюков не хватит...

— Ну так извини, — говорю, — эту дуру и мне не жалко, потому как дура сущеглупая, но сколько ж их еще будет, дур-то! Еще в Священном Писании сказано: баба — она запретов не терпит, ежели что бабе запрести, то она первым делом и сотворит, назло всему миру. Этак всех дочерей Евы в округе изведете.

И шарах его алебардой.

Он с лестницы-то и покатился.

— Едет кто? — кричу наверх.

— Ах нет, — отвечает, — нет никого.

— Да и ладно, — говорю, — пришиб я твоего господина, уж не взыщи.

Она с парапета спрыгнула, глянула вниз, а там уже люди у подножия лестницы толются, и все в растерянности.

— Лучше бы рыцарь его в честном бою победил, — говорит она, — как-то тактичней было бы. Да ладно, и так сойдет. Ты, — говорит, — следом за мной ступай.

Спускается, величаво так, голову держит и провозглашает громко:

— Господин ваш и хозяин был чернокнижник и злодей. Если кто хочет в этом убедиться, пускай заглянет в его кладовку, ту, что я отперла вот этим ключиком... Но я разоблачила его и вызвала моего брата, чтобы он сразился с убийцей женщин. И брат мой храбро сражался и злодея одолел в честной схватке.

И мне наверх, нежно:

— Рене, где же ты, братец? Иди сюда!

Люди с ноги на ногу переминаются, жмутся — похоже, кое-кто уже успел в кладовку заглянуть.

— Я господину вашему супруга и наследница, — она остальные ключи отвязывает от пояса и значительно ими звенит, — а потому велю я тело убрать, кровь затереть, супруга моего преступного похоронить с почестями, несчастных этих, им убиенных, тоже, а вас призываю в свидетели, что бой был честный, а вам я есть законная госпожа!

Я свирепое лицо сделал и наружу раз алебардой взмахнул. На всякий случай.

Они кивают, на меня косятся с опаской и приступают к делам... Госпожа смотрит на меня.

— Ох, — говорит, — натерпелась же я страху.

— Ладно, — отвечаю, — чего уж там.

— Награжу тебя по-царски, — говорит она, — сейчас велю, чтобы тебе пять золотых отсыпало... нет, все-таки два. Два золотых, целое состояние.

— Два золотых мне не помешают, а главное, — говорю, — Салли мою отпустите, ее ваш господин, ныне покойный, в уплату ущерба забрал.

— Какого ущерба? — Она прищурилась.

— Попону она сжевала, шелковую...

— Вот оно что... Ну так золотой я с тебя за попону удерживаю, — говорит она. — А попона была вышитая? Из Парижа?

— Вышитая. Из Парижа.

— Два золотых удерживаю, — она говорит, — забирай свою Салли и проваливай.

Задумалась.

— А то, — говорит тихонько, — оставайся. Я скажу, что ты мне брат не родной, а двоюродный, и священник, как отпоец несчастных этих, в положенный срок нас обвенчает. Хочешь маркизом стать?

— Нет, сударыня, — говорю, — уж не взыщите. Ну какой из меня маркиз?

А сам думаю: этой дай войти в силу, она еще похлеще своего господина дела тут закрутит.

— Тогда убирайся, — взвизгнула она, — бери свою ослиху и убирайся!

Я не стал дожидаться, пока она передумает. Побежал к Салли.

— Салли, — говорю ей, целуя ее в мордочку, — вот ты опять со мной, а я с тобой. Доедай свое яблоко, Салли, не скоро ты другое такое найдешь! Потому как пора нам в путь. Так что прощай, добрый человек, — это я огороднику.

Тот даже расстроился.

— Я к тебе уже привык, — говорит, — и к Салли твоей.

Подумал.

— И все-таки, — говорит, — для ослика Женевьевы большие подходит.

*

— Салли, Салли, — пел я во все горло, пока мы с Салли топали по белой дороге, — опять мы вместе! Вот какой прекрасный Божий мир вокруг, синий и зеленый, золотой и белый, а мы с тобой в самом его сердце, точно в драгоценном сосуде.

Ветки деревьев, что росли у обочины, стали гуще, и вот они уже смыкаются над моей головой, как зеленый шатер, и вокруг такой зеленоватый свет, точно мы с Салли идем по дну озера.

Кругом ни души, птички поют... И тут кто-то как спрыгнет с дерева!

Я поначалу испугался, а потом смотрю, старый знакомец: господин вольный, из трактира «Кот в саногах»,

и его дружки тут как тут, выходят из-за кустов. У всех морды повязаны черными платками, но я их все равно узнал.

— Коптелек или жизнь! — говорит вольный господин.

— Бог в помощь, — отвечаю я, — и всей твоей честной братии. Нет у меня кошелька, только жизнь. Но зачем она тебе, добрый господин? Жизнь — это такая штука, она может принадлежать только тому, кто ею владеет, и ни отдать ее, ни поменять не представляется никакой возможности. Так, во всяком случае, философы говорят.

— А! — говорит он и стаскивает с морды платок. — Это ты, средний брат! Прости уж, не признал тебя.

— Меня признать непросто, — соглашаюсь я, — потому что я во всем средний. Я как все. А вот Салли мою по шляпе можно признать.

— Я на осликов, — говорит вольный господин, — редко обращаю внимание. Все больше на жеребцов в богатой сбруе.

— Ну, — говорю, — у каждого свои слабости.

— Ладно, — говорит вольный господин, — раз уж судьба нас свела, милости прошу к нашему шалашу. Пошли выпьем, как раз пора перехватить чего-нибудь, а то все утро торчим тут на дороге без толку.

— Отчего ж, — говорю, — не выпить с тобой и с твоими доблестными друзьями? Пошли выпьем. Сириснем удачу.

И, держа Салли за повод, нырнул за ним следом по незаметной тропинке.

Даже вольному человеку какая-никакая, а крыша над головой нужна, потому наши вольные господа устроили себе настояще логовище, на стенках у них висели мавританские ковры, на полу шелка всякие... Пили и ели они на серебре — не я один проезжал по белой дороге... В котле варится похлебка из зайчатины...

— Ну, — говорит вольный господин, — садись и угощайся, средний брат.

— Весело живете, — говорю я. — А чьи это земли?

— Людоеда.

Я заячью ножку чуть не уронил.

— Не боитесь, господа хорошие?

— Людоеду и без нас хватает, с кого пикуры драть, — отвечает вольный господин, — а владения у него большие, леса богатые... Вот рядом рыцарь живет, такой, с синей бородой, так он победнее будет маленько...

— Жил, — поправляю.

— Э? — поднял брови вольный господин.

— Эге, — говорю я, — неудачно получилось, право слово...

— Я-то думал, что ты простак.

— Я и есть простак. Даже два золотых, что заработал, госпожа его, а ныне безутешная вдова, и то с меня удержала.

— Баба, — говорит вольный господин, — она баба и есть. Дочь змеи.

Только-только завязался у нас душевный разговор, как вдруг — фррр! Что-то врывается в шатер и кидается мне на грудь; такой комок взъерошенной шерсти.

Я, значит, беру его за пширку, отрываю от себя, а он мне когтями в куртку вцепился, не отпускает.

— Ох ты, — говорю, — да это ж кот Жана, младшенький моего. И до чего перепуганный! Как бы чего не случилось с малышом нашим.

Малыш-то уже пару лет как бороду бреет и не одну девку в округе обрюхатил, но ведь все равно братик, младшенький...

Кот когти убрал, морду ланой утер, и тут я вижу: батюшки, да он в сапогах!

Ну, сапоги, конечно, паршивые, скроены кое-как, да и чего хотеть: кроились-то на кошачью лапу.

— Бедауу! — вопит кот жалостию.

— Ишь ты! — восхитились вольные люди.

— Хозяин мой-яяяу, — продолжает орать кот, — на верррную смерть!

— Да ты никак и впрямь говорящий! — Я все-таки исхитрился взять кота за пширку, и теперь он медленно поворачивался у меня в руках вокруг своей оси.

Он, бедняга, только муркнул.

— Все коты говорящие, — уныло признался он, — дело-то нехитрое. Но кому охота себя выдавать? С говорящего-то и спрос другой!

В общем, выяснилась такая история. Кот уговорил всех окрестных работников, чтобы на вопрос проезжающего короля (а короли у нас не так уж часто проезжают, будьте уверены!), чьи земли, отвечать, что, мол, земли маркиза Карабаса. А младенецкий, значит, одежонку свою припрятал, засел в пруд и стал кричать, что он этот самый маркиз Карабас и есть, и, пока он купался, сго, мол, разбойники ограбили.

— Погоди-погоди, — нахмурился старшой, — какие такие разбойники? Да мы твоего маркиза пальцем не трогали.

Кот уныло повесил усы.

В общем, король распорядился выдать Жану запасной комплект одежды, посадил его к себе в карету и поехал по его приглашению в гости. Иными словами, прямо людоеду в лапы! Потому как и земли, и замок, понятное дело, людоеда. А не Жана вовсе. У Жана, повторюсь, кроме кота, ни движимого, ни недвижимого — никакого имущества сроду не водилось.

А коту поручено было людоеда известить. Как? А как знаешь!

А с кота что взять? Вы когда-нибудь слышали, чтобы кот людоеда одолел?

Вот и я нет.

И теперь Жан в королевской карете катит прямо людоеду в лапы. А также сам король и, как выяснилось, принцесса. Так я и думал. Где Жан, там принцесса. Уж такая его удача. Только вот с людоедом ему не повезло.

— И впрямь беда, братцы, — говорю, — выручать надо Жана.

Вольные люди мнутся, переглядываются.

— Начнем с того, — это старшой, — что он нас оговорил. Не трогали мы его.

— Вы уж, братцы, простите, но неужто никогда ни одного честного путника вы не облегчали на толику благ земных?

— Ну, — признается старшой, — бывало дело. А только брата твоего мы не трогали. К чему голодранца грабить? К тому же не пойдем мы на людоеда. Во-первых,

он нас не трогает. А во-вторых, уж больно он неприятный тип, людоед этот. Ух до чего неприятный!

— Братцы, — говорю, — вот ежели бы вместо людоеда мой Жан в замке сидел, он бы вам жалованье платил серебром, и кормил до отвала, и браконьерь — не хочу, и что там еще...

— До этого, — мотает башкой, — еще дожить надо.

— Ладно, — говорю, — я пошел. Вы уж будьте любезны, присмотрите за Салли. Она вам пригодится. Только не перегружайте ее работой, она хороший ослик.

— Погоди, — мнется старшой, — и словко оно как-то. Или мы не разбойники? Сейчас выпьем еще немного, расхрабримся, колья да ники похватаем...

— Нет, — говорю я, — тут приступом не возьмешь. Тут надо хитростью. Большая у него дружина, у людоеда?

— Нет у него никакой дружины. Вообще никого нет.

— Не понял. Как же он замок держит?

— Чернокнижник он.

— Что с того? У нас тут любой сеньор чернокнижник.

— Да, но этот особенный. Всем чернокнижникам чернокнижник. Его даже маркиз-сосед боялся, а уж на что горяч был!

— Ладно, — говорю я коту, — пошли, проводиши!

Кот щерсть вздыбил, хвост распушил, уши прижал.

— Няууу! — отвечает.

Я вообще против котов ничего не имею. Но какие-то они... неизбежные, что ли?

— Признавайся, — говорю, — кто из вас такой замечательный план удумал? Ты своей кошачьей банкой или Жан, братишка мой?

Тот молчит, сапожком землю ковыряет.

— Ты хоть был там?

— Ушищас, — шипит, — ушищассс!!!

И от страха аж глаза свои зеленые жмурит.

— Ладно, — говорю, — я пошел.

— Что, — говорит старшой, — без оружия?

— Я так думаю, с оружием он меня на порог не пустит. А мы по-простому. А вы королевскую карету поддержите-то как умеете!

— Это мы завсегда, — говорит старой, — это, можно сказать, наша работа!

Поцеловал Салли в мордочку, еще раз попросил вольных господ не обижать ее и двинулся в путь. Замок людоеда темнеет, точно грозовая туча, да и неудивительно — гроза, кажется, и впрымь собирается... И в далеких синих тучах вроде бы как искры вспыхивают, и раскат грома далеко-далеко, чуть слышный...

Для чего Господь пристроил в тучах небесный огонь? Ума не приложу.

Долго ли, коротко, а дошел я до ворот. Ворота закрыты на железный засов, крепкие, дубовые...

Рядом молоток висит и дощечка медная.

Стукнул я молотком по дощечке.

Гляжу, ох-ох, ворота сами открываются, медленно так, па скрипящих петлях. Я осторожненько заглядываю внутрь — за ними двор пустой, серым камнем мошен. И ни души.

Замок уж такой огромный, что, когда на его башню смотришь, голову задирать приходится.

Гроза тем временем собирается уже бесповоротно, стянулись тучи над замком, бурлят, точно вода в мельничной запруде.

Как только я на крыльце взошел, двери тоже распахнулись. И голос из полумрака, тихий:

— Добро пожаловать, мил человек!

Окна в зале зашторены, в камине только пепел, пылью подернутый, а посередине залы стоит старичок, хилый такой, чуть сгорбленный.

— Ты, — говорит, — никак грозу переждать решил? Милости прошу.

Я оглядываюсь — зала тоже тихая, пустая, факелы на стенах не горят, только пара свечей в подсвечнике на столе чуть теплится, и стол пустой — ни скатерти, ни приборов, ничего... И тихо-тихо, даже мыши в соломе не шуршат.

Ох, братцы, как мне страшно стало. Стою и крою про себя Жана последними словами.

— Я, сударь, мимо проходил. Позволите — грозу пережду и дальше пойду, а может, сделаете милость, на

работу наймете. Я странствую налегке, тут найдусь, там поработаю...

Он ручки сухонькие потирает.

— Нет, — говорит, — мне работники не нужны. Хозяйство у меня маленькое, коза да куры... Я за ними сам ухаживаю.

— Так ведь печь натопить, воды натаскать...

— Мне, мил человек, много не надо.

Мне аж стыдно стало. Тихий человек, любезный... А на него поклон все возводят.

Я и бухнул:

— А в округе говорят, ты, мол, людоед!

— Темный у нас люд, — говорит хозяин замка, — безграмотный. Вот если бы было просвещение распространено повсеместно и селяне тянулись к свету науки, то суевериям быстро конец бы пришел. А их только в кабак и тянет...

— Вон, дверь у тебя сама собой распахивается!

— Механизм, и больше ничего, — говорит он. — Вон блок укрепленный, вон веревка. Что ж я буду под дождем бегать, дверь открывать?

— Что обращаться можешь во всяких зверей...

— Суеверие, — отвечает, — темнота и невежество. Ты вообще представляешь себе, как человек устроен?

— А как же. Смертная плоть и бессмертная душа.

— Волосяной покров, кожа и мышцы. Далее идут сопротивленные расположенные внутренние органы. Как они могут трансформироваться в звериное тело? Это противно законам природы.

— Жаль, — говорю, — я бы посмотрел на сие удивительное зрелище!

А сам думаю: уж очень он осведомлен о том, как человек изнутри устроен! Все ж таки наверняка людоед. С другой стороны, если не брать в расчет бессмертной души, человек отличается от животных только тем, что ходит на двух ногах. Взять, например, мою Салли...

— Добрый господин, — спохватился я, — раз уж ты столь щедр и милостив, то, может, и еда у тебя найдется?

— А как же, — говорит он, семенит к буфету и достает оттуда блюдечко, а на блюдечке высохший сухарик и корочка сыра.

— Благодарствую, — говорю.

А сам думаю: это тебе не синебородый рыцарь, грозный, гневливый, убийца женщин, это почтенный старец. Ну вот повернулся ко мне спиной, что бы мне его не шарахнуть подсвечником? Так ведь не могу... Жалко и его живую душу, и мою, бессмертную!

А все ж таки едет, едет карета к замку, а в карете король и принцесса и братец Жан... Разве что ребяташки вольные и правда задержат ее немного на дороге, дерево понерек положат или что там...

— Господин, — говорю, — ты уж позоволь, я в курятник схожу, курицу зарежу. Я ее так готовлю, королю подать не стыдно будет!

— Питаться животной пищей, — отвечает он кротко, — для мыслящего человека неразумно. Потому как от мяса полнокровие, гневливость и избыточная отвага. Можешь пойти собрать яйца.

Ну что тут скажешь?

— Да возвращайся поскорее, — говорит, — потому как вон гроза собирается.

— Да что мне, я не сахарный!

— Не в том дело, — говорит ласково, — а в том, что эта гроза как раз то, что мне требовалось для дальнейших изысканий! И коль уж ты здесь, то будь любезен, окажи мне одну услугу... Мне помочь требуется, а прислуга разбежалась вся.

— Располагай мной, сударь, как душе твоей угодно, — говорю я, а у самого поджилки трясутся.

Людоед он, вот те крест, людоед!

— Тогда пойдем, — возвысил он голос, — Бог с ним, с курятником! Бери свечу и пойдем...

Там лестница в подвал была, он впереди идет, ключи от пояса отцепил, держит за кольцо, а я за ним, со свечой. Иду, рука у меня тряслась, тень его на стене растет, огромная, синяя. Дурак, думаю, дурак, средний брат, сам своей рукой себя в подвал на крюк разделочный подве-

шиваю! Ах, у него там на холоде все и хранится... И бочки для засола, и коптильня, и еще, как на бойне, такие тазы медные, в которые кровь сливают...

Прислуга разбежалась у него, у людоеда!

Он ключами гремит, дверь отпирает...

Ничего подобного в подвале-то и нету. А есть много такого, чего я и пересказать не могу: колдовские сосуды, стеклянные кувшины, шары, катушки какие-то медные, проволочки, столб железный посреди погреба от пола до потолка, а у столба...

— Отец мой, — говорит тихонько, — грозный победитель мавров, получил этот замок от старого короля... Однако я с ранней юности отринул кровавые игрища и обратил свой взор к познанию натуры... И родитель на смертном одре проклял меня, единственного своего сына, за то, что я пренебреж семейством поприщем и славный род опозорил. С тех пор преследуют меня неудачи в моей науке, хотя, признаться, верить в то, что проклятие может неблагоприятно повлиять на ход научных опыто, есть чистейшей воды суеверие, недостойное культурного человека.

— Это ты, сударь зря, — говорю я, а сам еле зубы разжимаю, которые так и норовят стукнуть друг о друга, — ибо родительское проклятие — самое страшное, что может произойти с человеком.

— Прелрассудки, — машет он рукой. — Признаю, я не только воинским долгом, я и семьей в азарте научных исследований пренебрег. Ибо когда умирала в горячке супруга моя, маркиза, я, увлекшись, записывал симптомы и поздно лекаря вызывал.

Тут он хихикнул.

— Однако, — говорит, — эту беду я поправлю. Ибо после долгих лет исследований убедился я, что все в природе обратимо. И ежели можно жизнь отнять, то можно ее вернуть.

— Да, коли ты сам Господь Бог.

— То, что Богу подвластно, то и человеку под силу. Огонь, скрытый в молнии, есть движущая сила... И, приспособив эту движущую силу в небольшом количестве к мертвей мышечной ткани, можно заставить ее сокращаться,

иными словами, вернуть ее в живое состояние, хотя и на небольшое время, пока движущий импульс не иссяк.

Вот тут я и взглянул на то, что к столбу было примотано. Высохший труп женщины, кожа что твой пергамент, лицо прядями светлых волос прикрыто, платье истлевшее, но видно, что парчовое было, дорогое...

— Кто это, господин? — спрашиваю я шепотом.

— Моя жена, — говорит он спокойно. — Когда скончалась супруга моя, я ее при соответствующей температуре сохранил в относительно неповрежденном виде по рецепту египетских мудрецов, с тем чтобы, когда овладею тайной жизни и смерти, вдохнуть в нее жизненную искру и тем самым вновь обрести помощницу, разделяющую мои духовные интересы.

— Негоже это, сударь, — говорю я шепотом.

А сам дрожу — людоед он, как есть людоед, всех вокруг извел, отца в могилу свел, жену свою опять же, а кого не свел, те, видно, разбежались...

— Ты, — отвечает он, — в суевериях погряз, потому как темнота, а в науках ничего негодного и противоестественного нет, поскольку они следуют законам природы. Сейчас ассистировать мне будешь.

— Чего, сударь?

— Видишь, — говорит, — столб железный, а от него медная проволока тянется. Надо ее поднять на самый высокий шпиль самой высокой башни, тогда небесный огонь ударит в нее, пойдет по столбу, переродившись в жизненную силу, и сообщит ее неживой материи, чтобы опять сделать ее живой. Ибо что есть живая материя, как не мертвяя, оживленная движущей силой? Я это окончательно доказал, и дело теперь за тем, чтобы поставить решающий опыт, подтверждающий многолетние исследования.

— Ага, — говорю, хотя в глазах у меня уже темно от ужаса.

— Так что бери вон ту катушку с проволокой, которую я называю «провод», поскольку по ней должен пройти жизненный импульс, и тащи ее наверх, разматывая по дороге. На самую высокую башню, ясно тебе? Только держи катушку за деревянные ручки и к проволоке не касайся,

а то сила, соприкоснувшись с живой тканью, оказывает действие обратное, иначе, губительное!

Я, значит, беру катушку и, пятясь, выбираюсь из подгреба, оставляя за собой блестящий след, будто слизняк какой, и в голове только одна мысль — убраться бы отсюда подальше... Из залы на башню ведет винтовая лестница, узкая, темная, проволока, именуемая проводом, по всему залу тянется медным ручейком, и тут мне кто-то темным комком бросается под ноги.

- Ты чего тут делаешь, — говорю, — или не страшно?
- Охххх, — шипит кот, — страшно!!!
- Так беги отсюда! Мне самому страшно!
- Фррр! Не брошу...

Никогда этих котов не поймешь.

— Тогда, — говорю, — держи катушку. И лезь на самый верх. Там прицепишь. Только, — говорю, — за проволоку не берись и сапоги не снимай. Знаю я этот небесный огонь! Как шарахнет, костей не соберешь.

- Охжживит, — шипит кот, — ужжассс!
- А мне сдается, — говорю, — что мы тут все собирались для того, чтобы разрешить его участь раз и навсегда. Недаром оно все так совпало. Уж не знаю как, но верю, что пришел его час, господина этого ученого! А посему делай, как он говорит, и поглядим, что из этого получится.

А молнии так и лупят, и у кота уже вся шерстка дыбом и искры проскакивают.

- А ты? — говорит котишко, сверкая глазищами.
- А я, пожалуй, кол возьму покрепче. Господь помогает тому, кто сам себе помогает.

Ни оружия у него не было на стенах, ни деревянек во дворе. Ученый человек, одно слово. Так что взял я кочергу у камина и боком-боком вниз спустился. Как раз вовремя — котишко, видно, дотащил на башню этот самый «провод», потому что в погребе все голубым светом озарилось, по столбу пробежали огненные вспышки, и вижу я, тело в захватах начинает шевелиться.

Как же мне, братцы, страшно стало!

А старикашка-людоед подпрыгивает, словно и в него небесный огонь бьет; руки потирает.

— Вот, — кричит, — подруга моя, в которую я вдохнул жизнь своим искусством и знаниями! Вот, берегись, природа, ибо я силой вырвал у тебя то, что другие вымаливают попапрасну! Нет, — говорит, — таких темных областей, — говорит, — которые бы наука не могла пронзить своим сияющим светом. Чего стоишь, — это уже мне, — разводи скобы.

— Господин, — говорю, — ты бы уж лучше сам...

— Я должен вести наблюдение, — отвечает он важно, — и записывать все в дневник.

Я перекрестился и приблизился к столбу. Только за скобу взялся, оно голову подняло и глянуло на меня своими белыми глазами. И такая мука была в этом взгляде, что у меня даже страх на миг прошел.

— Сейчас, — говорю, — госпожа моя. Потерни.

И разъял скобы, одну за другой.

Оно стоит, пошатывается, медленно головой поводит.

Учゅяло его. Обернулось к нему, сделало шаг и застыло.

А он, людоед, стоит у конторки и в тетрадку что-то быстро-быстро пишет. Потом отбросил перо, шагнул к ней.

— Добро пожаловать, моя дорогая супруга! — говорит он и протягивает ей руку, чтобы, значит, ввести ее в эту юдоль скорби.

И оно протянуло к нему обе руки. И как схватит за шею. Что говорить?

Я ей мешать не стал.

Уж не знаю, было ли оно человеком, только сам он давно уж им не был. Не может бессмертная душа так низко пасть. Значит, он ее потерял где-то, во время своих опытов.

Он на пол повалился, захрипел и умер. И тут иссяк жизненный импульс у его творения. Глянуло оно на меня, на пол повалилось и застыло — и на высохшем лице вроде как улыбка довольная.... Или гримаса, кто его знает...

Тут клубок мохнатый, разбрасывая искры, скатился по лестнице. Я его поймал за шкирку.

— Все, — говорю, — кранты людоеду, давай беги, зови ребятишек в помощь, да пускай прихватят хоть чего из еды и убранства, тут ничего нет, кроме пыли...

Что тут говорить? Похоронили бедняжку эту по-христиански, а людоеду кол осиновый меж ребер — а то ну как он и в могиле не успокоится? Залу в порядок привели, все инструменты чернокнижные во дворе сложили и сожгли, пыль вымели, огонь разожгли в очаге, пауков повыгоняли... Котишко важный ходит, командует.

— Вы, — говорю, — были люди вольные, а теперь дружина маркиза Карабаса! А потому веселитесь, гуляйте и меня не забывайте! Крыша над головой есть, а золото наживете!

А тут гляжу, карета едет — шестерка лошадей вороных, ох красавцы, и лакеи на запятках, и гербы на дверцах...

— Встречай, — говорю, — хозяина. Только это... ты уж ему не рассказывай ничего про людоеда, он же тут с молодой женой жить будет... Ты лучше скажи, что ты его, людоеда, съел!

Он фыркает, усы лапкой расправляет.

— Кот, — говорю, — в доме — к счастью. А я пошел. Где там моя Салли?

— Мы ее к козам поставили, — говорит старшой, — чтобы дождик не мочил, ветер не хлестал! И куда ты пройдешь, а, средний брат? Дорогу-то вон как развесло.

— Осел не лошадь, — говорю, — везде пройдет!

И пока карета въезжала в ворота, мы с Салли тихонько вышли через задний двор. Нахлобучил я на нее шляпу поплотнее, чтобы дождь не хлестал, закутался в плащ потеплее, и пошли мы с ней дальше. Жан счастье свое вроде бы нашел, а я-то нет.

*

Идем мы, значит, идем... Гроза пропала, тучи разошлись, и видно, как солнце заходит за синим лесом... И на востоке уже звезды проглядывают, такие ясные, будто умытые... Вот интересно, как они к небесному своду крепятся? Думаю, не очень прочно, потому что время от времени ведь падают...

Салли травку по обочине щиплет, а я ж не травоядный — живот подвел, сил нет.

— Эх, Салли, может, поторопились мы? Посидели бы на кухне, глядишь, нам бы чего и перепало!

Салли фыркнула и дальше себе семенит, ей-то что.

— Нет, — говорю, — давай свернем-ка в лес, пока не стемнело. Наверняка малинник где-нибудь поблизости на вырубке или земляника в овражке. Говорят знающие люди, в земле растут такие грибы, называются трюфели, вкусные, сил нет, так вот, Салли, тебе сроду их не найти, потому как ты не свинья, а на них свиней натаскивают.

Чуть мы только в лес углубились, как и правда стало темнеть, и стемнело быстро. Какой там малинник!

Я только и успел оглядеться; вроде замок какой-то виднеется, но вдалеке и за деревьями — не видать ничего. У нас замков кругом, как я уже говорил, что грибов, но в третий раз что-то счастья пытать не хочется, особенно на ночь глядя.

Так что я подыскал дерево-пораскидистей, умостился меж корней, плащ под голову подложил, а Салли рядом привязал, чтобы, значит, не ушла далеко.

И успул.

Говорят, когда под деревом спишь, могут произойти с человеком всякие неприятности. Кипарисы, например, высасывают разум. Засыпает человек умным, а просыпается полным идиотом. Но мне это, честно говоря, не грозит.

Еще в деревьях живут лесные девы. И ежели ты такой нонравишься, она может тебя зачаровать. Тебе вроде бы снится, что ты сидишь на подушках в зеленом дворце, играешь с прекрасной зеленовласой девой в любовную игру... Такой хороший сон, что и просыпаться не хочется. А на самом деле заморочила тебя нечисть, запутала, си-лушушку выпила... Приходит такой в себя, а он уже не бравый молодец, а как бы с виду старец столетний — всю его жизненную силу нечисть к рукам прибрала.

Хоть бы лесная дева приснилась, не так обидно было бы. Но я, братцы, так намахался — сначала с одним чернокнижником, потом с другим, — что даже и снов не видел. Только глаза закрыл и сразу заснул. А как открыл их, лучи солнечные падают почти отвесно сквозь листву, птицы в ветвях возятся, а вот Салли рядом нет.

Свели ее, не иначе! Или волк утащил бедную мою Салли. Я чуть не заплакал с досады.

Но, порассудив и оглядевшись, увидел, что уздачка ее на земле валяется. То есть стояла Салли, стояла, потом надоело ей это, она головой помотала, уздачку скинула и пошла куда-то по своим ослиным делам. А какие у ослов могут быть дела? Глупости одни!

И я, дурак, плохо, видать, в темноте ее привязал.

Кусты в одном месте были слегка примяты, видно, она туда и нырнула. Я следом. Получается так, что убежала моя Салли прямо в чашу леса, туда, где за густыми зарослями вчера я замок увидел. А кто у нас в замках сидит? Чернокнижники и людоеды, понятное дело. Разве ж они осла пожалеют...

Я руки ковшиком сложил.

— Салли, — крикнул, — Салли!

И слышу из-за дерева недовольное:

— Чего орешь?

Гляжу, девчонка выходит, шустрая такая, лет десяти, на голове красная шапочка, в руках корзинка. Будете смеяться, братцы, я подумал поначалу, что моя Салли в девчонку превратилась. Говорят же, бывают такие случаи.

Потом гляжу, в корзинке вроде пирожки салфеточкой прикрыты. Если бы Салли превратилась, откуда бы она пирожки взяла? Нет, думаю, Салли где-то там, в лесу, а девчонка тоже в лесу, но сама по себе.

— И что ты, — спрашиваю, — ходишь одна-одинешенька?

Она нос рукавом вытерла, говорит:

— А чего?

— Не страшно? Лес все-таки.

— А чего мне бояться? Деревьев?

— Ну, разбойников там... Волков...

— Ох, насмешил, — говорит.

— Вон там я какой-то замок видел. Там наверняка колдун живет.

— Никто там не живет, — говорит она, — знаю я этот замок.

— Так ты, выходит, местная.

Девка как девка, на виду уж никак не похожа... Видий с таким сопливым носом не бывает.

— Ты куда это собралась?

— К бабушке, — она говорит, — она одна в лесу живет, в избушке. Она заболела, я ей пирожки несую.

— Откуда ты знаешь, что она заболела?

— А маме приснилось.

Так, думаю, мама умом похвастаться не может. И бабушка тоже, раз живет в лесу, в избушке, одна-одинешенька.

Хотя...

— А скажи-ка, деточка, твоя бабушка колдовать умеет?

— Еще как! — оживилась Красная Шапочка. — Она вообще ведьма. Думаешь, почему тот замок пустой? Это она его заколдовала сто лет назад!

— Целый замок?

— Ага!

— Сколько же твоей бабке лет?

— Пятьсот. Вот!

— Ну и горазда же ты врать, — говорю. — Послушай, ты ослика не видела, слушаем? Маленький такой ослик, в шляпе.

— Это твой?

— Ага. Мой ослик. Салли.

— Он там, в шиповнике, — говорит она. — Я тоже хотела его поймать, но там колючки... А зачем он в шляпе?

— Чтобы солнце голову не припекало. Вот ты зачем в шляпке?

— Я-то для красоты.

— Ну, — говорю, — мы за красотой не гонимся. Угостинь пирожком, а?

— Да пожалуйста. — Она отворачивает уголок салфетки и подает мне пирожок. — Это с капустой. А тот с ягодами. Ты какой хочешь?

— Оба.

Она задумалась.

— Пожалуй, я тоже поем, — говорит, устраивается на бревне, пристраивает корзинку рядом и берет пирожок, — а бабушке скажу, что волк напал. И все съел!!!

— А ты волка не боишься?

— Взаправду? Нет. Бабка тут на всех страху нагнала. Волки эти места десятой дорогой обходят. Ну ладно, пару пирожков я ей оставлю все-таки. И малины соберу. А то еще разозлится, в лягушку превратит. А ты в тот замок не ходи.

— Это почему?

— Я ж говорю, заколдовано там, — говорит она с набитым ртом.

— Но там же мой ослик!

— Подумаешь, ослик!

— Это тебе подумаешь...

Иногда дети говорят и вытворяют такие жестокие вещи, что диву даешься. А все потому, что дети на самом деле добра от зла не отличают, хотя большинство добрых людей думают наоборот; что, мол, человек рождается с чистой душой, а потом она в процессе жизни постепенно портится, вроде как сыр или масло, а я так полагаю: человек растет, и душа с ним растет, а у детей она еще маленькая...

И ведьмы, я думаю, что дети — у них душа так и остается маленькой, не вырастает, вот они добро со злом и путают. Всем известно, что ведьмы злопамятны, мстительны и обзываются-то на всякую ерунду, а воздают за обиду так, что мало не покажется.

— И все-таки, — говорю, — нехорошо, что ты одна по лесу шастаешь. Тут неподалеку один людоед жил. До вчерашнего дня. А ну как забрал бы тебя на опыты!

Она задумалась.

— Мне и самой надоело. Она меня все время гоняет. Самой лень, вот меня и гоняет. Я, пожалуй, маме расскажу, что бабушку волк съел, — говорит она, — и меня тоже. А потом пришли лесорубы, разрубили волку живот и нас выпустили.

— Ерунда. Так только в сказках бывает.

— Она поверит. Всему верит, прям как маленькая. Ну ладно, я пошла. Все-таки отнесу бабке пару пирожков, а она мне за это волшебную травку покажет. Ею кого хочешь приворожить можно, ага. Только надо в полночь собирать, когда роса сойдет и сова ухнет...

— Рано еще тебе.

— И вовсе не рано. В самый раз. Бабка мне обещала все свои секреты передать, потому что с мамой, она говорит, ей трудно работать: у нее в одно ухо влетает, в другое вылетает. И ругаются они все время. Тебе еще пирожок дать?

— Давай, — говорю, — ладно, я побежал. Если что, зови.

— Да что со мной сделается, меня тут все боятся, — отмахнулась она, опять нос рукавом утерла и пошла своей дорогой. А я, значит, за Салли.

Ослы, видите ли, устроены очень толково. Они любую колючку переварят, через любые заросли продерутся. Что им какой-то шиповник! А я, пока лез, все руки ободрал.

Гляжу, передо мной и впрымь замок. Только какой-то очень уж защущенный. Во-первых, ни двора, ни ворот, все травой поросло и кустарником, во-вторых, окна все плющом увиты.

И на лужайке перед входом стоит Салли, раздраженно обмахиваясь хвостом, и жует розанчик на кусте шиповника. Шляпа на бок съехала.

— Что ж ты, — говорю, — дурочка!

Еще повезло, что целую-невредимую нашел се, спасибо этой Шапке.

— Куда ты забралась? Онять замок? Хватит с меня замков.

А сам стараюсь в распахнутую дверь заглянуть — вроде как в замке темным-темно, потому как плющ па окнах...

Шапка эта говорила, что замок заколдован, но Шапка, как я понял, вообще приврать здоровья, есть такие особы, ни слова правды от них не добьешься. Травка приворотная, надо же!

Алчность — смертный грех, но я ж не то чтобы обобрать хотел кого... Мне бы пару монет отыскать или там серебряный кубок, чтобы обменять его в трактире на сытный обед — мало ли что в пустом замке найти можно!

Я Салли привязал покрепче, перекрестился и шагнул внутрь.

Поначалу я думал, на полу ковер, потом понял: пыль... Может, ковер там тоже был когда-то, но давно истлел.

На стеле ржавое оружие висит, алебарды, щиты перекрещенные... Герб какой-то, паутиной весь затянут...

Ох, думаю, неладно дело-то. Замки у нас просто так не оставляют — один владетель уйдет, другой въедет, а тут за сто лет никто не заботился поселиться, пыль подмести...

Может, не так уж она врала, Шацка-то?

Факел торчал на стене, я его снял, зажег — он всыхнул ну прямо как солома... Тени по потолку, точно летучие мыши, мечутся. Пустая зала, а посредине вроде как стол стоит.

Подошел ближе — никакой это не стол. Здоровенное дубовое ложе, и на нем, вся в белом, снит девица. Причем, что характерно, все в замке сгнило, а она цела-целехонька и даже вроде дышит. Или это у меня факел в руке дрожит?

Молоденькая совсем, хотя, наверное, лет сто тут пролежала, свеженькая...

Я ее даже целовать не собирался, вот те крест! Просто хотел проверить, есть ли дыхание.

В общем, она — хлои! — и открыла глаза.

— Ты кто? — говорит.

— Рене, сударыня.

Она протягивает свои белые руки, берет меня за ворот, притягивает к себе и целует. При этом платье ее истлевшее расползается, и видно, что девица беленькая, пухленькая и весьма привлекательная.

— Ах, — говорит она, переведя дух, — не иначе, мне это снится.

— Напротив, сударыня, — говорю я вежливо, — вы снали волшебным сном, а теперь проснулись. Нечаянно я вас разбудил, но, коль разбудил, полагаю, надо бы вам подняться. Обопритесь на мою руку!

Она встает несколько неуверенно, поскольку еще не обвыкла, и я на всякий случай отворачиваюсь, потому что вместо платья на ней одни лохмотья. Снимаю с себя куртку, накидываю ей на плечи, а сам думаю: «Еще разжиться тут каким добром надеялся, дурак! Тут не то что разбогатеешь, последнее отнимут».

— Ничего не понимаю, — говорит девица, — где все? Где слуги? Где маман и папа? Почему темно так?

-- Заколдовали вас, сударыня, -- говорю. -- Наверное, вы с какой-нибудь здешней ведьмой не поладили...

— А, — говорит она, наморщив лобик, — было дело, одна уродливая старушка все просилась, чтобы ее на праздник пустили. Но я велела не пускать. Я люблю, чтобы меня все красивое окружало. Говорят, она, когда выходила, через правое плечо плонула и три раза обернулась вокруг своей тени!

— Вот, — говорю, — оно самое. А как следствие, вы, сударыня, проспали, нетронутая, лет сто, не меньше...

— И меня должен спасти прекрасный принц? — говорит она с надеждой в голосе.

Я что, похож на принца?

— Самое разумное, — говорю, — лечь обратно на ложе и подождать принца. Только я бы на вашем месте сначала поел чего-нибудь.

— Лучше куропатку с трюфелями, — говорит девица, хлопая ресницами.

— С этим придется подождать. Поищу чего-нибудь в саду, — отвечаю, — там вроде какая-то дичка была... и малина разрослась. Вы бы пока прибрали там, в замке, что ли? Принц придет, а там пыльница в ладонь толщиной, негоже это!

— Я очень устала, — томно говорит принцесса и усаживается на ложе.

— Еще бы, — говорю, — столько снать! Вы походите, сударыня, разомнитесь, поглядите на Божий мир, вон солнышко взошло!

— Слишком ярко для моих глаз, — говорит она. — А принц вообще когда придет?

— Понятия не имею, сударыня!

— Может, — говорит она с надеждой, — я еще посплю?

И тут я слышу, трубят рога над лесом...

Голоса, смех, треск кругом стоит, словно целая компания прорубается сквозь заросли, — я-то прошел и ничего, только поцарапался слегка, но он же принц!

Сильный, красивый, на белом коне. Свита впереди бежит, дорогу расчищает.

— Оп-па, — говорю, — вот и принц!

Она так и заметалась, бедняга.

— Что же делать, — говорит, — что же делать! Я не одета! Сижу тут на крыльце неизвестно с кем, неизвестно зачем! И вообще, что он подумает?

— На вашем месте, — говорю, — я бы тихонько лег на ложе, глаза закрыл... А когда принц вас увидит, он, очарованный вашей красотой, конечно, поцелует вас, и вы его вознаградите соответственно. А я пойду, пожалуй.

Она шмырк — и в замок... Даже спасибо не сказала.

Я Салли отвязал — и в кусты! А куртку не стал обратно требовать, ну ее, в самом деле!

Родитель мой, царство ему небесное, рассказывал, что знал одну семью, там девица от какого-то потрясения заснула так крепко, что ее двадцать лет добудиться не могли. А когда проснулась, тоже была молоденка и свеженькая. Первые два дня. Потом как-то быстро постарела и стала выглядеть на все восемьдесят. Папаша говорил, время обмануть нельзя, оно само кого хочь обманет.

*

И вот идем мы с Салли по белой дороге. Двух черно-клижников одолели, принцессу разбудили, ни гроша у меня в кармане... Трактирщица, думаю, славная была, может, вернуться? А может, еще кто впереди встретится, пам с Салли торопиться некуда, все нас обгоняют — и господа на горячих конях, и гонцы королевские, и кареты...

Нет, одного ногиали. Пешего. Идет, на посох опирается.

— Бог в помощь, — говорю, — добрый старец.

— И тебе, — отвечает.

— Откуда и куда путь держишь? — спрашиваю.

— Из самого Ерусалима, — говорит, — ходил поклоняться Гробу Господию. Видишь вот, раковина-жемчужница? Ее носят все, кто удостоился этой великой чести. Потому как я пилигрим и странствую во славу Господа. А иду я в Лурд, к圣ому источнику...

— А я просто так иду, — говорю, — тоже странствую, но без цели и назначения. И ежели тебе тяжело, может, моя Салли тебя подвезет немногого? Она девица хрупкая, да вроде и ты не тяжелый.

— Славный у тебя ослик, — говорит пилигрим, — видишь, у него черная полоска на спине, а на холке вроде бы поперек такая же — этак крестом... Это знак того, что кто-то из его предков возил на своей спине Христа, так что роду он у тебя весьма почтенного. Таким осликом можно гордиться. А почему его Салли зовут?

— Папаша мой, — отвечаю, — который и завещал мне заботиться об этом ослике, в молодости своей воевал в Великой Британии, наемником. И вообще, пока мельником не стал, был он человеком горячим, храбрым и любвеобильным. И была там одна Салли.. Он говорил, у нее такие же глаза были.. Ну почти такие же. Потому как с этой Салли никто сравниться не может. Вы поглядите, какие ресницы! Жаль только, что она не говорит!

— Ослы говорят только в исключительных случаях, — говорит пилигрим, — и этим отличаются от, скажем, котов... И видят порой такое, что недоступно взору их хозяина. Ты про Валаама слыхал?

— А как же, — говорю, — и про его ослика. Интересно, не Салли ее, часом, звали?

— Сие, — говорит старец, — священная книга не сохранила.

— А жаль...

— Да, — согласился старец, — жаль. Однако, коль скоро ослик твой не говорит, хотел бы я услышать от тебя какие-нибудь разумные и рассудительные речи. Так и путь короче будет.

— Я средний брат, — говорю, — какие уж тут разумные речи! Дурень я, как есть дурень... То есть ни то ни се...

— Иными словами, простак, — замечает старец, — про которого в Писании говорится. А вот что бы я хотел услышать, простая твоя душа, с пользой ли провел ты время в странствиях?

— Не знаю, отче. Я убил рыцаря и людоеда, уговорил шайку разбойников поступить на службу, три раза чуть не женился — один раз на трактирщице, второй — на маркизе, а третий — на принцессе.. Невелика польза. Вот иду вместе с Салли, в карманах ни гроша, да и карманов-то нет, поскольку куртку свою оставил я в одном заколдо-

ванном замке, брюхо подвело, поскольку с утра я всего лишь два пирожка съел... нет, вру, три.

— Это поправимо, — говорит пилигрим, — у меня в котомке сыр, хлеб и медовые соты... Однако ж скажи, чего ты ищешь, коли до сих пор не успокоился?

— Не знаю, — отвечаю. — Вот хотел Божий мир поглядеть. Как и чем звезды к небу крепятся? Отчего Солнце вокруг Земли ходит? Отчего в тучах порой небесный огонь полыхает? Ведь как удивительно мир устроен! Это ж не захочешь, а залюбуешься. А более всего, отче, хотел бы я узреть Чудо! Ведь как без чудес топтино жить нам тут, на земле... Раньше, говорят, чудеса на каждом шагу были, вот ты сам сказал, Валаам, да и другие, кто по этой земле ходил... А теперь что?

— Чудо, — говорит старец, — само выбирает, кому показаться. Это тебе не кот говорящий. Что ж, простая твоя душа, ежели со мной в Лурд пойдешь, может, и сподобит нас Господь увидеть Чудо! Ибо я тоже всю свою жизнь Чуда взыскую, да, видать, не заслужил. А вообще, — говорит, — Божий мир сам по себе Чудо, пойдем, разглядим его получше.

— Пойдем, отче, — говорю, — ну их, этих людоедов и чернокнижников... хочу на людей посмотреть... и знаешь что? Все-таки я думаю, что ту ослицу тоже Салли звали!

— Поскольку имя ослицы, как мы уже установили, затерялось в анналах, — говорит старец, — то и такая возможность не исключена. Давай-ка обсудим этот вопрос по дороге...

ТИМОФЕЙ АЛЁШКИН

Сражение у Стеклянного Шкафа

(В гостиной Штальбаумов)

24 декабря 18.. года

Наши историки всегда поддаются искушению за отсутствием годного материала пускать в ход негодный.

Ганс Дельбрюк. История военного искусства

Введение

Интереснейшие воспоминания, оставленные очевидцем сражения и дошедшие до нас в пересказе одного немецкого писателя¹, до сих пор оставались обойденными вниманием военно-исторической науки. Настоящими заметками, в которых впервые, насколько нам известно, делается попытка составить правдивое историческое описание битвы, мы надеемся привлечь интерес научной общественности к этому незаслуженному забытому событию европейской военной истории XIX века.

Автор хорошо осознаёт, насколько ограничивает находящийся в его распоряжении материал возможность воссоздания настоящей исторической картины сражения. До нас не дошли ни официальные реляции сторон, ни хоть какие-нибудь сведения с мышиной стороны, так что даже самое имя главнокомандующего армией мышей исчезло в веках. Наш единственный источник, девица Марии Штальбаум, человек, несомненно, наблюдательный и остроумный, к сожалению, однако, была совершенно несведуща в военном деле.

Пересказчик же воспоминаний, хотя и попытался, возможно воспользовавшись также устным рассказом Мари, придать описанию большую точность и последовательность, отдал слишком большую дань стремлению украсить

¹ Эрист Теодор Амадей Гофман в. Щелкунчик и Мышиный Король. (Любое издание.)

повествование маловажными подробностями, иногда, вероятно, сильно преувеличенными или даже вымыщленными. Но даже при всём этом нам кажется возможным на основании рассказа Гофмана выполнить поставленную задачу.

Политическая ситуация

Начавшийся из-за мелкого конфликта по поводу экспорта сала спор между Нюрнбергским королевством и королевством Мишляндия постепенно перерос в затяжную династическую вражду между правящими домами двух государств¹. При жизни старой королевы Мишильды Мишляндия, потерпевшая поражение от Нюрнберга в быстротечной войне, в которой погибли семь принцев — сыновей Мишильды², и потерявшая по условиям мирного договора значительную часть своей территории³, вынуждена была на время отказаться от военного реванша. Мишильда удачно интриговала против королевского дома Нюрнберга и занималась внутренними делами королевства. Своего последнего сына, известного в истории как Мишиный Король, она воспитала как мстителя за погибших братьев и соплеменников.

Мишиный Король оказался достоин выпавшего ему жребия. Пока королева занималась делами управления, принц втайне создавал и обучал мышиную армию, которая уже скоро предстает перед нами как грозная военная сила.

Мишильда погибла, когда для каких-то своих целей инкогнито прибыла в Нюрнберг, во дворец. Королеву убил молодой Дроссельмайер (имени его мы не знаем), позднее получивший прозвище Щелкунчик, принадлежавший

¹ Дома эти состояли в родстве между собой.

² Мишляндия оказалась совершенно не готовой к войне. В описании Гофмана дело военной представлено как резня беззащитных мышей, не оказывавших сопротивления («...а затем их предали на кухне позорной казни...»).

³ Врагам досталась даже столица мышного королевства (ср. у Гофмана: «Мишильда с небольшой кучкой уцелевших родичей покинула эти места скорби и слез»).

к могущественному аристократическому семейству, одной из опор трона¹. Сразу же после убийства он был формально сослан из столицы, но в то же время получил королевский сан и престол Кукольного королевства — небольшого зависимого от Нюриберга государства, лежащего между Нюрибергом и Мышляндии.

Убийство королевы Мышляндии при дворе Нюриберга, к тому же в подобных обстоятельствах, являлось *casus belli*.

Вместо извинений и выдачи убийцы королевы в Мышлянию, того фактически наградили и сделали суперсном, что делало его личность неприкосновенной и исключало выдачу. Вероятно, в Нюриберге рассчитывали, что молодой король Мышляндии не решится начать войну и вынужден будет молча терпеть оскорбление и удовольствоваться формальными извинениями.

Но не таков был Мышпыый Король. Для него пришёл наконец долгожданный день, когда затаённый гнев и жажда так долго подготавливаемой мести получили законный повод к удовлетворению — и какой повод! В своём сыновнем горе он не мог выбрать другой цели первого удара, кроме Кукольного королевства, где правил убийца его матери, молодой Дроссельмайер. Можно представить, как он мечтал по-рыцарски, лицом к лицу, встретить своего врага в битве. Его мечте суждено было сбыться на поле у Стеклянного Шкафа.

Стратегическое положение и оперативные планы

Граница Кукольного королевства проходит через дом Штальбаумов. Самый короткий, хотя и не самый удобный путь в королевство — узкий проход через руки лисьей шубы, что висит у дверцы платяного шкафа в передней дома. С внешней стороны проход защищен выдвинутым

¹ Его дядя, Христиан-Элиас Дроссельмайер, был победителем в первой войне против Мышляндии и организатором последовавшей затем разни мышей.

в гостиную форпостом — крепостью Стеклянный Шкаф. У внутреннего выхода из рукава в главные области страны, однако, держат только самый слабый дозор¹, и таким образом, для того, кто минует дефиле, открывается прямой путь на главные города королевства — Конфетенхаузен и столицу, Конфетсбург.

Замысел Мышиного Короля предполагал быстрый разгром и выведение из войны Кукольного королевства. Решительно и удачно проведенная, эта кампания должна была оказать сильное действие на других вассалов Нюрнбергского короля — Бумажное и Шоколадное королевства, так что эти последние скорее всего остореглись бы доставить помощь своему покровителю или, во всяком случае, скоро повели дело к миру; таким образом, мыши остались бы наедине со своим главным противником.

Быстрота и неожиданность занимали главное место в плане Мышиного Короля. Во главе отборных частей мышной армии он должен был внезапно подступить к Стеклянному Шкафу и запереть частью сил в осаду находящийся там корпус.

Быстрый переход остальной армии через рукав шубы открывал Королю дорогу на Конфетенбург, который при должной внезапности и силе нападения не замедлил бы пасть. После этого у отрезанного в Шкафу от собственной страны корпуса и других кукольных частей, стоявших на границах, разделенных и лишенных единого командования, не оставалось другого выхода, кроме капитуляции.

В соответствии с планом, не дожидаясь окончания траурных церемоний по матери, Мышиный Король с лучшими полками своей армии скрытно форсированным маршем выступил к Стеклянному Шкафу.

Планы мышей, однако, не остались тайной для Дроссельмейеров. Старшему Дроссельмейеру, находившемуся при Нюрнбергском дворе, лазутчики доставили сведения

¹ Даже в самый решительный момент войны Миндально-Изюмные ворота, укрепление у внутреннего выхода из дефиле, охранялись, по свидетельству Мари Штальбаум, только шестью музыкантами из воинского оркестра.

о выступлении мышиной армии, о чём он не замедлил сообщить племяннику. Король, молодой Дроссельмейер, принял командование над армией и отдал приказ собрать главные силы армии королевства на границе с Мышиандией, в Стеклянном Шкафу, а вскоре и сам отправился в крепость¹.

Сражение. Общие замечания

СИЛЫ СТОРОН. О силах обеих армий мы решительно ничего не можем сказать. Наш источник совершенно обошёл вниманием этот вопрос, всегда предпочитая точным цифрам цветистые, но пустые эпитеты вроде «бесчисленных полчищ». В обеих армиях называются полки, батальоны и батареи, но даже о нормальном их составе для каждой из сторон никаких сведений нет. Можно только утверждать с уверенностью, что численность кукольной армии была не меньшей, чем мышиной. Этот вывод мы делаем на основании замечания, что при равном размене потерь с обеих сторон мыши «извлекли мало выгоды из этого злодеяния», то есть, в переводе с поэтического языка источника, выгоды не извлекли, следовательно, их было либо меньше, либо столько же, сколько кукол. Это сравнение едва ли выдумано — слишком много спокойствия и холодного расчёта слышится в нём, скорее всего оно передаёт какие-то слова из разговора, случайно услышанного Мари в свите Щелкунчика.

ПОЛЕ СРАЖЕНИЯ. Собственно крепость Стеклянный Шкаф представляет собой шкаф с несколькими полками. Спуск с первой полки по счёту снизу на пол и подъём обратно представляют некоторые затруднения для пехоты, конница проделывает их свободно. Вторая

¹ 24 декабря, по странному совпадению, накануне подхода армии мышей к крепости, сосредоточение сил завершилось. В это день в Стеклянный Шкаф прибыли молодой король Дроссельмейер и гвардейский гусарский полк.

полка находится на высоте двух футов над первой, спуск с неё и подъём вверх осуществляются по инженерным сооружениям, но при необходимости можно спуститься на первую полку простым прыжком, как это сделали Щелкунчик и его генералы в начале сражения. Шкаф стоит налево от двери в гостиную.

Поле перед шкафом представляет широкую гладкую равнину. В центре её находится возвышение — мамина скамеечка для ног, которая командует над окружающей местностью. Слева вдоль стены расположен комод, под ним имеется известное свободное пространство.

Крепость, особенно вторая её полка, прекрасно приспособлена для обороны и не может быть взята без длительной осады и предварительных инженерных работ. Первая полка шкафа представляет собой, благодаря возвышению над полом, хорошую оборонительную позицию, не непреодолимую, впрочем, для решительной атаки. Поле перед шкафом даёт обороняющемуся единственное пресмыщество в виде господствующей над ним скамеечки для ног, однако для защиты левого фланга опасность представляют комод, под которым наступающий может сосредоточить войска для атаки, вне опасности от огня артиллерии противника.

РАЗМЕЩЕНИЕ ВОЙСК ПЕРЕД СРАЖЕНИЕМ. К началу первого часа 25 декабря мышиная армия в походных колоннах вышла из подземных туннелей в гостиную Штальбаумов справа от двери и начала развертывание к сражению. В авангарде двигались пехотные части, среди них первыми, как можно установить из одного места у Гофмана,шли егеря¹. Артиллерия и другая часть

¹ В разгар битвы мы видим егерей в первых рядах наступающих мышиных войск, посреди рукопашной схватки. Такое использование легких войск на месте линейных довольно необычно и может быть объяснено тем, что с начала сражения егерские полки находились в первой линии боевого порядка, откуда не были уведены впоследствии по какой-то причине. Назначение же егерей для прикрытия головы походной колонны и организации передового дозора как раз совершенно обычно.

пехоты следовали в центре походного порядка, конница составляла арьергард. О таком порядке мы делаем заключение из того, в какой последовательности вступали в сражение части мышиной армии: можно считать твердо установленным, что артиллерия не участвовала в завязывании боя, а кавалерия смогла вступить в сражение уже только в самый его решительный момент.

Армия молодого Дроссельмейера в ночь с 24 на 25 декабря стояла лагерем в крепости. На второй полке шкафа располагались главные силы армии и сам командующий со своим штабом, на первой — вспомогательные части и артиллерийский парк. Об этом мы узнаем у Гофмана, когда при развертывании войск 25 декабря он описывает, как цехота и кавалерия прыгали вниз со второй полки, цуники же с артиллеристами были просто выкачены на поле, значит, они стояли на первой полке.

ПЛАНЫ СТОРОН. Оперативный план Мышиного Короля, как мы уже говорили выше, состоял в отеснении неприятельских сил в Стеклянный Шкаф и блокаде их в крепости. Поскольку на полную внезапность нападения, такую, что вражеская армия не успеет выйти из крепости, чтобы дать бой, рассчитывать при нападении на пограничную крепость безрассудно, успех операции должен был быть достигнут в сражении, если молодой Дроссельмейер имел бы решимость встретить мышнюю армию в поле. Момент неожиданности нападения сохранял, однако, своё значение в том, что при должной быстроте действий мышам представлялась возможность броситься на неприятеля до полного развертывания его порядков, и на этом Мышиный Король построил свой смелый замысел.

В авангарде походной колонны он поставил полки егерей и стрелков. Авантурд должен был выдвинуться в поле, развернуться в боевой порядок и, не дожидаясь подхода остальных сил, нанести быстрый удар по кукольному войску в поле, отбросив его по крайней мере до первой полки шкафа, а если удастся, развить наступление на плечах отступающего противника и на полку. Там его усилия будут поддержаны подошедшими артиллерией и конницей,

и объединенными силами они превратят первый успех в победу. Но почему Мышиный Король не поставил в авангард наиболее подходящие для быстрой атаки войска — кавалерию? Ведь конница могла бы и скорее атаковать, и успешнее преследовать отступающих.

При внимательном рассмотрении оказывается, что этих качеств было недостаточно для выполнения замысла Мышного Короля. Особенности действий кавалерии как рода войск таковы, что ее нападение на вражескую пехоту может равным образом окончиться и успехом, и неудачей, причем исход полностью зависит от выучки и моральной стойкости пехоты.

Даже когда атака удачна и неприятель обратился в бегство, победа не может быть закреплена без помощи пехоты, а кавалерия при преследовании бегущих обыкновенно расстраивает порядки и легко обращается вспять даже небольшим решительным вражеским отрядом. Мышному Королю же требовался здесь пусть не столь скорый, но прочный успех, который только и мог быть достигнут и, в случае контратаки врага,держан зубами пехоты.

Инициатива в начавшейся войне находилась полностью на стороне мышей, и король молодой Дроссельмейер не мог, конечно, планировать ни наступательной кампании, ни даже наступательного сражения; его главной целью было защитить границы королевства до подхода помощи от союзников. Однако, собрав значительные силы в Стеклянном Шкафу, он при подходе мышиной армии мог, по крайней мере, не засираться в осаду, а дать сражение неприятелю, с тем чтобы в случае удачи отразить вражеское нашествие и при любом исходе попытаться удержать предполье в гостиной и сохранить свободный выход из крепости для своей армии, чтобы стеснить дальнейшие движения неприятеля.

Главной целью сражения по плану молодого Дроссельмейера было, таким образом, удержание первой полки шкафа. При появлении мышей войска должны были выйти из лагеря (для обеспечения быстроты развертывания артиллерия была заблаговременно расквартирована

внизу) и выстроиться в две линии — первая на полу перед шкафом, заняв в центре позиции мамину скамеечку для ног, вторая на первой полке шкафа. Вторая линия должна была служить для первой источником подкреплений, а при необходимости первая линия могла бы отойти на позиции второй. План был составлен командующим и высшим генералитетом 24 декабря, в самый день прибытия короля в крепость в самых общих чертах, составление подробной диспозиции было отнесено на следующий день.

Ход сражения

НАЧАЛО. Приведенные у Гофмана сведения о времени начала и конца сражения весьма противоречивы¹ и не могут быть при нынешней изученности вопроса удовлетворительно согласованы. Мы здесь принимаем за время начала битвы пятнадцать минут первого 25 декабря, что согласуется с нашим основным источником — Мари Штальбаум, оставляя вопрос для полного прояснения будущим поколениям исследователей.

Тотчас после того, как часы пробили двенадцать, колонны авангарда мышиной армии через щели в полу вышли на поле в правой от двери части гостиной Штальбаумов и начали построение в боевую линию. Через пятнадцать минут мыши выстроились в боевой порядок, приблизительно в это же время на полу появился Мышиный Король и взял общее командование над войсками. Неожиданностью для мышей было наличие на полу перед шкафом маминой скамеечки для ног, но Король продолжил действовать в соответствии с планом, счтя, вероятно, это новое препятствие преодолимым для его егерей. Первым приказом он двинул полки в атаку. Беглым

¹ По запискам самой Мари Штальбаум, начало сражения относится ко времени позднее начала первого часа 25 декабря, её родители относят к тому же времени уже окончание битвы; между тем из описания самого дела следует, что оно продолжалось не менее нескольких часов.

шагом, без единого выстрела мыши пересекли комнату и напали на кукольную линию.

На Мари Штальбаум произвела большое впечатление эта середа быстрых, четких и решительных действий. Надо полагать, были впечатлены, хотя и не столь сильно, и воины Щелкунчика.

Совсем не так начали дело кукольные войска. Еще до появления мышей на полу гостиной, пока часы были двенадцать, в крепости была сыграна тревога¹. Большим затруднением для армии стало отсутствие диспозиции сражения. Офицеры не знали, куда им следует выводить солдат, и молодому Дроссельмейеру пришлось спешно спуститься с генералами на первую полку и там разделить командование и составить импровизированный *ordre de bataille*. Командиром кавалерии, выделенной в самостоятельный корпус, был назначен Панталоне, вторую линию возглавил Паяц, сам Щелкунчик принял командование над первой линией.

Ни о каком отборе полков в первую и вторую линии не могло быть и речи, павстречу мышам спешно направляли части, первыми приведенные в готовность. Ближе всего оказалась артиллерия, стоявшая на первой полке, тут же всю её назначили в первую линию и отправили на позиции. Тяжёлой артиллерии приказано было занять скамеечку для ног, другим батареям разместиться вдоль всей линии. Чтобы уменьшить беспорядок, приказали сначала спускаться на первую полку пехоте, а коннице оставаться пока на месте. Тут выявилось ещё одно препятствие, которое не успели предусмотреть.

Пехоте кукол приходилось на пути на иolle дважды преодолевать значительные преграды — при прыжке со второй полки шкафа на первую и при спуске с первой на пол, и оба раза порядки при этом приходили в расстройство, так

¹ Гофман несколько запутывает последовательность событий, излагая по отдельности действия сначала мышкой, а затем кукольной армии, но, к счастью, хронология легко может быть восстановлена по приведенным в тексте крикам в кукольном лагере: «Страйся, взвод! В бой вперед! Полночь бьет!»

что требовалось время для восстановления строя. По свидетельству Мари, полки солдатиков маршировали к своим местам один за другим, так что к началу боя некоторые участки линии оставались занятими только артиллерией без пехотного прикрытия. После пехоты начала спуск вниз колонна Панталоне, которой также после его завершения понадобилось значительное время для принятия боевого порядка.

Бой начался артиллерийским залпом кукольной батареи по подступающим мышам. Вскоре открыли огонь все орудия кукол.

ПЕРВЫЙ ЭТАП. И плотный артиллерийский огонь оказался для мышей неожиданным и нанес наступающим значительные потери, особенно сильными были удары тяжелой батареи со скамеек для ног. Больше всего погибло офицеров и унтер-офицеров, которые шли в первых рядах своих частей. Несмотря на это, все полки достигли неприятельской линии и вступили в рукопашную схватку. Однако успеха наступающие добились только на своём левом фланге, там, где батареи кукол стояли без пехотного прикрытия. Здесь мыши захватили несколько пушек.

К обеим сторонам во время боя подходили подкрепления.

У кукол это были пехотные полки, опоздавшие к началу боя, у мышей — гренадерские полки из колонны главных сил, постепенно втягивавшейся на поле во время сражения. И Щелкунчик, и Мышиный Король направляли большинство подкреплений на правый фланг кукол, где сражение было наиболее ожесточенным. В один момент мыши сильно потеснили здесь солдатиков, Мари даже отмечает, что серебряные пильульки мышиных гренадеров долетали уже до шкафа, однако скоро куклы выправили положение. В центре, напротив скамеек для ног, положение мышей было гораздо хуже. У наступающих полков не было инженерных средств для взятия возвышенности, и они только бессильно топтались напротив скамеек, в упор расстреливаемые из пушек.

Приблизительно в это время, около сорока минут первого, Мышиный Король из донесений с поля боя окончательно понимает, что его авангард столкнулся со значительно большими неприятельскими силами, нежели рассчитывал Король, и что вернее всего мышам противостоят не пограничный корпус, а вся армия Кукольного королевства. С тяжёлым сердцем приказывает он трубить отход¹.

ВТОРОЙ ЭТАП. Оставив на месте схватки множество убитых и раненых, мышные полки, повинуясь звукам труб, попятались назад. Король молодой Дроссельмейер видит счастливую возможность превратить отступление врага в бегство.

Кавалерия Панталоне у шкафа наконец выстроилась и готова к сражению. Пехотные полки образуют проходы, по которым эскадроны выходят в пространство между армиями и бросаются на отступающие мышные ряды.

Этим Мышиный Король был вынужден остановить авангард для сражения с конницей противника, так как требовалось время для развертывания непрерывно подходящих частей основных сил. Мышиные полки образовали каре и отбили несколько атак Панталоне. Отчего этот генерал не отвёл свои эскадроны сразу после неудачи первой атаки, когда стало очевидным, что обратить мышей в бегство не удалось, нельзя сказать с полной определенностью. Вероятнее всего, он на некоторое время потерял управление своими частями — во время атаки связь с конным подразделением поддерживать довольно трудно. Пока Панталоне рассыпал ординарцев к командирам, чтобы призвать их к послушанию, его полки продолжали беспорядочно атаковать мышные каре, что, вероятно, и было приято нашим очевидцем за несколько атак.

¹ Наш источник не упоминает об отступлении мышей, но как еще могли бы они отбить несколько кавалерийских атак, кроме как выйдя из рукопашного боя и построившись в каре? И не могли же они проделать это вблизи батарей неприятеля. Отсюда мы и выводим необходимость отхода.

Конец им положило только вступление в действие мышиной артиллерии, которая наконец развернулась под прикрытием авангарда, приблизилась к передовой линии и смогла вступить в дело. Попав под обстрел, кавалерия Панталоне вернулась за спины своей пехоты.

Главные силы мышей уже полностью развернуты. Начинает прибывать конница из арьергарда. Не желая ослаблять хорошее впечатление, произведенное на дух армии отражением вражеской конницы, Мышиный Король решает тут же, не тратя времени на перестроения, начать новую атаку.

ТРЕТИЙ ЭТАП. Опять мыши по всей линии бросаются в наступление всеми силами. Полки авангарда оставлены в первой линии, только приняли немного вправо и влево. В центре Мышиный Король собрал несколько свежих полков, которые общим натиском на мамину скамечку для ног должны наконец выбить неприятеля с этой позиции. Всем подходящим конным полкам отдан приказ собираться под комодом и ожидать сигнала к атаке. Молодой Дроссельмайер не успел ещё распорядиться подвести резервы из второй линии, как мышиная армия опять наступает. События развиваются быстро, одно за другим. Под натиском множества мышиных тел скамечка для ног перевернута! Падая, она задела боевые порядки на правом фланге, так что тот был поколеблен.

Щелкунчик оказался вынужден скомандовать отступление на правом фланге, в надежде подкрепить линию конницей Панталоне. Очень скоро, однако, отступавшие полки совершенно расстроили ряды и смешались с наступающими мышами. В одном из таких отрезанных отрядов оказался молодой Дроссельмайер, с этого момента утративший связь со своими генералами и всякую власть над событиями, и, кажется, поддался общей панике¹.

¹ Никак иначе нельзя объяснить те его приказания в этот момент, которые передает источник. Здесь мы не можем исключить и выдумки Гофмана, который заставляет короля посреди битвы вспоминать Шекспира.

Мышиные солдаты, оставшиеся по большей части без офицеров, начали беспорядочно преследовать отступающего противника. Сам Мышиный Король бросился в их ряды, пытаясь вернуть свои войска к новиновению, но тщетно. Командир мышиной конницы, не дождавшись сигнала, вывел своих мышей из-под комода и начал жестокое сражение с ещё державшимися полками левого фланга кукол.

Дальнейшее — хаос на поле боя и жестокая резня, в которой Гофман находит несколько ярких эпизодов и пускается в их подробное описание, не жалея красок. Для военного искусства интереса они не представляют.

Конец сражения источником не описан. Мы на основе отрывочных свидетельств восстанавливаем его следующим образом. Король молодой Дроссельмейер избежал гибели по счастливой случайности. Сохранившие организованность конница Панталоне и вторая линия Паяца сумели в бою на первой полке прикрыть бегство основной массы кукольных войск в лагерь на вторую полку и не пропустить вслед за ними мышей, после чего отступили наверх сами и закрылись в осаду в крепости.

Итоги сражения

Мыши одержали победу, тем более славную, что неожиданно для себя оказались перед армией, превосходящей по числу. Мышиный Король показал себя не слишком гибким, но хорошо оценивающим свои силы и силы противника, спокойным и уверенным в себе полководцем. Мышиная армия дралась отлично, проявив стойкость в обороне и замечательную отвагу в наступлении, но довольно мало настоящей дисциплины. Из-за своеволия командира конницы не удалось уничтожить или пленить хотя бы часть бегущих неприятелей.

Король молодой Дроссельмейер явился в сражении слабым полководцем, слишком доверяющим своим генералам и медлительным в острые моменты. Многие части кукольной армии проявили стойкость, но вялое и неини-

циативное командование не смогло использовать лучшие их качества.

Мышиам досталось поле боя и большая часть артиллерии кукол. Их цель была достигнута, но слишком дорогой ценой.

Как известно, Мышиный Король не смог из-за огромных потерь разделить свою армию и отправить хотя бы часть ее для завоевания Кукольного королевства. Он вынужден был держать всеми оставшимися силами осаду и ждать подкреплений.

Нелепая смерть во время вылазки осажденных прервала в самом начале эту так много в будущем обещавшую жизнь одаренного полководца и любимого вождя своего народа.

АРТЁМ ЦАРЁВ

Сандрийон

*Истинное происшествие, случившееся летом 1786 года
в провинции Турень, в трех лье от городка Монбазон*

*ПРОЛОГ, в котором, вопреки обыкновению,
описаны события, воспоследовавшие спустя
несколько лет после описанных в эпилоге*

— Говорят, она была красавицей... — задумчиво сказал генерал Бриссак. — Теперь уж и не понять...

— Зато сейчас вполне соответствует своему прозвищу! — ощерил зубы в нехорошой усмешке Ватье, бывший лионский портной, вознесенный вихрем революции на пост особого комиссара Конвента.

Правы были оба. «Кровавая Маркиза» и остатки ее отряда знали: щощады не будет, сопротивлялись шуаны отчаянно, взять живыми не удалось почти никого. Искоштое штыками, изуродованное несколькими пулями тело предводительницы мятежников обильно залила кровь, своя и чужая.

— Надо достойно похоронить ее, — предложил генерал. — Всё-таки женщина и всё-таки была заслуживающей уважения противницей.

Обычно убитых и расстрелянных после боя шуанов скидывали в одну общую яму и зарывали без каких-либо опознавательных знаков.

— Что?! — изумился Ватье. — В своем ли ты уме, гражданин Бриссак?!

Слово «гражданин», обращаясь к генералу, он всегда произносил с особым нажимом, бесцеремонно намекая на дворянское происхождение командующего колонией.

— Мятежница Сен-Пьер, по прозвищу «Кровавая Маркиза», приговорена революционным трибуналом к казни на гильотине! — патетично, словно с трибуны, провозгласил

комиссар. — И она, несмотря ни на что, будет доставлена в Нант и гильотинирована! Чтобы никто не усомнился, что приговоры трибунала всегда исполняются!

Солдаты принесли трофеи, отысканный в «штабе» Маркизы, — увесистый окованный ларец, поцарапанный, потертый, наверняка переживший вместе со своей владелицей немало приключений.

— Выйдите! — скомандовал комиссар подчиненным. — А это оставь... — Он потянул из рук солдата ружье с примкнутым штыком.

— Здесь могут лежать секретные документы, — пояснил Ватье генералу, словно тот спрашивал объяснений. — Переписка с Кобленцем или что-то не менее важное.

И он стал прилаживать штык к замку ларца. Генерал подумал, что, судя по возбужденному, алчиому лицу бывшего портного, тот рассчитывает найти кое-что более ценное...

Обломав кончик штыка, комиссар добился-таки своего — и тут же разочарованно выругался. Ларец оказался почти пуст, тяжесть его объяснялась лишь толщиной стеклок.

Ватье повертел в руках дешевенькое бирюзовое ожерелье, небрежно кинул обратно в ларец. Вскрыл ладанку из потертого бархата, но обнаружил лишь локон — волосы светлые, очень тонкие, наверняка детские... Последний трофеи — стеклянную, оправленную в серебро туфельку — комиссар несколько мгновений недоуменно разглядывал, затем прошипел:

— Аристократические выкрутасы... — и с силой ударили сувенир об угол ларца. Осколки стекла посыпались на пол.

— Она не была аристократкой, — сказал генерал несгромко, с тщательно сдерживаемой неприязнью. — По крайней мере, не урожденной...

— Да что ты говоришь, гражданин Бриссак?! Я читал ее дело — самая натуральная маркиза.

— Морганатический брак с одним из младших Роганов, — пояснил генерал, сам не зная, зачем это делает. — И король пожаловал невесте титул маркизы де Сен-Пьер.

А родом она из третьего сословия, вроде бы даже крестьянка...

— Крестьяне, рвущиеся в аристократы, не менее отвратительны, чем бывшие аристократы, прикидывающиеся друзьями народа! — с пафосом заявил Ватье и выразительно посмотрел на генерала. Тот отвернулся, затем вышел, бросив последний взгляд на тело мятежницы.

«Говорят, она была красавицей... — повторил гражданин Бриссак мысленно. — Жаль, что не пришлось увидеть ее живой...»

Бригадный генерал Бриссак, командующий карательной «адской колонной», никогда — до самой своей казни в 1794 году — не узнал, что с «Кровавой Маркизой» ему уже доводилось встречаться.

ГЛАВА ПЕРВАЯ, в которой выясняется, что чистая и светлая любовь подстерегает свои жертвы в самых глухих провинциальных закоулках, а граф д'Антраэ отправляется в путешествие

«...привык сообщать тебе, любезный мой друг, обо всех моих радостях и горестях, постоянно черпать в нашей дружбе надежду на утешение и никогда не укрепляться в каком-либо мнении или же чувстве, прежде чем не поделюсь ими с тобой; поэтому теперь, когда разлучившие нас события бросили меня на новое поприще, в новую среду, мне было бы особенно тяжело, если бы я не мог поверять тебе все те переживания, которые уготовала мне судьба в этих новых обстоятельствах.

О, я уже вижу, милый Анри, как ты недовольно хмуришь брови, полагая, что сейчас тебе придется на двух десятках страниц внимать жалобам человека, не своею волею, но ради благосостояния семейства надевшего сутану и сожалеющего об утерянных радостях парижской жизни, о сумасбродных безумствах нашей юности и об изменчивой благосклонности красоток полусвета. Нет, друг мой, та мишуря, тот бездумный калейдоскоп дней

мало что ужे значат для меня: двадцать восемь лет — возраст достаточный, чтобы по-иному, по-взрослому взглянуть на юношеские забавы и увидеть истинную цену того, что всего лишь несколько лет назад казалось важным и значимым...

Всё гораздо проще, любезный Анри, и всё гораздо сложнее: я влюбился!

Теперь я мысленным взором вижу твою снисходительную улыбку: эка невидаиль, скажешь ты, слышавший не один раз от меня подобные признания, и ошибешься. Такого со мной не происходило никогда, да и не могло произойти, женичины Парижа похожи на цветы, выращенные в оранжерее, — прекрасные, головокружительно благоухающие и притом до последнего атома своего существа искусственные, бесконечно далекие от природы.

Нет, друг мой, поверь: лишь здесь, в глухи, в провинции, можно встретить девушку настоящую, подобную прелестному цветку сильвии, расцветающему, как известно, в самых безлюдных и глухих лесных дебрях. Помнишь ли, дорогой Анри, изящную строфу немецкого поэта, столь бездарно переведенную Лагарпом: „О сильвия, о пежнай анемон лесов...“ Впрочем, я отвлекся...

Итак, ее зовут Сандрийон...»

* * *

Прочитав вслух эту строчку, «любезный Анри» — Эмманюэль-Луи-Анри де Лоне, граф д'Анtrag — сложил письмо (действительно написанное мелким почерком на многих страницах), убрал в карман. Спросил, обводя взглядом присутствующих:

— Теперь, друзья мои, вы убедились, что бедняга Арман и в самом деле нуждается в том, чтобы мы пришли ему на помощь?

Собравшаяся компания ответила нестройными, по общем и целом одобрительными возгласами.

— Сандрийон... фи... — скривил презрительную гримасу Монтейль. — Какие уж там «анемоны лесов» — да от такого имечка за лыс несет ароматами свиного хлева или лука, поджаренного на прогорклом масле!

— Уверен, что под этим прозвищем скрывается графиня Ламотт, столь удачно ускользнувшая от пожизненного заточения, — предположил Бриссак с непроницаемо серьезным лицом. — Особе, сумевшей обвести вокруг пальца и королевский двор, и этих пройдох, парижских ювелиров, вскружить голову бедолаге Арману никакого труда не составит.

— Вы смеетесь, господа, меж тем дело куда как серьезно, — сказал Анри д'Анtrag. — Я хорошо знаю Армана, и он действительно принадлежит к тем людям, что способны испортить себе жизнь и карьеру из-за озорных глаз и стройных ножек сельской потаскушки.

— Так поедем же и спасем его! — вскричал с военной прямотой и решительностью шевалье де Монбаре, успевший более других воздать должное дарам Бахуса. — Мы, все вместе, поедем в ближайшие же дни и вырвем Армана из лап деревенской Цирцеи. А если она и в самом деле столь хороша, то... — Он выдержал многозначительную паузу, давая понять, что не одни новоиспеченные аббаты способны оценить красоту цветов, выросших в лесной глупши.

К тому времени подали уже третью перемену блюд и выпито было немало (дом графа д'Антра га всегда славился винным погребом), и идею шевалье тут же бурно поддержали все участники обеда. Сам граф, впрочем, не сомневался: когда дойдет до дела, у каждого найдутся весомые причины для отказа, и отправиться в Турень придется в одиночестве... Эмманюэль-Луи-Анри де Лоне, граф д'Анtrag, напротив, всегда доводил задуманное до конца. И слыл в своем кругу весьма увлекающимся человеком: чего стоила одна лишь его дружба с братьями Монгольфье и полеты на их детище, на воздушном шаре, вызывавшие у знакомых графа восторг и боязливое восхищение, но отнюдь не желание совершить такой же подвиг...

— Отчего Арман вообще избрал духовное сословие? — негромко спросил маркиз де Шатлю у хозяина дома. — Совсем не в его характере, насколько я успел узнать этого молодого человека.

Маркиз был как минимум на два десятка лет старше любого из собравшейся компании. И всех здесь именовал

«молодыми людьми», о себе же и своих ровесниках выражался: «мы, старики...»

Д'Анtrag ответил машинально, продолжая размышлять об одном пассаже из письма друга:

— Дело в том, что семья Армана — давно, со времен Анри Четвертого, — пользуется одной восьмой частью доходов аббатства Жанлис, что даже сейчас составляет весьма неплохую сумму, смею вас уверить. Но бенефиций сей осуществляется лишь при условии: один из членов семейства носит сутану священника. И вот после смерти одного престарелого родственника вместо шевалье Армана де Леру на свет семь месяцев назад появился аббат Леру.

— Значит, о браке с этой самой Сандрийон речь идти не может, — заметил маркиз с крайне глубокомысленным видом. Он вообще обладал даром изрекать прописные истины так, словно они являлись плодом его собственных глубоких размышлений.

— В том-то и дело, что Арман способен сотворить большую глупость...

О тревожных симптомах, замеченных им в самом конце письма, граф ничего не сказал. Позже, когда гости разъехались, вновь достал из кармана письмо Армана де Леру, перечитал предпоследний абзац:

«Очень многое в нашей жизни, любезный друг, соседствует со своей противоположностью: день и ночь, аверс и реверс монеты, умница Неккер и тупой бездарь Калонн. Не стала исключением и Сандрийон. Насколько ее, без преувеличения, можно считать ангелом во плоти, настолько же напоминает демона ее крестная — тетушка Имельда. Ты знаешь, милейший Анри, как скептично я всегда относился к диким предрассудкам минувших веков, но сейчас пишу тебе без тени сомнения: старуха Имельда — НАСТОЯЩАЯ ВЕДЬМА...»

Последние слова были написаны заглавными буквами и дважды подчеркнуты.

* * *

К удивлению графа д'Анtragа, один из собутыльников — де Бриссак — без щуток воспринял идею поехать

в Турень и спаси аббата Леру от вскружившей ему голову сельской обольстительницы.

Причины столь серьезного отношения к застольному, шампанским подогретому разговору выяснились достаточно быстро. Выехали на следующий день, в половине первого пополудни, в карете графа, и лишь после двух часов пути Бриссак перестал настороженно оглядываться.

— Кредиторы? — догадался д'Анtrag после очередного тревожного взгляда, брошенного спутником назад.

Бриссак понуро кивнул. И добавил немножко спустя:

— Не только они... Муж моей Жанны-Арманды — редкостная скотина, разбогатевшая на подрядах Пари-Дюверне и купившая баронский титул. Ревнив, как мужлан, и вопросы чести решает мужицкими способами... Впрочем, и слово «честь», и обозначаемое им понятие для него не существуют...

Как оказалось, ревнивый муж оповестил обитателей парижского дна, что заплатит тысячу ливров за каждую сломанную конечность лейтенанта де Бриссака. И триста ливров за каждое сломанное ребро. Хотя к столь возмутительному объявлению прилагалось подробное описание внешности лейтенанта, уже пострадали двое или трое безвинных, на свое несчастье имевших с ним внешнее сходство...

Бриссак вновь тревожно оглянулся. Однако за каретой катила лишь другая, тоже принадлежавшая графу, — в ней были слуги и венцы, призванные сгладить неудобства, поджидающие в дороге путешественников. Да еще двое конных грумов вели в поводу лошадей на тот случай, если благородные господа соизволят развлечь себя верховой ездой.

Не видя преследователей, Бриссак приободрился и разговорился. Граф, собиравшийся было прочесть в дороге новую трагедию Лемьера и полистать томик мемуаров господи де Моттиль, вынужден был вместо того слушать рассказы о всевозможных жизненных певзгодах приятеля. Слушал он тем не менее без особого неудовольствия — д'Анtrag считал себя исследователем человеческой природы.

Жизнь и службу Бриссаку портила, по его уверениям, исключительно фамилия. Начальство, да и просто влиятельные люди, с коими лейтенанту доводилось сводить знакомство, поначалу относились к нему весьма благосклонно, убежденные, что имеют дело с родственником герцога Жана-Поля де Коссе, маршала де Бриссака. Позже, когда ошибка вскрывалась, — лейтенант не приходился маршалу даже отдаленной родней, — влиятельные особы словно бы спешили исправиться и встречали де Бриссака более чем холодно...

Граф подумал, что, возможно, дело обстояло именно таким образом. Надо полагать, «скотина-подрядчик» тоже поначалу вполне терпимо отнесся к шашням жены с родственником маршала и герцога, но разъярился, когда узнал, что обязан рогами лейтенанту, происходившему из мелкопоместных перигорских дворян.

После пятой или шестой печальной истории Бриссак сделал долгую паузу, и граф решил: сейчас невезучий лейтенант попросит одолжить ему денег, ливров пятьсот... Но тот лишь уныло пощупил:

— Наверное, стоит заказать ленту на грудь на манер орденской, с вышитыми словами: «Я не родня маршалу Бриссаку!» Вдруг поможет?

Д'Анtrag понял, что в своих штудиях рода людского допустил ошибку — впрочем, приятную.

...Заночевали в Орлеане, сняв два лучших номера во «Льве Франции», причем граф записался в гостиничной книге под привычным своим дорожным именем «господин Делон».

После ужина разошлись по номерам; и, судя по женскому смеху, доносящемуся из-за двери Бриссака, лейтенант напел утешение в объятиях какой-то орлеанки, слыхом не слыхавшей о существовании маршала-однофамильца.

Граф д'Анtrag тем временем разделся без помощи камердинера, улегся в постель и достал второе письмо, полученное от Армана де Леру. Сей эпистолярий на вчерашнем обеде он не стал зачитывать — слишком странные вещи там излагались, заставляющие предположить у Армана серьезное умственное расстройство либо...

Внятно сформулировать пресловутое «либо...» граф, считавший себя материалистом и друживший с учеными-просветителями, так и не смог...

* * *

«...вынужден общаться с предметом своей любви в облике благочестивого аббата — и, поверь, друг мой, не придумано еще изобретательным человечеством пытки горше и тягостней. Но Сандрийон настолько чиста и непорочна, что, без сомнения, одна мысль о любовной связи с духовной особой способна повергнуть ее в ужас и навеки положить конец нашему знакомству...»

Вчера она пришла в мое скромное жилище — я как раз работал над переводом весьма-таки фривольного отрывка из Апулея, и пришлось сделать вид, что, на манер аббата Ватри или аббата Канэ, я занимаюсь богословскими филологическими изысканиями... И что же? Наутро я получил письмо от Сандрийон — на уродливой и грешающей грубыми ошибками латыни, но тем не менее столь варварская версия языка Вергилия и Цицерона выходила из-под пера писавшей весьма милой и трогательной.

Увы, друг мой, слова «ego amat», написанные Сандрийон вместо «ego amo»¹, относились никак не ко мне... Представь себе, она одержима мыслью выйти замуж не просто за дворянина, но за принца! Ты скажешь, милый Анри, что подобное намерение — наивная утопия наивной провинциалочки? Ты не видел Сандрийон, любезный друг, — именно с такими девушками и заключаются порой морганатические браки...

Едва ли родители — отец и мачеха — одобрили бы подобные устремления дочери, даже если бы были осведомлены о них. Но крестная, тетушка Имельда, о которой я упоминал в предыдущем послании, как я понял из разговоров с Сандрийон, зачем-то пестует в ней сие навязчивое желание.

¹ Ego amo — я люблю (лат.), ego amat — я любит, неправильная грамматическая форма.

Имеинко с крестной Имелльдой связано странное происшествие, случившееся сегодня, к рассказу о котором я перехожу. Сняв сутану и одевшись как дворянин, я решил навестить эту достойную женщину, имея целью использовать ее влияние на крестницу: убедить старушку — посредством уговоров или даже некой суммы денег — исподволь внести в мечты девушки столь важную для меня эволюцию: дворянину хорошего рода не обязательно быть принцем, достаточноискренне, всем сердцем полюбить Сандрийон, чтобы составить счастье ее жизни.

Местные крестьяне отчего-то весьма неохотно показывали мне дорогу к дому Имелльды, да и место для жилья она (либо ее предки) выбрала странное — на уединенной опушке леса, вдали от дорог и деревень. Лишь слабо набитая тропа вела туда, порой совсем исчезая в зарослях трав и кустарников, но истинная любовь, друг мой, преодолеет все препоны, и к четырем часам пополудни я добрался до обиталища крестной. Позаброшенная, пришедшая в упадок усадьба, коя в равной степени могла принадлежать ранее и обедневшему дворянину, и зажиточному мещанину, — такой представляла моему взору резиденция тетушки Имелльды. Стены дома и служб покрывал дикий, неухоженно растущий плющ, скрывающий даже окна, беседка совершенно развалилась, полурастапнутые ворота конюшни вросли в землю, и тянуло из-за них сыростью и трупным запахом — словно последние лошади околели здесь от голода и разлагались прямо в стойлах...

Как могла Сандрийон, такая прекрасная и солнечная, охотно бывать в столь неупотребимом, мрачном месте? — недоумевал я. И не просто бывать, но поддерживать хорошие отношения с владелицей этого трупа некогда живой усадьбы?

Впрочем, отдельные следы людского присутствия и даже заботы мне довелось увидеть. Цветник перед домом выглядел ухоженным, а голубятню, казалось, покрыли своей краской не далее как в прошлом месяце.

„Ну и где же искать крестную Имелльду в этом заросшем плющом царстве?“ — Едва лишь в голову мне пришла

эта мысль, как я увидел человека — невысокого, но солидного, дородного, с густыми и длинными усами, облаченного, как мне показалось, в ливрею слуги, украшенную золотым позументом.

Слуга — если то был слуга (чуть позже, милый Анри, ты поймешь причину моих сомнений) — прошел совсем рядом, не обратив на меня внимания. А я... я стоял, не в силах задать ему вопрос — настолько удивительным показалось мне лицо этого человека. Причем мимолетность наблюдения не позволила понять и внятно объяснить причину того, осталось лишь убеждение: что-то с лицом не так, что-то не в порядке.

Страшнолицый слуга меж тем шмыгнул — как-то на удивление проворно и быстро — в невысокую дверцу, ранее не замеченную мною за густым плющом. Стряхнув мимутное оцепенение, я последовал за ним, и лучше бы, любезный друг, я этого не делал.

Крохотная комната с единственной дверью, на пороге которой стоял я, — и при этом абсолютно пустая!! Ты можешь представить, дорогой Анри, мое изумление. Простуживать стены в поисках секретного хода не имело смысла — покрывавшие их пыль и густая паутина явственно свидетельствовали: даже если здесь и имеется тайный лаз, никто им много лет не пользовался... Единственное оконце, затянутое плющом и дающее минимум света, давно лишилось стекол, но сквозь частый его переплет с трудом проскользнула бы кошка — что уж говорить о грузном мужчине! Искать люк в земляном полу я не стал, проще было предположить у себя расстройство разума или вызванную жарой галлюцинацию...

Вскоре глаза мои привыкли к сумраку, и я понял, что из помещения все же имеется еще один выход, пусть и не объясняющий загадочного исчезновения слуги, — большая крысиная нора. Спустя мгновение я с отвращением увидел обитателя пресловутой норы — огромная крыса вылезла наружу. Усы ее шевелились, и красные бусинки глаз уставились на меня с пенавистью.

И вот именно тогда, милый друг, я с трудом удержался от крика. Нет, не от вида грызуна, хотя, как и у

большинства людей, крысы вызывают у меня лишь омерзение. Ужас мой и оцепенение вызваны были иной причиной: я понял наконец, что столь поразило меня в лице исчезнувшего человека! Рот, лобезный Анри! Крохотный, совершенно несоразмерный рот слуги с двумя торчащими зубами был точной копией крысиного, который я мог в настоящий момент лицезреть...

Крыса бросилась на меня. Но счастью, мои сапоги для верховой езды оказались серой каналье не по зубам. Пнув ее ногой, я торопливо выскочил на улицу.

Мой визит привлек наконец внимание обитателей усадьбы — но отнюдь не людей. Между мной и моим конем стояла собака — большая, с внушительной пастью, но какая-то понурая, покрытая клюковатой, свалявшейся шерстью, с наполовину обрубленным хвостом. Рядом с ней сидел на земле громадный черный ворон, уставившись на меня прямо-таки человеческим взглядом. Услышав на верху карканье и хлопанье крыльев, я поднял взгляд и увидел, что на голубятне обитают вовсе не голуби.

Давешняя крыса неловко, прихрамывая на обе левые лапы, протиснулась в щель неплотно притворенной двери, за ней еще несколько. Пять или шесть воронов, размерами не уступавших первому, спорхнули с крыши — и я подумал, что клювы их могут оказаться не менее остры и опасны, чем ястребиные. Вся пернатая и четвероногая компания окружила меня и начала приближаться — медленно, почти незаметно...

Мое желание поговорить с мадам Имельдой вмиг куда-то улетучилось, сменившись другим: ретироваться как можно скорее из неприятного места.

Положив руку на рукоять шпаги, — представляю, милый Анри, сколь нелепо смотрелся сей жест, особенно если учесть его адресатов, — я шагнул в сторону своего жеребца. Собака негромко заворчала, но отступила в сторону. Клянусь, друг мой, в ворчании ее слышались поистине человеческие потки. Ворон тяжело отлетел на несколько шагов. Путь стал свободен, но это отнюдь не казалось моей победой — словно меня хотели заставить отсюда убраться и добиться своего...»

ГЛАВА ВТОРАЯ, в которой путешествие графа д'Антрата завершается, а также идет разговор о предметах и событиях совершенно мистических

В маленький городок Монбазон они въехали ближе к вечеру, изрядно прискучив долгой и унылой дорогой. От мысли заночевать здесь д'Антраг отказался. Во-первых, не было приличной гостиницы, а во-вторых, по справке выяснилось, что деревушка Сен-Пьер — именно там вла- чил аббат Леру свое сельское уединение — находится не далее как в трех лье.

— Поехали верхом, — предложил граф. — Слуги как-нибудь разыщут дорогу сами, а мне не терпится поскорей увидеть Армана.

Бриссак не возражал, и, проведя менее часа в седлах, оставшиеся вдвоем путешественники увидели крыши Сен-Пьера. Деревушка производила гнетущее впечатление. Покосившиеся, потемневшие от времени дома, разбросанные без признака какой-либо планировки. Упомянутые крыши покрывала солома, и многих вязанок не хватало... Ни одного жителя не было видно.

«Неужели Арман живет в таком убожестве? — с горечью подумал граф. — Неудивительно, что в голове у него помутилось...»

Они направили коней к церкви — и она, и стоявший неподалеку дом кюре выглядели чуть более приглядно, чем дома пасты. Но лишь чуть...

Кюре они не нашли ни дома, ни в храме, зато обнаружили звонаря — тугого на ухо (издергки профессии), слегка пьяного и изрядно прикурковатого. Разговор затянулся, но все же с немалым трудом удалось разузнать: нет, месье аббат здесь не живет. Да, порой бывает и даже проводит иногда службы вместо часто хворающего кюре, например, завтра будет служить заутреню... Так где же его найти? А вот по той дорожке поезжайте, незадолго до леса увидите.

Д'Антраг тронулся было в указанном направлении, но пришлось подождать Бриссака — тот с необычайно таинственным видом отвел звонаря в сторонку, что-то долго

втолковывал ему, затем, как показалось графу, протянул несколько монет.

— Не пожалел двух экю, зато подготовил милый сюрприз для Армана, — несколько туманно пояснил вернувшийся Бриссак и больше ничего не пожелал рассказывать.

На выезде из деревни они увидели еще одного местного жителя, одетого в невероятно засаленную домотканую блузу и панталоны примерно той же степени чистоты и опрятности. Деревянными двузубыми вилами мужчина переворачивал сено, разложенное на придорожной лужайке.

— Скажите, любезнейший, мы правильно едем к дому аббата Леру? — поинтересовался граф, решивший, что целиком и полностью полагаться на слова звонаря будет несколько опрометчиво.

Пейзанин разогнулся и растерянно переводил взгляд с одного путника на другого. Был он не молод — в густо росшей на лице щетине обильно сквозила седина.

«Еще один глухой? — подумал граф. — Уж французский-то язык здесь должны понимать, не Бретонь, где целые деревни бормочут лишь на своем варварском наречии...»

Он повторил вопрос, громко и тщательно выговаривая слова.

Низкий лоб пейзанина собрался в морщины, рука потянулась к затылку... Отреагировал он своеобразно — гаркнул во всю глотку:

— Мари-Николь! Мари-Николь!

Из-за кособокого сарайчика показалась девушка, и граф д'Анtrag на время позабыл, что собирался поставить небольшой научный опыт: выяснить, чем быстрее можно подвигнуть пейзанина к разговорчивости — видом хлыста или же серебряной монеты.

Девушка была хороша — для тех, кто имеет склонность к деревенским, кровь с молоком, красавицам. К тому же одежда ее резко контрастировала с засаленной блузой старика — простое, но чистенькое и нарядное платье. Высокую полную грудь пейзанки даже украшало ожере-

лье — граф удивился, до сих пор он считал, что деревенские девушки так наряжаются на работу лишь в буколических операх... Однако Мари-Николь принесла деревянные грабли и немедленно пустила их в ход — при этом нагнулась в сторону господ столь низко, что содержимое ее декольте заставило де Бриссака с шумом втянуть в себя воздух.

— Аббат... там... — проговорил наконец старик и показал для верности рукой. Зубы у него были хуже некуда — половины не хватало, оставшиеся потемнели, стенили и, казалось, униженно молили о щипцах зубодера.

Указанное направление соответствовало полученным от звонаря сведениям.

— Если Бог действительно создал человека по своему образу и подобию, — несколько минут спустя произнес Бриссак, отличавшийся вольнодумством, — то надо признать, что во величии господина Б. имеются весьма неприятные черты...

Д'Анtrag промолчал. Затем лейтенант намекнул, что неплохо бы запомнить имя и дом Мари-Николь, — он, Бриссак, дескать, охотно улучшил бы породу здешних мужланов на каком-нибудь сельском сеновале. Граф вновь ничего не сказал.

Они пришпорили коней и вскоре увидели домик, различительно отличавшийся от домов Сен-Пьера: небольшой, но уютный, аккуратно побеленный, с черепичной крышей.

А еще через минуту на пороге появился привлеченный стуком копыт Арман де Леру.

* * *

— Ты в письмах очень мало рассказал о предмете своей страсти, — сказал д'Анtrag, наблюдая, как слуги устанавливают на улице походный стол и выгружают из караваны многочисленные припасы. — Кто она и кто ее родители, о которых ты мельком упомянул?

Граф был несколько удивлен — никаких признаков безумной, страстной влюбленности, столь явно сквозившей в письмах, молодой аббат не проявлял.

— Ее родители... — задумчиво повторил Арман. — Вообще-то ее отец дворянин...

— «Вообще-то» означает, что он из новоиспеченных? — уточнил Бриссак. — Фи-и-и...

Д'Анtrag, чьи предки-графы ходили еще в Крестовые походы, улыбнулся самыми кончиками губ. Род перигорских де Бриссаков был возведен в дворянское достоинство тоже не так уж давно, во времена Религиозных войн.

— Именно так, — подтвердил Арман. — Причем дворянство дедом Сандрийон получено за подвиг, достойный внесения в исторические аниалы, — за излечение застарелого геморроя у самого герцога д'Аржансона!

— Если бы в геральдической комиссии сидели честные люди, — немедленно подхватил Бриссак, — то центральное место в новом гербе занимало бы седалище восинного министра!

Граф взглянул на Армана де Леру с легкой тревогой — как он отнесется к весьма вольной шутке приятеля? Всетаки речь идет об отце возлюбленной...

Арман остался совершенно спокоен. Более того, продолжил рассказ о родне Сандрийон в столь же фривольном тоне:

— А ее мачеха в первом браке была баронессой и теперь спит и видит, как бы вернуть баронскую корону на дверцы кареты. Выхлопотала для своего благоверного место главного лесничего принца де Рогана — здешний лес принадлежит ему, вы не знали? Неподалеку отсюда по дороге на Бельви расположен один из замков принца, и раз в год, летом, он дает бал для верхушки местного дворянства...

После этих слов господин аббат тяжело вздохнул.

— Ба! Кажется, я понял, в чем дело! — вскричал Бриссак. — Принц Роган давал этим летом бал — и не счел фамилию де Леру относящейся к верхушке дворянства?!

— Бал состоится сегодня, — сухо ответил Арман. — И дело совсем не во мне... Сандрийон, окончательно потеряв голову от бредней тетки, собралась туда... Без приглашения.

— Едва ли ее пропустят дальние вороты парка, — сказал д'Анtrag. — Роганы любят держать в услужении титулованных людей, подчеркивая свое исключительное положение среди французских дворян. Но за ровно их никогда не призывают.

Бриссак сегодня был явно в ударе и продолжил блестать проницательностью:

— Полноте, граф! Дружинце Арман опасается обратного — что его возлюбленную пропустят, не так ли? У де Рогана, например, двое молодых сыновей... Принцы ведь женятся на простолюдинах лишь в сказках, а вот делают их содержанками сплошь и рядом!

Арман ничего не ответил и упорно молчал до того момента, когда трое друзей уселись за стол. Тогда он произнес с горечью:

— У меня, не знаю отчего, есть нехорошее предчувствие: я не увижу больше Сандрион... А ведь всё так удачно складывалось... Я рассказал ей о своем брате-близнеце — дворянине, чистом души и сердцем, к тому же не женатом... Нашел священника, готового за деньги обвенчать хоть магометанина с картезианкой... Снял очень миленький домик в Монбазоне... Будь проклят Роган с его балом!

Граф д'Анtrag решил наконец высказать томившее его сомнение:

— Прости меня, милый Арман, но... Мне показалось, что в письмах ты демонстрировал несколько иные чувства — и несколько иные намерения — в отношении своей избранницы. Мы, твои друзья, даже опасались, что...

Граф не договорил — аббат рассмеялся, на удивление заразительно и весело.

— Ох, извини, любезный Анри... Неужели и в самом деле можно было решить, что я потерял голову от прекрасной селянки? Что же, тем лучше! Всё гораздо проще, друзья мои... Должен признаться, что питало самые серьезные намерения прославиться на литературном поприще, а времена, когда можно было проложить путь в Академию косноязычными переводами Федра либо Саллюстия, к счастью, миновали. В изящной словесности наступает новый век, и новые книги будут занимать внимание читателей

и критиков — наиболее близкие к жизни, к природе, к истинным взаимоотношениям между людьми...

— Значит, мне довелось стать первым читателем начальных глав «Писем из деревни»? — догадался граф. — Эпистолярного романа, сочиненного господином де Леру?

— Ну, не совсем так... — смутился Арман. — Ничего специально я не сочинял и не выдумывал... Просто описал имевшие место события несколько более литературно и возвыщенно...

Бриссак почувствовал — или ему показалось, что почувствовал, — в двух последних репликах некое глубинное напряжение. И он поспешил увести разговор в сторону:

— Арман, вы, наверное, отчаянно здесь скучаете без последних парижских новостей? Мне кажется, мы с графом сможем восполнить сей пробел. Допла ли, к примеру, до ваших краев препикантнейшая история о новом любовнике мадмуазель Дютэ?

* * *

После пятой бутылки шампанского разговор о женщинах сменился разговором о делах магических и оккультных, хотя и прекрасный пол продолжал занимать в нем изрядное место.

— Любопытный случай произошел с девицей Ленорман, наделавшей столь много шума в Париже, — рассказывал Бриссак. — Учился с нами в военной школе один юнкер — нелюдимый, настоящий дикарь-южанин, не хочу утомлять вашу память его варварской фамилией... Утверждал, что он сын провинциального адвоката, — может, оно и так, но я уверен, что еще дед этого малого был самым настоящим корсиканским *banditto*. Однажды — редкий случай — нам удалось вытащить его на воскресное гулянье на площади Дофина. Там выступала со своими гаданиями мадмуазель Ленорман. Мы сложились по нескольку экю с человека, и Монборе заранее навестил девицу, рассказав ей, что надо предсказать нашему нелюдиму. Шутка удалась на славу! Малыш корсиканец ходит теперь сам не свой — еще бы, услышал, что ему предстоит стать величайшим полководцем в истории и повелителем половины мира!

— К концу жизни дослужится до чина капитана в провинциальном гарнизоне, — меланхолически прокомментировал граф. И рассказал о другом пророчестве, слухи о котором поползли не так давно по Парижу:

— В начале этого года в салоне герцогини де Граммон собралось достаточно пестрое общество: придворные, военные, судейские, литераторы... Звучали весьма смелые речи — о Вольтере, о грядущей революции, что сбросит с Франции цепи суеверия и фанатизма, о царстве разума и свободы, которое не за горами. Лишь Казот — связавшись с иллюминатами, он помалу приобрел славу ясновидца, — не разделял общих восторгов. «Вы увидите ту великую и прекрасную революцию, о которой так мечтаете, — сказал он. — Но лучше вам не знать, что произойдет с вами в долгожданном царстве разума...» Конечно же, после такого вступления все наперебой стали требовать предсказаний: что случится с каждым из них. И Казот дал волю фантазии: Кондорсе, по его словам, предстоит принять яд, чтобы избежать казни на революционном эшафоте; Шамфор с той же целью выстрелит себе в голову, но неудачно, лишь обезобразив лицо... Де Байи и де Мальзерб не успеют уйти из жизни сами и примут смерть из рук палача. Герцогиня попыталась свести все к щутке, сказав, что женщины в бунтах и революциях не участвуют и ей ничего не грозит. «Ошибаетесь, сударыня, — сказал безжалостный Казот. — Вы поедете к месту казни на простой тюремной новозеке и умрете без духовника, без исповеди. Причем окажетесь еще не самой высокопоставленной дамой, казненной таким образом...» И он весьма прозрачно намекнул, что позорная казнь ждет и принцесс крови, и, смеясь сказать, королевскую чету... Сейчас это звучит как иллюминатские бредни, но тогда уверенные мрачные речи Казота на многих произвели впечатление.

— Бред, конечно же, — произнес де Бриссак. После чего в нарочито игривом тоне пересказал старый анекдот об известной иллюминатке — супруге маршала де Ноайля, опустившей адресованное Богородице письмо в кружку для пожертвований церкви Святого Рока; томимый скучкой священник написал ответ от имени Пресвятой

Девы, завязалась оживленная переписка. Обман вскрыл-ся несколько месяцев спустя, и история наделала много шума... В заключение рассказа он спросил де Леру:

— Скажите, Арман, коли вы уж время от времени подвизаетесь в здешней церкви, — вам не доводилось получать схожие послания? При здешней простоте нравов это было бы неудивительно...

— Не доводилось... Но примсров мракобесного суеверия и без того хватает. Не так давно кюре привез из Парижа часы — большие напольные часы с боем... И что вы думаете? Сия невинная покупка вызвала крестьянское волнение, чуть ли не бунт. Кто-то пустил слух, что часы на самом деле — пресловутая габель, которую никто здесь в глаза не видел и ничего о ней толком не знает, но все уверены, что страшнее вещи нет на свете... Пришло вмешаться мне — причем успел я в последний момент: часы уже лежали на готовой вспыхнуть поленнице.

— Как же вы сумели переубедить фанатиков? — воинтересовался Бриссак.

— Очень просто. Показал им письмо, полученное из Артуа, от де Левиса, — большая печать с герцогской короной выглядела на нем необычайно внушительно. И сказал, что это булла Папы Римского, предписывающая каждому французскому кюре владеть часами с боем. Толпа немедленно разошлась, причем многие с благоговением обlobызали печать де Левиса.

— Фанатизм и суеверия низов или развращенное безверие высшего сословия — что страшнее для Франции? — prodекламировал Бриссак патетически. — Хорошая мысль, надо бы записать...

— Фанатизма здесь хватает... То ползут слухи о двухголовом теленке, родившемся в соседней деревне в пятницу и предвестником великих беды, причем на турецком языке... То пейзане приносят мне какой-то обугленный камень и пытаются продать за десять ливров, утверждая, что он свалился с неба... И все мои уверения, что физиологическое устройство горла телят не позволяет им произносить ни турецкие, ни какие иные речи, уходят как вода в песок. С тем же успехом можно объяснить, что

космос — суть пустота, заполненная мировым эфиром, и камням там взяться решительно неоткуда...

Увидев, что Бриссак тягнется откупорить очередную бутылку (слуг приятели давно отпустили), аббат де Леру запротестовал:

— Полно, друг мой! Мне завтра — вернее, уже сегодня — очень рано вставать и служить заутреню — кюре в отъезде. И без того, боюсь, вместо канонических текстов придется прочесть несколько отрывков из Апuleя, вставляя в подходящих местах «аминь»...

— Не волнуйтесь, Арман, — сказал Бриссак с многозначительным видом. — Я предвидел, что наша вечеринка затянется, и принял меры. Взглядите на свои часы, когда колокол па церкви в очередной раз пробьет время, и вы всё поймете.

«Так вот о чем он говаривался со звонарем, услышав про заутреню...» — догадался д'Анtrag.

*ГЛАВА ТРЕТЬЯ, в которой материализм
и просвещение одерживают самую решительную
победу над фанатизмом, мракобесием
и суевериями*

Роже-Анж — тот самый пейзанин, что встретился графу и Бриссаку на выезде из Сен-Пьера, — привык вставать не просто на рассвете, но за час до него, едва небо на востоке начинало набухать розовым. Вставал и безжалостно поднимал домочадцев — скучный завтрак, и за работу.

Сегодня он проснулся особенно рано, но дело того стоило, утро предстояло особое...

Полежал в темноте, приводя мысли в порядок, услышал, как колокол церкви Святого Петра пробил три удара, и тут же сел на низкой, сколоченной из досок лежанке. Что-то не так... Время он давно привык чувствовать без часов — и, по его ощущениям, было гораздо позднее.

Он встал, с наслаждением почесался, тело зудело от укусов насекомых. Иветт, рябая невестка, греющая ложе

свекра, пробормотала что-то во сне — Роже-Анж взглянул на нее почти с ненавистью.

Одеваться не стал, спал в одежде — июньские ночи прохладны, а топливо для очага дорого. Роже-Анж вышел из-за занавески, отделявшей ложе главы семейства от общей комнаты. Остальные домочадцы спали прямо на земляном полу, на кучах всевозможного рваного тряпья. Ни в узенькие щели окошек, ни в зияющее в потолке отверстие дымохода не сочилось ни лучика света. Перешагивая через лежащие тела, Роже-Анж прошел к двери, отодвинул деревянный засов, выпел на улицу.

Так и есть — небо на востоке оказалось не то чтобы светлым, но чуть менее темным. Не иначе как звонарь Гризье выпил вчера больше обычного... Пора будить Мари-Николь — по опыту прошлых лет Роже-Анж знал, что гости с бала начнут разъезжаться через час-другой, и приготовиться стоило заранее. Он шагнул обратно в дом, стараясь дышать ртом, — после ночной свежести густые испарения давно не мытых тел казались особенно отвратительными.

Дверь чуланчика, где ночевала Мари-Николь, отворилась с пронзительным скрипом. Роже-Анж специально не смазывал петли — не для того он бережет дочку, чтобы кто-то из недоумков-сыновей залез к ней под юбку и порушил все великие планы... (На самом деле двое старших лишь считались сыновьями Роже-Анжа, будучи в действительности его единокровными братьями, — покойный отец тоже был не прочь пошалить с невесткой.)

Мари-Николь посапывала, свернувшись клубком, подтянув колени к подбородку, — иначе на полу крохотного помещения было попросту не разместиться. Роже-Анж шул ее — легонечко, чтобы, чего доброго, не остался синяк. Прошипел:

— Вставай, дармоедка...

Потом Мари-Николь мылась на улице, под навесом, вскрикивая от ледяной воды. Роже-Анж стоял рядом, придирчиво разглядывал ее грудь, живот, бедра... Хороша, спору нет, хоть сейчас под принца... Нет, конечно же, Роже-Анж не мечтал, что на его дочь упадет благосклонный взгляд столь высокой особы. Однако старый Козиньянк

(тоже владевший участком, очень удачно расположенным у дороги) продал два года назад дочь проезжему секретарю королевского суда из Монбазона, и дела его круто пошли в гору: прикупил виноградник у вдовы Люро, а сейчас торгуется с кривым Вене на счет покупки мельницы...

Рассвет близился. Роже-Анж принес дочери хранившиеся в запертом сундуке выходное платье, бирюзовое ожерелье и нарядные башмачки из красной кожи. Мари-Николь, закутанная в холщовое полотенце, дрожала и смотрелась не слишком-то прельстительно. Пришлось исправлять дело. Аккуратно положив сложенное платье на чурбак, Роже-Анж обнял дочь, мял ей грудь заскорузлой, мозолистой ладонью, вторая скользнула вниз... Остановился старик с трудом, но своего добился: Мари-Николь покрылась румянцем, глаза поблескивали, дыхание бурно вздыхало грудь...

— Одевайся, — буркнул Роже-Анж и отвернулся. Затем подумал, что если принц — или хотя бы секретарь суда — нынешним летом не подвернется, то он сам опробует это яблочко. Перезревшие плоды начинают гнить...

Вручил дочери деревянные грабли, отправил к дороге — вновь разметать сено, уложенное вчера вечером в аккуратную копну.

Восток все больше наливался светом, уже можно было разглядеть купол церкви и колокольню, различить в темной стене леса отдельные деревья. Скоро гости его высочества начнут разъезжаться. Да и вчерашних дворян, спрашивавших про аббата, нельзя сбрасывать со счетов — Роже-Анж заметил, как один из них пялился на грудь его дочери...

Пора поднимать домочадцев, хватит им бездельничать. Роже-Анж тяжело пошагал к дому, но остановился, услышав от дороги истошный крик:

— Оте-е-е-е-ец!!!

Ну что там у нее... На грабли наступила? Он поспешил к дочери. Подойдя, решил было, что понял причину ее испуга: из-под ног метнулась огромная крыса — как-то неловко, несколько боком, прихрамывая на обе левые лапы... Но закричала Мари-Николь не при виде грызуна,

— Э-э-э... — только и сказал Роже-Анж, потянувшись к затылку привычным жестом.

На дороге лежала тыква. Да что там тыква — тыквища, не то король, не то кардинал всех тыкв. Огромная, рыже-красная, необхватная... Откуда она здесь? Да еще в такое время? Прошлогодний урожай давно съеден, и тыквы сейчас зеленые, с кулак размером...

— Отец... — лепестала Мари-Николь, — она... она... Она говорит!!

Губы девушки подрагивали. Роже-Анж собрался отдать ее пониже спины рукоятью граблей, — какому же принцу, скажите на милость, приглянется слабоумная, несущая всякую чушь? И тут он сам услышал далекий, еле слышный женский голос, раздающийся словно бы прямо в голове...

Роже-Анж осторожно шагнул к чудо-тыкве, и голос стал громче — сидящая не то в гигантском овоще, не то в голове женщины умоляла спасти ее отсюда и порола какую-то ахинею о часах, не вовремя пробивших...

— Сгинь, сатана, — пробормотал Роже-Анж, осеняя себя крестным знамением.

* * *

Под утро обильные возлияния сделали свое дело. Арман де Леру если и вспоминал про заутреню, то далеко не в благочестивых выражениях: какого дьявола, в самом деле, он должен исполнять чужие обязанности? Да и вообще, завтра же отправится в Париж и объявит семье, что бросает постылую каторгу, — пускай-ка братец Жан-Франсуа отрабатывает бенефиций, хватит ему бездельничать! А его, Армана, призвание — литература!

— Но сегодня, друзья, мы поедем к моей Сандрийон! — воскликнул Арман. — И вы убедитесь, какие жемчужины попадаются в здешней навозной куче! Я уверен, что она вернулась задолго до полуночи, даже не попав в бальную залу, и нуждается в утешении, а сотня экю сделает лесничего весьма говорчивым, и он не будет возражать, если мы прокатимся с его дочерью развлечься в Монбазон! Выезжаем немедленно!

Пошатываясь, он направился к дому, переодеться. Бриссак, тоже весьма разгоряченный визом, был не прочь составить компанию приятелю. Д'Анtrag ближе к рассвету впал в меланхолию и никаких возражений не высказал.

Сонные слуги седлали коней, когда заявился встрепанный, с соломой в волосах крестьянский парень: очень важно, мол, дело к господину аббату. На графа и Бриссака он глянул с опаской и, нагнувшись к уху де Леру, горячо что-то зашептал. Арман сидел с брезгливой миной — наверняка изо рта парня разило отнюдь не флорентийскими благовониями.

— Тыква?! — вскричал аббат, не дослушав. — Человеческим голосом?! Сожгите ее к чертям! Спалите на самой большой поленнице! И не забудьте положить туда же двухголового теленка!

— И габель, — подсказал Бриссак.

— Да, да, и габель! В огопь все порождения дьявола! В очистительное пламя!

...Когда они проезжали окраиной Сен-Пьера, со стороны церкви доносился отчаянный, оглушительный вопль — трудно было представить, что его способен издать человек либо животное. Бриссак придержал коня, потянул носом воздух. Покачал головой:

— Похоже, они и в самом деле жгут теленка... Явственно тянет горелой плотью.

— Да пропади они пропадом, фанатики и мракобесы! — отклинулся Арман, по-прежнему возбужденный. — Поспешим, друзья, нас ждет Сандрион, моя Сандрион!!

ЭПИЛОГ, в котором объясняются некоторые события, описанные в прологе, а некоторые навсегда остаются загадкой

Тем летом восемилетняя Сюзанн по прозвищу Заячья Губа — дочь Роже-Анжа, считавшаяся его внучкой, — стала обладательницей собственной, тщательно скрываемой от посторонних тайны.

Когда выдавалось свободное время, она убегала далеко, за самый дальний, давно пустующий амбар, чуть ли не к границе леса, доставала из тайника свое сокровище и хоть на полчаса, но чувствовала себя настоящей принцессой. О том, чтобы обуть туфельку из хрусталя и серебра, она даже не помышляла, — ставила ее на камень и любовалась, грезя о другой, прекрасной жизни...

Потом сказка закончилась — кто-то выследил Сюзанну, и в следующий визит она нашла тайник разграбленным... Девочка подозревала Мари-Николь, единокровную сестру, — пару раз видела ее неподалеку от своего убежища.

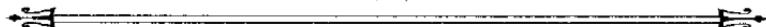
Безутешное горе длилось больше месяца, а затем визиты за дальний амбар возобновились — у Сюзанн появилась новая тайна. Вернее сказать, появился друг — большая старая крыса. Заслышав шаги девочки, она тяжело, хромая на обе левые лапы, вылезала из норы. Неторопливо съедала принесенное угощение и при этом важно, словно королевский гвардеец, топорщила усы. Затем устраивалась на солнышке и слушала, как девочка рассказывает сказки...

Слушательницей крысы оказалась благодарной: не перебивала и не смеялась над щепелявостью, нызванной заячьей губой... И казалось, если бы умела говорить, тоже могла бы поведать немало занимательных историй.

часть вторая

ЗВОН МЕЧЕЙ И ПУШЕК ГРОМ

ОЛЕГ ДИВОВ



Мы идем на Кюрасао

Петр Тизенгаузен, молодой дворянин из мелкопоместных, был с придурью.

Еще в детстве его одолевали всякие идеи: то затеет вертеть дырку до центра Земли и обрушит летний нужник; то возьмется изучать самозарождение мышей в грязном белье и увидит слишком много интересного; то задумается, чего люди не летают, и после ковыляет с ногой в лубках. Когда Петр наконец вырос и озабочился вопросами попроще, а именно почто у девок сиськи и как от вина шумит в голове, родители юного Тизенгаузена заметно воспряли духом.

Но годам к восемнадцати, когда все ему стало окончательно ясно, понятно, доступно, а от этого как-то пресно, Петру нечто особенное вступило в голову.

От скучи Тизенгаузены держали парусную шнягу, на которой в ясную погоду гуляли по Волге-матушке под гармошку и самовар с бараками. Шняга была верткая, легкая, быстрая, не боялась волн, прелесть суденышко. На ней даже стояла пушечонка для потешной стрельбы, из разряда тех, которые пищалью назвать уже нельзя, а орудием еще совестно.

И вот на эту шнягу Петр Тизенгаузен вдруг зачастил.

Экипаж шняги состоял из шестерых мохнатых обормотов под командой вольноотпущенного матроса деда Шугая. Тот Шугай, даром что дед, носил флотскую косичку, в ухе серьгу и за поясом нож. Еще он был зна-

менит аж на другом берегу Волги-матушки невероятным своим сквернословием и ловкостью в работе со всякой снастью. Рассказы деда Шугая о дальних походах и испоплении басурман тянулись часами, ибо на одно русское слово у него приходилось три-четыре морских. Но если слушать внимательно, то можно было узнать вещи поразительные — например, что у китаянок дырка поперек.

Главное, со шнягой дед управлялся отменно. Не было случая, чтоб его мохнорылый экипаж черпнул бортом воду, навалился на другое судно или, скажем, пропил с похмелья якорь — что на Волге-матушке испокон веку считалось в порядке вещей.

Приняв командование и понизив деда Шугая до боцмана, каковое понижение было компенсировано дополнительной чаркой водки в день, Петр Тизенгаузен развел на шняге кипучую деятельность. Во-первых, он перекрестил ее из «Ласточки» в «Чайку». Во-вторых, заставил матросов основательно подновить судно и заново покрасить. В-третьих, оснастил «Чайку» рымдой. И принялся на шняге по Волге-матушке разнообразно вышивать. И в ведро, и в дождь, и при любом ветре «Чайка» сновала туда-сюда, оглашая великую русскую реку чудовищной руганью и вытворяя такие эволюции, что соседи Тизенгаузенов крутили пальцем у виска.

— Эх, и угораздило же меня с моим талантом родиться в России! — возмущался Петр, когда ветер стихал и команда садилась на весла. — Что скажете, пиратские морды?!

— Ё! — дружно орали пиратские морды.

Экипаж шняги, надо сказать, разросся уже до дюжины мохнорылых, и морды у них вправду были довольно пиратские. Тизенгаузен самолично отбирал на борт мужиков, из-за чего даже имел серьезный разговор с папенькой.

— Как один острожники! — возмущался папенька. — Зарежут! Сожрут!

— А у меня пистолеты, — отвечал Петр.

Со временем эволюции шняги стали приобретать угрожающий оттенок: «Чайка» шныряла в опасной близости от других судов. Опытный глаз легко угадал бы в ее

маневрах развороты для бортового залпа и абордажные заходы.

Вскоре со шняги помимо обычной ругани донеслась еще и нальба: Петр выставил на фарватер старый ялик и крутился вокруг него, поливая картечью из пулгачонки.

Обеспокоенный папенька бросился к маменьке.

— Быстро жени мальчишку на соседской дочери, пока ие началось!

Но было поздно.

Следующим утром на мачте «Чайки» взвился черный флаг. На квадратной тряпке были грубо намалеваны чепр и кости.

— Прощайте, маменька и папенька! — крикнул Петр, стоя у руля. — Не поминайте лихом! Мы идем на Кюрасао!

Маменьке сделалось дурно. Папенька в сердцах плюнул шняге вслед.

— Да ты раньше Калязина потонешь, — сказал он.

Шняга подняла все паруса и, подгоняемая легким по-путным ветром и крепким матом, унеслась.

Ликующий экипаж выпил по чарке водки за успех предприятия и во славу капитана.

— Стану адмиралом, будете пить по две, — пообещал Петр.

— Ё!!! — заорали пиратские морды.

Тизенгаузен подобрал команду умышленно — все его матросы были, помимо вдового деда Шугая, в разладе с женами и мечтали убраться куда подальше. Хоть на Кюрасао. Поглядеть заодно, правда ли у китаянок дырка ниперек.

Шняга весело скакала по мелкой волне.

* * *

К обеду вышли на траверз села Концы. Стали на якорь в видимости скобяной лавки жида Соломона — больше в Концах ничего достойного внимания не было. Тизенгаузен высадил на берег десант во главе с огромным рыжим Волобуевым.

— Все ясно, пиратские морды? — напутствовал флибустьеров капитан.

— Ё! — ответили флибустьеры.

Жид Соломон, увидев выходящую на берег шайку и осознав, что морды приближаются сплошь пиратские, заперся в лавке. Волобуев со товарищи неуверенно потоптались у двери, постучали обухами топоров в ставни, и все было бы ничего, не вздумай Соломон показать флибустьерам в замочную скважину кукиши.

Десант запросил поддержки с моря.

— Наводи, — приказал Тизенгаузен канониру Оглоедову. — Пали!

Пушчонка жахнула по лавке и с первого раза засадила ядрышко аккурат в замочную скважину.

Лавка была захвачена без боя, только жид Соломон с перепугу остался на всю жизнь заикою. Жена его и дочери отделались не в пример легче, правда следующей весной почти одновременно родили по мальчишке.

— Ну дает Соломошка! — изумлялись в Концах. — Закика, а ишь ты!

Пираты взяли в лавке богатый приз скоб, гвоздей и амбарных петель. Из скоб нонаделали абордажных крючьев, гвозди порубили на картечь, петлями набили трюм в разумении когда-нибудь их выгодно продать.

«Чайка» ушла от греха подальше на другой, безлюдный, берег, чтобы первый успех подобающе обмыть, заесть и переспать. А утром пиратская шняга, еще веселее и шумнее прежнего, двинулась промышлять дальше.

План Тизенгаузена был прост: накопив пиратский опыт в относительно безопасных пресных водах, вырваться на оперативный морской простор, а там у кого-нибудь спросить дорогу на Карибы. Напрасно папенька думал сына женить на дочери соседа. В мечтах Петр видел себя зятем губернатора Тортуги, не меинше.

Вскоре на горизонте замаячило нечто большое и неповоротливое, отдаленно напоминающее транспорт с хреном. Оглашая берега эпитетами, «Чайка» начала маневр сближения. Канонир Оглоедов зарядил пушчонку сушеным горохом — на первый выстрел, для острастки.

Намеченная на абордаж жертва оказалась вблизи именно что транспорт с хреном.

— Вы чего?! — заорали оттуда сверху вниз. — Мать вашу!

Но крючья уже, хрустя, впивались в борт. Абордажная команда Волобуева, размахивая топорами, бросилась на приступ.

Капитан Тизенгаузен грозно ступил на палубу транспорта.

— Сарынь на кичку! — крикнул он и стрельнул из пистолета в воздух.

За что немедленно получил вымбовкой по голове и упал.

— Ё! — рявкнул канонир Оглоедов.

Пираты дружно присели, жахнула пушечонка, и заряд гороха пришелся точно по мордасам вражеской команды, столпившейся вокруг мачты.

Транспорт сдался на милость победителя.

— До чего же мы, русские, несговорчивый и упрётый народ, — сокрушался Тизенгаузен, держась обеими руками за голову. — Я же вам крикнул, обормотам: «Сарынь на кичку!» А вы?

— Да мы тут все, в общем, не графья, — хмуро сказал капитан. — Чистая сарынь. А ты-то кто, мать твою, истопник хреноў?

— Вот и вправду пущу на дно твое корыто — будешь знать, какой я истопник, — пригрозил Петр. — Капитан Тизенгаузен! Пиратская шняга «Чайка»! Слыхал? Ничего, еще услышишь. Деньги на бочку! А то картечью пальнем!

Денег набралось чуть более пяти алтынного. Зато хрена баржа везла, как метко заметил дед Шугай, очень много.

— Никто не хочет вступить в мою команду? — спросил Петр. — Ну и плывите отсюда... С хреном! И всем расскажите, что вас взял на абордаж капитан Тизенгаузен!

— Ага, — скучно ответили ему.

* * *

Когда баржа превратилась в пятнышко на горизонте, экипаж «Чайки» выпил по чарке, а Тизенгаузену перевязали голову его же шейным платком, к капитану подошел Волобуев.

— Слышите, барчук, — сказал он. — Вы бы это... Не мое, конечно, дело, но лучше вам не хвалиться своей фамилией направо и налево. Вдруг поймают? Нас-то пороли, порют и будут пороть, дело привычное. А вам может показаться стыдно. Да и цыкурка у вас, извините за выражение, не такая дубленая.

— Как стоишь перед капитаном?! — взвился Петр.

— Виноват... — Громила вздохнул и ушел на корму.

— Я знаю, что делаю! — бросил Петр ему в спину.

Волобуев спиной изобразил недоверие, но больше ничего не сказал.

Команда, против ожидания, не роптала. Экипаж воодушевила легкость победы, редкая меткость канонира вселяла надежду на новые успехи. А хрен... Все равно редьки не слаше. Да и награбленная мелочь была хоть мелочь, однако живые деньги.

На следующий день «Чайка» атаковала еще баржу, которую тянули против ветра бечевой. Наученный горьким опытом, Петр приказал открыть огонь загодя. Оглоедов виртуозно накрыл горохом бурлаков, затем влепил гвоздями по палубной надстройке — строго говоря, шапашу.

— Будешь у меня на фрегате главным канониром, — пообещал Петр.

Команда баржи трусливо покинула судно и убежала по берегу, как метко заметил дед Шугай, очень далеко.

На барже оказались мало того что всякая мануфактура и провиант, так еще пара ружей с прицелом и водки полведра.

Тизенгаузен закусил губу. Приз был что надо, но увести его за собой означало потерять скорость.

— Жалко, не фрегат у нас, — расстроился Оглоедов. — Сейчас бы все забрали.

Стоявший рядом дед Шугай метко заметил, что фрегату на Волге-матушке было бы тесно.

— Петли амбарные за борт, — приказал Тизенгаузен. — Грузите ткань. Ох, сколько же еei! Кто хочет, может намотать себе бархатные онучи. Хм... А не поставить ли нам алые паруса?

Дед Шугай метко заметил, что хотя тряпья красного полно, но команда устанет шить.

— Ты прав, мужественный старик! — согласился Тизенгаузен. — Что бы мы без тебя делали?

Дед Шугай объяснил — что.

* * *

Утром пиратская шняга подошла к убогому селению Малые Концы. Капитан послал Волобуева с людьми на разведку.

— Ну, ты расспроси там, — туманно объяснил он Волобуеву.

Люди ушли и пропали. Канонир Оглоедов скучал у пушечки, дед Шугай травил морские байки, Тизенгаузен разглядывал берег в подзорную трубу.

— Сходите за ними кто-нибудь, — распорядился он.

И остатки команды затерялись среди покосившихся домишек.

Через некоторое время с берега донеслась унылая пиратская песня:

По-над Волгой, да над Волгой,
Да над Волгой, Волгой-ой!
Раздается по-над Волгой
То ли песня, то ли вой!
Этот вой зовется песней
По-над Волгой, Волгой-ой,
Потому что хоть ты тресни,
А я помру я молодой!

— Перепились, сволочи, — понял Тизенгаузен.

— А то из пушечки жахнуть? — с надеждой спросил Оглоедов, слатывая слону. Глаза у него едва не слезились, вероятно от сострадания к поющим. — Глядишь, прибегут. Или лучше прикажите, я за ними смотаюсь?

— Всем оставаться на борту! Стрелять не будем, припаса жалко. Подождем еще.

Команда вернулась на борт только утром. Вид у пиратов был виноватый, дышали они в сторону.

Дед Шугай за неимением боцманской дудки обошелся словами. Команда послушно изобразила подобие строя во фронт. Капонир Оглоедов, справедливо полагая, что его это все не касается, остался у пушечки, недобро щуря левый глаз.

— Зачинщики — шаг вперед! — приказал Тизенгаузен. — Перепорю негодяев!

Пираты дружно, как один, шагнули.

Капитан Тизенгаузен впервые в жизни опустился до нецензурных выражений. Как после метко заметил дед Шугай, капитану еще было чему учиться, но для начала выступил он неплохо.

— ...А тебя, паразита, — сказал в заключение капитан, тыча пальцем в грудь огромному рыжemu Волобуеву, — я с этого дня назначаю старшим помощником!

— За что, барин?! — взмолился Волобуев.

— А вот будешь моей правой рукой. И за каждое прегрешение этих обормотов мохнорылых схлопочешь горячих!

— Может, не надо? — попросил Волобуев. — Вон же, боцман есть...

Тизенгаузен покосился на деда.

Дед Шугай сказал, что он уже стар для всего этого, а Волобуев в самый раз.

* * *

С новообретенным старпомом шняга понеслась высматривать добычу как укушенная. Казалось, она летела быстрее ветра. Может, у Волобуева и не было таланта моряка, зато он умел убеждать.

— Что там было-то хоть, в деревне? — спросил Тизенгаузен у боцмана.

Из объяснения деда Шугая следовало, что в деревне нашлась бражка, и ничего больше интересного.

— И как пиратствовать с такой командой, а? — Петр вздохнул.

Дед Шугай сказал как.

Через пару часов впереди показалась такая же шняга, идущая галсами навстречу. Петр схватил подзорную тру-

бу. Команда приободрилась. Но Тизенгаузен увидел что-то такое, отчего сел под мачтой и загрустил.

— Отставить, — сказал он. — Разойдемся.

Встречное судно приближалось. Вот уже стало видно, как над ним вьется дымок самовара.

— Эй! — раздалось над Волгой-матушкой.

Тизенгаузен вобрал голову в плечи.

— Да это же Петя! Тизенгаузен! Петюнчик! Эй, на барже! Лом не проплыval?! Ха-ха-ха-ха!!!

Пираты заскрипели зубами. Капитан молчал.

— Петюнчик! Ты ли это? Спускай паруса! Давай к нам чай пить! Ой, глядите! Да у него флаг пиратский! Эй, Петюня! Дружище! Гроза морей! Ха-ха-ха!!!

Тизенгаузен сидел красный, как вареный рак.

— Капитан! — прощентал канонир Оглоедов. — А то жахнуть?

Петр молча показал ему кулак.

Шняги сходились под свист и улюлюканье с одной и гробовою молчание с другой.

— Адмиралу Тизенгаузену — ура! — надрывались на встречном судне.

А вот этого не надо было. Потому что Петр переменился в лице, вскочил на ноги, пропел к рулевому, отогнувшись и взял управление.

— К повороту! — сухо приказал он. — Слушай меня. Абордажа не будет. Оглоедов! Бей картечью по парусам. Бери выше, если кого там зацепишь — не пощажу.

Пиратский экипаж, до этого переносивший унижение стойчески, теперь с горящими глазами бросился по местам. «Чайка» пошла на сближение.

— Давай, Оглоедов, — сказал Петр. — Покажи им. Пали!

Жах! У пушечки засуетились, заряжая. Жах! На встречной шняге поднялась суматоха, там махали руками, истошно орали, кто-то сиганул за борт.

Паруса у встречного были уже как решето, а Тизенгаузен целил острым носом «Чайки» ему под корму.

— К повороту!

В последний момент «Чайка» легла на бок. Хрясь! Мельнули белые лица, раззявленные рты, воздетые кулаки — и промельнули.

— Пусть теперь походят по матушке по Волге без руля-то да без ветрил, — сказал Тизенгаузен. — Чего молчим, пиратские морды?

— Ура капитану Тизенгаузену!!! — раздалось над великой русской рекой. — Ура! Ура! Ура!

Петр Тизенгаузен стоял на корме, твердой рукой направляя «Чайку» к великим свершениям. Над коротко стриженной головой капитана развевался пиратский флаг.

* * *

Водный приступ к богатому торговому селу Большие Концы стерегла крепостица. Это ветхое сооружение, возведенное, сказывали, аж при царе Горохе, было в новейшие времена оснащено российским штандартом и пушечной батареей при инвалидном расчете. Сейчас штандарт грустно висел книзу, пушки убийственно торчали из бойниц, инвалиды безалаберно шокуривали на крепостной стене.

«Чайка» заблаговременно спустила пиратский флаг, прикидываясь гражданской посудиной. Тизенгаузен рассчитывал сбыть в Больших Концах награбленную мануфактуру, пополнить запас провианта да разузнать новости.

Не тут-то было. Едва шняга приблизилась к крепостице на выстрел, одна из четырех пушек окуталась дымом, шарахнула, и по курсу «Чайки» поднялся водяной столб.

— Ну-у, началось... — бросил Петр, стараясь не подавать виду, что на душе заскребли конки.

Он послюнил палец и высоко поднял его над головой. Ветер дул еле-еле, винору было сажать команду на весла.

— Прокочим? Или не прокочим? — подумал вслух Петр.

— На таком ходу не прокочим, — уверенно сказал канонир Оглоедов. — Там в наводчиках Федор Кривой. Ему, заразе, целиться самое милое дело: лишний глаз не мешает. Сейчас еще далековато, а чуть ближе подползем — утопит нас с одного залпа.

— Откуда знаешь? — удивился Петр.

— Так Федор мой учитель, — гордо сообщил Оглоедов. — Я на этой самой батарее служил малость, пока в острог не загремел.

— За что посадили-то?

— За страсть к пальбе, — скрупо объяснил Оглоедов.

— Понятно, — сказал Тизенгаузен. — Эй, старпом! Ложимся пока в дрейф, а там видно будет.

— Бояцман! — рявкнул Волобуев. — Ложимся пока в дрейф, а там видно будет!

Дед Шугай метко заметил, что кричат людям прямо на ухо только глухие и тупые.

От крепости отвалил ялик и неспешно погреб к «Чайке».

Тизенгаузен, заложив руки за пояс, стоял под мачтой и размышлял, не поднять ли снова пиратский флаг, раз уж такое дело, но не мог решиться. Теплилась еще надежда, что им отсигналили по ошибке. А может, вышло предписание каждое судно так встречать в Больших Концах — ради предотвращения.

Ялик подвалил к борту. В лодчонке оказался красномордый прaporщик, неопрятный и пахнущий сивухой.

— Который здесь будет капитан Тузигадин? — спросил он. — Примите от коменданта пакет, ваше благородие.

Петр сделал каменное лицо и взял письмо так лениво, будто пакеты от комендантов приходили к нему каждый Божий день.

— Подождите ответа, милейший, — буркнул он.

— Дык, — прaporщик кивнул. — Ага, и ты здесь, Оглоедина, морда разбойная? Дома не сидится, в истопники подался?

— А дома-то что хорошего? — мирно отвечал Оглоедов. — Баба постылая, работа каторжная да ссемеро по лавкам.

— Узнаешь теперь работу каторжную, — пообещал ему прaporщик.

Петр развернул письмо.

«Милостивый государь Петр Петрович! — писал комендант. — Поскольку велено мне губернатором бесчинства

на Волге-матушке прекратить и самого вас, ссыкав, представить, осмелись рекомендовать следующее. Сдавайтесь ка вы, голубчик, подобру-поздорову, пока дело не зашло слишком далеко. Нынче еще можно ваше предприятие обрисовать как неумную проказу и выставить вас перед губернской властью, простите всемилостивейше, молодым романтическим идиотом. Смею надеяться, отделаешьесь пощечиной и вернетесь домой вскорости. Проявите благородство! То же и напенька ваша советует, от коего передаю сердечный привет и полное прощение».

Тизенгаузен сложил письмо вдвое, потом вчетверо. Снова развернул. Перечитал. Опять сложил. Окинул взглядом своих людей. Команда ждала, что скажет ей капитан, затаив дыхание. В глазах флибустьеров горели собачья преданность и русская надежда на авось.

Даже «молодой романтический идиот» сообразил бы, что станется с экипажем, вздумай «Чайка» сдаться. Пока Петр с комендантом будут гонять чаи, пиратов закуют в кандалы и ушлют, куда Макар телят не гонял. Ибо что положено Тизенгаузенам, то не положено Оглоедовым.

А ведь Петр обещал им Кюрасао.

— Флаг поднять... — хрипло выдавил Тизенгаузен.

Его не рассыпали, команда заволновалась.

Петр откашлялся.

— Флаг поднять! — звонко скомандовал он. — Эй, прапорщик! Живо на борт. Ты мой пленный.

Прапорщик оттолкнулся было веслом, но красноморского выцепили багром за шкирку и с хохотом втянули наверх.

— Это вам даром не пройдет, — сказал прапорщик, лежа на палубе. — Нет такого закона, чтобы государева человека за шиворот таскать.

— Принайдите государева человека где-нибудь на самой корме, а то от него воняет, — распорядился Петр. — Боцман! Всем по чарке за почин сражения.

— Ура капитану Тизенгаузену! — взревела команда.

На мачте взвился черный флаг. Под ним «Чайка» сразу как бы приосанилась, заново ощутив себя не мирной речной шнягой, но отчаянным пиратским кораблем.

Крепость снова окуталась дымом и шарахнула аж во все четыре ствола. Комендант давал понять, что принимает вызов.

Петр ждал водяных столбов, но их не было.

— Берегут ядра, — объяснил канонир Оглоедов. — А вот продвинемся корпусов на десять — накроют нас.

— Боцман! — позвал Тизенгаузен. — Непорядок на борту! Всем по чарке — значит, и капитану тоже!

Водка была теплая и отдавала купоросом. Петр запустил руку в бочонок с квашеной капустой, нагреб по-свежее, принялся жевать. Ничего умного в голову не шло. Проскочить мимо батареи в темноте при таком брезветрии можно было и не думать — ночи стояли, как назло, самые лунные. Болтаться в виду Больших Концов, ожидая свежака, тоже представлялось глупым. На пристани за крепостью уже толпились любопытствующие. Петр раскрыл подзорную трубу. Так и есть — народ тыкал в «Чайку» пальцами, обидно смеясь. С крепостной стены инвалиды делали неэтические жесты. Того и гляди, задницу покажут, сраму не оберешься.

«Что бы сделал на моем месте пиратский капитан? — размышлял Петр. — Интересно, а кто тогда я? Пиратский капитан. Ну и как бы ты поступил, капитан Тизенгаузен? Наверное, вэял бы противника на испуг. А ведь это мыслы!»

— Давай на весла, пиратские морды, сдадим назад чуток.

Под язвительный хохот, доносящийся с пристани, «Чайка» отошла от крепости, приблизилась к берегу и отдала якорь.

— Волобуев! Сажай в ялик людей сколько поместится. И ружья возьмите!

Лодчонка ходко почесала к прибрежным кустам и скрылась в них. Назад греб один Волобуев. Но Тизенгаузен в трубу видел: люди никуда не делись, лежат вповалку на дне ялика. А вот из крепости разглядеть это было нельзя.

Ялик сновал туда-сюда, притворяясь, будто высаживает десант. Выглядело это однозначно: пираты, сообразив, что миновать крепость водой не смогут, решили приступить

к ней с супи. Угроза была вполне значимой. Сколько пиратов на шлюте, комендант точно знать не мог, но грузоподъемности суденышка как раз хватало для команды, способной душевно начистить рыла инвалидам с батареи. Вся надежда крепости в случае приступа была только на пушки.

Сделав вид, что высадил две дюжины буканьеров, Тизенгаузен прибрал ялик к корме и стал выжидать. Смеркалось. Наконец комендант не выдержал. Длинное рыло одного из орудий втянулось за стену. Потом другое, третье... В крепости шла ожесточенная работа: инвалиды, обливаясь потом, перетаскивали батарею, готовясь отражать атаку с берега.

Над Волгой-матушкой стояло вечернее безмолвие, в котором издали слышна была многоголосая ругань и извечное русское «Э-эй ухнем! Эй, зеленая, сама пойдет!»

— Как же, пойдет она сама... — Каноэир Оглоедов только хмыкнул. — Пупок развязается, тогда с места сдвинется.

— Мы — когда?.. — коротко спросил его Тизенгаузен.

— Рано, капитан. Сейчас они четвертую оттащат и замертво упадут. Я скажу, скажу.

Ветер стих окончательно. Команда вся сидела на веслах, даже воюющего прaporщика к делу приспособили. И ялик спереди запрягли.

— Теперь время! — прошипел Оглоедов.

— Команда, слушай! — шепотом крикнул Тизенгаузен. — И-и раз!

«Чайка» легко тронулась, набирая ход.

До самой крепости дошли безопасно, потом шнягу заметили — над стеной раздался матерный визг, хлопнул ружейный выстрел.

— На-касся, выкуси! — заорал Волобуев. — И-и раз! Навались, православные!

— Ё!!! — отзвались православные.

Инвалиды даже не пробовали вернуть пушки на место — ясно было, что не успеют. «Чайку» обстреляли из ружей, одна пуля засела в борту, другая расщепила весло.

— А то ответим, капитан? — с надеждой спросил Оглоедов.

— Было бы на кого припас тратить! — заявил Тизенгаузен надменно. — Впрочем... Пальни разок, чтоб знали. Только не вздумай по флагштоку. Там штандарт с гербом российским.

— Знамо дело, — заверил Оглоедов. — Мы же русские пираты, чай, не басурмане какие.

Пушечонка жахнула картечью по крепостной стене, выбив из нее облако пыли. Под громовое «Ура капитану Тизенгаузену!» инята уходила вдаль по Волге-матушке.

* * *

Наконец крепость осталась позади. «Чайка», обляяная собаками и ночным сторожем пристани, благополучно миновала Большие Концы. Выпили по чарке. Настроение на борту царило безмятежно-возвышенное. До флибустьеров дошло, что они ненароком совершили взаправдашний подвиг и обязаны этим своему капитану.

— А с государевым человеком что делать? — спросил Волобуев, предъявляя капитану прапорщика, взопревшего от весельной работы.

— За борт, — небрежно бросил Петр. — Заодно и помоется.

Государеву человеку, дабы не утоп случаем, вручили бочонок из-под квашеной капусты.

— Раздайся, грязь, — дермо плывет! — скомандовал канонир Оглоедов.

Прапорщика метнули за борт так рьяно, что он верных полпути до берега летел по воздуху. Бултыхнуло.

— Это вам даром не пройдет! — донеслось издали. — Нет такого закона, чтобы государева человека в воду кидать...

Дед Шугай сказал, какой зато есть закон.

— Ну, ты полегче, старина... — ласково попросил Петр. — Ох, да что это с тобой?

В лунном свете все казались бледными, но лицо деда было бледнее, чем хорошо накрахмаленное исподнее. Петр пригляделся и увидел, что плечо Шугая криво перевязано набухшей тряпницей.

— Ерунда, ваше благородие, — сказал боцман. — Пульку словил из крепости. Бывало и хуже. Заживет как на собаке...

Тизенгаузена равно ужаснули ледяное спокойствие деда и внезапное исчезновение из его речи морских слов. Капитан смутился: дело худо.

— К берегу! — потребовал он.

Дед Шугай удивленно посмотрел на капитана и вдруг упал.

На берегу Тизенгаузен приказал развести костер, вскипятить воды, порвать на бинты чистую рубаху, принести со шняги фонарь, острый нож и иголку с ниткой.

Приготовлениями руководил Волобуев.

— А это надо? — опасливо спросил он, глядя, как Тизенгаузен собственноручно правит нож на оселке. — Авось оклемается наш боцман. А гикнется, так на то и Божья воля, значит.

— Не боись, — заверил Петр. — Я же дворянин, если ты забыл.

— Как можно! — Волобуев даже обиделся.

— Любойого дворянина с детства учат воевать, — объяснил Тизенгаузен. — А заодно и штопать дырки, которые случаются в людях от войны. Лекарь я, конечно, неумелый, но пулью извлечь, промыть рану и зашить ее смогу. Иначе вспыхнет в ране антонов огонь, и если придется руку отрезать, считай, еще повезло. Нужен тебе однорукий боцман?

— Капитан дело говорит, — подтвердил канонир Оглоедов. — Петр Петрович, ваше благородие, сколько водки в деда заливать?

Тизенгаузен бросил короткий взгляд на Шугая, который что-то невнятно бормотал в бреду.

— Сколько влезет, — сказал Петр.

* * *

Пиратская шняга пряталась в камышах целый день, с нее для большей скрытности даже сняли мачту. Команда стирала бельишко, чинила одежонку да рыбачила, стараясь особо не высываться. Троих самых непримстных Тизенгаузен послал берегом в Большие Концы — продать на рынке шелка, прикупить водки и чего-нибудь вкусненького.

— Вернетесь пьяными — оставлю на берегу, — сказал капитан. — Не вернетесь — тем более.

Волобуев тоже очень хотел сбегать в село, но он был рыжий и высокий, такой сразу бросится в глаза. Огледов со вздохом сказал: «Меня там слишком хорошо помнят, нюхнули они моего пороху...» — и даже не попросился. Впрочем, обоих Тизенгаузен не отпустил бы. Из рыжего детины буквально на глазах вырастал отличный старпом, а уж с канониром «Чайке» слишком повезло, чтобы им хоть как-то рисковать.

Дед Шугай тихо похрапывал и улыбался во сне. Лицо его налилось здоровым румянцем, то ли от водки, то ли вообще.

Посланцы вернулись мало что трезвые, так еще и удачно поторговавшиеся. Разузнали новостей: комендант рвет и мечет, затеял пороть своих инвалидов, а парод радуется.

— Чему радуется-то? — не понял Тизенгаузен. — Пираты нос властям утерли, тут сердиться надо бы. Ну народ... Ну страна...

— Это в вас немецкая кровь бунтует, ваше благородие, — подсказал Волобуев. — Порядка ей хочется.

— Да сколько се, той крови, осьмушка разве. — Петр безнадежно махнул рукой. — Русский я — и по пачпорту, и по физиономии. А все одно в толк не возьму: отчего на моей родине, куда ни плюнь, такой перекояк.

Дед Шугай сказал — отчего. Голос его звучал еще слабо, но вполне убедительно.

— Ура! — воскликнул Петр. — Боцман с нами! Налейте-ка мне по такому слuchaю.

Водка была теплая и отдавала олифой. Тизенгаузен привычно пошарил рукой, но бочки с квашеной капустой рядом не нашлось.

— Ну? — спросил он неопределенно.

— Готовы к отплытию, — доложил Волобуев. — Идем на Кюрасау!

— На Кюрасао, — исправил Петр. — А ведь придется вам, братцы, учить иеруские языки. Там по-нашему не говорят.

— Не умеют? — удивился Волобуев. — Научим.

— Всех не научишь. Карибское море, — сказал Петр, — это тебе не Волга-матушка.

— Нешто нерусь такая тупая? — удивился Волобуев.

Дед Шугай метко заметил, что тупые всюду есть.

С тем и отвалили.

* * *

Некоторое время плыли без происшествий. Горизонт был пуст, еще пустынней выглядел берег. Оглоедов начищал свою пушечонку, Волобуев следил за порядком, дед Шугай, временно освобожденный от боцманских обязанностей, выздоравливал. Сыграли, забавы ради, боевую тревогу, после наловили рыбки, сварили прямо на борту вкуснейшей ушицы.

— Ну, живем, — сказал Тизенгаузен, поглаживая сытый живот. — Будто не пираты, а обыватели какие, самовара не хватает с баранками.

— Гармошку бы еще, — поддакнул Оглоедов.

И затянул веселую пиратскую песню:

Как по матушке по Волге,
 Да по Волге-Волге, ё!
 Проплывает да по Волге
 Вот такое ё-моё!
 Проплывает вот такое,
 Да по Волге-Волге, ё!
 Совершенно никакое,
 Честно слово, не моё!

— А самовар у этих отнимем, — добавил Оглоедов, всматриваясь из-под ладони в речную даль. — Может, и гармошка у них тоже найдется.

Петр схватился за подзорную трубу, глянул вперед и поколодел.

Встречным курсом шла черная как смоль пушечная барка. Паруса у нее тоже были черные, и длинный черный вымпел развевался по ветру.

Тизентгаузен ждал чего угодно, только не этого. «Чайка» едва начинала флибустьерскую карьеру, а тут ей на встречу поналились всамделишные источники, русские реч-

ные пираты, те самые, что «...и за борт ее бросает в надлежащую волну». Петр думал, они остались только в былинах и рыбакских песнях, извели их на Волге-матушке, а нет.

— Это мне кажется или у них кто-то болтается на ре? — неуверенно пробормотал Тизенгаузен себе под нос.

— Дозволь обозреть, капитан, — раздалось сзади.

Петр обернулся. На него выжидающе смотрел дед Шугай. Тизенгаузен отдал трубу боцману. Тот неловко принял ее одной рукой.

— На плечо мне клади, — разрешил капитан.

— Благодарствую, — сказал боцман, и от этой вежливости сердце Тизенгаузена натурально ушло в пятки.

Дед едва глянул на барку и чуть не выронил трубу.

— Holy shit! — пробормотал боцман.

Тизенгаузен почувствовал, что ему становится дурно.

— Там правда удавленник висит на ре? — спросил он несмело.

— Там всегда кто-то висит, — тихо ответил боцман.

И добавил — кто да за какое место.

Барка дала предупредительный выстрел из носовой пушки. В воду илюхнулось ядро и заскакало по невысокой волне.

Петр поднял руку, давая команде понять, что раньше времени суетиться не надо.

— На прямых курсах пиняга не оторвется от этой черной дуры, — сказал он негромко. — Но у нас лучшие маневры. Можем славно покрутиться вокруг да попортить барке обшивку. Конечно, рано или поздно накроют бортовым залпом... Что посоветуешь, старина?

Дед Шугай посоветовал.

— А если серьезно?

Дед Шугай метко заметил, что положение серьезнее некуда. И совет его вполне к месту. Ну, можно еще выброситься на берег и ломануться врассыпную по кустам.

— Я свой корабль не брошу, — отрезал Тизенгаузен. — Не для того мы отправились в путь.

Он повернулся к Волобуеву и отдал приказ спустить паруса.

Барка надвигалась на шпагу, как черная смерть. «Чайка» ощетинилась ружьями и топорами. Оглоедов колдовал у пушечки. Тизенгаузен нацепил шпагу, проверил и заткнул за кушак пистолеты.

— Молитесь, кто умеет! — посоветовал он команде и сам зашелтал «Отче наш».

— Эх, Отче наш! — вторя капитану, рявкнул Волобуев. — Иже еси на небеси! Дальше забыл, короче говоря, аминь и кранты. Весселес, братцы! Не позволит Николаугодник, верховный спасатель на водах, чтобы нас — да за просто так! Всем по чарке — и к бою! За капитана Тизенгаузена, пиратские морды!

— Ё!!! — проорали пиратские морды. — Аминь!

Барка тем временем тоже убирала паруса, ход ее замедлился. Палубные надстройки отливали смолью, пушечные стволы — медью, матросы бегали по вантам, повешенный на рее вяло болтал ногами. Над «Чайкой» навис высокий черный борт, сверху, как приглашение, упали швартовые концы и веревочный трап.

— В гости зовут. — Оглоедов недобро прищурился. — Ну-ну...

— Швартовы принять, — скомандовал Тизенгаузен. — Сидеть тихо, ждать меня, Волобуев за старшего. Если не вернусь... Тогда тем более Волобуев за старшего. Не поминайте лихом.

И полез по трапу.

Через несколько ступенек он почувствовал, что за ним кто-то увязался. Тизенгаузен раздраженно посмотрел вниз. Там карабкался дед Шугай.

— Я пригожусь, капитан, — сказал дед.

Петр недовольно поджал губы и полез дальше.

Вахтенные ухватили его, помогли встать на палубу. Тизенгаузен отряхнул камзол, поправил шпагу, заложил руки за спину. Все это он проделал для того, чтобы как можно позднее встретиться взглядом с капитаном барки, сидевшим под мачтой на персвернутой бочке. А когда Петр набрался храбрости поднять глаза, капитан уже глядел мимо.

— Hello, Sugar, you, bloody bastard! What the hell are you doing here?!

«Здорово, Сахар, чертов ублодок, — перевел Тизенгаузен про себя. — Какого дьявола ты тут делаешь?»

Дед Шугай ответил, какого дьявола.

— Твою мать! — воскликнул пират. — Тысяча чертей!

Он вытащил из-за бочки костьль и встал на ноги. Точнее, на одну. Только сейчас Петр разглядел, что другая нога у капитана деревянная. Но все равно этот пожилой, богато одетый моряк выглядел смертельно опасным. От него так и несло погибелью.

Одноногий ловко подскочил к Шугаю:

— Я вижу, ты словил пурпур. Как в старые добрые времена, не правда ли?

Дед Шугай сказал, что капитан хорошо заштопал его.

— Этот?.. — Одноногий смерил взглядом Петра.

— Капитан Тизенгаузен, — представился тот. — Пиратская шняга «Чайка». Честь имею.

— ...Капитан! — фыркнул одноногий, поворачиваясь к Шугаю. — Тысяча чертей! Между прочим, Сахарок, один наш общий знакомый, Слепой Пью, просил тебе передать стальной привет в печенку.

Дед Шугай холодно осведомился, за чем же дело стало.

— Забудь это! Я никогда не любил Пью. И он давно отдал концы. Сдох под копытами лошади. Позорная смерть для моряка, но подходящая для слепого ублодка, не правда ли?

Дед Шугай поинтересовался, сколько еще приветов у одноногого за пазухой.

— Больше, чем ты можешь представить! — рассмеялся тот. — Но их незачем передавать. Вся сволочь из команды Флинта нынче в аду. Я был уверен, что и ты сыграл на дно. Какая встреча, тысяча чертей! А войдем-ка, дружок, потолкуем!

С этими словами он приобнял Шугая и увел за мачту.

Петр Тизенгаузен стоял нотупившись. С одной стороны, его пока что не убили. С другой — фактически не заметили. Первое было отрадно, второе обидно.

На всякий случай он выглянулся за борт и ободряющие помахал своей команде. Стало еще обиднее. Это люди уважали его, готовы были пойти с ним куда угодно, но

убожество их одежд, снаряжения, да и самой «Чайки», показалось вдруг невыносимым. Черная барка, надраенная до блеска, дышала настоящим морским порядком и чисто пиратской роскошью. Здесь палубу хотелось лизнуть, как леденец, а босоногие матросы носили золотые перстни.

Из-за мачты слышалась ругань на нескольких языках, прерываемая взрывами хохота. Похоже, дед Шугай поверили, что старый дружок не собирается передавать ему приветы, и оттаял.

«А помнишь, как Черный Пес тогда орал — где хрено́вина, Билли?!»

«Гы-гы-гы!!!»

Петр решил не прислушиваться. Долетали лишь обрывки разговора, и вряд ли из них удалось бы выудить тайну пиратского клада.

Наконец одногий, громко бухая в палубу костылем и деревяшкой, подошел к Тизенгаузену. Дед Шугай под мачтой что-то пил из пузатой бутылки и заговорщически подмигивал издали.

— Имя — Серебров, — представился одногий. — Иван Серебров. Пиратская барка «Лапочка», слыхал про такую?

Петр только головой помотал.

— Верно, — согласился одногий. — И не должен был слыхать. Ведь я в доле со всеми береговыми на Волге-матушке. Тихо делаю свои дела. А ты поднимаешь шум, привлекаешь внимание, смущаешь народ. За каким хрено́м — сто чертей тебе в седезенку и адмиралтейский якорь в ухо?!

— Мы идем на Кюрасао, — твердо произнес Петр.

Одногого эта новость не смущила ни капельки.

— На Кюрасао? Что же, почему нет... Попутного ветра. Только смотри, парень: ты угодил между дьяволом и глубоким синим морем. Собрался на юг — вот и дуй туда. Коли еще раз попадешься мне здесь, сразу вешайся на рее. Самостоятельно. Иначе живые позавидуют мертвым. Понял? Волга-матушка слишком узкая река для двоих пиратов. Остаться должен только один!

Сказано было так убедительно, что Петр непроизвольно кивнул — а не собирался ведь.

— Хороший мальчик, — похвалил одноногий. — Тогда слушай. В команде у тебя замена. Сахар... то есть Шугай, останется со мной. Он уже стар для всего этого, а еще хорохорится, вот и схлопотал цулю. Ты погубишь его по глупости, будет обидно. А с тобой пойдет мой подштурманец, Ерема Питух. Славный малый, давно мечтает о Карибах. Умеет определяться по солнцу и звездам, с ним не сбьешься. Теперь держи полезный совет. Ты ведь разумеешь по-аглиицки, я вижу...

— Французский у меня лучше.

— Даже не думай об этом. Французы уже история, нынче в южных морях вся сила у англичан. Ну-ка, парень, tell me your story.

Петр, запинаясь, начал рассказывать, кто он, откуда и почто собрался в пираты.

— Сойдет, — перебил одноногий. — Выговор ирландский — будто полный рот горячей картошки набил. Значит, выдавай себя за ирландца. Это не трудно, они похожи на русских, такая же пьянь мечтательная.

— Но почему я не могу быть русским? — хмуро спросил Петр.

— Потому что русских не бывает, — веско сказал одноногий. — Это они для самих себя есть. А все остальные в гробу их видали. Никому русские на хрен не сдались. С тех пор как государь наш Иван Грозный обозвал английскую королеву пошлой бабой, на русских окончательно наплевали и забыли.

Петр недоверчиво смотрел на одноногого. Осмыслить его речи было непросто.

— Парень, я знаю, что говорю. Недаром обошел все Карибы и вернулся живой да при золотишке. Я служил у Флинта квотермастером.

Тизенгаузен опустил глаза. Ему нечем было крыть.

— Имя оставь свое, Питер — терпимо для ирландца, — наставлял одноногий. — Прозвище выдумай покороче, чтобы запоминалось. Только не слишком кровавое. Иначе могут предложить ответить за него, хе-хе. А по происхождению будешь ты у нас...

Одноногий задумчиво оглянулся на Шугая.

— Ирландский лекарь, — решил он. — Ты и правда не плохо заштонал старика.

— Я капитан, — глухо напомнил Тизенгаузен. — Моряк.

— Моряк с печки бряк! — сказал одногоний как отрезал. — И капитан — дырявый кафтан. Вот ты кто на сегодняшний день.

Петр тоскливо огляделся. Команда барки издали скалила золотые зубы. Дед Шугай прихлебывал из бутылки и кивал — соглашаясь, мол, дело тебе говорят. Тизенгаузен через силу расправил плечи и приосанился.

— Ладно, — сказал он. — Спасибо за науку, капитан Серебров. Ну, где этот ваш подштурманец?..

Еремей Питух оказался юн, румян, застенчив и красив, как девчонка.

— Что за прозвище такое — Питух? — спросил Тизенгаузен подозрительно.

— Дедушка был старостой, всю деревню пропил, — объяснил юноша, стыдливо краснея. — С тех пор мы и Питухи.

— А, ну это ладно, это бывает, — сказал Петр с облегчением. — Собирай вещички да ступай на борт. Назначаю тебя штурманом.

— У меня карга есть, — шепотом похвастался штурман.

— Бубновый валет? — съязвил Тизенгаузен.

Подошел дед Шугай, обнялись на прощанье.

— Ну ты даешь, старый! — от души восхитился Петр. — У самого Флинта служил, надо же!

Дед Шугай метко заметил, что многие по юности делают глупости. Но он ни о чем не жалеет и уверен — у молодого барина все будет хорошо.

Одногоний поджидал у веревочной лестницы.

— Прощайте, капитан Серебров, — сказал Петр.

— Не спеши, парень. Я дам тебе еще урок напоследок. Ну-ка, скомандуй, чтобы твои обормоты перегружали все награбленное ко мне.

— По какому праву?! — взвился Петр, хватаясь за шпагу.

— По праву сильного. — Одноногий едва заметно улыбнулся. — Если ты пират, то должен это понимать, не так ли?

Тизенгаузен сокрушенно вздохнул.

Он еще не совсем понял, но, кажется, начинал понимать.

* * *

Осторожно двигаясь в густом тумане, флагман эскадры Де Руйтера вдруг с отчетливым хрустом подмял под себя что-то небольшое и деревянное.

Это оказалось утлое суденышко, на котором все то ли спали, то ли были мертвцыки пьяны. Судно буквально развалилось, но команду удалось выловить и поднять на борт флагмана. Спасенные опасливо сгрудились на баке. Впереди плечом к плечу стояли капитан Петр Тизенгаузен, старпом Волобуев, канонир Оглоедов и юный штурман Еремей Питух.

— Как ваше имя, сударь? — спросил вахтенный офицер, наметанным глазом опознав в Тизенгаузене старшего.

— Питер... — начал Тизенгаузен. И тут громадный Волобуев случайно наступил ему на ногу. — Блядь! — от души сказал капитан.

ЕЛЕНА ПЕРВУШИНА

Добро пожаловать в Трою!

- Добро пожаловать в Трою, величайший город мира, Золотой Мост между Западом и Востоком!

Сегодня мы с вами побываем в великолепном Храме Посейдона и на стадионе имени Гектора, осмотрим мемориальные комнаты дворца Приама, в том числе Тронный зал, сокровищницу, а также спальню Париса и Елены.

Затем вас ждет прогулка по рынку, где вы сможете купить сувениры и подарки для своих близких: финикийский пурпур, золотые изделия Колхиды, книги из Библа, критскую керамику, каменных львов из Микен и даже меховые покрывала и бронзовые застежки из Туле.

Желающие смогут присутствовать на знаменитых диспутах Портика Греческих Философов, расположенного на Рабском рынке.

Вечером за особую плату вы можете посетить всемирно известную Троянскую Мельницу. В программе представления: поединок египетских и вавилонских магов, выступления пожирателей огня с Феры, танцы персидских женщин и девушек с острова Лесbos.

Итак, если у вас нет вопросов — в путь!

— Господин экскурсовод, разрешите вопрос?! Что это за мрачные развалины поблизости от ворот?

— Проходите, проходите, пожалуйста! Осторожно, здесь очень сильное движение! Пожалуйста, следите за своими вещами и старайтесь не потеряться!..

Что касается этих развалин... Понимаете, тут такая история... После нашей блестящей победы над греками те, уплывали, оставили нам сувенир — деревянного коня. Мы было хотели поставить его на площади перед Храмом Посейдона, но он оказался слишком велик, нужно было разобрать ворота, чтобы втащить его в город. Пока запрос прошел через строительное ведомство... пока утрясали бюджет... пока шел суд над расхитителями денег... Потом Лаокоон из Храма Посейдона наложил свое вето — он, оказывается, хотел поставить на площади статую, которую изготовил его племянник... Пока собирали кворум жрецов... вы же знаете, какое это трудное дело — собрать кворум... В общем, лопадка... завоняла.

Ее хотели сжечь, потом отвезти на городскую помойку, потом все же оставили здесь. Знаете, нет ничего долговечнее временных решений.

Итак, добро пожаловать в Трою!

ТИМОФЕЙ АЛЁШКИН

Преступление и наказание

1. Август 1812 года

До нас дошли известия, что Наполеон решил разжечь пламя народной войны. Он издал указ об освобождении земледельцев от крепостной зависимости, всемерно теперь распространяемый эмиссарами французскими среди крестьян, тщась таким образом подвигнуть их на восстание против всех законных властей. Французы думают, что эти люди, будто бы удрученные ярмом рабства, при первой возможности готовы будут поднять бунт и что ненависть к господам пересилит в них любовь к Отечеству.

Но напрасно злодеи трудятся внести рознь в русский народ! О друг мой! ты поразился бы, увидев, сколь сильны в душах поселян верность Родине и Государю и решимость противостоять чужеземному нашествию. Множество их, укрываясь в лесах и превратив серп и косу в оборонительные оружия, без искусства, одним мужеством отражают злодеев. Что ни день узнаем мы о новых подвигах этих достойных воспреемников славы Минина. Есть, однако же, между ними и такие, кто прельстился прокламациями неприятельскими: негодяи жгут усадьбы господ своих и бегут в армию французскую. Но поверь: таких — меньшинство, единицы; огромная же часть поселенян стоит за Царя и Отечество. «Все встанем за землю русскую! С нами Бог!..»

Ф. Глинка. Записки русского дворянина. Лондон, 1820

2. Август 1812 года

— Я им дам воинскую команду... Я им попротивоборствую, — бессмысленно приговаривал Николай, задыхаясь от церазумной животной злобы и потребности излить эту злобу. Не соображая того, что будет делать, бессознательно, быстрым, решительным шагом он подвигался к толпе.

Как только Ростов, сопутствуемый Ильиным, Лаврушкой и Алпатычом, подошел к толпе мужиков, Карп, заложив пальцы за кушак, слегка улыбаясь, вышел вперед. Дрон, напротив, зашел в задние ряды, и толпа сдвинулась плотнее.

— Эй, кто у вас староста тут? — крикнул Ростов, быстрым шагом подойдя к толпе.

— Староста-то? На что вам?.. — спросил Карп. Но не успел он договорить, как шапка слетела с него и голова мотнулась набок от сильного удара.

— Шапки долой, изменники! — крикнул полнокровный голос Ростова. — Где староста? — исистовым голосом кричал он.

— Старосту, старосту кличет... Дрон Захарыч, вас, — послышались кое-где торопливо-покорные голоса, и шапки стали сниматься с голов.

— За что бьешь, барин? — раздался вдруг другой, низкий голос из толпы. — Нам воля вышла, вы, господа, нам теперь не указ.

— Оставь, барин, — проговорил вслед Карп.

— Разговаривать?.. Бунт!.. Разбойники! Изменники! — бессмысленно, не своим голосом завопил Ростов, хватая за ворот Карпа. — Вяжи его, вяжи! — кричал он, хотя некому было вязать его, кроме Лаврушки и Алпатыча.

Карп вдруг вскинул голову и оттолкнул Ростова.

— Не троны! — громко сказал он, блеснув глазами. — Нет большие над нами твоего слова. Антиратор нам теперь чистую волю написал.

— Воля... Не пойдем... Уйди, барин, — послышались голоса. Толпа угрожающе зашевелилась и стала подвигаться вперед.

Ростов понял, что если он сейчас не сделает чего-то решительного, неожиданного, не заставит мужиков подчиниться, то, пожалуй, дело и вправду может дойти до бунта. Он схватился за эфес сабли, мимолетно пожалев, что пистолеты остались с конем.

— Стой, негодяи! — крикнул Ростов как можно громче.

За его спиной Лаврушка, который первым понял, какой оборот принимает дело, давно попятился назад. Алпатыч нерешительно отступал, поглядывая то на него, то на гусаров. Ильин, увидев движение Ростова, тоже потянулся за саблей.

— Бей! — крикнул кто-то из задних рядов толпы, и прямо перед Ростовым вдруг очутились Кари и другой мужик, с широким лицом. Ростова схватили за руки, не позволив вытащить саблю. Под напором толпы он упал навзничь. Кто-то сбоку ударил его по голове. Ростов закричал. Его стали бить со всех сторон, и скоро он уже не мог ничего видеть и слышать от боли. Убегавший со всех ног Лаврушка, оборотившись, увидел только, как толпа сомкнулась над Ростовым и Ильиным, и больше их не было видно.

Княжна Марья, ободренная приездом Ростова, сначала в волнении ходила по залу, потом, не вынеся ожидания, вышла на крыльцо. Скоро перед ней предстал запыхавшийся, потерявший шапку Алпатыч.

— Ваше сиятельство... бунт... Вам надобно скорее бежать, — едва мог вымолвить он.

— Как бунт? Отчего бежать? Алпатыч, зачем ты так говоришь? Ты меня напугал. — Княжна Марья понимала, что случилось что-то необыкновенное, раз Алпатыч так странно себя вел, но никак не могла перестать думать о Ростове и не знала, что сказать Алпатычу.

— А где же капитан Ростов? — спросила она.

— Ваше сиятельство, — взмолился Алпатыч, — нельзя терять времени! Капитан Ростов убит бунтовщиками, они теперь идут сюда.

Понуждаемая Алпатычесм, княжна Марья растерянно спустилась с крыльца и позволила подвести себя к эки-

пажу. Алпатыч раскрывал перед ней дверцу, когда из-за амбара показалась толпа бегущих мужиков. Княжна Марья почувствовала, что сейчас может произойти что-то нехорошее, она побледнела и прижалась спиной к стенке экипажа. Алпатыч, оборотившийся было навстречу бегущим, вдруг схватился руками за голову и стал медленно, неверными шагами отступать куда-то вбок. Между пальцев у него проступила кровь. Потом его скрыли от княжны Марии близко обступившие ее со всех сторон мужики. Они стояли вокруг, тяжело дыша и переминаясь с ноги на ногу, с выражением озлобленной решимости на лицах, молча глядя на княжну. Вдруг ряд их раздался, и перед княжной Марьей появился низенький мужичок в драной забрызганной красным рубахе, нетвердо держащийся на ногах. В руке его была гусарская сабля.

— Что, твоя милость, погубить нас хотела? Аи не выпадло по-твоему! — прокричал он и, широко замахнувшись саблей, ударили княжну Марью по голове.

— Ты что, Авдей? Что творишь? — раздались голоса в толпе, Авдея схватили за руки, но уже было поздно.

Княжна Марья с разрубленной головой упала к ногам мужиков.

Граф Л. Толстой. Преступление и наказание. Лондон, 1852

3. Октябрь 1812 года

Войска были в полной боевой готовности. Жители города выбегали из домов и собирались всюду в толпы, многие выказывали явное недовольство по отношению к нашим солдатам. Часть пожарных насосов, которые по приказу Дюронеля были собраны в городе и подготовлены к работе, оказались испорченными. Жандармов Дюронеля с остальными насосами послали на помочь уже тушившим пожар командам. В половине четвертого ночи прибыл офицер, который доложил, что какие-то люди оказали пожарным командам сопротивление; они прятались в охваченных огнем кварталах и стреляли в наших солдат.

Офицеры и солдаты привели несколько этих людей, захваченных на месте. Каково же было наше удивление, когда мы убедились, что перед нами «гвардейцы» Петрова, в их нелепых мужицких нарядах и солдатских шапках!

Император приказал привести к нему Петрова; скоро вернулся посланный адъютант и доложил, что в расположении «мужицкого царя» нет ни одного человека. Он привез пакет, который сму отдала какая-то женщина, предназначенный будто бы императору. В пакете оказалось письмо Петрова императору, написанное им на его отвратительном французском, который на бумаге выглядел еще нелепее, чем в речах этого шута. В послании, озаглавленном «Рескрипт от всей Руси выборного Леонтия Петрова», этот негодяй в напыщенных фразах, которые выглядели еще нелепее из-за их полной безграмотности, объявлял войну императору, обвиняя его в таинственных «нарушениях народной воли Российской». Не дочитав письма, император сердито бросил его на землю и приказал двум эскадронам гвардейских легких стрелков догнать и привести ему «царя». Однако скоро из поступающих донесений стало понятно, что хитрец, уже несколько часов назад тайно покинувший со своей «армией» Москву, предусмотрительно отгородился от преследования непроходимой стеной из горящих московских кварталов, через которую не смогли пробраться даже наши отважные гвардейцы. Приказы поймать Петрова были посланы всем нашим отрядам к югу от Москвы, но негодяй с горсткой «гвардейцев» (большинство были им оставлены в горящем городе) сумел прорваться через наши посты, и след его был потерян.

Только через несколько дней мы смогли полностью оценить, какой вред нанесло нам это предательство.

Петров и его «штаб» были для нас единственным источником сведений о происходившем вокруг, разведка с начала кампании не приносила ничего или почти ничего — многие из наших агентов были открыты русскими, остальные не осмеливались ничего сделать, опасаясь разоблачения. Незнание языка и отчужденность местного населения были для нас большой трудностью в первые недели похода; с начала восстания, когда мужики стали

относиться к армии более дружественно, все наши связи с окружающим незаметно перехватил появившийся тогда же при ставке Петров. Со своим смешным французским он всякий раз оказывался под рукой, когда требовалось допросить местных жителей или явившиеся к императору делегации мужиков. Постепенно это стали делать его «офицеры», и в ставке не заметили, как переложили на людей Петрова все действия по получению сведений о противнике. Оставалось только принимать доклады от «царя», с которыми тот каждое утро появлялся в штабс.

Император сам любил выслушивать Петрова и один раз, будучи в превосходном расположении духа, даже благосклонно ушищнул его за ухо. Надо отдать должное этому хитрецу, он ничем не проявил тогда своего изумления и только, угодливо улыбнувшись, поклонился императору. В то же день, улучив минуту, Петров подошел ко мне и попросил разъяснить это озадачившее его, как он сам мне признался, действие императора. С улыбкой я объяснил ему. Боже, как мы все были слепы тогда, как не смогли различить изменника и негодяя под маской простака!

Итак, оставшись без Петрова и его армии осведомителей, мы лишились всех сведений о стране. Контраст был столь разителен, что сам император не раз, прия в раздражение от скучности донесений нашей разведки, требовал познать Петрова. Теперь все, что удавалось узнать нашим агентам, доходило до императора с запозданием в добрые десять дней, так как донесения поступали в ставку через Петербург и Вильно.

Прекращение преследования уходившего на север Кутузова и распросстранение нелепого слуха о том, что Москва была подожжена нашими солдатами по приказу императора, сделали окончательным отчуждение нашей армии от мужиков; теперь от них ничего нельзя было добиться. Мы оказались в положении человека, внезапно лишившегося глаз и вынужденного теперь осваивать мир на ощупь. И в таком печальном положении оставались наши дела до конца русской кампании.

Арман де Колленкур. Мемуары. Париж, 1846

4. Сентябрь–ноябрь 1812 года

Ожесточение народа против вторгшегося неприятеля росло с каждым месяцем. Наполеон надеялся освобождением крестьян купить их любовь и преданность, однако время показало, что император просчитался. Французская армия стала опорой крестьянского восстания, но повсюду народная масса, испытывавшая притеснения со стороны захватчиков, все меньшие была склонна подчиняться своим «освободителям». Наконец в сентябре, когда стало ясно, что Наполеон склоняется к мирному соглашению с царизмом, отдельные вспышки народной войны против французов переросли во всеобщее восстание. Руководство восстанием сложилось в первые моменты стихийно: в то время как движение в центре страны возглавили, как уже говорилось, патриоты-демократы во главе с Леонтием Петровым, в западных губерниях во главе борьбы оказались царские офицеры, посланные еще летом Барклаем для диверсий в тылу «Великой Армии». Их отряды стали там центром притяжения для всех, кто хотел сражаться с захватчиками. Собравшись вместе, офицеры выбрали из своих рядов «главнокомандующего». Им стал гусарский майор Денис Давыдов. Вскоре новое правительство России в Тарутино утвердило Давыдова на посту командующего, присвоив ему звание генерала. Первым генералом молодой республики стал дворянин, тайно вынашивавший диктаторские замыслы, и эта ошибка в дальнейшем едва не истребила зарождающееся народовластие. Армия была первоначально разделена на семь полков (по числу офицеров), куда записывали всех вновь прибывающих, затем число полков увеличилось. Несмотря на регулярное деление, основными действиями армии Давыдова оставались партизанские и диверсионные.

Состав создавшейся армии был разнородным: солдаты регулярных царских частей, сбежавшие от французов плленные, дезертиры из армии Барклая, добровольцы — горожане и крестьяне. Постепенно ставшее преобладающим элементом в новой армии, крестьяне, сохранившие еще в своей среде традиции Пугачевского восстания, дали и название

солдатам новой армии. Уже в сентябре в рапортах французских комендантов городов императору неоднократно упоминаются «пугачи» (*les pougatchis*), которые в следующие месяцы станут настоящим кошмаром французской армии.

Наполеон сперва довольно пренебрежительно отнесся к известиям о восстании у него в тылу. Вообще после ухода казачьих полков на Дон в императорском штабе долгое время считали, что теперь тылы «Великой Армии» находятся в полной безопасности. Но уже в середине октября, покидая Москву, император полностью осознал размеры новой опасности. «Этот Давыдов со своими дикими мужиками лучше знает, где мое слабое место, чем Барклай и Кутузов со всеми русскими генералами», — говорил он Колленкуру в день отъезда. Наполеон требовал от своих офицеров принимать самые решительные меры против повстанцев, не останавливаясь даже перед уничтожением цепких деревень. «Помните всегда, что мы здесь ведем войну с диким, азиатским народом, не признающим законов войны между цивилизованными странами, и мы, следовательно, выравне отвечать самыми суровыми мерами на жестокость русских, они сами не оставили нам другого выхода», — писал император коменданту Смоленска. Таким образом, Наполеон практически начал войну на уничтожение против русского народа. Однако этому немало содействовали своей бессмысленной жестокостью и Давыдов и его офицеры, среди которых особой кровожадностью отличался майор Фигнер. Оставшиеся в живых после русской кампании французы с ужасом вспоминали эту войну. По словам одного из французских генералов, участника революционных войн, дни вандейского террора меркнут перед тем, что происходило в России.

E. Тарле. Наполеон. Москва, 1912

5. Ноябрь 1812 — март 1813 годов

Монархи Европы колебались: поддержать ли революционную Россию против Наполеона и этим подвергнуть собственные страны опасности революции, или поддержать

Наполеона и тем самым еще упрочить то иго, под которым они жили. Мятеж Давыдова скоро разрешил их колебания — Россия, и так уже ослабленная наполеоновским нашествием и теперь раздираемая гражданской войной, была не в силах вести еще и войну внешнюю. Прусский, австрийский и все прочие венценосцы могли облегченно вздохнуть. Страшный призрак новой революции на русских щитках отступил от их границ, хотя и не исчез окончательно. Пожар крестьянской войны перекинулся на Польшу и Валахию.

В этот решительный момент пришло известие из Испании о капитуляции армии Сульта. Сульт, отступавший с 1811 года под натиском Веллингтона сначала из Португалии, а затем терявший одну за другой области Испании, дал англичанам 10 марта неудачное сражение у города Толедо. Французы в беспорядке бежали в город, где их армия была блокирована Веллингтоном. Окончательно пав духом, Сульт капитулировал перед Веллингтоном. В плэс попали 63 тысячи французских солдат, главные силы Наполеона в Испании, во главе с маршалами Сультом и Мармоном и братом Наполеона, его ставленником в Испании Жозефом Бонапартом. Толедская катастрофа отдала Испанию в руки англичан и крайне осложнила положение Наполеона, создав угрозу для Франции с юга. Узнав об этом событии, Наполеон впал в гнев и отказался вести переговоры о возвращении брата. «Если этот болван вернется во Францию, мне придется его расстрелять, и поверьте, я это сделаю с удовольствием!» — заявил он Талейрану. Потерю целой армии надо было восполнить, и Наполеон распорядился дополнительно к набору 1813 года, призванному досрочно еще по его приказу, отданному из России, объявить набор из более старших подростков набора 1814 года. Это дало 180 тысяч человек новобранцев, часть из которых еще не успели обучить. Включение в армию когорт Национальной гвардии дало еще 100 тысяч человек. В июне 1812 года Наполеон оставил до 235 тысяч человек во Франции и вассальной Германии. Теперь можно было и на них рассчитывать. Наконец, до 50 тысяч спаслось из России, в

основном из корпуса, наступавшего на северном направлении.

Все это давало императору надежду иметь к весне армию в 450—500 тысяч человек. Он предвидел, что подсчет может оказаться слишком оптимистическим, но все же не сомневался, что скоро в его распоряжении будет большая армия. Но вот достаточно ли будет этой армии, чтобы отстоять империю?

Это, очевидно, зависело от того, с кем ей придется сражаться. А здесь даже самому Наполеону, при его неожиданном оптимизме, положение представлялось довольно опасным. Поражения французов в России и Испании наконец развеяли, как казалось многим в Европе, миф о непобедимости Наполеона. Первой поднялась Пруссия, сильнее других упражненная французским игом. Уже в декабре 1812 года прусский генерал Йорк, формально находящийся под командованием маршала Макдональда, заключил мирную конвенцию с республиканской армии и стал принимать в свои полки русских дворян (позже из них был сформирован так называемый Белый легион). Трусливый король Фридрих Вильгельм III сначала хотел отдать генерала под суд, но, уступая охватившей страну волне патриотизма, вынужден был подтвердить конвенцию, а вскоре предъявил Наполеону заведомо неприемлемые требования о выводе из страны французских войск и территориальных уступках в Польше.

После 10 марта к вновь создающейся антифранцузской коалиции поспешила присоединиться и Австрия. Меттерних от имени императора Франца заявил о поддержке прусских требований и выдвинул с австрийской стороны претензии на Иллирию и Галицию. Когда посланец Венского двора генерал фон Бубна передал послание Меттерниха Наполеону, тот разыграл один из своих знаменитых приступов гнева. «Вы думаете, что я теперь слаб и испугаюсь новой войны с вами? — кричал Наполеон — Вы уже видите ваши армии в Париже? Так вы увидите меня в третий раз в Вене! Вы хотите войны — я даю ее вам!» Он решил воевать, ничего не уступая, хотя против него выступала коалиция, сильнее всех прежних, хотя

он потерял Испанию, а в Германии его положение было чрезвычайно шатко, он начинал войну, чтобы все удержать или все потерять.

E. Тарле. Наполеон. Москва, 1912

6. Август 1815 года

— Кончено, — сказал полковник Несвицкий князю Андрею.

Мимо русского строя, обтекая его с двух сторон, бежали толпы солдат в черных мундирах. Крики, ругательства и стоны заглушили на время гул канонады. Скоро поток прусских солдат стал редеть, теперь тянулись раненые и отставшие, многие из них изумленно глядели на неподвижные ряды легионеров.

— *Commen zie, cameraden!* — крикнул артиллерийский капитан с лицом, покрытым черной копотью. Никто не взглянул в его сторону, и он, махнув рукой, захромал дальше.

Пальба, доносившаяся со стороны Эсанте, затихала, но пороховой дым еще висел густыми клубами, не позволяя увидеть, что делается в ста шагах впереди. На правом фланге, от Угумона, слышался гул канонады, но и он стал, кажется, слабеть. На вершине соседнего холма, между брошенных пруссаками пушек, вдруг показался всадник. Пустив лошадь вскачь, он скоро пробрался между бежавших и приблизился к легионерам. Всадник этот, подтянутый офицер в аккуратном мундире, с серьезным выражением лица, подъехал к полковнику Несвицкому и князю Андрею.

— Сражение проиграно, господа! Фельдмаршал приказал всем отступать к Брюсселю. — Он не знал, к которому из двух полковников обратиться, и попеременно смотрел то на одного, то на другого.

— Вы прямо от фельдмаршала, Берг? Каковы наши потери? — быстро спросил князь Андрей офицера. Офицер этот был Берг.

— Положение очень опасное, господа. Пирх убит, его корпус разбит совершенно. Австрийцы сдались Нею. Мы

оставили все наши пушки императору, — со значительным видом перечислил Берг все услышанное им у фельдмаршала и по дороге, — Что же вы медлите? Командуйте же отступление! — нетерпеливо сказал он.

— Так, значит, мы потеряли половину армии и всю артиллерию! — воскликнул внезапно полковник Несвицкий.

Его красивое лицо покраснело, он как-то весь вытянулся и стал кричать, размахивая руками:

— И это ваш немец Блюхер сумел так проиграть сражение, стоя на превосходной позиции и имея превосходство в тридцать тысяч! И теперь ваш Блюхер имеет наглость приказать нам бежать вместе с ним! К черту вашего Блюхера! — Полковник кричал на Берга, словно тот был виноват во всем, что сделали немцы плохого для Несвицкого. — Я три года гнал французов по Европе до этого места, и теперь Блюхер хочет, чтобы я сбежал от них! К черту Блюхера! Я остаюсь здесь! — Несвицкий умолк, тяжело дыша.

— Правильно, господа! — раздался вдруг звонкий голос из строя. — Мы должны теперь спасать нашу честь и доказать, что достойны того доверия, которое оказал нам государь!

Говоривший был молодой граф Петр Ростов. По рядам легионеров прошел одобрительный гул.

Берг, у которого на лице появилось такое выражение, какое бывает у человека, над которым все вокруг смеются, повернулся к князю Андрею, словно ожидая, что тот положит конец безумию, которое внезапно охватило легионеров, но князь Андрей сказал Бергу:

— Чего же вы ждете? Поезжайте к фельдмаршалу и доложите, что мы отступать не станем.

— Что ж, господа... прощайте, — растерянно сказал Берг. Он хотел что-то еще добавить, но потом пожал плечами и спешно покинул пропажу.

«А ведь и я чувствую так же, как полковник и Петр Ростов и любой из легионеров, что мы не можем отступить, — думал князь Андрей. — Немцы, Блюхер и Шварценберг, могут отступать, потому что знают, что за них стоят их государства и сила всех немцев. А мы отступать не можем, потому что нам отступать некуда. Пока мы

наступали, мы полагали своей целью полную победу и уничтожение Наполеона, и это всех нас одушевляло на подвиги. Ежели теперь мы пойдем назад, чтобы защищать от Наполеона прусского короля и австрийского императора, то половина из нас вовсе откажется сражаться, а другая половина будет делать это так же дурно, как под Аустерлицем, не видя перед собой настоящей причины, по которой нужно отдавать жизнь. И оттого нам проще и легче остаться и умереть здесь, чем отступить и потерять последний смысл в жизни».

— Что же, командуйте, граф, — сказал князь Андрей Несвицкому.

Несвицкий повернулся к полку и приказал батальонным командирам строить людей в колонны.

* * *

Полк уже был выстроен, когда послышался треск барабанов, затем к нему добавился глухой топот множества ног. Впереди, в расползающихся клочьях дыма, стало заметно какое-то движение, и скоро оттуда появилась колonna французов. Впереди строя ехал на гнедой кобыле французский генерал. На лице его было важное выражение победителя, рука со шпагой была торжественно поднята, как у священника, благословляющего прихожан. При виде русских он осадил свою лошадь и поднял шпагу вверх, останавливая солдат. Барабан умолк.

— *Quel regiment est-ce?* — крикнул французский генерал неожиданно низким голосом.

— *Le troisiem regiment de la Legion Blanche*, — ответил Несвицкий.

Вдруг вновь послышался барабанный бой. Слева появилась еще одна колонна французов.

— *Vous avez perdu la bataille! Rendez-vous!* — снова крикнул генерал.

Несвицкий побледнел, но промолчал. Князь Андрей до боли сжал руку со пистолетом.

— *Merde! Les Russes ne se rendent pas!* — вдруг закричал стоявший слева от него Петр Ростов. И тотчас же раздался голос Несвицкого:

— Вперед! В штыки!

Князь Андрей побежал вместе со всеми. Он успел увидеть, как французы подняли ружья и прицелились, но вдруг все сделалось темно и мир вокруг пропал.

Граф Л. Толстой. Преступление и наказание. Лондон, 1852

7. Декабрь 1825 года

Внезапно разговоры притихли, и все обратились к дверям, откуда появился французский адъютант. «L'empereur... Sa Majeste... Il va...» — пробежало по кружкам. Пьер торопливым движением снял очки и, сожурясь, обратился в ту сторону. Сердце его вдруг часто забилось, волнение видно пробилось сквозь выражение невозмутимости, которое он принял, войдя в зал, так что стоявший рядом Мальборо удивленно поглядел на него.

В эту минуту послышались шаги множества ног: это были Наполеон со свитой. Наполеон был в специально приготовленном для этого момента синем, расшитом золотом и бриллиантами мундире генералиссимуса, туго обтягивающем его круглый живот, в белых лосинах и в коротких мягких сапогах, в которых только и мог ходить из-за мучившего его ревматизма. Это был первый день, когда он появился в новом мундире, на который поменял наконец известный всему миру полковничий. На обрюзгшем желтом лице его, с тройным подбородком, было выражение величественного императорского достоинства.

Он шел тяжело, шаркая ногами и наклонив поседевшую голову. Вся его грузная короткая фигура имела тот усталый, обремененный вид, какой имеют пожилые люди, одолеваемые болезнями. Однако было видно, что он находился в хорошем расположении духа. Справа, немного отставая от него, выпатывал хмурый Ней, слева шел Талейран, с улыбкой говорящий ему что-то на ухо. За ними следовали еще дипломаты и военные, и вся эта процессия неспешно вливалась в зал. Пьеру вдруг захотелось уйти. Он нашел глазами князя Андрея, стоявшего вместе с какими-то австрийцами, и растерянно покачал головой, сам

не зная зачем. Князь Андрей кивнул ему, что-то сказал своим собеседникам и решительно направился к Наполеону. В зале началось общее движение, все стали подвигаться к столу, и действие князя Андрея осталось незамеченным. Сердце Пьера забилось еще сильней, он почувствовал мучительное желание что-нибудь сделать, закричать всем: «Смотрите же!» Дело, которому он отдал восемь лет жизни, было наконец близко к завершению. В волнении Пьер снял очки, потом надел их обратно. Пьер увидел, что князь Андрей уже подошел вплотную к Наполеону и, слегка наклонясь, что-то ему говорит. «Что же я делаю? Я же должен быть рядом!» — вдруг вспомнил Пьер, нашупал в кармане пистолет и начал торопливо пробираться поближе к Наполеону. Он толкнул какого-то генерала, торопливо извинился и поднял глаза. Пьер увидел, как князь Андрей, стоя рядом с Наполеоном и что-то говоря, опустил руку в карман, достал пистолет и выстрелил. Наполеон вздрогнул, на его лице появилось удивленное выражение, словно князь Андрей сказал ему что-то неприличное, поднял руку к груди и вдруг упал навзничь под ноги Нея.

Треск выстрела громко разнесся по залу. Все взгляды обратились к князю Андрею, и сделалось всеобщее молчание. Пьер видел перед собой почему-то только холеное лицо Нея, который с недоумением смотрел вниз, на упавшего Наполеона, как если бы хотел спросить: «Что это за тело на полу во время дипломатической конференции, господина?» Князь Андрей между тем спокойным движением убрал пистолет, вынул из другого кармана лист бумаги и напряженным голосом начал читать: «Нами, Союзом возмездия, свершен приговор над тираном Европы и погубителем...» Дальнейшие слова прокламации затерялись во вдруг поднявшемся шуме голосов. «Кто это? Зачем это? Что же теперь будет?» — спрашивал каждый своего соседа.

Многие из французов бросились к Наполеону, другие к князю Андрею, и началась толчня. Князя Андрея толкнули, вырвали у него лист, но он продолжал громким голосом читать паизустить затверженные фразы. «Разорял народы и страны... Бесчестно порвав договор... Предал

огню и мечу...» — сквозь шум доносилось до Пьера. Пьер стоял, как утес, посреди моря мечущихся, бегущих, сталькивающихся людей и растерянно глядел на них с высоты своего огромного роста. «Почему все это? — думал он. — Отчего эти люди так взволнованы смертью какого-то старика? Почему они оставались равнодушными, когда армия этого старика убивала тысячи людей?»

— Убийца! — вдруг громко закричал кто-то. — Вот он, убийца императора! Держите его!

Пьер посмотрел в сторону кричавшего. Это оказался Мюрат, который до того стоял, словно осталбеневший, и вдруг как будто проснулся и начал кричать, показывая на князя Андрея. Князя Андрея и без того уже держал десяток рук, а он стоял прямо и продолжал говорить. Неожиданно князь Андрей коротко кивнул головой вправо. «Ведь это он мне, — понял Пьер. — Мне же надо уходить».

Пьер скоро пробрался через толпу к дверям. Никто не задержал его, и он быстро прошагал длинный коридор с зеркалами, в которые давеча любовался Мальборо, к выходу. Навстречу ему пробежал гвардейский офицер с саблей в руке. «Qu'est-ce qu'il se passe?» — спросил Пьера гвардеец у входа. Пьер молча прошел мимо и почти выбежал к воротам. Тотчас подъехал фиакр.

— Qu'est-ce qu'il y a? — спросил Ипполит, переодетый возчиком и сидевший на передке. Лицо его в шляпе возницы, казалось, вытянулось еще больше.

— C'est fait, — ответил Пьер, садясь в экипаж.

Фиакр тронулся. Сзади послышались крики. Пьер обернулся и увидел, что из ворот выбегают люди и что-то кричат им вслед, но тут фиакр завернул за угол, и их стало не видно. «А ведь они хотели меня схватить как убийцу, — думал Пьер, рассеянно глядя на мелькавшие мимо дома. — И если бы схватили, то, верно, судили бы и казнили, как будут судить и непременно казнят теперь князя Андрея».

«И они были бы правы, — неожиданно стало ясно ему. — Ведь то, что сделал князь Андрей и что сделал бы я, промахнувшись он в свой черед, и есть убийство, какими бы красивыми словами мы ни называли его между собой,

убийство человека, за которое у нас ссылали в Сибирь, а здесь отрубают голову на гильотине. И вот сейчас там лежит мертвый старик, которого другие люди, среди них и я, сделали виновным в том, что их выгнал из страны народ, который они должны были защищать и который они вместо этого грабили. И за это мы убили, назвав это справедливым возмездием, старика, которому осталось жить несколько лет и вся вина которого была в том, что он оказался лучшим полководцем, чем наши полководцы и все другие полководцы Европы».

— Вся вина... — вслух повторил Пьер.

Ипполит обратился назад, но, увидев, что Пьер сидит с отрешенным лицом, уставясь на собственные руки, снова повернулся к лошадям и, присвистнув, подхлестнул их кнутом.

Граф Л. Толстой. Преступление и наказание. Лондон, 1852.

8. Январь 1914 года

НОВЫЕ НАПОЛЕОНЧИКИ

Во вторник, 12 января, парламент Франции единогласно одобрил выделение военного кредита королю для войны против Российской Республики. В среду его примеру последовал британский парламент.

Газета «Народная воля», 14 января 1914 года

Бесятся
в парламентах
бонапартики,
Судорогой
страх свой
выдав.
Верещите;
бросайте
денег фантики —
Найдется
у Республики
новый Давыдов!

Ярятся
в коронах
наполеончики,
Трясет дороги
полков
топот конский.
Кривляйтесь,
тычьте в карты
пальцев кончики —
Будет вам
в России
новый Волконский!

Нанигли каски
маленькие
капралишки,
Илюют в небо
лагерных искрами
костров.
Тряситесь,
прячьтесь в щицели
и варежки —
Есть всегда
у Народной Власти
на вас Петров!

*B. Маяковский.
Сборник «Если завтра война»,
Москва, 1914*

НАТАЛЬЯ РЕЗАНОВА

Тигры Вероны

*Александру Певзину — с благодарностью
за беседы о кондотьерах.*

I'm not Romeo,
I'm not Romeo.
May be, you are Juliet,
But I'm not Romeo!

Эмир Кустурица

— Так почему они ушли? Из-за чумы?
— А Бог их знает... Может, и чума тому виной. Только я слышал — из-за призраков. В Гаэте болтают — как пришла чума, тьма народу померла без отпущения. Души-то неприкаянные со всей Гаэты здесь собрались да и выжили живых из города.

Говорили вполголоса, оглядываясь по сторонам. Неизвестно, чего опасались больше — чумы или призраков. Чёрная Смерть во всей монти своей давно стала преданием, но страх перед ней был еще жив. Тем более что вспышки чумы в разных городах случались не так уж редко, подогревая этот ужас. Бывало, что местные власти по малейшему подозрению вгоняли в карантин постоянные дворы и жилые дома, напрочь забивая досками двери и окна. Что до призраков — нет людей суевернее моряков и солдат.

Неизвестно, обитали ли призраки в этом городе. Зато людей здесь определено не было. Едва отряд вступил в Нинфу, капитан приказал обыскать город на предмет засады. Ни одной живой души не было найдено, а души мертвые не давали о себе знать. Тогда капитан разрешил встать лагерем до того, как вернутся разведчики. Жечь костры, однако, не позволил — из опасения, что огни заметят сверху, из города или цитадели. Возможно, это была излишняя предосторожность. Древняя Нинфа, бывшая когда-то римским Нимфеем, по причинам, не ясным пи-

кому, покинутая жителями, успела зарасти кустарником и дикой травой, и со всех сторон на нее надвигался лес. Лозы оплетали стены домов и церквей, обрушенные крыши заменяла иная — зеленая — кровля. И хотя со стражевой башни Кастелло ди Сермонета открывался вид вилоть до Тирренского моря, вряд ли оттуда можно было разглядеть, что творится у подножия горы. Под двойным покровом — ночной тьмы и леса.

Но предосторожности лишними не бывают. Кондотьер сражается не для того, чтобы выказывать, сколь он доблестен, а ради выгоды.

Только ради выгоды.

Хотя не всегда выгода измеряется деньгами.

В сплетении ветвей над рекой проплыл серп месяца, рисуя на заросшей мостовой причудливые тени. Потом среди этих теней обрисовались две человеческие: повыше и пониже.

Человек, сидевший у реки и следивший за игрой теней, поднялся им навстречу.

— Ну?

— Капитан! Капитан Монтекки! — Оба разведчика, мантuanец Угуччоне и калабриец Якопо, были веселы и довольны, насколько это позволяла субординация. — Все как вы и говорили. Они ничего не знают. Конечно, ворота заперты, но на городской стене охраны почитай что и нет! — сообщали они наперебой.

— А в замке?

— В замке... там наверняка есть. Так ведь она в городе, не в замке.

— В этом все и дело, — сквозь зубы произнес капитан. — Если она со своими отродьями убралась в замок, вся затея теряет смысл.

«Затея» была построена на сведениях, полученных от купцов, — что в мирное время графиня с детьми предпочитает жить в удобном городском дворце, а не в Кастелло ди Сермонета, который не что иное, как воинская крепость. Именно поэтому отряд Монтекки обошел Латину, а не стал ее захватывать. И кто будет ждать кондотьеров Светлейшей Республики в Лацио?

— Они наверняка решили, что мы двинулись в Ломбардию, — сказал Угуччоне, словно отвечая мыслям командира.

Ломбардия, собственно, и была целью экспедиции. Но капитан не мог отказать себе в удовольствии поставить точку в давней истории вражды.

— Гоффредо! — окликнул он еще одного наемника, примишвившегося недалеку. Когда тот выпрямился во весь рост, оказалось, что сложением он превосходит и капитана, и долговязого Угуччоне.

— Готов?

Вопрошаемый молча продемонстрировал то, над чем трудился с того часа, как отряд вошел в Нинфу. Тогда капитан приказал нарезать веток и нарубить молодых деревьев, а Гоффредо, вооружившись веревками и лозами, принялся сооружать лестницы. Никто в отряде не умел этого лучше его.

Настоящее имя Гоффредо было Готфрид, а его родовое прозвание никто в отряде не мог бы произнести. Но смеяться над ним, равно как и над выговором Гоффредо, мало кто осмеливался — немец в совершенстве владел двуручным мечом-bastardом и, как уверял Якопо, мог разрубить всадника аж до самого седла. В отряде Готфрида ценили также и за то, что он был мастером на все руки — что походный котел залудить, что тележную ческу исправить, что лестницу связать.

Капитан, оглядев его творение, одобрительно кивнул.

— Неплохо. Бряд ли она такого ждет. — Ведь она из Капелли, подумал он, а они все по одной мерке кроены. Все бешеные, все вспыльчивы как черти и оттого думать совсем не умеют. Вслух же он сказал: — Что ж, может статься, нынче ночью Веронская Тигрица попадет в клетку.

* * *

Прозвище это графиня ди Сермонета получила довольно давно. Началось все после известных событий, когда герцог Антонио, потерявший в той распредр двух близких родственников, поклялся, что более не допустит подобного кровопролития и наведет в городе порядок, а для

того призвал к себе на службу кондотьера Никколо делли Банди Бьянки, человека безродного, но известного своей храбростью и, что немаловажно, добросовестностью по отношению к нанимателям. А чтобы крепче привязать его к своему дому, дал ему в жены девицу доброй крови с приданым в виде графского титула и города Сермонеты. Город был захвачен некогда прославленным предком Антонио — Великим Псом, самому же герцогу управлять им было скорее в тягость, ибо Сермонета находилась слишком далеко от Вероны. Миения невесты, как водится, никто не спрашивал. Возможно, она возражала, ибо жених был немолод и собою нехорош. Но ей пришлось подчиниться. Она вышла за делли Банди Бьянки (теперь именовавшегося графом ди Сермонета) и в последующие два года родила ему сына и дочь. Кто знает, может, она и дальше бы продолжала покорно исполнять супружеский долг, но последующие события все изменили, и не только в ее жизни. Покой, которого так жаждал Антонио делла Скала, вновь был нарушен, и вовсе не враждующими семействами, но герцогом Миланским, давно положившим глаз на владения родича. На сей раз кровопролитие многократно превысило предшествующее. Самому Антонио, правда, удалось бежать — именно благодаря тому, что Никколо делли Банди Бьянки сохранил ему верность. Он прикрывал отход делла Скала, был зарублен, а тело его сброшено с городской стены.

Тогда графиня Сермонета и показала свой подлинный нрав. Не пролив ни единой слезы, она облачилась в доспехи, собрала разбежавшихся было подчиненных мужа и во главе отряда, в центре которого поместила верную кормилицу с младенцами на руках, с боем вырвалась из Вероны. Из тех, кто был тому свидетелем, одни называли ее «второй Афиной», другие — «разъяренной фурисой» и в конце концов сопились на «тигрице». Капитан Монтекки ничего этого не видел и в событиях не участвовал — за два года до переворота он покинул Верону и стал служить Мантую под началом Браччо Ди Убальдино (контракт с Венецией он заключил позже, когда возглавил собственный отряд).

Герцог Миланский не двинул войска на Сермонету. Вряд ли он вспомнил о родстве (Антонио оно не помогло, скорее наоборот). Вероятно, осторожный миланец, привыкший действовать наверняка, трезво оценил трудности осады в горах. Но в покое вдову не оставили. Соседи — владельцы Фонди, Роккакорги, Бассиано и Минтурно, знать не знавшие о веронской резне, решили, что вдова с малыми детьми, лишенная заступника, станет легкой добычей, и устремились на Сермонету, словно стервятники на падаль. Напрасно. Попытки взять город штурмом захлебнулись. Улицы Сермонеты, как у большинства горных городов, были не только узкие, но и крутые, для успешной обороны достаточно было перетянуть их цепями.

Осаждать Сермонету тоже пытались, и с тем же успехом. Над городом господствовал замок, а покойный Никколо, хоть и проводил большую часть времени в Вероне, успел его основательно укрепить. И графиня, засевшая в Кастелло ди Сермонета, успешно отражала все нападения. По прошествии пары лет соседи пришли к нескользко запоздалому выводу, что заполучить и город, и замок можно гораздо более простым и приятным способом, и стали наперебой свататься к вдове. Она также понимала, что вдовство подзатянулось, и выбрала себе мужа. Ко всеобщему удивлению и даже возмущению, это был не кто-либо из здешних владельческих синьоров, а бывший лейтенант Никколо дельи Банди Бьянки, один из тех, вместе с кем графиня прорывалась из Вероны. Звали его Джани Ногарола.

Если подумать, это был не такой уж странный выбор. Ей нужен был человек, который станет защищать ее владения, а не присоединять их к своим. Так или иначе, ее брак с Ногаролой продержался дольше, чем с Никколо дельи Банди Бьянки, и был отмечен рождением дочери. Но второе замужество закончилось так же, как и первое. Один из отвергнутых претендентов на руку графини, синьор Минтурно, не простил удачливого соперника и выжидал четыре года, прежде чем нанести удар. Ногарола был убит в аббатстве Фоссанова, которому графиня покровительствовала и куда Джани порой наведывался. Дабы

избежать подозрения в сообщничестве, аббат незамедлительно направил гонца в Сермонету, а в письме, помимо прочего, перечислил имена убийц. Графиня лично возглавила карательную экспедицию в Минтурно. Ее врага никто не поддержал. Убийство в святой обители — это было чрезвычайно даже по теперешним жестоким временам. Поэтому все, замешанные в убийстве, не ушли от расправы.

Все это произошло ровным счетом семь месяцев назад, и с тех пор Сермонета жила в мире и благоденствии. Все решили, что нанадать на графиню — себе дороже. В женской шкуре и впрямь сердце тигра, город укреплен, а замок неприступен.

Но был один человечек, который с этим не согласился.

* * *

Для своего плана капитан Монтекки выбрал два десятка человек, остальные должны были дожидаться сигнала.

К воротам Сермонеты вела единственная дорога. Склон горы с противоположной стороны, вплоть до городских стен, был настолько крут, что там не было даже козырьков троп. Поэтому оттуда никто не ждал нападения. Этим Монтекки и собирался воспользоваться.

Первым он отправил Якопо — у себя на родине калабриец навострился лазить по скалам. Тот должен был сбросить веревку остальным. Лезть по такому склону ночью — удовольствие маленькое, и на это задание Монтекки взял только добровольцев. К общему удивлению, среди них оказался и Гоффредо.

— Тебя же никакая веревка не выдержит, туша тевтонская! — возмутился Угуччоне.

— То-то палачу заботы будет, — пробормотал Якопо.

— Фыдержит меня — фыдержит фсех, — невозмутимо отозвался немец.

— Лестницы потащишь, — приказал капитан. Разумеется, он собирался лично участвовать в вылазке.

Месяц цырял между туч. Полезней была бы полная тьма, но она бы затруднила подъем. Месяц... Капитан посмотрел на него с раздражением. Этот серебряный серп

был атрибутом Дианы, а Диана фигурировала в хорошо памятных ему стихах.

И ненависть мучительна, и нежность.
И ненависть, и нежность — тот же пыл
Слепых, из ничего возникших сил,
Пустая тягость, тяжкая забава,
Нестройное собранье стройных форм,
Холодный жар, смертельное здоровье,
Бессонный сон, который глубже сна.
Вот какова и хуже льда и камня
Моя любовь, которая тяжка мне.

Как там дальше? Про Диану-то? Впрочем, черт с ней, с Дианой, разберемся с ней позже.

* * *

— Ну вот и все, — сказал капитан, утвердившись на земле. — Не труднее, чем влезть к красотке на балкон.

На самом деле было далеко не все. Но самое важное было сделано — они взобрались по склону, а там, с помощью Бога и прихваченных лестниц, одолели городские стены. Головокружительно высокими те казались только от подножия горы, на самом деле стенам Кастелло ди Сермонета значительно уступали. Оттуда же, со стены, подали факелом сигнал тем, кто оставался внизу. И пока верховные не доскакали до ворот, следовало убрать препятствие с их пути.

Сначала пресловутые цепи — ими была перетянута и главная улица, виа дель Фосси, и другие. Изобретательный Угуччоне предложил не просто снимать заграждения, но и обматывать этими же цепями дома горожан. Мысль была здравой, и Монтекки вселся сму вместе с Якопо исполнить задуманное. Но оставались еще ворота, и там обязана была стоять стража.

Какой бы мирной ни была жизнь в Сермонете, Монтекки не верил, что горожане настолько разбаловались, чтоб не держать стражи, и оказался прав.

Стражу сняли быстро и почти бесшумно — кому арбалестный болт в спину, кому кинжал в горло. Гоффредо

единолично вытащил огромный засов, и всадники ворвались в распахнутые ворота. Улицы и площади Сермонеты не были замощены, поэтому стук копыт не разбудил спящих, а те, кто не смыкал глаз в эту ночь, уже спали вечным сном. Город пал, сам не зная об этом.

Теперь дело было за главным. По узким пустынным улицам, мимо обмотанных цепями домов, — к палаццо Ногарола.

Как поведал допрошенный с пристрастием купец, это был дом, каких в Сермонете еще не видывали. Затея принадлежала покойному мужу графини. Бывший лейтенант возжелал непременно жить как настоящий синьор — во дворце. Жена, впрочем, поддерживала его в этом намерении. Она хотела, чтоб Сермонета стала столь же цивилизованным городом, как Верона, говорил купец.

Сказывается дурная кровь, подумал капитан. Они всегда любили показную роскошь, вечно по всякому поводу затевали пиры, балы, маскарады... Одно слово — Капелли... Капеллишки...

Фамилию он произнес вслух, и это «Капеллетти» упало, словно плескок в грязь.

Но палаццо уже выросло перед ними из тьмы. Это был единственный дом в городе, где могла быть серьезная охрана, поэтому Монтекки собрал здесь большую часть своих людей. Гоффредо во главе десятка солдат высадил дверь — тяжелую, украшенную искусствной резьбой. Приснувшаяся прислуга не бросилась врассыпную, а попыталась сопротивляться. Этого следовало ожидать. Даже во дворце она скорее будет держать не левреток, а сторожевых псов. Конечно, они не смогут долго противостоять опытным воинам, но способны их задержать. Не важно. Это всего лишь отвлекающий маневр.

Когда из окон верхнего этажа в нападавших полетели стрелы, а из ворот выбежала охрана, веревки и лестницы снова пригодились. Монтекки и его люди перемахнули через ограду — это было гораздо легче, чем одолеть городскую стену, и ввалились в дом через окна, выходящие во двор.

Было темно, но определить, где женские покои, всегда легче легкого — как только дому грозит беда, там начинают

визжать. И служанки графини поддержали традицию, оказал капитану услугу. Отбрасывая с дороги ковровые завесы, которым по нынешней моде принято было украшать переходы, он ворвался в просторную спальню. Кто-то запалил факел, и Монтекки увидел женщину у детской постели. Схватил ее и тут же с проклятием оттолкнул. Это была ни в коем случае не графиня — годами много старше, да и сходства никакого. Кормилица или нянька. Поднявшись с колен, она выхватила ребенка из постели и прижалась к обширной груди.

— Ее здесь нет! — крикнул Якопо. Он успел, пригрозив служанкам мечом, задать главный вопрос.

Похоже, Веронская Тигрица была среди тех, кто отражал нападение у главного входа. Что ж, недолго ей осталось.

— Схватите детей! — приказал Монтекки.

Это удалось сделать быстро, поскольку комнаты детей были рядом. Мальчика и девочку втолкнули в спальню. Оба были неотличимы друг от друга в почных рубашках, разве что мальчик пытался пырнуть захватчиков книжалом. Угуччоне без труда выбил у него оружие и тут же взвыл — девочка вцепилась ему в руку зубами.

— Держи зверенышней крепко, Угуччоне. А вы, девки, бегите к своей госпоже и скажите — ее дети у нас. Пусть бросает оружие. И приходит суда.

Рыдающие служанки с топотом бросились прочь. Лишь нянька с младенцем не тронулась с места — да ей бы никто и не позволил.

Она пришла, как велел Монтекки. Удивительно, но она была не только одета, но даже в латной кирасе. Очевидно, жизнь приучила ее не копаться в мгновения тревоги. И когда она откинула рукав верхнего платья, под ним обнаружился арбалет.

— Без глупостей, графиня. Одно движение — и мы прикончим ваших зверенышней. Выбирайте — кого.

Она чуть помедлила, бросила арбалет на ковер, повернулась к капитану.

— Ах, вот это кто. Старая добрая Верона. Монтекки совсем выродились — раньше хоть младенцев в колыбели не резали.

Он ответил не сразу. Смотрел на нее. Они не виделись десять лет, да и тогда он почти не был с ней знаком. Но помнил ее хорошо. Еще бы не помнить ту, что принесла столько горя их семье. И не мог не видеть, как она изменилась. Тогда она была тонкой как тростинка, сейчас погрузнела: рождение троих детей не прошло даром. Пламя, горевшее в черных глазах, угасло. И вся она потускнела, — впрочем, чего еще ждать от бледной и беловолосой женщины.

Не Диана, совсем не Диана. Паломник в очередной раз ошибся. Но от этого не легче.

— Нам не нужны ваши отродья, — сказал он. — Нам нужна Сермонета. И она — наша.

— Вы захватили дом, — тускло произнесла она. — Может, и город. Но пока не сдана крепость, это ничего не значит.

Монтекки и сам это прекрасно понимал.

— Когда на рассвете гарнизон увидит вас на площади со связанными руками, он сложит оружие.

— Это вряд ли. — Голос ее оставался тусклым и ровным. — Солдаты гарнизона приучены исполнять приказы. Мои приказы. И вряд ли любое зрелище их заменит.

Монтекки кивнул:

— Пусть так. Тогда на рассвете вы пойдете к ним и прикажете сдать Кастелло ди Сермонета. И не вздумайте шутить со мной шутки. Городом правит род, не так ли? Ваши мужья мертвы, а дети у меня. Если вы станете не просто вдовой, а бездстной вдовой, власть ваша рухнет сама собой.

Она молчала. Тогда он добавил:

— Сколько лет вашим старшим? Девять, восемь? Как раз сгодятся для того, чтобы позабавить моих солдат. А младенца можно просто выбросить из окна.

— Ничего другого от Монтекки я не ждала, — сказала она. — Хорошо, я отправлюсь в замок.

Монтекки усмехнулся. Есть способы укрощать даже тигриц.

— Нечего сетовать, сеньора. Если бы ваш Джанни не был таким дураком, чтоб строить этот дом, а велел бы семье жить в цитадели, вы бы горя не знали.

Она не ответила.

На рассвете он наблюдал из окна, как графиня пересекает площадь по направлению к замку, и вновь обратил внимание, как тяжело она ступает. Словно произшедшее давило на нее невыносимым грузом. А может быть, потому, что плала она босиком — это капитан заметил только сейчас.

Над городскими воротами полоскались флаги с гербом Монтекки и крылатым львом Светлейшей Республики.

Но радоваться было рано. Ибо эти флаги еще не подняты ни над одной из четырех башен Кастелло ди Сермонеты.

Ничего, уж недолго. И это хорошо. Что бы он ни говорил, у него не было желания убивать детей. Он их отправит... куда бы? В Верону сейчас нельзя, это все равно что подарить ценных заложников Миланскому герцогству. Ну хотя бы к уцелевшим Скалигерам. А она... она ответит за все зло, которое причинила Паломнику.

* * *

Все-таки ночь была слишком утомительна даже для сильных людей, и большинство солдат Монтекки повалились спать. Горожан, запертых в своих домах, они не напались. Капитан и сам, убедившись, что уцелевших охранников графини разоружили, решил вздрогнуть. Крепости не сдаются в единый миг. Сперва в гарнизоне похорохрятся, поорут, потопорщат неря. Прежде чем принимать сдачу, можно будет урвать немного спа.

По разбудили его раньше, чем он надеялся. Яколо тряс его за плечо.

- Капитан...
- Забирайте у них оружие и занимайте крепость.
- Но... они не открыли ворота.
- Что? — Монтекки вскочил на ноги. — А она?
- Она на стене... стоит там...

Монтекки не слушал его. Спал он одетым и, подхватив меч, уже сбегал по лестнице. Что она затеяла, черт побери? Какая-то ловушка? Если такая и есть, то только

в крепости. В крепости не было засады, иначе его не удалось бы взять столь легко. Но в замке? Неужто они там дружно свихнулись и решились на вылазку?

— Ческо, Титта, поднимайте людей! Гоффредо, ко мне!

Едва ступив на площадь, он увидел, что Якопо не ошибся. Воины на стенах укрылись за бойницами, но яркое утреннее солнце играло на шлемах и щитах, и отблески были видны издалека. Она была единственной, кто не прятался. Все в той же кирасе поверх платья, с разбросанными по плечам светлыми, почти белыми волосами.

— Эй, Монтекки! — крикнула она. — Слышишь меня? Можешь осаждать замок хоть десять лет, у нас провинта хватит.

— Совсем снятила? Или забыла, что твои дети в моих руках?

— Дети? — Она расхохоталась. Потом кивнула тем, кто был рядом, и ей помогли встать между зубцами. Оказавшись на виду, она бесстыдным жестом задрала подол платья. И Монтекки увидел то, чего не заметил в ночном сумраке, — выпирающий живот, сейчас обтянутый лишь тонкой рубашкой. — Убей их, если хочешь! У меня в запасе есть!

Она двигалась так грузно не оттого, что была сломлена. Она была на сносях.

— Может, Джанни был и дурак, но настоящий мужчина! — продолжала она. — Да где тебе понять, тебе твои солдаты койку греют! Или ты им...

Он выхватил у ближайшего солдата арбалет и выстрелил, но расстояние было слишком велико. Болт упал в песок у крепостной стены.

— Лучников сюда! — скомандовал Монтекки.

Якопо кинулся исполнять приказание, а Гоффредо глубокомысленно заметил:

— Нашин не достафайт. Англичане — да...

Монтекки и сам понимал, что достать ее можно было лишь из длинного английского лука. Однако англичан — вот беда — среди наемников не было.

Но и графиня решила больше не испытывать судьбу и убралась в укрытие.

— Делла Скала! Скала и Сермонета! — орали на стенае.

Собравшиеся на площади наемники смотрели вверх с ненавистью, но без приказа в бой никто не совался. Ибо наверху-то у стрелков позиция была отличная.

Как ни ненавидел Монтески эту женщину, он понимал, что вот так штурмовать замок с его двойными стенами и гарнизоном, готовым к бою, — занятие бессмысленное. Но какая сука! Холодная, безжалостная сука! Она гораздо хуже, чем о ней говорили. У нее не сердце тигра, у нее просто нет сердца. Паломник был совершенно прав. И ненависть мучительна...

Внезапно он вспомнил строки, которые не мог восстановить в памяти прошлой ночью.

У ней душа Дианы, Купидон
Не страшен девственнице и смешон,
Она не сдастся на умильность взора
Ни за какие золотые горы.
Красавица, она свой мир красот
Нетронутым в могилу унесет.

Паломник ошибся в одном — она не осталась нетронутой девственницей. Но это не имело никакого значения. Судьбой детей ее не проймешь. Она осталась такой же бесчувственной, какой была в юности.

— Детей сюда тащить? — спросил Яконо.

— Нет. — Будь на его месте гонфalonьер Святого Престола, он бы не колебался, а приказал обезглавить детей тут же, на площади. Просто так, для примера. Но Монтехи не хотелось этого делать. Несчастные не виноваты, что у них такая мать. — Берем их в осаду. Поддержки ей ждать неоткуда, долго крепость не продержится.

* * *

Графине Сермонета и впрямь неоткуда было ждать поддержки. Скалигеры нынче лишились власти, герцога Антонио не было в живых уже семь лет, а ее веронские родственники по матери присягнули новому герцогу (впрочем, как и родственники капитана). Тот вряд ли простил Веронской Тигрице тот отчаянный прорыв из

города. А жестокость, с которой она отомстила за Ногаролу, оттолкнула от нее соседей. Ни родственников, ни друзей, ни союзников — ей рано или поздно придется сдаться.

Но и положение Монтекки было не из самых лучших. Брать штурмом Кастелло ди Сермонета, как уже говорилось, не представлялось возможным. Оставались лишь осада и надежда на то, что графиня блефовала, утверждая, что провианта в крепости хватит на десять лет. Над башнями ежедневно поднимались столбы дыма — печи тонились, обед для гарнизона готовился исправно, но не исключено, что этим осажденные пытались ввести противника в заблуждение относительно своих припасов.

Как бы то ни было, отряд Монтекки тоже нуждался в провианте. Они выгребли из домов горожан все, что там имелось, но надолго ли этого хватит? Подвоза не было. Похоже, слухи о захвате города каким-то образом распространились. А кто будет поставлять провиант тем, кто все равно не заплатит? Стало быть, надо отправлять людей в долину.

Горожан, конечно, пришлось выпустить. Нападения с их стороны Монтекки не опасался. За десять лет его службы он ни разу не видел, чтоб горожане, даже в больших городах, где чернь имела обыкновение восставать, нападали на наемников. Предать, обмануть, закрыть ворота в решающий момент — это они горазды, это сколько угодно. Но выступить против обученных солдат с оружием в руках — у них кипка тонка. Будут, прячась у себя в домах, проклинать захватчиков и надеяться, что солдаты графини выйдут из крепости и сами перебьют злодеев.

Гарнизон, в свою очередь, не делал попыток вылезти из-под защиты крепостных стен. Это и понятно. Прорываться в неизвестность у них не было желания, а для того чтобы уничтожить отряд Монтекки в открытом бою, не хватало численности. Оставалось играть в старую как мир игру «кто кого пересидит».

Монтекки не сомневался, что пересидит он. Сам он занял палаццо Ногарола, и отряд в считаные дни опустошил погреба покойного Джанни. Дети графини были тут

же, их заперли вместе с нянькой, которая следила за тем, чтобы они не остались голодны и чтобы никто не обидел. Остальные служанки смирились с той участью, что ожидает женщин в захваченном городе, и даже, кажется, получали от этого удовольствие — похоже, графиня держала их в строгости. Но до бесконечности это приятное времяпровождение продолжаться не могло, и Монтекки послал Яконо с дюжиной солдат в рэйд за провиантом.

Так обстояли дела до того дня, когда в Сермонету прибыл посланец Совета Десяти.

Любой наниматель, будь это коммуна или единоличный правитель города, бдительно следил, чтобы деньги, выплаченные согласно контракту, не расходовались на посторонние цели. Светлейшая Республика в этом отношении даже превосходила остальных. Уйдя в поход, Монтекки надеялся, что на время избавился от надзора, но ошибся.

Посланника Монтекки знал. Фамилия его была Камерини, к городскому патрициату он не принадлежал, стало быть, выслужился усердием. Это был рыжеватый крючконосый человек лет сорока — на двенадцать лет старше, чем Монтекки.

— Мы были весьма удивлены, капитан, обнаружив вас так далеко на юге.

— Совету Десяти не нужна очередная победа?

— Совету Десяти нужна победа над герцогом Миланским. Или над его кондотьерами. Совет Десяти также не позволит растрачивать попусту деньги из казны республики.

— Разве Сермонета не стоит этих денег?

— Сермонета, может, и стоит. Но зачем захватывать город, который не сможешь удержать? — Камерини внезапно замолчал, не желая развивать тему.

— Это заботы Совета Десяти, не мои.

— Разве? Кроме того, вы захватили город, но не замок. А без него ваша победа бесполезна.

Камерини почти дословно повторил слова графини, и Монтекки стоило большого труда сдержаться, чтобы не выругаться.

— Захват замка — всего лишь вопрос времени.

— Вот именно.

Служанка подала вино — не из подвалов палаццо (то уже изничтожили), а из реквизированного у горожан. Камерини, однако, выпил с жадностью, а на служанку посмотрел без интереса.

— Брачко Ди Убальдино времени терять не будет.

— Брачко?

— Да. В Милане его называли.

— Я знал, но думал, что он уже отошел от дел.

— Отнюдь. Кстати, вы ведь под его командованием начинали службу в Мантуе?

— Так.

— И у вас нет никакого желания воевать со своим прежним командиром.

— Какого черта, Камерини! Это война. Я не путаю дела с чувствами.

— Тогда зачем вас понесло в Сермонету? Не оттого ли, что у вашего семейства давняя вражда с предками графини?

Монтекки промолчал.

— Так вот, Совет Десяти требует, чтобы вы немедля сняли осаду замка и направились на север, как вам и было приказано. Иначе ваши действия будут расценены как государственная измена. Не беспокойтесь о детях графини. Я увезу их с собой. Республика найдет им полезное применение. И за это вы заслуживаете благодарности. Я добьюсь того, чтобы эта благодарность получила подобающее денежное выражение. Но помните, Монтекки, — вам нельзя оставаться здесь. Так решили дож и Совет Десяти.

Выслушав от Монтекки, сколько раз и в каких позах тот имел почтенного дожа и весь Совет по очереди, Камерини сухо осведомился:

— Ваш дядя, насколько я помню, присягнул Миланскому дому? А вы — его единственный наследник?

— К черту, Камерини! Я уехал из Вероны до свержения Скалигеров.

— А если вы — приверженец Скалигеров, то снова возникает вопрос: что вы делаете здесь, в Сермонете, если вспомнить, кому она принадлежит? Оснований для

обвинения в измене более чем достаточно. Эй, девка, — окликнул он служанку, — скажи кормилице, чтоб подготовила своих питомцев к отъезду. А если вы, капитан, вздумаете напасть на мой конвой, то обещаю: ценных заложников я вам не верну. Даже ценой потери заложников. Это все, что я хотел сказать.

С Камерини Монтекки не попрощался. Даже не взглянул на отъезжающий конвой. И без того ясно, что в Совете замышляется какая-то своя игра. Но вряд ли они добьются от графини большего, чем Монтекки.

Он прошел на площадь, ожидая увидеть графиню. Злорадствует она или опасается? Но она, как и в прежние дни, не показывалась. Веронская Тигрица укрылась в логове, вынашивая очередного детеныша.

И как в прежние дни, над башней поднимался столб дыма.

— Капитан!

Через площадь бежал Якопо.

— Что орень? Провиант доставили?

— Нет...

Монтекки нахмурился. Уж ради себя ребята бы постарались. Неужто свершилось невозможное и мужичье взялось за вилы?

— Гаэтани... — выдохнул Якопо.

— Какой Гаэтани? Это вроде один из здешних владельцев?

— Да, граф Фонди. Мы тут искали что да как, а он вывел свой отряд... У него вроде как договор с Сермонетой. Сейчас он в Латине, союзников дожидается. Нас не заметили — мы и поспешили... предупредить...

Монтекки снова поднял голову. Значит, у нее все-таки есть союзники... и она не теряла времени после смерти Ногаролы. А этот дым... нет, это не вызов осаждающим, это сигнал союзникам. Сейчас они сообщают, что посланник дожа из лагеря отбыл и можно действовать. И если графу ди Фонди удастся созвать на помощь окрестных синьоров, Монтекки окажется зажат между ними и Кастелло ди Сермонета. Если срочно не скроется. На приказания высокочки из Камерини капитану было плевать, но...

Он думал, что загнал Веронскую Тигрицу в ловушку, а в ловушке оказался сам.

— Будь ты проклята, — прошептал он. — Будь проклята, Розалина делла Скала!

* * *

Ушли они без боя, ибо бой ожидал их впереди. Тот самый, за который и было заплачено согласно контракте. И ради него следовало на время позабыть старую вражду.

Камерини ошибся, полагая, что Монтекки не захочет воевать со своим прежним командиром. Дело есть дело, тут вражда ему глаз не застилала. Хотя когда Монтекки пришел в отряд Браччо Ди Убальдино, все было по-иному. Представления о том, как надо сражаться, у него еще оставались, как у прочих молодых людей из патрицианских семей, у которых все решалось поединками. И не теми ритуальными поединками, что у рыцарей прежних времен. То, что пришло им на смену, носило разные названия, но чаще всего это именовалось «схваткой тигров». В сущности, это были потасовки, яростные и беспощадные. От драк простонародья они отличались тем, что противники отличично, порой виртуозно владели оружием. А потому часто дело кончалось смертоубийством. Впрочем, это никого не пугало. Дрались по малейшему поводу и без повода. Войдя в таверну, бросали на стол шпагу со словами: «Пронеси, Господи!» — после второй чарки пускали ее в ход. Монтекки со стыдом вспоминал, что он дрался с человеком, который грыз в его присутствии каштаны, в то время как у Монтекки были глаза такого же цвета, и с другим, который кашлял на улице и разбудил его собаку, дремавшую на солнцепеке. Однако уже к восемнадцати годам ему стало казаться, что это как-то неправильно, и он предпочитал решать споры с холодной душой. Но это не всегда удавалось, особенно во время тех кровавых событий.

Но Браччо учил его именно этому — холодно и трезво оценивать силы противника, забыть о безрассудстве. Надобно признать, в истории с Сермонетой Монтекки показал себя плохим учеником. Повторения нельзя было допускать. Ди Убальдино постарел, но вряд ли поглупел.

Это хорошо, говорил Браччо, что тебя учили фехтованию, но шпажонку забудь, это забава богатых городских мальчиков, мы деремся по-другому. Он разумел, конечно, солдат итальянских наемных отрядов, но это не значило, что чужие воинские искусства Браччо отвергал, напротив, считал, что нужно учиться у тех, у кого следует. Наемные отряды в Италии повсеместно из тяжеловооруженных кавалеристов, таков обычай, но чем обычай этот лучше, чем тот, которого придерживаются французские рыцари? А их то и дело бьют и англичане, и швейцарцы. Конечно, сделать ставку на лучников, как у англичан, итальянцам невозможно, англичане же своих лучников с малолетства натаскивают. А вот у швейцарцев есть что позаимствовать, недаром иностранные государи все чаще принимают их на службу. У швейцарцев, да и у немцев тоже. И нечего презирать пехоту, она еще скажет свое слово. Пехотинцы — пикинёры, да.

Это слышал Монтекки на протяжении двух лет под началом Ди Убальдино и не раз имел возможность убедиться, что Браччо не ограничивается словами. А потом Браччо поступил на службу к герцогу Миланскому, а Монтекки, хотя его родня в Вероне также приняла новую власть (тут Камерини не солгал), этого сделать не захотел и перешел к венецианцам. А у Светлейшей Республики было два исконных врага — турки и Милан. С турками воевали на море. С Миланским герцогством и прочими итальянскими государствами — на суше. Во всех этих войнах Монтекки участвовал, но до сих пор не сталкивался в бою с Браччо.

Тот умен и опытен, но старого иса новым штукам не выучишь, и можно было не сомневаться, какие приемы он применит. Швейцарских паемников под его началом не было, нынешний герцог вообще избегал принимать на службу иностранцев. Но у него было время обучить своих людей на швейцарский лад. Да и было этих людей вдвое больше, чем у Монтекки. Впрочем, Светлейшая Республика это учла (что-что, а считать там всегда умели) и выслала против Браччо еще один отряд. Конечно, для того, чтобы штурмовать Милан, этого было недоста-

точно, но это и не являлось целью кампании, а был ей, как всегда, контроль над торговыми путями через Альпы. В отличие от Милана, в Венеции принимали на службу кого угодно — хоть англичан, хоть мавров, была бы польза. По командир этого отряда, именем Лукезе, ни англичанином, ни мавром не был, а происходил из венецианской семьи. В силу этого обстоятельства он считал, будто у него перед Монтекки есть преимущества, и рвался в бой первым. Что ж, отлично, дураков надо учить...

Так и случилось. Кавалерийская атака Лукезе палетела на пики пехотинцев Браччо и о них разбилась. И покатилась прочь. Это дало Монтекки время перегруппироваться. И не только. Его солдаты пошли в бой пешими, а кавалерийские коня не уступали в длине пикам пехотинцев. Если им удастся сломать строй пикинеров, рассчитал Монтекки, солдаты Браччо потеряют свое преимущество — ведь у них мечи служат скорее вспомогательным оружием.

Во главе ударного отряда он поставил Гоффредо. Немец еще раз подтвердил, что не зря получает двойную плату, которая по контракту положена каждому воину, владеющему полуторным мечом. Закованый в латы Готфрид врубился в строй миланцев, расчищая дорогу остальным. Его меч-bastard попросту ломал фальчионы пехотинцев, и никто из оказавшихся на лишии удара не мог устоять.

Миланцы дрогнули, и тут в бой вступила конница, остававшаяся в резерве, — ею командовал сам Монтекки. Тут Браччо мог убедиться — ставка на обученную пехоту не всегда беспроигрышна. Всадники еще господствовали на поле боя.

Миланцы отступили. Если б не опыт Браччо, бежали бы в панике. Ночь помешала преследованию. К тому же люди порядком устали и было много раненых. По правде говоря, порою стычки между кондотьерами обходились малыми потерями. Но с Браччо такое не проходило.

Пришлось встать лагерем. За ночь подтянулись и люди Лукезе, так что после нередышки решено было наступать. Однако на марше отряд вновь нагнал Камериини. Он зашел в палатку капитана на привале. На сей раз тон его был совершенно иным.

— Мои поздравления, капитан Монтекки! Блестящая победа!

— Она блестит еще больше, если вы не станете мешать. У нас есть шанс нанести Брачко удар, от которого он уже не оправится.

— Что это значит? Что вы намерены делать?

— Как — что? Догнать Брачко.

— То есть вы собираетесь продвигаться дальше на север? Это совершенно исключено. У вас не хватит людей воевать с основными силами герцогства.

— Верно, не хватит. Но мы можем уничтожить Брачко, а без него остальные мало чего стоят.

— Сожалею, но я приехал, чтобы привезти приказ противоположного свойства. Вам должно как можно скорее вернуться в Венецию.

Такой поворот событий был возможен в единственном случае.

— Турки высадились?

Камерини поморщился:

— Насколько мне известно — нет. Еще нет. Все, что я знаю, — у Совета Десяти для вас иные планы. Подробности вам сообщают на месте. Я обязан передать — вам необходимо немедленно отправляться назад. Со всей возможной скоростью.

— Мои люди утомлены, им нужно залечить раны.

— Нет нужды вести с собой отряд. Возьмите приличествующую человеку вашего происхождения свиту, а отряд пусть следует за вами. И не сомневайтесь: по возвращении вам воздадут почести и вознесут выше всех, кто служил городу святого Марка.

Если турки не высадились, то высадку готовят точно. Иначе такой перемены не объяснить. Но сколь бы почестей и денег ни сулил Совет Десяти устами Камерини, форма, в которую были облечены эти послы, Монтекки совсем не понравилась. И не только потому, что после Сермонеты, будь она неладна, явление Камерини предвещало неудачи. Приказ был явно с двойным дном.

Черт побери! Вот в чем суть — они хотят передать его отряд под командование Лукезе. Поэтому они и приказа-

ли Монтекки выехать с горсткой людей, ибо что такое «подобающая свита» веронского капитана в глазах венецианских патрициев?

Что ж, посмотрим.

На другой день отряд развернулся и тронулся в путь. Когда конвой Камерини догнал их, посланик дожа был в бешенстве.

— Что это значит, Монтекки?

— Я исполняю приказ Совета.

— Но я сказал, чтоб вы...

— Отправлялся в Венецию с подобающей свитой.

А что для командира подобает в качестве свиты больше, чем его отряд?

Посланника перекосило, а Монтекки продолжал:

— Не выйдет, Камерини. Мои солдаты не будут воевать под началом Лукезе. Так и передайте дожу.

И конвой посланника исчез в клубах пыли, поднятых всадниками на дороге. Над пылью раскаленной синевой сияло небо.

Отряд продвигался форсированным маршем — раз Совет пожелал, чтоб Монтекки возвратился немедля. Но это отнимало слишком много сил у раненых. Вдобавок за кампанию против Милана Монтекки заплатили, а за войну с турками — еще нет. Поэтому Монтекки, поразмыслив, решил: не стоит излишне торопиться.

Миновав очередную деревушку, они остановились. В низине между холмов можно было расположиться вольготнее, чем на жалких деревенских улицах. В таверне и у мужичья взяли, что нашли, и отпраздновали наконец победу.

В ту же ночь на них напали. Поначалу Монтекки, который крепко спал и с трудом разлепил глаза, подумал, что это Браччо вернулся со свежими силами, чтобы отомстить за поражение.

Но он ошибся. В открытом бою Лукезе не мог сравниться со своим противником, но резать ночью спящих его солдаты умели виртуозно. Лукезе сумел обойти и окружить отряд Монтекки и воспользоваться всеми преимуществами неожиданного нападения. Солдаты Монтекки

сомкнулись вокруг него, но было слишком поздно. Драться почему-то было очень трудно, для того чтобы сделать простейший выпад, приходилось прилагать чудовищные усилия, привычный клинок стал так же тяжел, как бастард Гоффредо, сражавшегося рядом.

Все сливалось воедино — хриплые крики и ржание бесившихся коней, барабанный туман, застилающий глаза, и рыжее пламя, с костров перекинувшееся на палатки. Последнее, что Монтекки увидел, прежде чем его оглушили, — отрубленная рука, лежавшая на земле. Рука, не выпустившая меч.

Меч Гоффредо.

* * *

Кляп затыкал рот, лицо прикрывала рогожа, голова раскалывалась, и казалось, что долетавшие до него голоса раздаются в бреду. Но уж слишком знакомы были эти голоса.

— Почему, мессер? Это было бы безопаснее. И какая разница, где он умрет — здесь или в Венеции? — Это Лукезе.

— Если б не было разницы, я бы устроил так, чтобы в вино для него трактирщик добавил яд, а не сонную настойку. — Голос Камерини.

Яд... снотворное... что-то такое уже было. Но давно... и не с ним, не с ним...

— Не все его люди убиты. Уцелевшие прячутся где-то за холмом и могут попытаться отбить его.

— То, что они уцелели, — это ваша вина, Лукезе. Поэтому его должны везти тайно. Что до прочего... В Совете желают лично убедиться, что предатель получит по заслугам. Как раз то, что ему обещано. Его вознесут выше всех. На самой высокой виселице.

Лукезе хохотнул:

— Меня-то вам так поймать не удастся. Я получу то, что мне обещано.

— Безусловно, синьор Лукезе, безусловно.

И они везли его тайно, в повозке, натянув на голову мешок. Монтекки не мог угадать, что это за дорога.

Лукезе среди тех, кто охранял пленника, не было. Несомненно, подлый венецианец разделил свой отряд, дабы сбить с толку солдат Монтекки на тот случай, если они вновь объединились и собираются наасть и освободить своего командира. А вот голос Камерини он норой слышал. Возможно, тот заботился, чтоб пленник не сбежал, своими методами, подбавляя дурман в питье.

Все кончилось внезапно, когда проклятый мешок сорвали, а благословенный клинок разрезал путы на руках и ногах. Ледяная вода, обрушившаяся на голову, изгнала ялость и отупение. Итак, его все-таки отбили.

Но лица тех, кто окружал его и поднимал на ноги, были Монтекки незнакомы. Не видел он и Камериини. Похоже, радоваться было рано.

Они находились на каком-то постоялом дворе, и Монтекки препроводили в зал. Поставили перед ним миску с полентой и кувшин вина, но он, памятую о недавнем отравлении, к угощению не притронулся. Зал был пуст, но снаружи гомонили, и он не сомневался, что за выходом наблюдают.

Затем дверь открылась и вошла женщина — светловолосая, черноглазая, в дорожном платье, с приколотой к вороту веткой жасмина. Поверх платья на сей раз была ис кираса, а кольчуга, и видно была, что женщина тонка и стройна, как в те давние времена, когда бедный Паломник воспевал незаконную дочь герцога Веронского как девственную Диану.

Стало быть, он попал из огня да в полымя.

— Итак, синьор Бенволио, или по нынешним обстоятельствам вас лучше называть Мальволио? — рада вас видеть.

— Не могу сказать того же, — буркнул он.

Розалина делла Скала села за стол напротив него.

— Отчего же? Вряд ли я ужаснее Совета Десяти вместе с дожем. Выходит, правду говорят, что они заботятся, чтоб их кондотьеры не одерживали слишком больших побед и не возомнили о себе... Прошу прощения, не могла подоспеть раныше. Мне надо было вернуть своих детей, да и роды требуют некоторого времени.

— Роды? Ах да...

Она с гордостью кивнула:

— Отличный крепкий мальчик. Никколо был бы доволен.

— Но Никколо не был его отцом.

— Это не важно. Он видел, из кого получится воин.

Видимо, отрава еще продолжала действовать. Иначе с чего они сидят и ведут светскую беседу — после всего, что было? И что, собственно, было?

— Как вам удалось отбить меня?

— С помощью вот этого. — Она подняла два пальца — указательный и средний. Этот жест, пришедший из Византии, означал «удваиваю цену» и был знаком каждому наемнику. — Я купила вас у людей Лукезе. Впрочем, любая сумма, которую бы я предложила, устраивала их больше, чем та, что требовал у Совета их командир.

— А что он требовал?

— Свою конную статую на площади Сан-Марко. Совет пообещал. Лукезе хотел потешить свое тщеславие, а солдатам что с того? Им солди нужны. И они оптом продали мне и вас, и Камерини. Кстати, о том, что вы в пленау, мне рассказал один из ваших людей, прибывших к нам. Угоне... или Угуччоне? Так вот, он отказался от своей доли в контракте при условии, что ему позволят лично задушить Камерини. И я разрешила. В некоторых просьбах мужчинам так трудно отказать...

Монтекки отпил вина. Нет, эта травить не станет, у нее другие методы.

— Откуда у вас столько денег? — осведомился он.

— Я продала Сермонету графу ди Фонди.

— Что?

— Переговоры об этом шли уже давно. Оттого-то Онорато Гаэтани и поспешил ко мне на помощь, а вовсе не из рыцарского благородства. Он не хотел, чтоб город, предназначенный ему, был разрушен. Да, синьор Бенволио. Пятьдесят тысяч дукатов. С учетом того, что я укрепила замок, а Джани выстроил дворец, все это стоит вдвое дороже. Но поскольку мне через родню отца стало

известно, что Сермонету собирается захватить Святой Престол, я могла бы не получить и этих денег.

Монтекки не ответил. Теперь он понял, о чем умолял Камерини и для чего Республике понадобились дети графини. Не для торга с Розалиной делла Скала. В будущих переговорах с Папой законные наследники Сермонеты могли являть собою полезные фигуры. Но графиня успела сделать ход первой.

— Впрочем, теперь это забота Гаэтани, не моя. Большиную часть денег я перевела своему банкиру, а остальное потратила на вас.

— Месть — такое сладкое блюдо, что на него и золота не жалко, верно?

— Нет, синьор Бенволио. Теперь моя очередь задавать вопросы. И как раз о мести. Хотя моя мать была из рода Капелли, ваша семья никогда не считала меня своим врагом. Стало быть, дело не в родовой вражде. Вы ненавидите меня, синьор Бенволио, лично вы. И мне стало любопытно — за что? Я не причинила вам зла, мы и знакомы почти не были...

— Паломник, — сквозь зубы произнес Бенволио.

Она сдвинула брови:

— Вы о ком?

Монтекки сухо рассмеялся:

— Он любил вас, боготворил, а вы его даже не помните. Проклятие! Если бы вы не оттолкнули его, он бы не спутался с этой...

— А, так вы о Джанфранко говорите! Он и кузина... как ее... Сильвия, Джулия? Маленькая такая, черненькая... Я плохо знала ее. Но почему вы называете его Паломником?

— Он в детстве сильно болел, боялись, что не выживет. И возили в Рим, к раке святого Петра. Оттого в семье его и звали не иначе как Ромео — римский паломник. — Воспоминания детства смягчили его голос, но лишь на миг. — Он был не только моим братом. Он был моим лучшим другом. Не было никого на свете дороже для меня, чем он. А ты убила его. Своим равнодушiem, своим бессердечием, своей жестокостью. И ты забыла

всю эту историю — ведь тебе не пришлось тогда страдать, хотя погибли и твои родные. Паломник был прав — ты не можешь, не способна любить...

— Однако ты изрядно выиграл из-за той, как ты говоришь, истории. У старика Монтекки не осталось сыновей, и он назначил наследником тебя, своего племянника. Не так ли? А что до того, что мне не приходилось тогда страдать... Верно, я не плакала ни по родственникам, ни по Джанфранко. Я любила Марко...

— Какого еще Марко? — раздраженно спросил он. Розалина пристально смотрела ему в глаза, и что-то в этом взгляде оживило память. — Маркуччо? Племянника герцога?

— Да. Мы были помолвлены.

— Я не знал.

— Никто не знал, кроме отца. Помолвка держалась втайне, пока ждали разрешения на брак от его святейшества. Ведь мы были двоюродными. Оно и пришло, это разрешение, но уже после смерти Марко. А убит он был в дурацкой стычке... как это у вас называлось — «схватка тигров»? — которую заварил твой Паломник.

— Неправда! Все было не так! Он пытался всех помирить!

— Не лез бы со своим миролюбием, все бы и были живы! — с яростью выкрикнула она. — А Марко убили! И я плакала о нем, а не о убийце его, придурочном кузене Тебальдо, и, уж конечно, не о Монтекки.

Бенволио подавленно молчал. Странно, они вроде бы дружили с Маркуччо, и близко дружили, но за десять лет его образ совершенно стерся из памяти. Лишь отрывочные воспоминания — болтун он был, каких мало, да и лгун, пожалуй... Он и о Розалине болтал что-то такое, не вязавшееся с представлением о ней как о холодной кукле... что-то о ее горящих глазах и влажных губах. Но Бенволио думал, что это он нарочно, чтоб позлить Паломника.

Он попытался оправдаться.

— Маркуччо сам вызвал Тебальдо. Тот даже и не думал его задирать. Но Маркуччо непременно надо было

податься. Он из нас был самый отчаянный. Мы дрались по другому поводу, а ему и повод не был нужен.

— Теперь получается, что это он — виновник всех наших бед? — с горечью спросила Розалина. Поскольку Бенволио не нашелся с ответом, она продолжала: — Наверное, это свойственно всем нам — непременно искать виновных. Я сама много размышляла над этим. Два человека получили прямую выгоду от этих убийств. Ты и кузен Валенцио, младший брат Тебальдо. По правде говоря, я подозревала, что это ты все затеял, но, похоже, ошиблась. Возможно, Валенцио в самом деле наусыкивал старшего брата. Он получил в результате даже больше, чем мог надеяться. А может, и нет. Тебальдо не нужно было подталкивать, чтоб он лез в драку. Но это уже не имеет значения — Валенцио убили два года спустя. — Она замолчала, подтянула к себе кувшин с вином и отпила прямо из горла.

— Стalo быть, никто не виноват, — сказал Бенволио.

— Или все виновны. Что то же самое.

— И что теперь? Вернешь меня венецианцам?

— Это вряд ли. Деньги-то мне все равно назад не получить.

— Значит, убьешь меня.

— Что в том пользы? Вот что ты умрешь в жизни, Бенволио Монтекки?

— Глупый вопрос. Воевать, конечно. — Тут до него дошло. — Ты хочешь заключить со мной контракт? Учи, я дорого беру.

— Но не при нынешних обстоятельствах. У тебя больше нет своего отряда.

— Я могу снова собрать людей. Или вернуться к Браччо. Он умный человек, он поймет.

— Браччо-то поймет, герцог Миланский не поймет. Он человек злопамятный. Нам ли не знать.

Под «нам» она разумела род делла Скала, но Монтекки кивнул. Однако возразил:

— Тебе тоже не пристало ставить условия. Ты лишилась своих владений.

— Так. Но одно владение можно заменить другим, верно?

— Заменить? Ты уже не графиня ди Сермонета.

— Но я и не какая-нибудь Мария Путеолана, чтоб добывать средства на жизнь, служа мечом правителям. На берегах Адриатики достаточно городов и замков, где можно закрепиться.

— Для этого ты меня искала? А я что с этого буду иметь?

— А вот что. Мне надоело, что моих мужчин убивают. Трех раз достаточно. Поэтому я собираюсь сделать вам, синьор Монтекки, наилучший подарок, который такая женщина, как я, может преподнести мужчине. Я приложу все усилия, чтоб вы умерли своей смертью и в собственной постели.

Эти слова можно было истолковать по-разному. В том числе в приятном и не совсем пристойном смысле. О других возможностях Бенволио предпочел не думать.

часть третья

ВЕЧНОЕ ОЧАРОВАНИЕ ДЕТЕКТИВА

ДАНИЭЛЬ КЛУГЕР

Дело о двойном убийстве

В прежние времена, когда защитники такого малопочтенного жанра, как детектив, пытались доказать: ничего постыдного в любви к рассказам Артура Конан Дойла или романам Агаты Кристи нет, они часто приводили в качестве примера детектива, являющегося одновременно высокой литературой, творчество Федора Михайловича Достоевского. Разве «Преступление и наказание» не детектив? Тоже ведь повествование об убийстве. О преступнике. Даже сыщик есть — следователь Порфирий. И заканчивается как будто в соответствии с канонами: признанием и осуждением преступника.

Так что же? Детектив «Преступление и наказание» или нет? Только не с точки зрения литературного мастерства автора, а по законам жанра? Разумеется, нет. Как ни хотелось бы залиться в ряды писателей-детективщиков великого Достоевского — нет. Роман его (по жанровым особенностям) следует отнести к разряду криминальной прозы. Поскольку нет в нем основной категории, о которой мы говорили в самом начале, — нет в нем тайны. Той самой тайны, наличие которой делает детектив самым поэтичным из видов прозы. С самого начала известен убийца, известны его мотивы, известно орудие убийства. Роман показывает лишь путь раскаяния преступника.

Казалось бы, все так.

Но есть нечто, рождающее сомнение. Не знаю, как вам, уважаемые читатели, а мне при чтении этого романа

никак не удавалось отделаться от ощущения некой тайны, присутствующей под текстом.

Объяснение этому ощущению я нашел у Иннокентия Анненского в статье «Достоевский в художественной идеологии» (статья вошла в знаменитые «Книги отражений»). Вот что пишет этот блестящий поэт и тонкий знаток литературы о «Преступлении и наказании», а вернее, о причинах ощущения помянутой мною таинственности: «Оставляло ли ваше внимание когда-нибудь то обстоятельство, что в дикой, чадной тревоге Раскольникова всему больше места, чем *самому убийству* (курсив И. Анненского) — его непосредственным, почти физическим следам? Даже самая картина с топором в романе как-то не страшна... и главное, не отвратительна. Страшно, ужасно даже, только не как должно быть у новичка-убийцы...»

А ведь правда! Криминальный роман, подробно рассматривающий ситуацию именно глазами преступника (в чем его отличие от детектива), ставящий в центр повествования-анализа психологию преступника и психологию преступления — и вдруг само убийство выглядит как-то... Как? Ниже в той же статье Анненский бросает многозначительное замечание: «Физического (т. е. реального. — Д. К.) убийства не было».

Вот тебе и раз! Как же это может быть — ведь в романе описываются душевные муки убийцы, его презрение, его раскаяние. А Иннокентий Анненский — действительно великий поэт и великий знаток — утверждает: не было убийства! То есть... Раскольников не убивал! Не рубил топором ни старуху-процентщицу, ни ее несчастную сестру Лизавету.

Почему же он чувствует себя убийцей?

Потому что он болен. На протяжении всего романа, с самого начала и почти до самого конца, несчастный молодой человек находится в состоянии горячечного бреда, лихорадки — временами попросту теряет сознание. Именно в этом нервически-бредовом состоянии, когда сам больной перестает отличать сон от реальности, слышит он и разговор о праве на убийство старухи-процентщицы, и о самом убийстве. Иными словами, больной человек, мучившийся

вопросами, модными в тогдашней молодежной среде, отождествил себя с неведомым убийцей (или убийцами) и дальше повел себя уже так, как если бы он действительно совершил убийство. Вот только само убийство в его памяти выглядело неправдоподобно.

Аппенский показывает, что все это писатель сделал абсолютно сознательно. Это подтверждается удивительной чертой, касающейся структуры книги: ни один роман Достоевского не содержит столь малого количества собственно авторского текста. Иными словами, в этом романе великий писатель почти нигде не говорит о собственном отношении к описываемым событиям.

И вот тут-то мне и пришло в голову: если в романе есть загадка, если преступление, на самом деле совершенное кем-то, не раскрыто, значит, можно бы попытаться оценить «Преступление и наказание» в соответствии с каноном детективного жанра. Иными словами, прочесть роман Достоевского, как если бы он был детективом. И попробовать ответить на вопрос, который всегда ставится авторами детективных романов: кто преступник?

Если Раскольников всего лишь неврастенический тип, человек с неустойчивой психикой, в полуబезумном состоянии взваливший на себя чужую вину и пошедший в результате на каторгу (мы, кстати говоря, знаем реальные случаи самооговора), то кто же в действительности (романной действительности) убил старуху-процентницу и ее сестру Лизавету? И вообще — есть ли среди действующих лиц романа преступник? Поскольку мы договорились прочесть «Преступление и наказание» как детектив, постольку должен быть.

Но прежде я хочу еще раз повторить: речь идет не о том, что автор сознательно шифрует разгадку событий своего произведения. Достоевский писал именно историю Родиона Раскольникова, человека, чья жизненная философия оправдывает убийство во имя высшей цели (в двадцатом веке такими суждениями, увы, никого не удивишь!), и показал, как смертельно заболевает совесть такого философа в момент, когда из теоретика он превращается в практика — совершает зверское убийство. Я же просто

предложил прочесть роман как детективное произведение и попробовать разгадать подлинную историю описанного преступления. На самом-то деле великого русского писателя, разумеется, интересовала не полицейская составляющая романа (улики, доказательства), он ставил перед собою совершенно иные задачи.

Из чего следует, что писатель сам мог ошибаться в ходе расследования. Ибо мир, воссозданный им на страницах романа, столь материален (не говорю — реален, тут материальность иного порядка), что сам создатель его может ошибаться.

Таким образом, мы рассматриваем роман как извлечелное из архива полицейское «Дело по обвинению мещанина Раскольникова в умышленном убийстве ростовицы». Мы читаем показания свидетелей, заключение следователя и приговор суда.

Это первое. Второе же, о чем, как мне кажется, тоже следует помнить, заключается в следующем. Романы Достоевского внутренне столь тесно связаны друг с другом, так часто в этих книгах выступают одни и те же люди, волею автора меняющие имена-маски, что для расследования нам просто необходимо по временам заглядывать и в другие «дела», хранящиеся все в том же полицейском архиве на полке «Показания Ф. М. Достоевского». Например, в «Дело об убийстве дворянина Карамазова».

Мало того, с учетом внутреннего единства литературного процесса вообще, не исключено, что ответ на некоторые вопросы, возникающие в ходе расследования, придется искать и в книгах *других* русских писателей, младших или старших современников главного свидетеля. Таков третий момент, на который я хотел бы обратить внимание читателей, прежде чем мы продолжим поиски ответа на вопрос: кто убил старуху в романе «Преступление и наказание»?

Подведем некоторые итоги предыдущего этапа. Блестящий «эксперт» Иннокентий Анненский утверждает: «Физического убийства не было». Причем имеется в виду не то, что убийства не было вообще, но что главный подозреваемый Родион Раскольников никого не убивал. И дока-

зывает это, обращая наше внимание на следующие моменты. Во-первых, картина убийства, какой она предстает перед нами из « показаний » Раскольникова, иными словами, то, как этот герой описывает преступление, которое он якобы совершал, *неправдоподобна*. Нереальна. Недостоверна.

Во-вторых, состояние Раскольникова на протяжении всего романа (как физическое, так и душевное) таково, что, кажется, если бы в тот момент стало известно не об убийстве, а, например, о грандиозном землетрясении в центре Санкт-Петербурга, повлекшем за собою бесчисленные жертвы, он мог бы и это стихийное бедствие объявить делом своих рук. Было бы вполне объяснимо, если бы в такое взвинченное, горячечное состояние человек пришел после совершения преступления. Тогда ясно: большая совесть. Муки раскаяния. Но в том-то все и дело, что болезненным, душевнобольным человеком Раскольников предстает *раньше!* С первых же страниц романа.

И еще одно. Раскольников, руководствуясь новейшими (для того времени) философскими веяниями, любит оправдывать преступление. Теоретически. В статьях, в разговорах. Рискну высказать предположение, что теоретизирующий на криминальные темы человек не способен на совершение реального преступления, ибо, обратите внимание, обладая развитым воображением (это необходимо, иначе какие статьи, какие разговоры?), такой человек рисует в своем сознании эстетическую картину убийства, весьма далекую от реальности. Но даже такая картина, не содержащая житейски страшных деталей, способна поразить его настоящим ужасом.

Возвращаясь к Иннокентию Анненскому, хочу обратить ваше внимание еще на одну деталь, упоминаемую в его статье. Он говорит о « Записках из Мертвого дома ». Посмотрим, о чем именно идет речь в упомянутых им главах. В одной из них Достоевский вспоминает своего сотоварища по заключению, некоего дворянинца Горянчикова (вообще пребывание в каторжном остроге не только наложило отпечаток на всю дальнейшую жизнь Достоевского, но и дало материал для большей части его произведений). И вот на что обращает внимание Анненский:

«Речь идет о дворянине-отцеубийце, который, хотя и не сознался, был осужден». Тут, безусловно, параллель в «Братьями Карамазовыми». Но вот далее: «На каторге были убеждены, что он точно убийца и есть. Арестанты даже подслушали как-то во сне его самообличающий бред (!)». Далее, в седьмой главе Достоевский, дополняя «записки Горянчикова» (ведь именно ему приписывается авторство книги), указывает: «После десяти лет каторги отцеубийцу отпустили с миром, так как нашлись другие убийцы — подлинные».

Не ключ ли это к роману, не подтверждение ли того факта, что мы имеем дело не с преступлением Раскольникова, а с его самооговором?

И еще одна деталь — уже не из литературы, но из реальной жизни. Из биографии Федора Михайловича Достоевского. В свое время на все лады объяснялась загадочная история, поведанная самим писателем, о якобы совершенном им чудовищном преступлении — изнасиловании малолетней. По воспоминаниям многих современников писателя, он неоднократно повторял этот рассказ-признание, всякий раз — со множеством деталей, придававших достоверность. Спустя годы после смерти Достоевского время от времени возникали споры: правда ли это, действительно ли писатель совершил ужасное преступление?

Со временем удалось вполне убедительно доказать, что — нет, конечно же нет. Свидетели, ужаснувшиеся чудовищному признанию, на самом деле оказались свидетелями литературного акта: Достоевский от первого лица повествовал историю, которую придумал для ненаписанного им «Жития великого грешника». Сбивчивость же, страшное косноязычие, лихорадочное возбуждение писателя, отмечавшиеся слушателями и очевидцами, связаны были с психической стороной натуры (к слову сказать, в невротических состояниях, присущих Раскольникову, Ивану Карамазову, некоторым другим персонажам, Достоевский передал ощущения вполне автобиографические — человека, больного эпилепсией).

Итак, кажется, всего изложенного достаточно для того, чтобы убедиться: в детективе, как бы скрывающемся внут-

ри романа Достоевского, со всей определенностью говорится: Родион Раскольников не убийца. Страдающий, в какой-то мере обозленный существующей социальной несправедливостью, исступленно всрывающий в величие собственного гения, болезненный, валяющийся в горячке, отягощенный нервными припадками молодой человек. С богатым воображением, мучительно рассуждающий на тему о пределах дозволенного в обществе. А тут жизнь еще и сама подкидывает провоцирующие больную фантазию детали: письмо матери, разговор в кафе студента и молодого военного на предмет все тот же — оправдано ли убийство бесполезной старухи... Вот материал, из которого родился самооговор.

Плюс, разумеется, гениальный провокатор в обличье простоватого следователя Порфирия. Это ведь он, цепко ухватившись за молодого человека, исподволь убеждает его: ты убил, ты! То мещанина какого-то подсовывает, якобы свидетеля, чтобы тот сказал Раскольникову: «Убивец!..» Как раз после бреда, пережитого больным, бреда, в котором Раскольников вообразил себя убийцей, и свидетелем и внимательным слушателем которого был Разумихин — друг следователя, не особо воздержанный на язык молодой человек...

На самом-то деле свидетелей у полиции нет. И мещанин тот вскорости приходит к Раскольникову и просит у него прощения за провокацию.

Для чего все это следователю? Кто знает... Может быть, Порфирий и правда верит в виновность Раскольникова. Может быть, просто другого кандидата на роль убийцы нет, а начальство требует найти. И находит — очень подходящий кандидат, главное — модный: ведь общественное мнение России в тот момент взбудоражено слухами об антиобщественных настроениях в молодежной среде, об идейных убийцах, поджигателях и прочее. И Раскольников для него — прямая находка. Вспомните, следователь ведь мельком признается в том, что статью Раскольникова (насчет права убивать) читал внимательно. И автора хорошо запомнил. Очень хорошо. А что значит хорошо запомнить, с точки зрения полицейского следователя? Да очень просто.

Взять на заметку. Занести в картотеку (или что там было?). И использовать. Вспомнить в подходящий момент. Например, при необходимости срочно разыскать кандидата на преступники в тупиковом деле. Бесхитростный рассказ Разумихина о «бреде убийства» плюс давно написанная вызывающая статья — вот и готовое дело.

Правда, оно рушится. И тогда Порфирий прибегает к элементарной сделке: «Вы являетесь с повинной, а я обеспечиваю смягчающие обстоятельства». В общем-то, механизм вполне простой и прекрасно разработанный — с давних времен.

Словом, нам известно, что Раскольников никого не убивал. Нам известно, как, почему и с какой целью именно он оказался выбран официальным следствием в качестве козла отпущения. Осталось выяснить, а есть ли среди персонажей романа другой, настоящий убийца?

Да, возможно. Но кто же он?

Обратимся к обстоятельствам преступления. Понятно, что убийца был хорошо знаком жертвам — и ростовщице, и ее несчастной сестре Лизавете. И бывал в доме жертв не раз и не два. Среди персонажей романа таковых двое. Во-первых, разумеется, Раскольников. Но относительно его мы уже сделали вывод, что он невиновен.

Кто же еще?

Для начала — что же за преступление было совершение? Коль скоро Раскольников невиновен, а следовательно, об убийстве идейном речи не идет, убийство было совершено по мотиву вечному как мир: деньги.

Я хочу обратить ваше внимание на следующую особенность детективного романа. Обычно, если детектив строится подобно тому, как строится «Преступление и наказание», истинный преступник должен все время как бы мелькать на заднем плане. Читатель должен узнавать о нем от других действующих лиц, у читателя должно создаваться ложное, обманчивое представление об истинном характере этого человека.

Словно случайно, вскользь, автор нам сообщит о том, что этот персонаж был хорошо знаком с убитыми, входил к ним в дом...

Прежде чем я назову имя (уверен, что вы уже догадались, о ком идет речь!), скажу еще кое-что, могущее показаться вам парадоксальным.

Читая русских писателей прошлого столетия, невольно приходишь к выводу: мужским орудием убийства является нож или револьвер. Вспомните в том же «Преступлении и наказании» револьвер Свидригайлова! Конечно, в его случае речь идет о самоубийстве. Но все-таки дворянин представляется с оружием вот такого характера. А что — топор?

Помните, в эпилоге романа катаржники издеваются над Раскольниковым, с презрением ему бросая, что, дескать, не барское это дело — топор...

Так вот, со времен давних кажется мне, что топор как оружие (не орудие, не инструмент, а именно оружие) в данном пространстве есть деталь... как бы это сказать... женского туалета.

От восхищенных строк Некрасова насчет коня и горящей избы, от старости Василисы, управляющейся главным образом вилами и топором в партизанском отряде 1812 года, такой вот образ: женщина с неженским орудием в качестве женского оружия... Вспомните произведения Лескова, Крестовского. Почтайте воспоминания бывшего начальника петербургской сыскной полиции И. Д. Путилина. Яд и топор — вот женские орудия убийства. В противовес мужским — револьверу и ножу.

Что же, теперь назовем имя.

Сонечка Мармеладова.

Чудовищное предположение? Но ведь в любом детективе преступником оказывается тот, на которого меньше всего думаешь. И в то же время есть доказательства. Об одном я уже сказал — орудие убийства. О другом — что из всех персонажей, кроме Раскольникова, она единственная была связана с жертвами и пользовалась их доверием. Она единственная могла прийти, не вызывая никаких подозрений у будущих жертв. Она более всех нуждалась в деньгах.

И она психологически гораздо лучше прочих была готова к тому, чтобы переступить грань. Ибо жила в том

мире, где понятия морали (а следовательно, и закона) уже не существовало. Безусловно, она была жертвой обстоятельств. Но ей, один раз сумевшей ради денег переступить через мораль, легче, нежели всем остальным героям Достоевского, переступить ради них еще раз — уже через кровь.

И на каторгу за Раскольниковым ее ведет не жалость к нему, но внутреннее раскаяние: он осужден за убийство, совершенное ею.

К слову сказать, ее, в отличие от Раскольникова, каторжники принимают за свою.

...Кстати говоря, не исключено, что мы с вами были отнюдь не первыми, расставившими акценты именно таким образом. Ибо есть еще одна книга в русской классике, весьма напоминающая внутренне роман Достоевского, хотя и имеющая прямо противоположный финал. Если вы помните, в начале этого очерка я упомянул, что с учетом единства литературного процесса, может быть, есть смысл привлекать книги других русских писателей, старших и младших современников Достоевского, для решения нашей детективной загадки.

Так вот, обратите внимание на роман младшего современника Достоевского Льва Николаевича Толстого, в котором женщина идет на каторгу, а мужчина ее сопровождает. Я говорю о романе «Воскресение». Мармеладова — Маслова (смотрите, как близки фамилии, извините за иронию — «бутербродные»!). Так что совсем не исключено, что Толстой как раз и разгадал детективную загадку Достоевского. И сделал то, чего не сделал Федор Михайлович: отправил на каторгу настоящую преступницу.

Вот к каким выводам можно прийти, если попробовать прочитать роман «Преступление и наказание» как роман детективный.



Пляшущие человечки

1

- Нет, Кеннеди, — сказала я скептически, — Ниро Вульф из тебя никак не получится. Во-первых, тебе не хватает двухсот фунтов веса как минимум. Во-вторых, ты с трудом отличаешь орхидею от традесканции. В-третьих, с чего ты взял, что я начну изображать при твоей особе Арчи Гудвина и бегать, высунув язык, по всей Новой Англии, выполняя твои поручения? Короче говоря, я предлагаю тебе не ходить в «Байкер-стрит», пока не снимут гипс. С текучкой я как-нибудь и сама справлюсь.

Но Кеннеди иногда бывает жутко упрям. Вот и сейчас вбил себе в голову, что его детективные таланты позволят раскручивать дела, не покидая стен агентства «Байкер-стрит, 221». Первые две неудачи только раззадорили его пыл.

(Нет, провалом предпринятые расследования не закончились, просто потенциальные клиенты, увидев загисованного детектива, потихоньку ретировались, не внеся аванса.)

— Ставлю десять против одного, — сказал Кеннеди, — что смогу расследовать дело вон того человека, направляющегося к нашим дверям, не вставая с кресла. И без твоей помощи — миссис Хагерсон вполне сможет исполнить пару несложных заданий.

— По рукам, — быстро сказала я. — Ставлю двадцатку. Може́ль сразу доставать бумажник. Только что-то этот «клиент» не спешил к нам звонить. Стоит, задрав голову, и осматривает дом... Наверняка агент по недвижимости.

— Не похоже... — сказал Кеннеди. — Нет, Элис, боюсь, что ты ошибаешься. По-моему, в лице этого джентльмена чего-то не хватает, чтобы можно было признать его за честного риэлтора. Нет, Элис... Никогда человек, связанный с таким солидным и почтенным делом, как недвижимость, не наденет джинсовый костюмчик столь легко мысленного голубого цвета. Тут за мило чувствуется личность творческая... Это писатель, Элис.

— Ну-ка, ну-ка... — провокационно поощрила я Кеннеди. — Что еще вы можете сказать об этом писателе, мистер Гениальный Сыщик? Самостоятельно, без помощи «Икс-скута»?

— Не многое... — вздохнул Кеннеди. — Судя по лицу, это американец в первом или втором поколении — и родители его прибыли с Востока. Малая Азия или Закавказье... Живет здесь, в Провиденсе. Несомненно, он знал лучшие дни, несколько лет тому назад. Возможно, написал книгу, попавшую в нижние строчки списка бестселлеров. Или, вероятнее, сценарий для нескольких выпусков среднепопулярного сериала. Сейчас наверняка перебивается тем, что пишет под псевдонимами статейки в желтую прессу — типа «Моника Левински была шпионкой Хуссейна!». А для души сочиняет заумные романы, которые иногда печатают мизерными тиражами... Но считает себя Писателем с большой буквы. Ну, пожалуй, и всё...

Вот вам пример типичных спекуляций на доверчивости публики! Сейчас этот зевака пойдет себе дальше, а Кеннеди будет уверять, что выложил мне всю его подноготную... Между тем из всех его умозаключений имел под собой хоть какую-то почву лишь вывод о минувших лучших днях — костюм из мягкой джинсовой ткани, который выглядел из-под распахнутого плаща зеваки, действительно был новым и модным несколько лет назад...

Зевака закончил созерцание фасада. Поднял руку. Позвонил. К нам! Я поспешила запустить «Икс-скута». Посмотрим, посмотрим, мистер Великий Детектив...

Дело в том, что ручка на нашей двери не простая. Функция открывания-закрывания для нее не главная. Го-

раздо более важное назначение этой псевдоручки — снять отпечатки пальцев, которые почти мгновенно сканируются и передаются в компьютер. Ну а дальше уж в дело вступает «Икс-скаут». У этой небольшой, но крайне наглой пиратской программы отношения с Федеральной дактилоскопией и базами данных прочих федеральных ведомств примерно такие же, как у юркого флибустьерского брига с неповоротливыми купеческими галеонами...

Конечно, возможны осечки. Всегда есть вероятность натолкнуться на клиента, не проходившего дактилоскопирование. Но подавляющее большинство граждан США или служили в армии, или когда-либо имели конфликты с законом, пусть и самые незначительные. Либо оформляли лицензию на оружие, либо... В общем, оказаться вне поля зрения «Икс-скаута» шансов у них не много.

«Икс-скаут» работает быстро, но все же не мгновенно — и на сей раз не успел опровергнуть притянутые за уши гипотезы Кеннеди. В офис детективного агентства «Бейкер-стрит» вошла миссис Хагерсон и положила на стол визитную карточку гостя. Прокомментировала:

— Этот человек настаивает на встрече с вами. Утверждает, что он писатель.

Хм...

Я торопливо взглянула на карточку. Та отличалась скучностью информации, присущей по-настоящему известным людям: имя (вернее, целая гроздь имен), телефон, электронный адрес. И всё.

Звали пришельца Эндрю-Исмаил Нарий-шах. Либо — как было указано в скобочках — Эндрю Норман. Литературный псевдоним, надо думать... Черт побери! Я ведь помнила этот псевдоним, действительно мелькнувший лет десять назад в списках бестселлеров! Даже видела начало одной из серий снятого по творениям Нарий-шаха телефильма... Но в лицо его не знала.

— Признавайся, Кеннеди, — ледяным тоном произнесла я, — лучше признайся сам: где и как ты всё разузнал?

— Элементарно, Элис... — пожал Кеннеди плечами. — Просто хорошая память на лица. Неделю назад я видел его в одном третьеразрядном телешоу...

Удивить гостя дедуктивными чудесами не удалось.

Господин Шах (для простоты будем называть его так) принял как должное плоды «проницательности» Кеннеди — пассажи о желтой прессе и мизерных тиражах, естественно, не прозвучали.

Очевидно, наш гость считал само собой разумеющимся, что большая часть умеющих читать американцев знакома с его творческим путем. Не восхищаясь сверхчеловеческой прорицательностью Кеннеди, писатель сразу же приступил к делу.

— Что вы об этом думаете, мистер Кеннеди? — воскликнул он (несмотря на экзотическую фамилию, по-английски м-р Исмаил Нарий-шах говорил без малейшего акцента). — Мне рассказывали, что вы большой любитель всяких таинственных случаев. И сдается мне, что таинственней этой бумажки вам ничего не найти.

Он выложил на стол распечатанный на принтере лист. Верхняя часть листа была неровно отстрижена ножницами. А содержание, с которым позже мне довелось ознакомиться детально, гласило:

Внятно и вразумительно, не правда ли? Но неоднозначно. Заставляет задуматься.

Кеннеди задумался надолго. Писатель, ожидая его вердикта, извлек из кармана сигару, ножницами, весьма напоминающими маникюрные, отрезал ее кончик и вопросительно посмотрел на меня. Я кивнула. Он со смаком закурил.

Мой коллега оторвался от изучения документа. Я прекрасно понимала, что ему сейчас очень хочется спросить мое мнение, но пари есть пари. Он должен был распутать все, не покидая «Бейкер-стрит, 221». И -- без моей помощи. Но, похоже, на сей раз Кеннеди просто повезло (если, конечно, проблема состоит лишь в том, чтобы расшифровать документ). Короче говоря, мои двадцать долларов оказались под угрозой. Сколько раз ведь зарекалась спорить с Кеннеди на деньги...

М-р Шах пускал сизые кольца, пытаясь создать плавающую в воздухе олимпийскую эмблему. Получалось плохо.

Кеннеди вздохнул и извлек из ящика стола изогнутую трубку из верескового корня. Старинную, сделанную в те времена, когда курильщики и понятия не имели о канцерогенных свойствах табака. И соответственно, не пытались пропускать вдыхаемый из трубки дым сквозь сменные фильтры...

Я знала: к этому аксессуару Кеннеди прибегал крайне редко, чаще всего в минуты, когда надо было сказать клиенту что-то умное, но в голову ничего не приходило. Удивительно, но факт: когда в зубах зажата дымящаяся трубка, даже самые банальные истины звучат весомо и значительно. Многие великие люди хорошо это знали и с успехом использовали.

К сожалению, курить трубку Кеннеди не умел. Специально приобретенный крепкий трубочный табак вызывал у него приступы кашля. Табак же из раскрошенных «Винстон-лайтс», на которые Кеннеди перешел, оказался слишком мелко нарезанным. Он немедленно забивал «дымоход» трубки (или как там еще это отверстие называется?), и мистеру сыщику приходилось изо всех сил напрягать щеки, пытаясь извлечь из трубки хотя бы захудалое облачко дыма. Впрочем, с последней бедой Кеннеди справился, расширив по моему совету «дымоходы» своих трубок раскаленной проволочкой.

— Ну что я вам могу сказать, мистер Нарий-хан, — сказал Кеннеди, уминая табак в трубке.

— Шах, — поправил гость.

— Э-э-э? — невнятно переспросил Кеннеди, прикуривая.

— Меня зовут Нарий-шах, — без особой обиды уточнил писатель. Привык, наверное, за годы жизни в Штатах, что все кому не лень перевирают его фамилию.

— Да-да, извините, конечно же, мистер Нарий-шах, — сказал Кеннеди и первый раз осторожно затянулся. Окутал себя дымовой завесой и продолжил мысль: — Я могу вам сказать лишь следующее: либо текст представляет собой полную бессмыслицу и напечатан с целью разыграть кого-либо, либо это шифр, где буквы английского или иного алфавита заменены наблюдаемыми математическими символами и буквами греческого алфавита.

Чтобы придать весомость сей банальщине, Кеннеди сделал глубокую и сильную затяжку. И тут же закашлялся, лицо покраснело, из глаз потекли слезы... Похоже, он перестарался, расширив дымоход. Глеющие табачные крошки попали в горло.

Кеннеди вскочил с кресла и захромал по комнате. Я торопливо поднесла ему стакан воды. Он столь же торопливо выпил.

— Никуда не годный трубочный табак стали делать, — участливо заметил гость. — Поэтому я и перешел на сигары... Однако, я вижу, вы травмированы, мистер Кеннеди?!

Он узрел загипсованную ступню великого сыщика.

— Пустяки, — небрежно махнул рукой руководитель детективного агентства «Бейкер-стрит». — Маньяк с бензопилой попытался воспрепятствовать мне в расследовании Дела Чиллатогского бигфута...

— И чем всё закончилось? — с неподдельным любопытством спросил писатель. Такому рассказывать что-либо опасно — живо можно стать персонажем книжонки в мягкой обложке.

Очевидно, Кеннеди тоже отдавал себе в этом отчет. Потому что ответил сухо:

— Для мальчика все закончилось плохо. Однако давайте вернемся к вашим «пляшущим человечкам».

— Вот именно, мистер Кеннеди! Как приятно встретить среди сыщиков человека, знакомого с классикой! Вы тоже смотрели этот фильм? Беспроблемно, да? Особенно в самом конце, когда отрубленные головы плывут по канализации!! Я как увидел первый раз эту шифровку, так меня и осенило: они самые! «Пляшущие человечки»!

Кеннеди сдержанно кивнул. Мы с ним вместе имели несчастье посмотреть голливудскую версию классического рассказа сэра Артура Конан Дойла.

3

— Я не новичок в дешифровке, — сказал Кеннеди, — однако вынужден признаться, что этот шифр поставил меня в тупик. Достаточно оригинальная система. Думаю, мистер Нарий-шах, вам стоит рассказать все с самого начала нам с доктором Блэкмор. И конкретно сформулировать задачу.

— Задача простая, — хмыкнул писатель, — прочитать эту тарабарщину. А началось всё... Началось с того, что я женился. Почти год назад. Джессика, должен признаться, значительно младше меня. Она моя шестая жена и...

— Шестая — одновременно?! — ахнула я.

От изумления моя фраза получилась несколько конфликтующей не то с логикой, не то с английской грамматикой. Но Шах все прекрасно понял.

— Ну что вы, доктор Блэкмор... — укоризненно протянул он. — Несмотря на доставшуюся от отца фамилию, я отнюдь не мусульманин и уж тем более не мормон. Мать воспитала меня в англиканских традициях. Естественно, в каждый новый брак я вступал, лишь полностью освободившись от предыдущих семейных уз...

«Зря тебя мама не воспитала в католических традициях», — подумала я неприязненно.

Шах тем временем поведал историю, не особенно уникальную для мужчины, только-только перешагнувшего

пятидесятилетний рубеж. Да, он влюбился! В двадцатилетнюю! И не видит тут ничего удивительного или зазорного!

Его избранница Джессика была подругой Кассандры Легран — дочери старого приятеля и коллеги мистера Шаха по литературному поприщу. В доме Легранов он и познакомился с будущей невестой. Джессика, как выяснилось, читала-таки ранние детективы Шаха (те самые, экранизированные) и с большим интересом отнеслась к их автору. В общем, всё завертелось... Роман развивался стремительно, благо препятствий не обнаружилось — за месяц до того Шах успешно сбросил очередные брачные узы. Вернее, препятствия существовали — и не только разница в возрасте. Джессика излишним образом отягощена не была, происходя из рабочей семьи. И родители ее с подозрением отнеслись к зятю-ровеснику, мало того, вдобавок еще и писателю...

Но истинная любовь всё преодолеет. Через полтора месяца после знакомства мисс Джессика Питерс стала миссис Нарий-шах.

— Похожих «пляшущих человечков» я впервые обнаружил... не помню точно... наверное, месяца четыре назад, не меньше. Увидел на экране дисплея, через плечо жены. Она тогда только-только начинала осваивать купленный мною компьютер — что называется, методом тыка, без учителей и методических пособий...

— Вы не помогли ей освоить основы компьютерной грамотности? — удивился Кеннеди.

— Дело в том, что я и сам... В общем, свои книги я до сих пор создаю на пишущей машинке. На электронной, понятно, с памятью, но... На компьютере — не могу. Не получается. Возможно, как-то действует излучение экрана... Творчество, знаете ли, процесс весьма тонкий... Мой приятель Легран — так тот вообще пишет ручкой на бумаге. Иначе не может.

— Ручкой?! На бумаге?! — не поверила я. В наш компьютерный век такое казалось невозможным.

Кеннеди тоже удивленно покачал головой. Хотя из него компьютерный грамотей тот еще. Кое-как освоил текстовый редактор да пользование электронной почтой.

Не считая, естественно, всевозможных рубилок-стрелялок. А всю черновую компьютерную работу приходится выполнять мне.

— Легран вообще удивительный человек, — объяснил мистер Шах. — До сорока двух лет он был рабочим-кузнецом. Потом в нем вдруг проснулся литературный дар. И за пять лет он прошел путь от новичка, пришедшего на мой литературный семинар и выглядевшего совершенно инородно на фоне студентов, желающих стать писателями, до человека, издавшего в этом году три книжки, не считая публикаций в периодике...

Мне показалось, что в последних словах Шаха прозвучала нотка горечи. И зависти.

В общем, компьютерной грамотой Легран тоже не владел. Но именно ему пришла в голову идея купить Джессике и Кассандре по компьютеру. Сделать из них — из жены и дочери — литературных секретарей Шаха и Леграна, мужа и отца. Идея, как и следовало ожидать, с блеском провалилась. То есть компьютеры-то были куплены и даже кое-как освоены, но двадцатилетним девчонкам совсем не улыбалось просиживать часами за клавиатурой, набивая творения пусть даже близких людей. Или внося в опусы отца (мужа) многочисленные правки...

И я вполне понимала Кассандру и Джессику.

— Потом я еще несколько раз видел этих «пляшущих человечков», — продолжал Шах. — Джесси сказала мне, что это такие ребусы, которые она порой скачивает из сети... Я поверил. Поначалу — поверил. Но... постепенно я начал замечать странные вещи. Порой, скачав очередной «ребус», Джесси куда-то начинала собираться — под самыми надуманными предлогами. Иногда у нее просто резко менялось настроение. Я попросил научить и меня разгадывать эти «ребусы». Она посыпалась, но начала объясня员ь все так запутанно — как я сейчас понимаю, нарочито запутанно. Мои подозрения росли и крепли. Становилось очевидным: «пляшущие человечки» — шифровки. А Джессика связана с НИМИ.

— С кем — с НИМИ? — в один голос спросили мы с Кеннеди.

— Видите ли, десять лет назад я написал серию актуальных тогда романов — о транзите наркотиков из Мексики через США в Канаду и далее в Европу. И попал под колпак. Под прицел... Вы знаете, наверное, как это бывает. Снимаешь телефонную трубку — и слышишь в ней слабые-слабые, но вполне опутимые посторонние звуки. Выходишь из автобуса — и видишь, как вместе с тобой выходит человек, севший на той же остановке, что и ты. Я не знаю, кто такие ОНИ. Подозреваю, что одна из тайных государственных структур, действующая совсем не в интересах государства... ОНИ меня не трогают. Но уже десять лет не выпускают из виду.

Типичный случай, подумала я. Мания преследования. В достаточно легкой пока что форме. Кто только не мешает жить страдающим схожей болезнью гражданам: агенты ФБР и КГБ, арабские террористы и масоны-заговорщики, галактические пришельцы и гипнотизирующие через стенку соседи...

Про НИХ писатель распинался достаточно долго. Он ИХ вычислил, открыл, как астрономы планету Плуто, — на кончике пера. ОНИ — это заговор, даже не всеамериканский, а всемирный. Задача заговорщиков проста — никогда и ни за что не информировать народы о том, чем занимаются их правительства. Скрывать ВСЁ — информацию о замороженных в секретных лабораториях инопланетянах и статистику раковых заболеваний, правду о причинах всех войн минувшего столетия и подлинную историю появления СПИДа... И подноготную транзита наркотиков, естественно.

Похоже, Шах действительно занимался желтой журналистикой в «совершенно секретных» газетках. Темой, по крайней мере, он владел хорошо.

— Вы серьезно думаете, — спросил Кеннеди, — что выход нескольких ваших детективных романов был способен настолько...

— Я не пишу детективов! — перебил клиент. — И никогда не писал. Детектив — прием, форма... Я пишу литературу...

Нет, пожалуй, он сказал это чуть по-другому:

— Я пишу Литературу...

Или даже так:

— Я пишу ЛИТЕРАТУРУ...

Он помолчал, давая нам время осознать, чем именно м-р Эндрю-Исмаил Нарий-шах занимается. Потом продолжил:

— Я серьезно поговорил с Джессикой. Я умолял ее мне открыться... Она смеялась, она называла всё бредом, но в глазах, в глазах, мистер Кеннеди, плескался страх. Я не знаю, что делать. Я люблю Джесси. Я хочу вырвать ее у НИХ из лап. А для начала я хочу знать содержание этой шифровки.

— Доктор Блэкмор, снимите, пожалуйста, копию с документа, — сказал Кеннеди с абсолютно серьезным видом.

Я сделала на ксероксе две копии (себе на всякий случай тоже). У меня уже появились кое-какие подозрения о содержании шифrogramмы.

Кеннеди обратился к клиенту:

— Вы уверены, что не преувеличиваете, мистер Нарий-шах? Что ваша супруга действительно завербована ИМИ? Что разгадка не лежит в другой области: любовная интрига или...

Он осекся, остановленный реакцией клиента. Тот скорбно кивал головой, словно говоря про себя: все, все вы думаете, что я преувеличиваю... НО Я-ТО ЗНАЮ!!!

— Хорошо, — сказал Кеннеди. — Я берусь за это дело. Завтра в это же время вы получите расшифровку. Оплата — тысяча долларов. Аванс — половина.

Клиент поморщился, но чек заполнил. Кеннеди спросил:

— А теперь расскажите, при каких обстоятельствах у вас появилась эта шифровка. Насколько я понял, миссис Нарий-шах не позволяла вам их изучать и копировать.

— Мне ее прислали. На электронный адрес... Вернее, не мне, а... Тут такая запутанная история...

С помощью наводящих вопросов история распуталась. Оказывается, после того, как Джессика не справилась с обязанностями литературного секретаря (в частности,

однажды умудрилась стереть объемистый файл новой повести мужа), электронный адрес писателя за небольшую плату обслуживал его сосед, студент колледжа. Сканировал рукописи и отсыпал в издательства, получал и распечатывал на бумаге приходящую к Шаху корреспонденцию. Среди сегодняшней оказался и этот листок, адресованный Джессике. Хотя у нее был свой адрес...

-- Я понял, что у НИХ произошла какая-то техническая накладка! Что это мой шанс! И вы должны помочь мне его использовать, мистер Кеннеди!

-- Поможем, -- уверенно заявил Кеннеди. Он был полон оптимизма. У него имелись в распоряжении целые сутки, чтобы заработать тысячу клиента. А заодно -- мои кровные двадцать долларов.

4

Когда спустя три часа я вновь зашла в офис, Кеннеди сидел, обложившись книгами. Слева лежал томик Эдгара Аллана По, открытый на «Золотом жуке». Справа -- томик Конан Дойла, заложенный, я не сомневалась, на «Пляшущих человечках»...

-- В английской письменной речи самая частая буква -- e, -- бормотал Кеннеди себе под нос. -- Потом идут в исходящем порядке: a, o, i, d, h... Черт побери, полная бессмыслица!

— Может, отправишься спать? -- предложила я. -- Утром вечера мудренее.

-- Ну нет... Сначала расколю этот орешек.

Я не стала настаивать. И завершила на этом трудовой день.

5

К утру пепельница была полна окурками, корзина для мусора -- исчерканными и смятыми листами. К Эдгару По и Конан Дойлу добавились несколько книг по крип-

тографии. Атмосфера в кабинете полностью состояла из смол и никотина.

— Похоже на шифр Паркинсона-Галлея с плавающим кодированием, — приветствовал меня Кеннеди. — Но все равно получается полная ахинея!

— Доброе утро, Кеннеди, — ответила я, включая вентиляцию на полную мощность. До повторного визита писателя оставалось девять часов.

6

Еще через час Кеннеди осенило:

— Язык не английский! Черт возьми, знать бы, какой язык изучала Джессика в школе...

Вскоре миссис Хагерсон была отправлена в небольшую местную командировку, и по ее возвращении Кеннеди с головой зарылся во французский, немецкий и испанский словари.

В качестве же бонуса за оптовую закупку местный книготорговец приложил еще и учебник албанского языка, на изучение которого в последнее время распространилась неопытная мода...

Я тем временем неторопливо отсканировала свою копию шифровки — мне и самой стало любопытно, что за послание пришло Джессике Нарий-шах...

7

— А если наш писатель не псих? — тоскливо спросил Кеннеди у меня, когда до установленного срока оставалось меньше двух часов. — Если тут действительно какие-то шпионские страсти и девчонка просто передаточное звено? Тогда шифровка может быть хоть на иврите, хоть на русском...

Честно говоря, мне было его жалко. Побледнев, осунулся, под глазами залегли темные круги. Но я молча покачала плечами. Пари есть пари, сам напросился.

Выдерживать характер до конца Кеннеди не стал. Капитулировал за сорок минут до ожидаемого прихода Шаха.

— Я сдаюсь, — сказал он коротко и достал бумажник. — Но, Элис, один вопрос: ты не имеешь отношения к этой проклятой бумажке? Не ты заслала ее на адрес Шаха-Хана-Султана-Эмира, пропадом со своими шестью женами?!

Вот до чего доводят людей бессонные ночи и бесплодные интеллектуальные экзерсисы...

— Не я. Честное слово.

Он достал двести долларов и отдал мне. Вздохнул:

— Чек придется вернуть тоже...

Я сжалась:

— Не придется. Ложись спать. А я сумею уговорить Шаха на отсрочку исполнения заказа...

— Спасибо, Элис, — пробормотал Кеннеди, направляясь в соседнюю комнату, где имелась кушетка, — я всегда знал, что ты...

Конец фразы утонул в зевке. Ну вот, в кои-то веки дождалась искреннего комплимента...

Оставшееся до прихода Шаха время я потратила на то, чтобы наложить соответствующий макияж. Вполне преуспела — из зеркала на меня смотрела не милая и обаятельная доктор Блэкмор, но какая-то демоническая женщина, воплощение ночных страхов всех страдающих шпионофобией индивидов. Подумав немного, я дополнила имидж темными очками.

Шах явился минута в минуту.

— А где мистер Кеннеди? — начал он, не сразу заметив мое преображение. — Он успел...

— Сядьте, — отчеканила я. — Мистера Кеннеди вы больше не увидите. Вы совершили большую ошибку, господин писатель, прияя сюда с документом, который вам

не предназначался. Возможно, последнюю ошибку. Решать это буду не я.

— А-а.. э-э-э... — заблеял он, но постепенно взял под контроль свой речевой аппарат. — Значит... вы... а мистер Кеннеди... и я...

— Мистер Кеннеди не тот человек, чтобы упускать его из виду, — процедила я ледяным голосом. — Но вам стоит озабочиться не его, а своей судьбой. Вы сделали ложный шаг. И это шаг в пропасть.

— Я... Но я ведь... Я ведь ничего не узнал... НИЧЕГО!!! Я понятия не имею, что написано в этой... Я не хочу это знать!!!

— Сядьте! — повторила я бесстрастно. — Сейчас за вами приедут.

И я отодвинула в сторону лежащую на столе налку. Под ней обнаружился пистолет с глушителем. Глушитель я купила в магазине игрушек, но он производил впечатление настоящего.

Шах присел было на самый кончик стула, но тут же вскочил и забегал по кабинету. Заговорил быстро и нервно:

— Послушайте, доктор Блэкмор... я понимаю, конечно, что это не ваше имя, но... послушайте, зачем вам, вам... меня... — Он запнулся, не смог вымолвить роковое слово. — Ведь это же бессмысленно... Дайте мне шанс! Ведь я могу, могу... — Шах вновь сбежался, так и не придумав, что же он такое может.

Пис-сатель... Интеллигент... Интеллигент, как известно, и в Африке интеллигент. Но когда интеллигенты напуганы, они резко глупеют.

Я подумала: может, погнать на него еще страху? Решила — не стоит. А то, чего доброго, испортит нам ковер...

— Хорошо, — сказала я медленно и зловеще. — Держите. Вот ваш шанс.

Шанс для писателя, который я выложила на стол, весьма наломила принесенную им вчера шифровку. Только текст оказался немножко длиннее. Мистер Шах смотрел на лист с ужасом и не спешил взять в руки, словно бумага была пропитана ядом, мгновенно действующим через кожу.

— Возьмите! — рубила я короткие фразы. — Отдайте вашему студенту. Пусть отсканирует. Пусть отослает Леграну. С пометкой «Для Кесси». Они оба — отец и дочь — наши люди. Обо всем — молчать. Джесси вопросов не задавать. Все понятно?

Он мелко закивал головой. Я не смогла удержаться и добавила, показывая на лист:

— Оригинал потом уничтожить! Сжигать не смейте! Прожевывать и проглатывать!

...Вы не поверите, по мне показалось, что Шах уходил счастливым. Прав-то оказался он, а не все многочисленные скептики! ОНИ существуют!!!

10

Когда через пару часов Кеннеди проснулся, я уже смыла копиарный макияж супершпионки. Скромно сидела на месте ассистента Великого Сыщика и как раз изучала на экране послание, стоявшее Кеннеди двухсот долларов и бессонной ночи. Расшифрованное, естественно. Оно гласило:

«Превед кисулька Джесси! Твой ящик не фурьтчит пасылаю на тваво старава хрена. Он ище не прасек наши штуки дрючки? Мой старик грызет ногти на нагах но врубитси в тему не может. Все писатили казлы. Слушай кисанька какие в натуре самаи надежнаи палоски на это дело? Ато Милли с ума с ходит уже четвертый день падрят. Главнае незнайт от кого. Пахоже после тусняка у Боба по ни чево напомнит. Гаварила ей завязывай с таблетками. Ты сама то в норме? Тибето просче если что. Если канешно у тваво козлика есче стаит. Пока кисанька. Спешу. Цалую тибя во все местечки и туда то же. Твая Кесси мышонок».

При виде Кеннеди я вновь зашифровала послание. Двумя движениями «мыши» — заменив шрифт «Times» на «Symbol». На экране опять возникли «пляшущие человечки».

— Ну что? Приходил клиент? — спросил Кеннеди голосом лунатика.

— Приходил, — кивнула я. — Согласился с тем, что скорей всего шифровка — бессмысленная мистификация. И что твои сутки напряженной работы стоят пятисот долларов.

— Нет, — упрямо сказал Кеннеди. — Во всем этом есть какой-то смысл... Истина где-то рядом... И я до нее докопаюсь.

— У тебя была здравая мысль, — осторожно подсказала я. — Насчет букв, наиболее часто встречающихся в письменном английском языке. Но что, если проверить ее для безграмотного письменного английского? Наиболее близкого к устной речи?

— В этом что-то есть... — рассеянно сказал Кеннеди. — Знаешь, я, пожалуй, посплю еще...

Он ушел, а я вновь вывела на дисплей «пляшущих человечков» собственного сочинения. Вот таких:

≥RNBONFOK) OУ..., ↔Ф.Н™!

↑N-ГJYФ® 5™P →PЯФIJ 'N© →CФTMJ/ S П®, У-
VП@ S\JФOJZ я VФ.ФV-У+ → CУ-У- ↑N-UZ-|N|, VП-
-VП@ SVI ©. ↑N-UZ-|N| 5™N™@ ФФГФУГУЯN-У.УJ П@P-
-Р®, →VП-П3™П@Р® я ГФ|ФTMU 3@UOKZ|U| ©J Г-Ф|
-TMФФФФ© J V.PTMUУTMJ ГЯ ГNZ™ 'N|Ф@P |U-N. ←P@J VП-
-ФУПИФTMФП@N| 'N© V.UПЗ-Ф-ГУУTMU@ /@. x. 2@® UС-
-N-С-А-|J| U|N-ZTMUУ-С (ПTMN V.П@N@-J) я VTMUOTM@
©N ФNУУTMФ TMN ↔N-RV-NJ-П@ O@ 14 ©P@G@N. П@ 95
{ФTMФП@}, ©У3П VП-Г-NJUJ TMN 'N| VП@VJUJ@. U VП@-
-VJUJ@. 'N|Ф@ VП@J ФУ VП@. X@C 2@-V.УJФ-99A, U-
-V@J U@J V TM@ Z VП@J VП@TM@UZ ФП-Г-V. →ГJФ TMN 'N|Ф@
-VП-ФФФTMФФ V-SOP, VФ.ФTM@N ФTMTM@P@ ©-П@ ↑N-UZ-
-|N| П@, П|Ф@UOTM@, VJ TM@ VП@ J M@ - VП@J П@ - VП@J
-ЯП@ ©P@Ф@P@ -VП@J M@, VП@ ГФ@-VП@P@-VU TMN
Z@-ФФФTM@M@-J, П@UСN@ 5™P →P@FJ_U@Ф TM@ U
-V@J|Ф-ГЯP, V.P@UJ P@ФY-J TM@CФ@VП@J U-СP@ ZHYMAN
Г@РН@, Ф@UJ UJ-J я ±-E ЯP@ J-@J N@Ф@N| VП@ Г-
-Ф@J@C TMN-U@NTM@Ф@ C@U@-F-U@, U V@Ф-ГN@J@UJ
U@ -Ф@J U@C TM@P@N@P@. N@U@U@-V@Z Г-Г Ф@J П@-
-ФФФTM@J П@UPTM@U@-V@P@P@ ФTM@N@P@. П@UTM@ (Ф@P-
-Ф@V@N я U-Ф@Ф@ Ф@P@ ©P@J, VП@J P@J U@U@ - 98%

ГП(™)П—Г{ } ПУФФФУГ { ЗФФСФТМП—Г{™}Н 7–10 ФФТМ Г
ФФ ТМН—Г{ } В@ФТМ).

“Н—ГП®ПФФТМГМН) ∇ 'Н©,

ФЛТМН ♦. ±VN®@U, ®— СФФУГ{УТМ).

Я сделала пару движений «мышью» и перечитала собственное послание:

«Уважаемая мисс Легран!

Настоятельно советую Вам сменить код, используемый в переписке с миссис Нарий-шах, поскольку м-р Нарий-шах пынял детектива-криптографа, способного в течение ближайших двух-трех недель проникнуть в тайну Вашего шифра. Могу порекомендовать Вам приобрести книгу Дж. Ф. Уильямса «Шифры и тайнотипия» (она продается в книжном магазине на Лавкрафт-роуд за 14 долларов 95 центов) либо поставить на Ваш компьютер и компьютер Вашей подруги программу «Дескриптер-99», исключив к ней посторонний доступ. Ответ на Ваше последнее письмо, перехваченное м-ром Нарий-шахом, очевидно, Вы не получите, поэтому считаю своим долгом сообщить, что тест-полоски на беременность, оптимально сочетающие цену и качество, производятся немецкой фирмой «HUMAN GmbH», реализуются в США во всех аптеках под торговым названием «Квик-Стрип» и представляют собой иммунотомографический тест для определения хорионического гонадотропина человека в исследуемой моче, позволяющий с 98 % точностью определить беременность на 7–10-й день ее наступления.

Расположенная к Вам,

Элизабет Р. Блэкмор, д-р медицины».

Пожалуй, насчет двух-трех недель я погорячилась. Воспользовавшись моим советом, Кеннеди может справиться раньше. Детектив он, вообще-то, неплохой.

НАТАЛЬЯ РЕЗАНОВА

He is gone

Елена Михайлик

He is gone and dead, lady,
He is gone and dead¹.

Пазумеется, большинство приняло на веру официальную версию, рожденную в недрах оккупационной канцелярии. Таково свойство большинства — принимать на веру. К тому же он был популярен в народе. Поначалу это меня удивляло — они же его никогда не видели, он с малолетства жил за границей. Потом я понял, что именно это и было причиной популярности. Отсутствующего наследника принято награждать всеми мыслимыми совершенствами. Так или иначе, простолюдины его любили. Потом они даже стали утверждать, что из-за этой любви король опасался открыто его убить. Чушь собачья — король делал все, чтоб его уберечь. Король вообще был слишком слаб и совестлив, чтоб убивать. Но в этой истории нет безвинных, и у короля на совести есть жертвы... Но я забегаю вперед.

Итак, эта версия стала широко известна, по ней сочиняют баллады. Подозреваю, что со временем ее начнут представлять на подмостках. Только предварительно присочинят еще более невероятные подробности, привлекающие публику. Какие-нибудь явления призраков и драки с пиратами. Правда, фехтовальщиком он действительно был хорошим (в университете городке иначе не проживешь), а вот море переносил плохо. Не важно. Публика любит, когда про пиратов.

¹ Он ушел и умер, леди,
Умер и ушел.

Но вот люди образованные, а также те, кто лично знал его — в университете и при дворе, — в официальную версию поверить никак не могли. Слишком много прорех в ней зияет, слишком много нестыковок в изложении событий. В этой среде родилось иное объяснение случившемуся. Все свалили на Хораса. Договорились до того, что он был норвежским шпионом, интриганом и провокатором. Все это неправда. Хорас, конечно, сыграл в событиях большую роль, чем обычно думают. Но совсем, совсем другую.

Самую забавную версию преподнесла мне девица в одном портовом притоне. Я чуть было не прослезился. Якобы у старого короля родилась дочь, но он скрыл это обстоятельство, чтоб не отдавать трон брату. Оттого-то бедняжку и держали вдали от двора, оттого милый принц и не был женат. Очень трогательно, но полностью противоречит нашим законам о престолонаследии. Сейчас уже не помнят, что именно королева в свое время была наследницей трона, и, будь у нее дочь, она тоже могла бы стать суверенной монархиней.

Однако портовая девица в чем-то оказалась ближе к истине, чем университетские умы. Афера с новорожденным наследником имела место. И даже не одна.

Но истины не угадал никто. И когда эту историю будут играть на подмостках, не исключаю, что мою роль сократят до предела. Или вообще вымарают. Грех жаловаться — я приложил немало усилий, чтоб меня не запомнили. Так и случилось.

Замечу — я вовсе не считаю людей глупыми. Только забывчивыми и легковерными. Этого достаточно. И я не собираюсь отстаивать истину и кричать: «Вот как все было на самом деле!» Истина никому не нужна. Кому какое дело, Норвегия завоевала Данию или все было совсем наоборот. Вы бы еще Польшу вспомнили, скажут мне, если начнут ворошить старое, а кому интересна Польша?

Так что пишу я исключительно для того, чтобы освежить собственную память. Все-таки много лет прошло. И припомнить все, что мне известно.

А вот интересно, что именно знал он? Мне так и не удалось этого узнать. Безусловно, его воспитывали в том духе, какой нужен был старому королю, и он должен был верить, что отстаивает правду. Но что-то же он помнил? Он ведь не младенцем был, когда его увезли. Во всяком случае, глядя на его действия, я уверился в том, что власти он не хотел. Он хотел уничтожить всех, кто имел какое-то касательство к этой истории, всех, кто знал, что никакого права на престол он не имеет. И это ему удалось. Почти.

Начнем с того. Ну, не от Адама, а поближе. От наших родителей.

Только он, проживший почти всю жизнь вдали от них, слышавший только то, что ему внушали, мог поверить, что прежний король и королева любили друг друга. Какая любовь? Обычный династический брак. А в нашем случае — еще и очень печальная история. Гораздо печальнее, чем он себе представлял.

Юная девушка, почти ребенок. Единственный ребенок, наследница престола. Родители, как водится, боялись за нее и подыскивали ей сильного мужа, который сумел бы защитить и ее, и престол. Такой нашелся среди северных ярлов. Он действительно был хорошим воином. И нужды нет, что во всех прочих отношениях он был сущим скотом. Или, по-иному выражаясь, героической личностью. В наш просвещенный век он словно вывалился из того прошлого, когда наши предки в рогатых шлемах наводили ужас на всю Европу. Понятий «государственный договор», «граница», «дипломатическая неприкосновенность» для него не существовало. Меч и кулак — вот все, что он признавал. Многих это восхищало, но девушки,енная ему в жены, могла испытывать к нему лишь отвращение. Вдобавок из-за несумеренного обжорства и пьянства он был склонен к ожирению и страдал одышкой.

Однако у него имелся младший брат. Совсем не воин, совсем не герой. Любящий музыку и книги. В прежние времена такого непременно запихнули бы в монастырь. Но теперь это как-то не принято. И юная королева увидела его — и судьба их была решена.

Потом, в Италии, я услышал историю, весьма близко напоминающую эту. Паоло и Франческа, да. Но их двойники остались невоспетыми. На севере любовные трагедии не в чести. Хотя эта тоже закончилась убийствами.

Не знаю, когда они стали близки. Никогда не спрашивал. Думаю, что времени и возможностей у них было предостаточно. Король — теперь он уже был королем — не слишком обременял королеву исполнением супружеских обязанностей. Его больше устраивали обозные девки и служанки. У него их было множество, но сына сумела родить только одна. Дочка придворного шута... как же ее звали? Хильда. Точно, Хильда. Я ее не помню, может быть, и не видел никогда, но историю ее знаю. Слышал ее неоднократно.

Шут простил блудную дочь, да что там — кудахтал над внуком как наследка, с рук не спускал. Может, надеялся на невероятное его возвышение, не зря жеbastarda называли древним именем, означавшим «король богов», «король асов», — и это внука шута!

А законного наследника все не было и не было. И вот наконец он появился. Появился я.

Не стану описывать праздники, разразившиеся по этому поводу, благодарственные богослужения, дождь из драгоценностей, осыпавших мою колыбель. При желании об этом можно прочесть в хрониках. Гуляний по всей стране было столько, что народ помнил этот день десятилетиями. А я, по понятной причине, ничего помнить не могу.

Король ничем не выдал, будто не верит, что я не его сын. Впрочем, вру, был случай, когда он сорвал злобу на посланах, собственноручно вышвырнув их из сапей в снег, чем снова заслужил восхищение простонародья.

А вот начнет всего прочего... В тот год он много бывал в походах. Дома почти не бывал. Даже в самый день моего рождения он отсутствовал — дрался на поединке с братом норвежского короля (ох, как потом аукнулся стране тот победоносный поединок!). Но, заподозрив правду, он не завопил во всеуслышание, что стал рогот-

носцем, не убил жену и ребенка. Ведь он был королем не по праву рождения, а по праву брака. И если бы он избавился от жены, все прочие ярлы, претендующие на трон, взялись бы за оружие. Он не смог бы одновременно продолжать свои завоевания и подавлять мятежи. Поэтому король сохранил хорошую мину при плохой игре. Он даже настоял, чтоб меня называли его именем — и примас совершил обряд крещения в соборе, под рев хора и гром органа.

Но все это было притворство. С самого начала старый король задумал избавиться от меня. Он хотел видеть своим наследником того, кого считал сыном без всяких сомнений. Пусть даже для этого не было никаких законных оснований.

Насколько я понимаю, почву для осуществления своего плана он начал готовить сразу после моего рождения. За границу был послан сын одного из близких королевских соратников — молодой человек не без способностей, а главное, безоговорочно преданный суверену. Звали его Хорас. Местом своего пребывания он избрал Виттенберг, университетский город. Почему именно Виттенберг? Почему не более старины и почтенные университеты — в Болонье, Париже, Оксфорде, Саламанке (хотя о Саламанке я лично невысокого мнения)? Может быть, именно из-за своего провинциализма. А может, потому, что именно в те годы Виттенберг снискал печальную славу центра новой ереси, захлестнувшей Германию. Она увлекла и Хораса, к тому времени именовавшего себя на латинский лад Горацием. Он хорошо вписался в университетские круги, а с помощью денег, присыпаемых ему королем, вскоре вошел в попечительский совет университета, несмотря на свою молодость.

Когда меня вывели из-под опеки мамок и пянек, король категорически заявил, что в целях большей безопасности его сын должен жить и воспитываться за границей.

На самом деле меня должны были убить, а на моем месте возник бы королевскийbastard, Хильдассон. И жить там, пока не перестанет быть заметна разница

в возрасте — он был старше года на четыре или пять. Мне тогда было три года, и разница между нами была очевидна. Хильдассона забрали у матери и увезли под опеку Горация. Очерь была за мной. Но тут план старого короля дал сбой. Дело в том, что он поделился своей затеей с шутом. Репил порадовать старика — мол, внука вместо шутовского колпака ждет корона. А старик все рассказал моему отцу. Причина проста. Для дочери его, давно брошенной любовником, вся жизнь была в единственном чаде. Когда у Хильды забрали ребенка, она утопилась.

Шут поведал отцу все, поставив единственное условие. Имя, под которым я буду жить, будет напыщенным королевским именем его внука. Странно? Пожалуй, после гибели Хильды старик начал потихоньку трогаться умом. Вскорости он спился и умер.

Отец, при всей своей слабохарактерности, на сей раз действовал быстро и решительно. Те, кто увозил меня, были схвачены и убиты. Они стали первыми жертвами, которые отец принес ради меня, но не последними. А меня увезли в Италию, где я и вырос.

В четырнадцать лет я поступил в Болонский университет — сначала на факультет свободных искусств, потом перешел на медицинский. К тому времени, когда я усердно штудировал естественные науки, отец связался со мной и поведал правду о моем рождении. Он предупредил также, что возвращаться мне опасно — старый король прочно сидел на троне. Так что годы учения для меня растянулись надолго. Я не стал получать диплом, ибо не собирался практиковать — во всяком случае, практиковать в том смысле, в каком это обычно понимают. Отучившись в Болонье и Салерно, я отправился за новыми знаниями, благо средств, выделяемых отцом, хватало на путешествия. Я обучался в Испании, Англии, Польше... в университетах, но не только в них. Пожалуй, частные уроки дали мне больше, чем университетское образование. Я никогда не склонен был идеализировать студенческую жизнь. Мой кузен — да, ею восхищался. Но он воспиты-

вался как принц и в университете являлся вольнослушателем, а значит, не хлебал тех прелестей, которые выпадают на долю тех, кто учится на общих основаниях. Жизнь студента не только жестока («прописка», которую устраивают новичкам, превосходит то, что измысливают в тюремных камерах и солдатских казармах), она груба и грязна. Церемония посвящения в студенты — а она включает публичное оплевывание, в прямом смысле слова, — в Саламанке завершается словами: «А теперь корми влей и подыхай от голода и чесотки — как мы!» И для большинства студентов это было правдой. Однако моего кузена не коснулось.

Он по-прежнему торчал в Виттенберге, под попечением Горация, не предпринимая попыток вернуться на родину. Возможно, эта жизнь пришла ему по вкусу, потому что иной он не знал. Это можно понять. А вот почему старый король не возвращал его ко двору, я понять не мог. Все еще боялся? Но прошло столько лет, и ничего взрослом мужчине не напоминало исчезнувшего мальчика. Или кузен все же вляпался в ересь, которую открыто исповедовал Гораций и не одобрял король? Не знаю. Но я решил на него посмотреть.

Нет, я не стал втиратся к нему в доверие и вообще сводить с ним близкое знакомство. В Кракове я обзавелся рекомендательным письмом от моего тамошнего учителя, доктора Иоганна Сабеллиуса, открывшим мне доступ в Виттенберг. И там я мог без помех наблюдать за кузеном. Он мне не понравился. В то время я еще не видел старого короля, но теперь могу сказать, что Хильдассон был вылитый родитель. Точно так же он прежде временно растолстел, точно так же страдал одышкой и повышенной потливостью. У меня это вызывало брезгливость. Может быть, потому, что сам я всегда был легок на ногу и сухощав. И точно так же он был подвержен вспышкам дикой ярости, чего не могли убить годы корпения за книгами. Пока что выход этой ярости он давал в поединках, благо бои на шлегерах, тамошней разновидности рапир, у немецких буршей в чести. Каждое землячество будет опозорено, если в течение семестра его

члены не проведут ни одного поединка. Однажды мне даже пришлось быть у кузена секундантом, и мы отместили его победу в ближайшей пивной. Однако вскоре пиво, иротестантские богословы и драки буршей мие до смерти надоели, и я уехал.

Письмо отца застало меня в Париже. Там я уже не учился. Там я пробовал применить полученные знания на практике — и не без успеха. Но отец писал, что нам пора наконец свидеться. И я подчинился.

Наша встреча была сердечной, печальной и тайной. Отец, как и прежде, боялся за мою жизнь. И он никому не рассказал о моем присезде, даже матери. Женщины слабы, говорил он, и она на радостях может выдать тайну.

Я поселился в городе под видом итальянского лекаря и лишь в качестве лекаря посещал дворец. Кое-кто из обитателей дворца также посещал мой дом. От засевшего итальянца всегда ждут, что он торгует приворотными зельями, микстурами от всех болезней, косметикой и ядом. Да, и ядом... Но яды-то как раз я держал для собственных целей.

По прежней официальной версии, старого короля ужалила змея.

По новой официальной версии, его убил мой отец.

И то и другое неправда. Его убил я. Отравил, конечно.

Подло? А обречь на смерть трехлетнего ребенка не подло? Нет, я не пожалел его. Этот жириный боров кряхтят, беспрерывно лопат и не собирается умирать. А мои родители, столько лет любившие друг друга, были в разлуке.

Я решил помочь им соединиться.

Разумеется, стариk никогда не позвал бы меня к себе. Он не доверял иностранным лекарям, у него были собственные врачи, столь же верные, как и невежественные. И на кухню бы я не проник. В моей любимой Италии верхом изящества считается преподнести врагу

половинку персика, предварительно разрезав его ножичком, у которого смазана ядом одна сторона. Но в этом северном крае персиков не доищешься, разве что репы...

Римские историки утверждают, будто великий Август, опасаясь отравления, не ел ничего, кроме собственноручно сорванных слив из своего сада. Но сливы смазали ядом прямо на дереве, и Августу пришел конец.

Однако здесь и сливы найти было трудно. Пришлось работать с тем, что здесь росло.

Старик был прожорлив и все время что-то жевал, даже на прогулке. А в своем саду он обожал крыжовник. Слуги об этом знали и не рвали ягод с кустов.

Я не стал смазывать ядом ягоды. Это слишком тривиально, и вдобавок некоторые люди, прежде чем есть крыжовник, сдирают инкурку.

Я впрыснул яд внутрь посредством полого птичьего пера. Впоследствии для подобных целей я пользовался тонкой стеклянной трубкой, но тогда приходилось работать с подручными средствами.

Король откусил крыжовнику и отправился к праотцам. А поскольку по закону он был всего лишь мужем королевы, наследницы страны, королеве страна и досталась. И она была вольна выбрать себе нового мужа. Что и сделала. Надеюсь, хоть в этом я помог своей матери. Последний год своей жизни она не таясь могла быть с тем, кого любила.

Но она не знала, что тот, кто живет в Виттенберге, не ее сын. И она потребовала от мужа, нового короля, чтоб сына вернули домой и провозгласили наследником. А отец... он снова проявил свойственную ему слабохарактерность. Он боялся признаться матери, что столько лет не доверял ей, а значит, обманывал. И что ее родной сын — здесь и что он — убийца.

Тот тоже оказался убийцей. Но это было еще впереди.

Кузен появился. А за ним подоспал и Хорас-Гораций, который все еще считал своим долгом опекать его, как

преданная нянька, хотя подопечному было тридцать лет по официальному счету.

И вскоре поползли слухи о сумасшествии ирища. Не стану скрывать — это я дал им ход. А что делать? Отец ни за что не хотел убивать его. А сумасшествие — единственная причина, по которой совершеннолетнего принца могут лишить права наследования. Только так я мог устраниТЬ сго, сохранив ему жизнь. Но, честно говоря, мне особо не пришлось трудиться. Слухи и без того бы распространились. Хильдассон вел себя странно. И речи его, и поступки нельзя было расценить иначе как проявление безумия. Увы! Всю сознательную жизнь он провел в замкнутом университетском мирке, как в скорлупе ореха. И был счастлив в этой скорлупе. И в том возрасте, когда люди уже редко меняют сложившийся уклад жизни, попал в совершенно иную обстановку.

Он твердил о своем желании вернуться в Виттенберг и в то же время использовал любой предлог, чтобы остаться. И вел себя все более неадекватно — это я как медик утверждаю.

Лично я полагаю, что виной всему были женщины. Что он мог узнать о них в Виттенберге, этом протестантском монастыре? Конечно, обычные бурши находили себе девиц для развлечения, но он был принц, он был выше этого. Поэтому женщин он не знал (в его-то годы!), не понимал, и они влекли его и страшили. Тут натворишь дел. Честное слово, иногда, глядя на него, я жалел, что мы не во Франции. Там бы пара фрейлин, лишенных предрассудков, в неделю обучили его всему, что следует знать. Но тут нравы были строгие, если что и происходило, то под покровом тайны.

Поначалу была эта милая девушка, дочь советника, которую прочили ему в жены. И она вроде бы действительно ему нравилась. Но она была не из тех, кто в силах удержать мужчину. Для него там был магнит притягательный. Ибо королева, несмотря на то что ей было сильно за сорок, оставалась самой красивой женщиной страны.

Его тянуло к ней, а он считал ее своей матерью. И никто не удосужился объяснить ему, что это не так. Немудрено, что он был в ужасе. Тем более что воспитывал его Гораций в своих цацторских принципах. И разумеется, исходя из этих принципов, грешны были все, кроме его самого. Особую ярость вызывал у него счастливый соперник — король, которого он, дабы оправдать себя, счел виновным во всех мыслимых и немыслимых грехах. Я умолял отца позволить мне вмешаться, ибо, будучи лекарем, понимал, к чему приведут эти приступы ярости. Но король со своим обычным благодушием понадеялся, что все уладится сама собой.

Не уладилось. В припадке ревности кузен прирезал несчастного советника, приняв того за короля, когда старец пришел поздно вечером поговорить с королевой о судьбе своей дочери.

Шила в мешке не утаишь, труп во дворце — тем более. Убийцу и сумасшедшего следовало незамедлительно убрать от двора. Но и здесь отец не позволил мне вмешаться. Он выбрал для этой миссии пару университетских приятелей кузена, объявившихся при дворе. Как только я их увидел, то сразу понял: ничего у них не выйдет. Типичные вольнослушатели. Естественно, Хильдассон при первом удобном случае прикончил их, сплетя какую-то сказочку про нападение пиратов.

Но прежде произошло кое-что еще. Я сказал, что в этой истории нет безвинных? Нет, одна была.

Дочь советника. Я ведь знал ее. Она приходила ко мне — к итальянскому лекарю — не столько за снадобьями для лица (придворные дамы охотно покупали у меня помады и кремы), сколько для того, чтобы поговорить. Больше было не с кем. Отец ее не понимал, единственный брат предпочитал развлекаться в Париже. Бедная девушка совсем запуталась. И, глядя в ее простое милое лицо, я подумал — такой, должно быть, была Хильда.

Черт меня дернул рассказать ей эту историю.

Когда выяснилась правда об убийстве ее отца, она утопилась — там же, где дочь шута. Дабы похоронить ее по-христиански, король объявил, что она была не в своем уме, хотя она была разумнее многих. И я не знаю, чьей она была жертвой — кузена или моей.

А братец ее, успевший прибыть из Франции, поднял мятеж. Вместе с кучкой молодых дворян, из тех, что обожают махать шпагой и порой даже понадают ею в цель, но теряются перед первым же серьезным препятствием. Королю не понадобилось даже поднимать войска. Я справился сам.

Тогда я уже появился при дворе открыто — под видом крупнопоместного дворянина из провинции и под тем нелепым именем, что сосватал мне покойный шут. Довольно быстро я занял место убитого советника. Именно я все переговоры с мятежниками и убедил их вождя — я был знаком с ним еще с лекарских времен, он был моим покупателем по части ядов, — что бессмысленно поднимать руку на короля, когда жив истинный виновник его бед.

Тут-то и вернулся кузен, не сомневаясь, что король, по всегдашней своей доброте и слабости, примет его назад. Но я не собирался этого так оставлять. Его нужно было остановить. Он был опасен. Я, в отличие от него, никогда не строил из себя ходячую добродетель, но если я кого убивал, то предварительно подумав. А он убивал походя.

Я решил его убрать, тем более что исполнитель рвался с поводка. Что ж, если кузен и его заберет с собой, так тому и быть, думал я. Но следовало тщательно все подготовить. Сделать так, чтобы состязание в фехтовании перешло в смертельный поединок.

Зная склонность кузена к неконтролируемой ярости, сделать это было нетрудно. Он не узнал меня — ведь он всегда видел в окружающих только то, что хотел. Я слегка подразнил его, общаясь с ним в стиле, заимствованном из новомодных английских романов. Ему, с виттенбергским воспитанием, подобное аффектированное красноре-

чие было противно. На каждую его грубость я отвечал все учище. И он вышел из себя. А о прочем я позабылся. Я хорошо разбираюсь в ядах.

Но я не сумел предусмотреть всего. Так всегда бывает с планами, что казались идеальными. Я не рассчитал, насколько сильна может быть ярость безумца. Он убил не только своего противника, но и короля. По трагической случайности погибла и королева, не посвященная в наши замыслы. Я пытался дать ей противоядие, но было поздно.

Странно, никто не заподозрил моего участия в этих событиях. А ведь этот дуэлянт-неумеха, умирая, проговорился и назвал меня, но тогда всем было не до умозаключений. Одна катастрофа притянула другую. *Abyssus abyssum invocat*. Еще не успели похоронить убитых, как замок был захвачен. Молодой Фортинбрас воспользовался внутренней смутой и тем, что внимание короля было увлечено другим. Моя вина. Я не предусмотрел. А должен был.

В последующем хаосе мне удалось скрыться — в плаще паломника. Из тех, кому была известна хоть часть правды, новому правителью достался Хорас. Не знаю, что из него вытянули дознаватели, но все добывшие сведения были использованы во благо новой администрации. Вскоре после коронации, месяца через два, Хорас очень своевременно скончался — говорили, что он не перенес гибели друга. И к этой смерти, клянусь, я не имею никакого отношения. А нам была явлена известная теперь всем и каждому версия, по которой покойный кузен объявил Фортинбраса своим наследником. Кузену, право, повезло — если б Фортинбрас застал его в живых, он бы жестоко расправился с ним по закону кровной мести. Не зря же норвежец тридцать лет спустя свел счеты за унижение своего отца и своей страны. И конечно, план вторжения он начал претворять в жизнь как минимум за полгода до случившегося — для чего и понадобилась как предлог мнимая война с Польшей (Польша вообще удобна как предлог). Но в сложившейся ситуации ему удобнее было

объявить убитого короля узурпатором, а принца — героям, коему он законно наследовал. Вдобавок сей одаренный юноша был не просто клятвопреступником, но дважды клятвопреступником. Он обманул не только моего короля с этим «правом свободного прохода», но своего короля и дядю, которому дал слово не поднимать оружия против Дании. Так что история про дядю-злодея была как нельзя кстати.

В конечном счете оказалось, что так было удобнее всем. Кроме меня. Да и я привык.

Что сказать о моей жизни? Она оказалась длинной. Я месил грязь на дорогах Европы вместе с ландскнехтами, сидел в тюрьмах, живал в притонах и во дворцах, мало чем от тех притонов отличавшихся. Короче, вел жизнь самую обычную, не годящуюся в сюжет для трагедий и баллад. Утомившись от скитаний, вернулся в ту единственную страну, что считал своей родиной, — в Италию. Но поселился не в Болонье, где провел юность, а в Венеции. Здесь, в этом городе ревнивых мужей и жен-изменниц, человек с моими дарованиями никогда не останется без работы. Преследований властей я не боюсь — к моим услугам нередко прибегает Совет Десяти. Не страшусь я и сил иного порядка — я добродушный прихожанин, вовремя исповедуюсь и причащаюсь.

Но в последнее время я стал думать о нем. Хотя — какой смысл? Он ушел и умер, умер и ушел. Меня призраки никогда не тревожили. Они являются лишь меланхоликам, страдающим избыточным весом. Однако я вспоминаю. И все чаще мне кажется, что у меня нет права винить его во всем, что случилось. Он был безумен — я рассудителен. Это, безусловно, решающее отличие. А дальше? Он действовал во имя своего отца, я — во имя своего. Он убивал, я — тоже. Он был сыном короля, но ему не нужна была власть. То же можно сказать и обо мне. Оба мы ублюдки, оба принцы. И когда я вглядываюсь в эту смутную тень на дне моей памяти, мне кажется, что смазанные черты все больше повторяют мои. Или

наоборот. Вот почему я не собираюсь выступать с разоблачениями. Эту тайну я унесу с собой в могилу, как и многие другие. Я отпускаю его — пусть поконится с миром. Спокойной ночи, милый принц, спокойной ночи, кузен, вольнослушатель, Озрик, чье имя я унаследовал взамен того, что он украл у меня, и которое написано на его надгробной плите:

ГАМЛЕТ, ПРИНЦ ДАТСКИЙ

ЕЛЕНА ВИКМАН

Кровавая мантия девицы Дередере

Т

ёмен был год 1034-й от Рождества Христова. О Папе Бенедикте Девятом говорили, будто он выкормыш Антихриста и на левом виске у него — верное тому свидетельство, кровавое родимое пятно. Тихими шагами шло по крохотной Европе, разорванной на лоскуточки лилипутских государств, её великое и страшное будущее. Вот-вот уже — раскол христианской церкви, и не за горами Крестовые походы... А закончится этот век взятием Иерусалима.

Пока — созревало, наливалось страхом, кровью, легендами и чумными бубонами.

Хрипело пели охотничьи рога, заходились лаем псы, звенел вереск на пустошиах Шотландии. Лоуленд ждал смерти захватчика, сурового Кнута, короля Датского.

— Чуть-чуть ему осталось, — шептали друг другу туманными холодными ночами могучие вязы, — ну годик...

Что такое год для Шотландии? Потерпит его королевство Альба? Потерпит. И король Малькольм пока ещё совсем молод. Есть надежда у Лоуленда, есть...

— Есть-есть... — тявкали под кустарником бурые от глины и грязи лисы.

— Е-э-э-есть... — выли поджарые волки.

— Ес-с-с-т-т-ть... — проносились над пыльной дорожкой, едва не задевая её крыльями, бесшумные совы.

Поля и леса полны были жизни и тления, всего в свой черёд. Стоял сентябрь. Сизый туман, переставший уже

напоминать прозрачную летнюю дымку, всё чаще повисал над озёрами и пустошами.

Трубили, трубили, трубили осатаневшие рога; были не в тakt барабаны. Войны раздирали север Европы, точно летучие паразиты тело огромного дракона. Дракон огрызлся, изрыгая пламень, и горели деревни.

В это смутное время в одной деревеньке произошли события на первый взгляд незначительные. События эти, однако, будут играть важную роль в нашей истории.

...Дередере проснулась от визгливого голоса соседок под окоником.

— А я говорю: вон её нужно гнать из деревни, пока беды не наделала!

— Вчера глянула на меня, фыркнула по-кошачьи — тут же я споткнулась, молоко расплескала, ногу чуть не сломала... Ведьма она, ведьма! А ещё летом видела я её в полях, сидела, пыль из чулок вытряхивала и по ветру пускала, потом правый чулок обычно натянула, а левый — наизнанку, ещё и перекрутила. Через день град был! Вы меня знаете, я попусту болтать не люблю. Вот, молчала почти три месяца, думала: а вдруг случайность, показалось? Теперь вижу: ничего не показалось — колдует она!!

«Хоть бы ей камень на голову свалился или вправду ногу бы сломала. Визжит с утра, точно свинья», — с раздражением подумала Дередерс. А вслух прокричала:

— Доброе утро, соседи! Какие ещё накости обо мне вы расскажете сегодня?

Только сейчас она высунулась из окна, бледная и растрёпанная.

— Значит, так... Если я ведьма, то сегодня ты, Элс, сломаешь ногу, правую. А завтра целый день будет лить дождь. Поскольку ни того ни другого не произойдёт, ты, может, убедишься наконец, что я не колдунья, и оставишь меня в покое. — Дередере упрямо тряхнула медными кудрями.

Элс попятилась:

— Дьяволица! Чертовка...

Продолжая отступать, она споткнулась о валявшийся у обочины камень и осела на землю.

— Ой-й-й, нога, — тут же завизжала Элс, — нога-а-а-а!.. И как раз правая! Будь ты проклята, ведьма!!

С вечера небо затянули тяжёлые тучи, а сельчане поглядывали недобро и нерешётывались; заговаривать с Дередере соседи избегали. Некоторые, завидев её, даже скрещивали пальцы в попытке отогнать нечисть.

Дередере обхватила руками тощие коленки. Угораздил же сё чёрт нести всякую чушь с утра! Теперь вот Элс ногу сломала, и дождь завтра будет почти наверняка. Стало быть, вполне можно обвинить её в колдовстве, сама ведь ляпнула: если я ведьма...

— Ну? Будем дожидаться ливня? — прозвучал голос рядом.

Старая Кэт вошла без стука и остановилась перед Дередере, пристально глядя на неё круглыми черными глазами.

— Вообще-то в деревне от толковой ведьмы больше пользы, чем вреда.

— И совсем я не ведьма!

— Конечно, — насмешливо покачала головой старуха и добавила: — Только дождь непременно пойдет... В общем, я тебе хотела сказать: живи. Только, конечно, придётся помогать, раз уж ты колдунья. За урожаями присматривать, скотину иногда подлечить, лихорадку в село не допустить.

— Но я... не умею, — растерялась Дередере.

— А вот это уж твоя ведьмовская забота — научиться.

...Едва стемнело, за окопицу выскользнула одинокая фигурка в драном плаще.

— Хотят, чтоб я ведьмой была — ладно! — бормотала Дередере. — Но кое-кому не поздоровится, это я вам могу заранее обещать.

Тиха была вересковая пустошь через два часа после полуночи. С неба сиял мелкий прохладный дождь. Высокая фигура, закутанная в плащ, прохаживалась взад-вперёд по иллюзорной границе пустоши. Где-то недалеко ударили в бубен и визгливо захохотали. Заорали, будто откликнувшись, в ближней речушке жабы.

Хрустнули под осторожными шагами ветки.

Человек в плаще резко обернулся и поднял факел:

— Кто?

— Матушка Дередере, — отозвался звонкий молодой голос.

— Матушка? — насмешливо просипел страж. — А достойна ли ты себя матушкой называть?

Он издал странный горловой звук, похожий на кваканье болотной жабы, и добавил:

— Ты пока ещё девица. Почти человек. — Он презрительно сплюнул. — Жди!

Он обернулся, лихо свистнул в два пальца и проорал что было мочи:

— Девица Дередере! Неофитка.

— Пусть проходит, — отзовались из глубины пустоши.

— Ступай! — мотнул факелом охранник.

— Ну-пу, кто у нас тут? — проскрипела старуха-горбунья, поднося к подслеповатым глазам изумруд, на манер римского императора Нерона.

— Я — Дередере. — Девушка помялась секунду в нерешительности, потом сбросила плащ. — Тепло тут у вас, у костра, — улыбнулась она.

Две гревшиеся у огня ведьмы глянули на неё неодобрительно. Горбатая Эшина фыркнула, как разозлённая кошка:

— Только этой деревенщины нам тут не хватало! Тоже мне, рыжекудрая Лилит.

— Я не Лилит, я Дередере, — пролепетала юная колдунья.

— Ещё и невежда, — поджала узкие губы дама Гекстильда. Она отбросила в сторону бубен и сделала вид, что полирует ногти ореховой пилочкой.

Через некоторое время старая колдунья подняла голову:

— Садись, раз уж заявились.

— Хотя мы тебя не очень ждали. И не расстроимся, если ты вдруг провалишься в Преисподнюю, — добавила матушка Эшина.

— Не очень-то вы любезны. Что ж, я могу и уйти. — Дередере подняла с земли старый плащ.

— Сядь, курица рыжая, — прикрикнула на неё горбунья, — и слушай, что тебе умные люди скажут, скоропспелка!

Костёр пыхнул, взвившись в туманное небо оранжевыми языками.

Неофитка, слегка опинаященная приёмом, присела на бревно.

Гекстильда смерила её презрительным взглядом и немножко отодвинулась.

— А где остальные? — робко проговорила девушка. — Я думала...

— Ты всё перепутала, милочка, — отозвалась Гекстильда, — большой шабаш назначен на завтра. А сегодня — карточная игра для желающих, по о-очень высоким ставкам.

— А-а. Ну, извините, я, пожалуй, пойду...

— Сидеть! — рявкнула Эшина. — Раз уж ты навязалась на нашу голову, придётся тебе с нами сыграть. Всё равно третий нужен, вдвоём неинтересно. Аочные демоны — малоприятная компания: воняют гнилой соломой и постоянно мухлюют.

— А я... я не умею... Я вообще не знаю, что такое карты, — растерялась Дередере.

— Я же говорила — деревенщина необразованная, — покачала высоким чепцом Гекстильда. — Придётся нам её просвещать. Карты, дорогуша, — это новая индийская игра. Ты, верно, хочешь спросить, что такое Индия?

— И не индийская это игра, если уж быть точными, а китайская, — проворчала горбунья. — Тут вы неточны, матушка.

— Ой, — Гекстильда усталым жестом поправила воротник нарядного платья, — давайте не будем возобновлять этот бесплодный спор. Будем считать, что есть карты китайские, а есть — индийские.

— Но кто-то же был первым, — упрямилась Эшина.

— Итак, карты — новая индийская игра. — Гекстильда повернулась к Дередере. — Индия, милая...

— Я знаю! — обрадованно перебила её ведьмочка, — Индия — это такая антиподская страна, где люди ходят на головах, а на ногах у них когти, чтобы удобней было цепляться за облака. Ещё там водится огромный страшный зверь ядозуб...

— О боги! — воскликнула Гекстильда. — Индия, дитя, совсем не то! Впрочем, сейчас не до нес.

— Наступило время большой игры! — воскликнула матушка Эшина и ударила в бубен. — Сегодня играем в «старого лиса». Для зелёных объясняю правила. — Она достала из кармана клетчатого передника потрёпанную колоду. — Вот это — туз, главная карта. Туз никто не бьёт, он вроде Властелина. Тузов бывает четыре, смотри и запоминай...

Разноцветные арканы мелькали перед глазами ошеломлённой Дередере.

— Я, кажется, запуталась, — пробормотала она.

— Ничего, по ходу разберёшься. — Старая ведьма уверенными движениями перетасовала колоду, и мелькнули белоснежные бивни изображённых на рубашках боевых слонов. — Главное, чтобы ты усвоила: проигравший выполняет любое желание победителя. Дело чести.

Дередере вдруг стало не по себе, и показалось, что недобрые огоньки мелькнули в янтарных глазах горбунья. Но отступать было некуда. Пришлось играть.

Тихо потрескивал огонь, и ещё тише звенел вереск. Небо на востоке начинало светлеть.

— Быстрее! Чего думаешь?! — прикрикнула матушка Эшина. — Говори, вскрываешься или пас?

— Вскрываешься или пас? — эхом повторила Гекстильда.

Дередере мотнула медными патлами и бросила на барабан, заменяющий карточный стол, каре — четыре рыцаря.

— Проиграла, проиграла!!! — завизжали в один голос ведьмы, подкидывая в воздух карты. Матушка Эшина даже свистнула по-разбойничьи в два пальца, от чего проснулся задремавший было часовой и проквакал с натугой:

— Дамы, у вас всё в порядке?

— Придётся, милочка, платить по счетам, — облизнула губы Гекстильда. — Ну, взять с тебя особо нечего, так что, я думаю, обойдёмся сотворением какого-нибудь сложного заклятия, на общую пользу.

— Я умею насыпать бури, а ещё, ещё — изучила целых две главы про изготовление философского камня. Ну и яды, разумеется... — услужливо подскочила рыжая ведьмочка.

— Этим ты нас не удивишь, — отмахнулась горбунья. — Кстати, учти на будущее: сотворять тайфуны и ураганы в своей округе опасно. Во-первых, сама можешь от них пострадать; во-вторых, рано или поздно наведаются к тебе толстопяты селяне с топорами и вилами. Ты уверена, что тебе это нужно? Мы говорим о серьёзном заклятии, о безупречном колдовстве, о таком, чтоб на тысячу лет, и никто не подкопался, и следов твоих не нашёл. Без изъяна. Сделай нам, голуба, долгую нить, ну, скажем...

— Сшей кровавую мантию, — негромко произнесла Гекстильда.

Обе ведьмы повернулись к ней, поражённые. И что-то изменилось в округе. Ветер, игравший до того на пустоте, умолк. В наступившей тишине раздался волчий вой.

— Слова произнесены и скреплены, — удовлетворённо кивнула Гекстильда, — сшей кровавую мантию. Срок — человеческая жизнь, ну, скажем... двадцать три года.

— С ума вы сошли, что ли, уважаемая матушка?! — вскричала вдруг её товарка. — Какая ж это жизнь — двадцать три года!?

— А я вот считаю, что двадцать три — самый срок их жизни. Потом уж всё на спад идёт, — пожала плечами Гекстильда.

— Прибавьте ещё хотя бы столько же, почтенная матушка, — просительно протянула Дередере.

— Рада бы, голубушка, да не могу, обмолвилась уже. Слово сказано.

— Ну ты и... — начала было матушка Эшина, но осеклась под пристальным взглядом Гекстильды.

— Уложения об оскорблении чести никто не отменял, — прошипела та, сузив чёрные глаза. — Желаете поединок?

— Слово не произнесено и не скреплено, — буркнула, глядя в сторону, горбунья.

— В таком случае — кровавая мантия за двадцать три года. Объект классический — первый смертный, которого занесет на эту пустошь. Пусть останется в веках редкостным мерзавцем, будь он хоть образцом благородства, — улыбнулась Гекстильда. — Теперь нам остаётся лишь немного подождать.

Бледное солнце торжественно вынуждло из-за соседних холмов.

Ведьмы притаились в колючем кустарнике и ждали. Дередере отодрала с куста большой шип и нервно чистила им ногти.

— А если нам непростой человек попадётся? — внезапно спросила она.

— Условие произнесено и скреплено, — передёрнула плечами Гекстильда, — первый встречный. А ты на то и ведьма, голубушка, чтоб за три мили почуять неудобный объект и заставить его свернуть с дороги. Если не можешь — я не виновата, практиковаться больше надо.

«Сука, — тоскливо подумала Дередере, — надменная сука с обвисшей грудью».

Ветер доносит хриплые звуки охотничьих рогов.

— Благородные господа, — с видимым удовольствием проговорила Гекстильда. — Достойная задача.

Звуки гона приближались. На пустошь выскочила перепуганная лисица и помчалась стремглав в тщетной надежде уйти от настигавших её псов.

Вскоре рог протрубил совсем близко, и можно было уже различить тяжёлое фырканье разгорячённых коней и крики охотников.

— Пора! — громовым голосом вскричала горбунья.

Ведьмы вышли из засады и присели на бревно у потухшего костра.

На пустоши появился одинокий всадник, огляделся.

— Вы кто такие? — надменно сощурился он.

— Здравствуй, Макбесад, — выступила вперёд горбунья, — у нас для тебя весточка. Вернее, вот ей, — указала она корявшим пальцем на Дередерс, — поручено кое-что твоей милости передать.

Юная ведьма нехотя сделала шаг вперёд и произнесла, не глядя на всадника:

— У меня действительно важные вести... Вернес, важное предсказание...

Две другие колдуны тем временем отошли в сторону и увлечённо переговаривались.

— Ну что, добились? — кипятилась матушка Эшина. — Заварили кашу? Глаза б мои на тебя не смотрели,уважаемая матушка...

— Можно подумать, *вы* очень любите скороспелых высокочек, — ощерилась Гекстильда. — Их лучше ставить на место сразу и навсегда. Я так полагаю.

— Она полагает! — всхлипнула смуглыми руками горбунья. — Вы только послушайте нашу высокородную даму! Что ты о себе возомнила, селедка ты засущеная! Как хочешь, а тана Макбесада я в обиду не дам!

Гекстильда удивлённо приподняла узкие брови:

— Чем же он вам так услужил, матушка? От разъярённого мужичья спас? А не травили бы вы посевы так явно и бесцеремонно — не пришлось бы прибегать к помощи людских князьков.

— Ты говори, да не заговоривайся... — прошипела старая ведьма. — Сама сегодня уложение об оскорблении чести вспоминала. Смотри, и я вспомню.

— Слово не произнесено, — процедила Гекстильда.

Макбесад Макфиндлайх, двоюродный брат короля Малькольма, придержал испуганно фыркающего каурого жеребца. Можно было, конечно, хлестнуть девчонку кнутом, пока она не произнесла предсказание, но как-то уж очень исходила на настоящую колдуны эта дрожащая селянка.

— Какие именно у тебя вести для меня? — насмешливо спросил тан.

— Те, что изменят вашу судьбу в веках. — Девица на коне подняла голову и взглянула на тана,

Макбесад слегка нахмурился:

— Не много ли ты себе позволяешь?

— У меня нет выбора, благородный тан, — тихо произнесла ведьма, — как и у вас.

Макбесад презрительно усмехнулся и велел ведьме:

— Говори! Только коротко.

И вот на пустоти двое: благородный Макбесад на горячем коне и робеющая юная ведьма, в которой он никак не подозревает носительницу своей судьбы.

Дередере тряхнула медными кудрями и простёрла перед собой тощие ручонки. Голос ее дрожал:

Слушай меня, Макбесад Макфилдайх!

Слушай меня, человек!

Сон будет долгим и страшным, Макфундайх,

Дольше, чем век... дольше, чем век.

— Да, со стихосложением у неё туговато, — язвительно заметила стоящая в стороне Гекстильда.

— Помогли бы девке, сами же её втравили в историю, — недовольно проворчала матушка Эшина.

Хвала тебе, Макбет, Гламисский тан,

Хвала тебе, Макбет, Кавдорский тан,

Хвала Макбету, королю!...

Голос Дередере окреп, и прорезались в нем свистящие нотки бури. Над пустотой кружили слетевшиеся со всей округи вороны и стервятники. Ветер, откуда-то вдруг поднявшийся, нес жёлтую листву... Листья стекались к ведьме, точно притянутые неведомой силой, и охватывали её тонкую фигурку жёлтыми змеистыми языками.

— Свидетели мне — вязы и осины! А солнце, скрывшееся за свинцовой тучей, не свидетель! Не видит нас око Божье! Спите, спите, ангелы... Летите ко мне, вороны; ко мне, шакалы; ко мне, лисы; ко мне, волки!

Дередере произносила стандартное кольцо заклинания, коим полагалось обрамлять любое серьёзное колдовство.

— Свидетели мне — чащобы, терновники, пропасти и деревья Иуды! Свидетели мне — безлунные ночи! Вой оборотней скрепляет слово моё! Свидетели мне — дети

леса, водяные, зловонные духи пустошей и речные кель-пи! Свидетели мне — могучие демоны полудня и хилые бесы рассвета! Свидетели мне — вереск, полночь и арфа Дьявола! И темнота — свидетель мне! Вы ещё спите, ангелы? Спите, спите, легкокрылые, спите...

Благородный тан огляделся. Не было никого вокруг. Только ветер выл да слышались издалека крики перепуганной свиты. Макбесад потёр лоб тыльной стороной руки. Что-то явно было не так. Конь заржал негромко и словно бы испуганно...

— Может, ты помнишь, что здесь произошло? — спросил его всадник.

Животное нервно дрогнуло и переступило с ноги на ногу.

Вскоре пустошь заполнилась наездниками, собаками, звуком рожков и карканьем слетевшихся певчих откуда ворон. Ловчие уверяли, что потеряли тана более двух часов назад.

По дороге в замок Макбесад перебирал в уме события минувшего дня. Вот он вылетел на разгорячённом жеребце на пустошь... Там ему встретилась какая-то странная оборванка, уверявшая, что она обладает тайным колдовским знанием.

И что-то ещё, очень важное, — тан потёр лоб, — ах да, она утверждала, что он будет королём Шотландии... Ну, тут не надо быть семи пядей во лбу. Двоюродный брат короля может унаследовать престол. Тем более Дункан, сын Малькольма, мал и неразумен. Но и Мальcolmъ юн...

Что-то ускользало, какая-то крайне неприятная деталь... Может, и не стоит о ней вспоминать?

Благородный Макбесад гикнул по-простецки и прищипнул жеребца.

Загадочные сны мучили леди Граух вот уже вторую неделю. Сперва она списала их на влияние полнолуния, потом — на густые осенние туманы, потом — на естественные женские недомогания. Видения не прекращались,

Снился ей муж, Макбесад, совершенно такой, как в жизни. Как в жизни, исходил от него запах мехов, пота и кожи. И так же прищуривал серые глаза, задумавшись, и тер тыльной стороной руки широкий лоб. А на лбу у него багровел след обруча, будто танский венец до крови сжал ему голову. Во сне Макбесад поворачивал к ней красное, грубо вырезанное лицо и тихо говорил:

— Это не венец тана. Это — шотландская корона. Больно — жутъ!

Граух гладила его жёсткие жёлтые волосы. В какой-то момент леди случайно бросала взор на свои руки — и видела на них багровые пятна.

— Не бойся, ты меня не испачкаешь, — успокаивал муж. — Эти следы уже десятый год не смываются. Ты разве забыла, моя королева?

И он улыбался невесело, кривя угол рта.

«Макбесад не так улыбается, — думала Граух, глядя в тёмные своды. — Он не растягивает губы и тем более не дёргает углом рта; он широко, как простолюдин, разевает пасть, демонстрируя сломанный в давней драке зуб, и хохочет, запрокидывая кудлатую голову».

Непопятно. Неприятно. Граух переворачивалась на другой бок и пыталась заснуть. Для этого она, как учила её няня в детстве, считала прыгающих через изгородь овец. Одна мелькнула задом, вторая, третья... Десятая закричала хрипло и обернулась скаженным одноглазым петухом, имевшим привычку будить весь замок среди ночи. Нужно будет сказать повару, что пора горластому в суп, давнио пора.

Граух крутилась до рассвета. Только закроет глаза — сиятся кровавый след от венца и пятна на руках.

Служанки точно знают, в какой день хозяйка встает не с той ноги. В такие дни между её чёрными, сходящимися на переносице бровями залегает глубокая морщинка, напоминающая зигзаг молнии. Верный признак: к леди Граух лучше не приближаться...

Однако девица, умудрившаяся пробраться на кухню, была настойчива.

— Я хочу видеть хозяйку! — твердила она.

Ей уж объясняли, что прислуго в замке не требуется. А если бы и нужна была, кто её возьмёт, замарашку, такой только за свиньями присматривать.

— Ты знаешь, кто я такая? — тихо спросила девица, пристально глядя на пузатого повара, запустившего в неё деревянным башмаком. — Ты думаешь, я крыса или жаба, чтоб в меня кидать твои вонючие башмаки? Вот тебе для начала!

По щеке повара расплылся гигантский багровый след пятерни.

— Три дня так проходишь, — сказала девица, усаживаясь без разрешения на лавку возле огня, — авось поумнеешь.

— Ведьма, — прошептал повар, прижимая ладонь к распухшей щеке. — Кровь Христова, натуральная ведьма...

— Тебе добавить, — нахмурилась гостья, — или сразу хозяйку позовёшь?

Но звать леди Граух не пришлось. Привлечённая непонятным шумом, она сама спустилась в кухню.

— Бездельничаете? Бродяжек привечасте? — презрительно покосилась на сидящую у огня оборванку.

— Она тут уже час опинается, гоним её — не идёт, — зашептал, опасливо косясь в сторону нишнки, толстый повар. И добавил: — Между прочим, страшная колдунья. — Меня вот как приложила, пальцем не пощевельнув. — Он продемонстрировал багровый отпечаток ладони на щеке.

— Ворожея, говоришь... — протянула Граух.

Леди притворила дверь.

— Значит, ты ведьма... Хорошо. А как у тебя с толкованием снов?

— Вроде неплохо, — осторожно ответила юная колдунья. — А что именно привиделось благородной леди? Насколько настойчив сон, насколько ярок, как часто повторяется?

— Постоянно, — сделала недовольную гримасу хозяйка замка, — просто надоело.

— Это верный признак скрытого цирюльничества, — удовлетворённо кивнула Дередере, — Остаётся выяснить ка-

кого. Для этого расскажите мне ваш сон, подробно, ничего не пропуская.

— И вовсе это не кровавые пятна, — произнесла колдунья, выслушав Граух, — а отметки царственного пурпуря. Вашему супругу суждено стать королём Шотландии.

Леди задумчиво вертела в руках краснобокое яблоко.

— Но почему у меня такие дурные предчувствия? Почему эти видения пугают меня?

— Благородная леди, — вкрадчиво заговорила Дередере, — когда среди ночи стучат и вы не знаете, кто за дверью — добрый друг или разбойник, вы испытываете некоторый страх, верно? Вот и сейчас. Судьба стучит в вашу дверь, но она ещё не ступила на порог, и вы не можете видеть, что это — великая судьба и благословенная участь. Так Макбесад достоин высокого венца, как никто другой...

Дередере оглянулась воровато, поклонилась к леди Граух и горячо запептала:

— Судите сами: король Малькольм слаб и нерешителен. Сын его — неразумное дитя. Подумайте: достоин ли своего престола владыка, из малодушия склонившийся перед королём Датским? Может быть, стоит подвинуть его и освободить место для достойного властелина, благородного властелина?

— Убить?!

— Подумайте, леди, хорошенько подумайте. Величие стоит за дверьми вашего замка. Но оно не будет ждать вечно. Впустите же его!

...Основное пространство домика Дередере занимал огромный ткацкий стан с натянутым на него полотном. Грубоё полотно, серовато-коричневое, и оттого ярче кажутся вытканные на нём нити. Они цвета алой болотной ягоды, осенних листьев и дурманящих маков, цвета дейпёвых бус и рубиновых ожерелей — драгоценного цвета крови. Пока нитей мало, всего две. Одна мягкая, тоненькая, едва заметная, вторая — более отчётливая. Основа готова, сошлись на сером полотне нити будущей мантии. Дередере

сидит перед станом, дремлет, опустив рыжую голову на колени.

Не по сердцу молодой ведьме работа. Она хотела бы соткать не кровавую мантию, а синий плащ вечной любви, мифическую накидку, которая сотворена была всего четыре раза за историю классического колдовства.

Некоторые утверждали, что и из этих четырёх три случая — выдумка; что на самом деле накануне осады Иллиона загадочный свёрток драгоценной небесно-синей ткани нашли у стен города местные торговцы... Что, возможно, роковую роль сыграл он, а не пресловутая деревянная лошадь. Но это совсем другая история, и сейчас ис её время.

Тем временем в другом уединённом убежище, в пещере на границе Хайлэнда, горбунья Эллина склонилась над деревянным тазом, полным тёмной холодной воды. Она смотрела в прошлое.

Разъярённая толпа поселян гнала по деревне расстрёпанную белокурую женщину в простой рубахе. Больше всех усердствовала толстая как квашня, слегка кособокая тётка.

— Бей ведьму! — пронзительно верещала она, размахивая горящей головней. — Бей проклятую! Люди! Точно вам говорю: это она град наслала, и поросят моих она потравила, а к лету ждите лихорадку, если не избавимся от неё сейчас!

Ведьма мчалась по улице, поднимая брызги в огромных лужах; толпа ревела и гикала у неё за спиной.

Вдруг погоня остановилась, словно натолкнувшись на стену. Этой стеной оказался плотный желтоволосый всадник на коренастой лошадёнке.

— Долго вы ещё будете заниматься ерундой? — внушительно проговорил он и старательно нахмурил белёсые брови.

Тану Макбесаду было не более семнадцати лет, и он пока чувствовал лёгкую неуверенность перед раздражённой толпой. Эту неуверенность он пытался скрыть за презрительным прищуром и сведёнными бровями. Нужно признать, ему почти удалось. Более робкие поселяне по-

пятались, пряча за спину вилы и дубинки. Те, что посмелее, попытались возразить:

— Да она страшная ведьма! Не убьём её — всем худо будет, и благородному тану — некоторый убыток.

Тан откинул кудлатую голову и расхохотался:

— Некоторый убыток!. Думаю, я это переживу.

— Я всегда к услугам благородного тана, — обольстительно улыбнулась женщина и добавила, перехватив его насмешливый взгляд: — Прежде всего, конечно, это касается колдовства.

— Я в ворожбу не верю, — взмахнул широкой ладонью тан, — но если когда понадобится, буду иметь в виду.

С тех пор многое изменилось. После одной весьма неприятной истории, в которой, кстати, не последнюю роль сыграла Гекстильда, над Эшиной стали властны законы старения. Случай с таном почти забылся. И вот теперь...

Горбунья вздохнула и повернулась к другому тазу. В нем вода была мутной и желтоватой, словно в неё добавили песка.

«В этом возрасте прошлое уже становится яснее настоящего...» — с грустью подумала матушка Эшина.

Тем не менее кое-что можно было разглядеть.

...Вход в этот домик напоминал дупло. Может, это и было дупло, в таком случае жилище находилось в стволе громадного старого дерева. Внутри было темно и душно, чадили в глиняных чашках огарки. Гекстильда приходила сюда не часто, только для свершения обрядов. Впрочем, обрядам она всегда предпочитала интриги, а тайному дуплу — комфорт. Сейчас ведьма, видимо, ждала гостей. Несколько раз она прислушивалась и насторожённо вскидывала голову, стараясь уловить какие-то шорохи и шелесты, доносящиеся с лесной тропинки.

Наконец тот, кого она ожидала, появился. Высокий мужчина в тёмном плаще пригнулся, заходя в прибежище колдуньи.

— Ну что? — спросил он, не поздоровавшись. — Удачно?

- Разумеется, — кивнула Гекстильда.
- Хорошо! — Незнакомец вытащил небольшой глухо звякнувший мешочек.
- Ведьма взвесила его на ладони:
- Это всё?
- Остальное потом, — нахмурился носетитель, — когда я буду уверен в результате.
- Благородный тан скуч, — неодобрительно покачала головой ведьма, — и не доверяет мне.
- Почему я должен тебе доверять?
- Я предлагаю безупречное заклятие, — упрямо вздернула подбородок Гекстильда.

Эшина раздражённо плеснула в мутную воду:

— Безупречную подлость ты предлагаешь...

Нужно было что-то делать. Интересно, кто заказал Гекстильде безупречное заклятие? Явию не тан Макбесад. Кто-то из многочисленных родственников Малькольма, толпящихся в очереди к шотландскому престолу без всякой надежды когда-либо занять его. Матушка Эшина тяжело вздохнула и поковыляла к сундуку за старой книгой противодействий.

Леди Граух давно искала повода поговорить с мужем. Макбесад был не особо внимателен к ней в последнее время.

— Благородного тана больше занимает охота, — упрекала его Граух.

Тан только передёргивал плечами и бормотал какие-то невразумительные извинения.

Но сегодня леди была исполнена решимости. Разговор со странной колдуньей на многое открыл ей глаза. Макбесад сам ничего исправить не способен, его нужно подтолкнуть. Граух накинула на плечи бордовую накидку, переливающуюся в отблесках свечей.

— Приветствую будущего владельца Шотландии. — Леди поклонилась мужу, внимательно следя за его реакцией.

Макбесад поднял от столешницы широкое красное лицо:

— Жена, что-нибудь неладно в замке?

— Всё благополучно, мой господин. Закрома полны; в погребах тесно от бочек с благоуханным вином; кони нетерпеливо бьют копытами в стойлах, они сыты и полны сил. Всё благополучно, господин...

— Тогда что? — передёрнул плечами муж.

Леди потушила глаза:

— Не кажется ли благородному тану, что его нынешнее положение... несколько не соответствует его оструму уму, несомненной храбрости, высокому благородству?..

В серых выпуклых глазах мелькнуло недоумение.

— Куда ты клонишь? — Макбесад побарабанил по столу толстыми пальцами и слегка наморщил лоб.

— Я только подумала, достойн ли своего престола властелин, так легко уступивший чужаку, захватчику...

— Я тоже подчинился королю Кнуту! — грохнул кулаком по столу тан. — И не суди о вещах, о которых не имеешь ни малейшего понятия, женщина!

— Я не смею судить или советовать, господин, — смиренно отвечала леди Граух, — однако... Благородный Макбесад, ты имеешь все права на престол. Король Малькольм немощен и несмел. Твой кузен не чета тебе, благородный тан. И сын его вряд ли сможет стать сильным владыкой.

Тан потёр лоб тыльной стороной руки:

— Ты понимаешь, что говоришь?

— Этим стенам можно доверять, — прошептала Граух. — Если мы подчишимся естественному ходу вещей, мой любимый, слабый король Мальcolm протянет ещё много лет, и после него престол займёт недостойный наследник. Это станет концом королевства Альба, мой тан... Ты этого хочешь?

На какое-то время в комнате стало так тихо, что слышно было, как в очаге потрескивают поленья и трещит где-то сверчок. За стенами замка собиралась унылая ноябрьская хмаря.

Тан смерил жену тяжёлым взглядом. Леди взмахнула ресницами:

— Милый, если бы за этой самой дверью нас ожидала великая судьба, она не стала бы ждать вечно... Мой король, — Граух склонилась в глубоком поклоне.

Тан не сводил глаз с жены. Он молчал. Грубые пальцы — руки простолюдина, а не аристократа, — сжались в кулак, расслабились. Вот он провёл тыльной стороной руки по лбу, будто бы отирая пот.

Макбесад с силой ударил по столу:

— Нет!!

— Но, любимый...

— Я сказал: нет!!! — заорал тан, вскакивая. — Этого недостаточно? И не смей давать мне дурацкие советы! Вон — по своим женским делам!!!

Граух провела рукой по лицу и улыбнулась:

— Вы взбешены, мой тан. Значит, в моих словах была доля правды.

Макбесад мрачно смотрел на огонь. В голове у него звенело не переставая: *Хвала Макбету, королю...*

Дередере никак не могла отделаться от навязчивой головной боли. Яркие алые нити раздражали глаза.

— Кровь, — прошептала молодая ведьма, — кровь и земля... Комья глины, чернозёма, песка должны засыпать кровь — и не могут. Кровавая мантия будет сиять сквозь пласти почвы и слои костей, сквозь горы мусора и черепов, сквозь грубую ткань времени...

— Я вижу, работа продвигается плохо, — раздался голос от дверей. — Что ж, могу помочь.

— Не помню, чтобы я вас приглашала, почтенная мачтушка. — Дередере неприязненно глянула на Гекстильду.

— Мне уйти? — Дама слегка растянула в улыбке тонкие губы.

— Нет, что вы. Я ни в коем случае не голго вас. Я не посмела бы....

— Вот и прекрасно. Я думаю, ты уже поняла: этот тюфяк не убийца, но жена его смогла бы при определённых обстоятельствах... Однако леди в расчёт брать не стоит. Мантия должна потянуться именно за Макбесадом. Что из этого следует?

— Что из этого следует? — растерянно повторила Дередере.

— Из этого следует, глупая, что нам пора заняться поисками убийцы.

Ведьма брезгливо смахнула пыль с лавки и села.

— Я думаю, надёжней всего создать убийцу. Болотный голем вполне подойдёт, — проговорила Гекстильда.

— Болотный голем?

— Ты хочешь сказать, что не знаешь этого заклятия?

— Да. Но певчина жертва...

— Запомни, милочка: наше ремесло не терпит чистоплюйства. Так и быть, эту часть я возьму на себя.

Дередере только кивнула, не в силах противиться.

Гекстильда вышла из домика, прошурлив юбкой.

Деревенка совсем не впечатляла: лужи, грязные заборы, покосившиеся домишкы. Впрочем, большинство человеческих селений таковы.

Осмотревшись, ведьма заметила неподалёку грязного куриосого мальчишку с соломенными волосами; он старательно сонял, вырезая из подобранный в ближнем лесу ветки дудочку.

— Поди сюда, — поманила его Гекстильда.

Парнишка потоцтался в нерешительности и подошел.

— Заработать хочешь? — улыбнулась колдунья.

— А то! — Мальчишка просиял и «по-взрослому» вытер нос рукавом грязной рубахи.

— Тогда пойдём.

Гекстильда протягивала Дередере жертвенный нож с широким лезвием.

— Ну же! Это твоё заклинание!

Мальчишка жалобно новизгивал на каменном алтаре.

— Или ты пожалела человечье отребье? — прищурилась Гекстильда.

Дередере нерешительно протянула руку за ножом. Пальцы обхватили холодную рукоять, чувствуя жар тёменного лезвия, стариинного лезвия, жадного до крови. Юная ведьма зажмурилась — и отшвырнула нож в сторону.

Гекстильда мгновению кинулась за ним.

— Тряпка, — проинела старая ведьма, отходя от ещё вздрагивающего в конвульсиях тела жертвы. — Набирай кровь, и пойдём.

Болото встретило их насторожённой тишиной. Даже лягушки, не умолкающие обычно в этот час, притихли.

— Запомни, — наставительно сказала Гекстильда, — настоящему заклятию сопутствует такая немота. Это так и называется — круг немоты. Правило сотворения голема помнишь?

— Не вам меня учить, матушка! — зло сказала Дередере. И добавила чуть слышно: — Сама разберусь.

— А уложение об оскорблении чести? — со зловещей мягкостью прошептала старшая ведьма.

— Слово произнесено! — неожиданно согласилась Дередере и упрямо вздернула подбородок.

Гекстильда покачала головой:

— А ты всыльчива. И упрямица. Условия поединка обсудим после... когда будет готова Кровавая мантия.

— Боитесь? — произнесла Дередере спокойно, в упор разглядывая колдуны.

Гекстильда молчала некоторое время, затем подняла с земли гнилой сучок и швырнула его в трясину.

— Знаю, что каждой вещи — своё время. Слово произнесено. Сейчас — твори.

Дередере сделала несколько шагов и остановилась. Болото тяжело дышало, ожидая жертвы.

Когда на слежавшуюся тину льётся кровь — возникает подобие живого существа. Истлевшее и мёртвое смешивается с тем, что недавно ещё было жизнью, и таким образом получает оболочку.

Когда Голем восстал из топкой зыби, трясина облегчённо вздохнула.

Тут же закричали неподалёку ночные птицы. Дередере аккуратно вложила в пасть чудовища заранее приготовленный комок нахучей травы.

— Живи пока, — шепнула она.

Болотный голем покачивался на неверных ногах перед своими создательницами.

Внешне он — точь-в-точь человек, отличить его можно было только по неровной, мутноватой тени с рваными краями. Но кто же будет присматриваться к теням нищих, забредших на огонёк в Гламисс, где царит сегодня сам король Мальколм.

— Перестань шататься! — прикрикнула на голема Гекстильда. — Впрочем, нет, лучше, если ты будешь казаться пьяным. Повтори: зачем ты создан?

— Убить, — пробулькал голем.

— Убить кого?

Чудовище старательно наморщило низкий лоб.

— Маль — кольм, — произнес голем неуверенно.

— Смотри не забудь по дороге, туница, — напутствовала его Гекстильда.

Затем она повернулась к Дередере, которая всё время молча стояла рядом с нею.

— Сомневаюсь я что-то, что твоя мантия будет признана заклятием без изъяна, слишком много приходится тебе помогать.

Слуги не успевали вносить в залу мехи с вином; на кухне жарили на верталах истекающие жиром туши и мелкую дичь.

Мальколм был печален. Макбесад искоса поглядывал на кузена, но заговорить не решался. Король рассеянно водил рукой по ободу чаши и кивал без улыбки в ответ на шутки. Он смотрел на огонь. Тан был убеждён, что кузеном овладела чёрная меланхолия. Скоро король запрётся в своих покоях и будет пить недели две, стараясь разогнать тоску. Макбесад попытался спросить у кузена, что послужило причиной нахлынувшей вдруг тоски. Король передёрнул плечом:

— Ерунда. Скверные предчувствия.

Мальколм вращал в пальцах широкую чашу и смотрел на кривляющиеся на стене тени.

— Убьют меня скоро, вот увидишь, — сказал он вдруг спокойно и серьёзно.

— В моём доме — не посмеют!! — заверил его Макбесад.

- Не посмеют, — кивнул король и добавил:
- Погляди, вон та крайняя тень напоминает тролля с дубиной, правда?

В это время стражник, косой Том, мёрз на дозорной башне. Холодный туман подступал всё ближе. Из-за се-рой дымной завесы ухали филины; где-то вдалеке раздавался волчий вой. Том терпеть не мог туманные но-чи: именно под покровом дьявольской дымки происходят всяческие неприятности. Неподалёку послышался шорох. Том насторожился и взялся за лук.

— Успеть бы... — беспокоилась матушка Эшина.

Она скользила у башен замка, уханьем отпугивая дру-гих сов, — да они и сами старались не приближаться к воплощённой.

— Стой, нечисть! — хрипло крикнули из тумана. — Нет сюда дороги демонам ни посуху, ни по воздуху.

Том выпустил стрелу наугад, в молоко. С коротким вскриком свалилась вниз крутая пегая сова.

— Тьфу! Чёрт знает что мерещится! — сплюнул Том и запахнул поплотнее плащ.

Матушка Эшина с трудом выбралась из колючего кустарника. Убить её этот идиот, разумеется, не мог, но во-плотиться не получится ещё недели две. Она думала на-ведаться в замок, напомнить тану Макбесаду о давней встрече и спасти его, чёрт возьми! Горбунья села на огромный валун у дороги. Туман окутывал эту ночь.

«Замечательная ночь для злодейства и свершения судьбы...» — обречённо подумала Эшина.

Факелы беспорядочно мелькали в тёмных переходах Гламисского замка. Топот многочисленных ног, обутых в сапоги и башмаки, разбудил тех, кто ещё ухитрялся спать.

— Измена! — орали там и тут. — Убийство!

Кровавые отсветы плясали по стенам. В замке, под носом у многочисленной стражи и гостей, кто-то зарезал короля Малькольма.

— Убийство!

— Король умер — да здравствует король! — завопили вскоре. — Да здравствует молодой король Дункан!

Морицинка зигзагом залегла между густых бровей леди Граух.

«Значит, слава Дункану, сосунку Дункану...» Тогда как престол по праву должен был достаться её мужу, тану Макбесаду.

Благородный тан Макбесад вглядывался в ночь, стоя у стрельчатого окна. На востоке уже алели нити холодного рассвета.

— Господин мой! — окликнули его.

Где-то он уже видел эту медноволосую девчонку с упрашено сжатыми губами.

Она что-то протягивала ему.

— Возьмите, господин, это ваше.

— Что это? — отшатнулся тан.

— Пояс убийцы, — потупилась девица.

— Но я не убивал, — прошептал потрясённый Макбесад.

— Это уже не важно, — покачала головой ведьма Дередере. — Хвала Макбету, королю!

— И я не король! — закричал тан. — Нового короля Альбы зовут Дункан!!

— Это недолго, — ответил ему голос из тумана.

В это же время во внутренних покоях упала без чувств леди Граух, заметившая на руках кровавые пятна, несмыываемые пятна убийства, которого ни она, ни её муж не совершали.

Вместо эпилога

В сводчатый зал Трибунала по Соблюдению Договорённостей четыре тролля внесли Кровавую мантию — полупрозрачную, длившую.

Настоящую Кровавую мантию!

Ну разве что ткань чуть-чуть морицила и оттенок мог бы быть более насыщенным.

— Кровавая малтия девицы Дередере! — торжественно провозгласил распорядитель.

— Матушки Дередере, — поправил его инспектор.

— Но ведь — морщи! — выкрикнула с места Гекстильда.

Инспектор лениво махнул пухлой рукой:

— Не придирайтесь. Вы сами прекрасно видите: заклятие безупречно. Человек не убивал. Подлость без изъяна, не подкопаешься.

И не помогло, что все летописи твердили в один голос о щедром и благородном правителе королевства Альба...

...Где-то в неизмеримых лабиринтах времени до сих пор сидит, уронив тяжёлую голову на стол, благородный Макбесад, король Шотландии, и плачет у ткацкого стана ведьма Дередере.

ДАЛИЯ ТРУСКИНОВСКАЯ

«Графиня Монте-Кристо»

(Рецензия, опубликованная в журнале
«Отечественные записки» в 1853 году)

III очтеннейший наш читатель, ты привык уже, открывая страницы этого журнала, узнавать новости из всех европейских столиц, особенно же те, что касаются изящной словесности. Полтора века прошло с той поры, как в «Ведомостях» присноблаженного государя нашего Петра Великого неведомый журналист публиковал: «Из Персиды пишут...» — и далее о дарении нашему государю слона вместе со слоновицом. И нынче мы рады услужить тебе, наш читатель, посвятив в восьма пикантный скандал, что разразился три недели назад в галльской столице. Как деды наши говоривали, из Парижу пишут...

Ты спросишь, любезный читатель, отчего не сразу, отчего три недели спустя. Но, во-первых, прочие издания, ривали наши на поприще журналистики, оставлены нами далеко за спиной; как изволят выражаться лошадники на ипподромах, мы их на полтора корпуса обогнали. Во-вторых, мы непременно желали уточнить все сведения, дабы не кормить тебя пустыми домыслами. В-третьих, сия история косвенно задевает честь известной в высшем свете дамы, и нам непременно следовало убедиться, что статья наша не причинит ей вреда.

Итак, приступим к рассказу о том, как суетливые и непостоянные французы искали преступника и убийцу под книжным переплетом.

Лет восемь тому назад, коли не более, начали печататься в газетах французских «Ля пресс» и «Конститюшонель» первые главы романа господина Дюма-старшего «Граф Монте-Кристо». Дамы наши все, как одна, предались чтению захватывающего романа в ста тридцати шести выпусках. Все мы помним этот роман и восторгались в юности тем, как прекрасно изобразил писатель торжество справедливости. Даже пламенный критик наш, господин Белинский, глядящий на развлекательное чтение свысока, по-своему похвалил произведение господина Дюма: «Конечно, „Граф Монте-Кристо“ — блестящее беллетристическое произведение, которое читается легко и скоро; но оно — не роман, а волшебная сказка, только не в арабском, а в европейском вкусе». Как выяснилось ныне, роман об узнике, который исхитрился стать сказочным принцем, отнюдь не волшебная сказка.

Мало кто обратил тогда внимание, что финал романа по времени несколько опередил весьма печальное событие — смерть генерала де Труавиля. Сопоставить фантазию господина Дюма с загадочной гибелью отставного генерала, который совершил увеселительную прогулку вместе с супругой на яхте под названием «Мерседес» и исчез где-то неподалеку от Нормандских островов, воистину было мудрено.

Были и иные события, менее поэтические, нежели гибель на яхте среди бушующих волн: банкротства, поспешные бегства в Америку некоторых видных чиновников французских министерств.

Поскольку вскоре после выхода в свет романа «Граф Монте-Кристо» французский литератор осчастливили нас романом «Королева Марго» (и когда только успевает он творить? Так и представляешь себе кухарку, споро и ловко некую одну за другим масленичные блины и складывающую их высокими стопками!), то свет, показав переменчивость своего нрава, перекинулся от торжественного мстителя-графа к юной и пылкой королеве, которая тут же полюбилась нашим дамам. А дамы, как известно, решают не только наши судьбы, но и судьбы си-

ропейской словесности, их слово для литератора — закон.

Когда недавно вышел в свет отдельной книжкой роман «Графиня Монте-Кристо», не все читатели догадались сразу, что речь идет о продолжении некогда прославленного произведения. Но загадочный автор, укрывшийся под псевдонимом мусью Мистигри, увлекши сперва читателей интригой, вдруг принялся сообщать престранные сведения о событиях минувших дней и увязал вместе такие, казалось бы, несовместимые, как смерть генерала де Труавиля с супругой и дебют прекрасной Жозефины де Мертейль в нашем Большом театре.

Итак, приступим же к правильному и детальному разбору загадочного романа.

Он начинается сценой в богатом доме одного из первых богачей Марселя — Максимилиана Морреля. Автор со знанием дела описывает обстановку, дорогие цветы в жардиньерах (и тут закрадывается первое подозрение, что автор — дама), наряды хозяйки дома госпожи Моррель и ее старшей дочери, Юлии. Итак, поздний вечер, сыновья господина Морреля приведены в гостиную к папеньке и маменьке перед тем, как будут уложены почивать, юная Юлия помогает матушке заниматься рукоделием, сам господин Моррель читает книгу. Картина семейного уюта прерывается появлением слуги, бывшего матроса. Он сообщает, что некая дама, прибыв в карете, просит неотложно принять ее, имея сообщить хозяевам дома нечто важное. Господин Моррель, в котором трудно узнать влюбленного офицера спаги Максимилиана, каковым был он в романе «Граф Монте-Кристо», велит просить даму в гостиную. Она входит, отбрасывает черный свой вуаль и с криком «О Валентина, сестра моя!» бросается к госпоже Моррель.

Хозяйка дома не сразу узнает в гостье молодую девушку, которую она знала недолгое время накануне своего замужества. Тогда они и впрямь сошлись, называли друг другом сестрами, но после непродолжительного знакомства расстались и более не имели сведений одна о другой,

не состояли в переписке, что так любят наши дамы, и у г-жи Моррель не осталось даже портрета на память.

Однако стоит гостье назвать имя графа Монте-Кристо, как честа Моррелей признает ее. Перед ними Гайде, дочь Али, паши Тебелинского, и супруга графа.

Автор искусно нагнетает напряжение — что заставило красавицу Гайде, счастливую жену и мать двух прелестных малюток, покинуть супруга и пуститься в странствия? Но дадим слово ей самой.

«— Друзья мои, я не знала жизни кроме той, которую создал для меня граф! — воскликнула Гайде. — Он был для меня всем в мире — спасителем, возлюбленным, душой моей души! Каждое его слово было вырезано в памяти моей огненными буквами. Когда он стал моим мужем, я не верила в свое счастье и более всего на свете боялась пропасть и не найти его рядом с собой на ложе. Главным моим желанием стало родить графу сыновей, и Господь дважды благословил меня. Но настал злосчастный день... О, сколь счастлива была я в слепоте своей!.. Мне следовало и далее во всем доверяться графу!..

— Говорите, Гайде, говорите, — ободрил ее Максимилиан. — Какова бы ни была правда — поведайте нам ее.

— Мои дети росли, и я, счастливая мать, задумалась однажды о том, что у них каверняка есть троюродные братья и сестры. Ведь мать моя, царственная Василики, не была единственным ребенком в семье, она были прекраснейшей из сестер, и за это ее приблизил к себе мой покойный отец. И я захотела отыскать своих родственников. Если они в бедственном положении, говорила я себе, то ведь можно взять на воспитание их детей, чтобы мои сыновья росли вместе со своими кузенами и сверстниками. И я упросила графа поехать вместе со мной в Грецию на поиски сестер моей матери. О, зачем, зачем я сделала это?!

Гайде зарыдала. Валентина, обняв ее, утешала настойчиво и ласково. Она сделала знак Максимилиану, чтобы он удалился, полагая, что наедине скорее сумеет помочь Гайде. Но прекрасная гречанка сдержала рыдания.

— Семья моей матери до войны жила в Тепелене, оттуда же родом и мой несчастный отец, — сказала она. — Мы отправились туда на поиски моих родных, но не нашли их. Удалось узнать, что сестры моей матери, бывшие вместе с ней в Янине, претерпели множество злоключений, были выкуплены из плена родственниками, выданы замуж и переселились в Морею. В Морее я отыскала двух сестер, моих теток, — но, ах, лучше бы я их вовеки не встречала! Они рассказали мне то, что я сперва сочла за глупую ложь, и граф был того же мнения. Но эти женщины знали свидетельниц захвата Янины и их уцелевших во время штурма мужей. Я узнала страшную правду. О Валентина, о сестра, как бы поступила ты, узнав, что близкие твои, твоя семья, виновны в страшном деле, что мать твоя предала в руки убийц твоего отца?..

И Гайде лишилась чувств».

Далее гречанка, рыдая и поминутно порываясь упасть в обморок, произносит целую речь, блестая истинным знанием греческой истории, которую мы с вами, дражайший читатель, заимствуем частично из обязательного в гимназиях Гомера, а частично — из поэм лорда Байрона. Суть ее орошенной слезами лекции, если отвлечься от оплакивания отца и, наоборот, добавить толику исторической правды, такова.

Али-Тебелиц, он же — Али-паша Тебелинский, он же — Али-паша Тепеленский (это уж как на чай вкус), он же — Али-паша Янинский, был изрядный злодей, фигура колоритная и зловещая. Он родился в 1742 году в Тепелене, Тепеленский пашалык был его наследственным владением, но в тех краях свое понятие о юрисдикции. После смерти отца Али схватился воевать с пашой Берата и лишился земель. Он стал, благородно выражаясь, изгнаником, а попросту говоря — бродягой. Наконец ему удалось вернуть Тепелену и вырезать врагов. Далее он орудовал, не стесняясь в средствах. Он втерся в доверие к некоему соседскому паше, а сам добился у турецкого султана его казни. Затем он положил глаз на Янину и Янинский пашалык. В городе шла война двух партий, всем безмерно

надоевшая, и Али ловко привлек на свою сторону горожан. Затем он поставил султана перед свершившимся фактом. Далее ему непременно понадобился Бератский пашалык, но местный папа был поддержан албаниами-христианами и жителями города Сули — сулиотами, которые отправили послов к присиблаженной государыне нашей Екатерине Великой и получили ее покровительство (а также немалое количество оружия). Справиться с ними Али не удалось — он был разбит наголову, а часть его войска утонула в реке Ахерон — улыбнись воспоминаниям школьных лет, любезный читатель.

Далее наш беспокойный паша заделался комедиантом. В 1797 году он подружился с французами, которым тогда принадлежали венецианские крепости в Далмации и Албании. Он разгуливал, украсившись трехцветной республиканской кокардой, и восхищался революционной Декларацией прав человека (чтобы восхищаться, читать сей документ вовсе не обязательно). Но вскоре он атаковал прибрежные французские крепости, захватил и по давней своей милой привычке вырезал гарнизон и население. Не знаем, было ли известно господину Дюма о таком светском обхождении папы со своими земляками.

Мало осталось среди нас, уважаемый читатель, ветеранов войн с Бонапартом, да и те не вспомнят, пожалуй, события 1802 года, а читать исторические увражи все мы невеликие охотники. Однако наш журнал готов и не на такие подвиги, чтобы добраться до правды. Командированный в библиотеку сотрудник наш выяснил, что в 1802 году Бонапарт, увидев, что его затеи терпят неожиданный крах, заключил мир с турецким султаном и его Османской Портой, вернул Турции захваченный было Египет и тем самым окончательно сбил с пути добродетели нашего героя — пашу Тебелинского. Али-паша объявил джихад против сулиотов. Они продержались три года и были вынуждены сдаться на «почетную капитуляцию» — так паша Тебелинский назвал в европейском стиле свое позволение сулиотам покинуть родные места и уйти куда глаза глядят.

Они уходили тремя колоннами, и две из колонн погибли под ударами отрядов Али.

Прелестная в своей скорби Гайде (кстати, есть основания полагать, что она была отнюдь не гречанка в стиле Байрона, все еще модном в 1845 году, а албанка в стиле «Гуслей» известного шутника господина Мериме) скрыла от Валентины и Максимилиана то, что рассказали ей в Морее. Расправившись с сулиотами, албанец Али взялся за греков. Он попытался захватить один из островов (в тех краях их превеликое множество), но тут уж против него объединились все, способные держать оружие, — островитяне, их приятели — морские пираты, а также сухопутные разбойники с материка.

Тут мы вынуждены просить прощения у дам, читающих сию рецензию. Негоже обременять их всеми этими историческими ужасами, однако близок миг избавления. Нам просто надо бно растолковать, каков был Янинский паша, столь благородно обрисованный господином Дюма. Особливо почему-то его красивая и длинная белая борода смущает умы читателей — вон и господин Бальзак, любимец наш, также ее всуе поминал.

Пока Али сражался с греками и наживал себе новых врагов, Бонапарт вел войну с Россией — увы, до поры победоносную. В 1807 году присноблаженный император Александр Благословленный заключил с ним Тильзитский мир. Тут наш паша, чьи хитрости бывали обыкновенно шиты белыми нитками, вновь попытался подружиться с французами. Но Бонапарт и слышать о нем не желал. Тогда Али нашел своим талантам иное применение: захватив как можно более земель, населенных албанцами, он решил покончить с турецкой властью и самому сделаться султаном Османской империи. Воевал он тогда со всеми — и с мусульманами, и с христианами, ставку же имел в Янине. Греки, сражавшиеся с ним, были в отчаянии. И тем удивительнее события, случившиеся в 1821 году.

Наш неугомонный паша, имея к тому времени за спиной 79 прожитых лет, восстал против султана Махмуда и призвал под свои знамена греков, обещав им свободу.

Ты можешь удивляться сколь угодно, любезный читатель, но они поднялись все, как один.

А теперь обрати внимание на следующие имена. Али-паша нуждался в военных советниках и готов был платить им хорошие деньги. И охотники послужить будущему султану сыскались. В Янине собрался супчик Ноес ковчег — были там офицеры-итальянцы, поляки, немцы, но более всего — французы. Вот их имена: Ги де Сент-Элен, Гайар, Шовасэн, генерал Мэзон, полковники Фавье и де Труавиль, командир эскадрона Реньо де Сен-Жанд'Анжели, капитаны Балест, Николь и Журдэн. В списке нет вымышленного полковника Мондего, разумеется, но потерпи, о читатель, сейчас и до него дело дойдет.

Один из этих офицеров, как до сих пор полагали, предал Али-пашу Тебелинского и впустил неприятеля в цитадель Янины — крепость Кастро. Его, этого загадочного офицера, вывел господин Дюма в образе Фернана Мондего — одного из обидчиков благородного Эдмона Дантеса. И так ловко повернуло дело, что человек, избавивший Грецию от злодея, готовившего ей погибель, явился перед тобой, читатель, образцом изменника и предателя.

Ты, любезный читатель, помнишь из романа г-на Дюма красочные подробности осады турками Янины, особенно же — раба Селима, с факелом в руке ожидавшего приказа поджечь пороховой погреб, и девочку Гайде на руках у матери ее Василики. Не показалось ли тебе странным, что малое дитя запомнило так много сведений о предательстве? Это и самому г-ну Дюма показалось удивительным, и потому он вкладывает в уста Гайде слова: «Мне было четыре года; но так как для меня это были события необычайной важности, то я не забыла ни одной подробности, ни одна мелочь не изгладилась из моей памяти».

Загадка сия имеет продолжение в романе «Графиня Монте-Кристо», а теперь следуй за нами, заинтригованный читатель, и узнаешь много любопытного.

Ты узнаешь, что раба Селима с факелом не было во все, но некий французский полковник, командовавший артиллеристами Али-паши, получил предложение сдать

цитадель на почетных условиях, но отказался и грозился взорвать пороховой склад. Таков был его официальный ответ осаждавшему Янину подководцу султана Махмуда Хуршид-паше, однако несколько дней спустя ночью в цитадель был впущен турецкий отряд, и Али-паша наконец угодил в плен.

Далее мнения расходятся. Иные утверждают, будто Али-паша был задушен адъютантом Хуршида, иные — будто после годичной осады и капитуляции он скрылся в христианском монастыре на одном из островов, куда султан послал к нему делегацию с грамотой о помиловании. Однако в миг вручения грамоты на Али-пашу с его свитой напали и убили его. Так или иначе, а голова мятежного паши, а также головы троих его сыновей и внука были выставлены на площади в Стамбуле.

Но все знатоки истории сходятся в одном: предательство имело место. Неясно только, кого подкупил султанский сераскир Хуршид-паша, чтобы попасть в Янину.

Теперь, любезный читатель, ты знаешь довольно, чтобы вернуться к роману «Графиня Монте-Кристо» и по достоинству оценить новость, сообщенную безутешной Гайде.

Да, супруга графа Монте-Кристо узнала, что ее родная мать, любимая наложница паша, прекрасная Василики, не устояла перед посулами. Она устроила так, чтобы приближенные к ней женщины ночью вышли из крепости потайным ходом и впустили турецкий отряд. И она же способствовала убийству Али-Тебелина. Однако далее ее судьба сложилась крайне неблагоприятно.

Таинственный автор романа «Графиня Монте-Кристо» нагромоздил тут всяких странных совпадений, в которых, сдается, и сам занутался. Посредник между Василики и Хуршид-пашой случайно был убит, далее последовала цепь иных трагических случайностей, и бедная Василики, не получив обещанного золота, оказалась вместе с сестрами, служанками и дочерью в толпе пленных, была прдана работорговцу, разлучена с Гайде, сделалась наложницей своего нового хозяина и умерла родами.

Не правда ли, неожиданная судьба, особенно для тех, кто с замиранием сердца читал рассказ Гайде о ее злоключениях?

Но вернемся в Марсель, в дом Максимилиана Морреля.

Этот доблестный офицер спаги, беззаботно преданный графу Монте-Кристо, который доставил ему богатую, знатную и горячо любимую невесту, был поражен рассказом Гайде настолько, что отказался ему верить. И в самом деле — он настолько был убежден в испогрешимости графа, что даже мысли не мог допустить об ошибке своего кумира.

Валентина же, умная и тонко чувствующая женщина, поняла, что произошло в Янине, когда граф, переодетый и под чужим именем, расследовал предательство, повлекшее за собой капитуляцию крепости. Граф шел по следу врага и собирал лишь те сведения, которые его врага могли опорочить. Они доставляли графу несказанное наслаждение. Поэтому, узнав, что посланцы Хуршид-пашни вели переговоры с французским полковником Мондего, после чего крепость сдалась, он уже занимался только этой версией давних и трагических событий. Когда же он узнал, что Хуршид-паша обဝлся с полковником крайне любезно (на его турецкий взгляд), то сомнений уже не осталось. Тем более что Мондего вернулся во Францию богатым человеком и сразу по возвращении приобрел поместье и дом на шоссе д'Антен. Чего же болес?

Оставалось лишь найти бумагу, некий документ, который свидетельствовал бы о неслыханном предательстве Фернана Мондего. Такой документ явился. Некий эль-Коббир, торговец невольниками, расписался в том, что продал французскому вельможе графу Монте-Кристо одиннадцатилетнюю Гайде, признанную дочь Али-паши и Вассилики. Одиннадцать девочке исполнилось около 1829 года. Коли верить этому документу, дело обстояло так: граф, обретший свободу 28 февраля 1829 года, первым делом кинулся на Восток, в Константинополь, искать следов Гайде, как если бы еще в тюрьме знал о ее существовании. Но это еще не все. Лукавый эль-Коббир, видя, какого покупателя ему Аллах послал, во всем угодил графу — и

вспомнил о Фернане Мондего и назвал Василики супругой Али-паши. Но под конец малость развлекся, указав дату составления документа — год 1247-й хиджры. Чтобы перевести это на наш с тобой счет, читатель, надоено прибавить 622, и получим христианское летоисчисление. Воружись пером и осмушкой бумаги, складывай то так, то этак, и получишь ты год 1869-й, который вовсе еще не наступил...

Меж тем граф явился в Париже в начале 1838 года. Вот и ломай голову, что за бумага подтверждала достоверность его покупки.

Именно Валентина поняла, что делается в душе у бедной Гайде. Не предательство матери, которая, будучи на шестьдесят лет моложе своего повелителя, вряд ли его любила, а скорее уж мечтала от него избавиться, потрясло графиню Монте-Кристо.

Мужчина, которого Гайде столько лет считала непрепятственным, с треском рухнул с пьедестала.

Об этом Валентина могла судить уж по тому, что несчастная называла благородного мстителя не по имени, не супругом, а как человека постороннего, случайного светского знакомца, графом.

Итак, чета Моррель узнала, что Фернан Мондего, ныне граф де Морсер, не был виновен в гибели Али-Тебелина, не был виновен в предательстве, разоблачение которого повлекло за собой самоубийство несчастного офицера. Как можно понять из путаного рассказа Гайде, все обстояло гораздо проще — волей случая Фернану Мондего достались те деньги, которые должна была получить за предательство Василики. А она, любимая наложница паши, вряд ли согласилась бы на незначительное вознаграждение. И несчастный граф де Морсер не мог допустить расследование этого дела, ибо оно сильно попахивало воровством. Единственным выходом была цуля в висок. Впрочем, единственный автор «Графини Монте-Кристо» намекает, что Мондего, как и Василики, стал жертвой обстоятельств, не более.

И вот Гайде приезжает к своим единственным друзьям во Францию, чтобы исправить ошибку мужа — найти

Альбера, виконта де Морсер, и вернуть ему честное имя вместе с богатством, которое он должен был бы унаследовать от покойного отца.

Максимилиан по просьбе графа Монте-Кристо следил издали за судьбой Мерседес де Монсер, чтобы при необходимости прийти к ней на помощь. И тут кончаются воспоминания, кончается спор с произведением господина Дюма, и начинается нечто в совершенно новом вкусе, иссомнению весьма привлекательном для господ гимназистов и юнкеров. Мы бы рискнули назвать сей жанр «романом-логоней».

Моррель не находит Мерседес в доме, где она поселилась, чтобы вести скромную жизнь и ожидать сына. Соседи передают как недостоверные сведения, будто она уехала к Альбуру, который якобы ранен.

Читая главы, в которых Гайде, Максимилиан и Валентина плывут в Алжир и путешествуют по этой сказочной стране, мы от души веселились. Автор, несомненно, знает об Африке не более, чем сказано в гимназическом учебнике географии, да и тот читал крайне невнимательно. Чего стоят львы и тигры, проживающие в пустыне рядашком, как добропорядочные соседи! Туда же автор установил пирамиды, подсмотренные на картинках в том же учебнике, поселил дикие племена, только что не людоедов, и, сдается, чистосердечно признался в том, что принадлежит к прекрасному полу. Ибо сообщает вовсе уж невозможные подробности алжирской охоты на тигров, при которой охотники восседают на спине обученного слона. Но веселились мы, любезный читатель, рано, ибо все эти несуразности служили хитроумному плану: известить тебя, легконервный читатель, что события романа, при всей их яркости и трагичности, лишь декорация, какую принято ставить в ярмарочном балагане, подлинное же действие разворачивается в той глубине, куда проникает лишь опытный и изощренный взор.

Как и следовало ожидать, виконт де Морсер в Африке не сыскался, зато его однополчанин, старый офицер, тип служаки наподобие Максимыча в повестях господина

Лермонтова, выводит наших путешественников на след. Он рассказывает о неком набобе, коего Альбер спас во время пресловутой охоты на тигра, и в конце концов выясняется, что то был не простой, а русский набоб. Сия фигура является в парчовом долгополом кафтане, в чалме с пером, в бороде и сильно смахивает на персидского купца, благоухающего на полверсты розовым маслом, разве что Аллаха не призывает.

Утирая выступившие от смеха на глазах слезы, мы отправились далее, преследуя уже двоих, Альбера и набоба, который увез его. Почему-то из Алжира Гайде со своей свитой плывет в Италию, оттуда дивным образом приплывает в Прагу, и далее чем ближе она оказывается к столице Российской империи, тем мчннее на страницах несообразностей. Из чего следует, что автор хотя бы однажды побывал в нашем государстве.

Честно признаюсь: все это время мы ждали появления загадочного незнакомца, который тайно оберегал бы Гайде от слонов, верблюдов, тигров, обезьян и злых людей. В романе, написанном дамой, это герой самый обязательный, а тут была прелестная возможность на последних страницах снять с него маску, чтобы все увидели благородное бледное лицо графа Монте-Кристо.

Но нет — граф словно бы напрочь вылетел у всех из головы, в том числе и у автора. Остается лишь предполагать, что он, преспокойно отпустив на поиски приключений свою супругу и мать своих деток, сидит где-то на солнечной террасе, созерцает волны Средиземного моря и покуривает кальян. Он, кстати, так до конца романа и не явится на сцене — да особо и не нужен.

Но зато на сцену является наконец злодей!

Догадавшись о том, мы едва хором не возопили «Ахти, батюшки мои, злодей!» и не кинулись прятаться под стол и за печку. Столъ многообещающе зловещ был сей господин, непременно с демонической усмешкой на сведенных судорогой устах. Он подищен был в самый блаженный миг — когда Гайде со свитой, наверное напав на след

беглого из французской армии Альбера (как же иначе назвать внезапный отъезд в обществе русского набоба? Да и дико было бы романтическому персонажу подавать вышестоящим чинам прощение об отпуске!), где-то на берегу реки Вильно и на окраине города Немана садится, весьма довольная, в карету. Карета удаляется (о том, что за ней следует целый обоз с прислугой и мебелью, включая ванну, автор в тот миг позабывает, ему нужна одинокая карета на пустынной дороге), а некто в черном плаще с пелериной и в черной шляпе выходит из сумрака и ехидно так скалится, глядя вслед облаку пыли, оставленному каретой. И к гадалке не ходи — злодей, доподлинный злодей! Глубоко посаженные глаза, избороздившие лик морщины, следы адских страстей на челе — ну как же не злодей? Без него нельзя. Коли мы лишились тигриной охоты и переправы через бурную реку, пересекающую Алжир попerek, то неизменно нужен злодей, иначе читать станет скучно.

Мы, российские жители, стали было во всякой строчке, касающейся сего дьявола в человеческом облике, искать воплощенное зло и приютивались к книжке на предмет запаха адской серы. Но собратья наши, французские журналисты, обратили внимание на весьма точное описание некоего провинциального нормандского городка, откуда родом сей сатана. Как для нас есть признаки российской провинции, которые дано знать лишь человеку, несколько в ней пожившему, так и для французов есть признаки и человеческие типы французской провинции. Как оказалось позднее, тут-то загадочный автор и раскинул сеть, дабы поймать свою добычу. Он предусмотрел, что из тысячи парижских читателей наверняка найдется человек десять, бывавших именно в том уголке Нормандии. А читателю (прости, друг наш незримый!) свойственно в таких случаях, размахивая книжицей, воскликнуть: люди добрые, да тут же доподлинно описан забор вокруг владений моей троюродной бабки,unter-офицерской вдовы, со всеми лонгушами!

Молодой и расторопный корреспондент газеты «Секль» ринулся тут же, пока его не определи, в нормандский городишко — искать следов таинственного ав-

тора романа «Графиня Монте-Кристо». К тому времени парижане уже додумались, что автор — дама, но все парижские пишущие дамы были наперечет. Молодой человек поставил своей задачей отыскать особу, получившую достаточное образование для занятий литературой, которая либо выросла в этом городке, либо поселилась там в результате замужества.

Но заместо дамы он обнаружил троих мужчин...

Вернемся же на время к причудливому роману:

«— Эй, Жирудо! — позвал незнакомец, не оборачиваясь, и из-за угла вышел мужчина, пожилой, но еще весьма бодрый, краснолицый, что свидетельствовало о склонности к горячительным напиткам, и совершенно седой. В левой руке он держал трость со свинцовым набалдашником, и, глядя на него, легко было поверить, что он способен тростью своей отбиться от четверых и даже пятерых противников.

— Что прикажете, сударь?

— Вели закладывать экипаж. И отыщи Видаля. Куда он запропал?

— Он, как всегда, щиплет за бока кухарок, сударь, — доложил Жирудо, ухмыляясь. — После наших греческих экспедиций здесь сущий рай. Ни один муж не ворвется, размахивая саблей, ни один патенъка не станет палить в тебя из пистоли, которая старше его самого на добрую сотню лет.

— Ступай, старый болтун.

Жирудо ушел. Незнакомец не отводил взгляда от кареты, которая уже обратилась в черную точку.

— Изволили требовать меня, сударь? — спросил молодой звонкий голос.

— Собирайся. Видишь карету? Ты поскакешь за ней следом, не приближаясь чересчур, удерживая ее в поле зрения. Дорога прескверная, а если они даже одолеют все ухабы, то мост окажется неодолимым препятствием...

Незнакомец рассмеялся демоническим хохотом, от которого у человека непривычного побежали бы мурашки по коже. Но Видаль не первый год служил этому человеку

и преспокойно поклонился, показывая готовность выполнять распоряжение.

Это был красавчик лет двадцати пяти или двадцати семи, не более, который, будь на нем модный фрак, прекрасно смотрелся бы в любой великосветской гостиной, настолько исполнено грации было каждое его движение. Ростом чуть выше среднего, белокурый, он носил бородку и усы почти черные. Глаза же, в обрамлении густых ресниц, были темно-карие с поволокой, глаза истинного южанина, ленивого и страстного.

Сейчас он был одет по-дорожному, в доверху застегнутый сюртук, сшитый, впрочем, хорошим портным, в узкие панталоны и сапоги.

— Ты окажешь им все услуги, какие только потребуются в их бедственном положении. Ты присоединишься к ним на правах друга и будешь сопровождать их, служа им со всем усердием. Возьми в экипаже приготовленный для тебя баул. Там все, что тебе потребуется. Ты возьмешь с собой Дюканжа. Неприлично юноше из хорошей семьи путешествовать без слуги. Повтори мне то, чему я тебя учили.

— Меня зовут Луи де Фонтен, я младший сын известного в Варшаве адвоката, я желаю добиться славы на литературном поприще, мой баул полон гениальных романтических трагедий, но злодей-отец желает видеть меня младшим клерком в своей конторе, — бойко отвечал красавчик. — Я хочу составить себе имя в Санкт-Петербурге.

— Хорошо, ступай.

Несколько минут спустя к незнакомцу подъехали два всадника. Один был известный нам Видаль, другой — Дюканж, крупный широкоплечий мужчина, ветеран каких-то давних сражений, чье лицо было изуродовано сабельным ударом».

Мы не знаем, откуда господа литераторы берут имена второстепенных своих персонажей. Возможно, из газет, из хроники незначительных происшествий. Но автор романа «Графиня Монтс-Кристо» не таков. Вообразите себе удивление молодого журналиста, когда, разыскивая загадочную даму, он обнаружил процветающего трактирщика Дюкан-

жа, в точности похожего на сообщника злодея, и некоего Этьена Видаля, счастливого супруга богатой дамы старше себя лет на двадцать, и, соответственно, ветерана Жирудо, домовладельца, имеющего неплохой доход. Внешность их полностью соответствовала описанной в романе.

Корреспондент «Съекль» оказался весьма сообразительным молодым человеком. Он попытался было найти сперва даму, с которой были бы знакомы все трое, но дама была совершенно неуловима. И тут счастливая мысль посетила нашего коллегу: докопаться, нет ли между этими тремя чего-то общего? Оказалось при расследовании, что у Дюканжа и Жирудо общее боевое прошлое — они служили вместе под началом одного командира. Корреспондент копнул еще глубже и отыскал тот клад, к которому вел его, разбрасывая на пути приметы, загадочный автор романа «Графиня Монте-Кристо», — добрых три десятка лет назад юные Жиродо и Дюканж служили в артиллеристах и вместе со своим командиром оказались сперва в Далмации, затем — (ахни, о наш прозорливый читатель, ибо мы уверены — ты угадал!) — затем вместе с ним попали в Яницу. И, пережив там годичную осаду, чудом уцелев, успев еще повоевать у Миссолонги и повидать там прославленного лорда Байрона, Жиродо и Дюканж вернулись во Францию.

Наш коллега понятия не имел, куда приведет его скучный клубочек, но он разматывал ниточку паугад и нашел на ее конце еще два имени. Первое было — де Труавиль, а другое — Баржетон. Оба в 1822 году были в Яине на службе у Али-паши Тебелинского. И оба, надо полагать, были командирами у Жиродо и Дюканжа.

Расспросить генерала де Труавиля было невозможно — он вместе с супругой своей погиб в море. Оставилсь господин Баржетон. Корреспондент «Съекль», не найдя его в Нормандии, вернулся в Париж и стал наводить справки. Оказалось, что сей господин, приобретя посредством выгодного брака поместье, сперва стал зваться Пьер-Мари-Элиас Баржетон де Камюзо, а затем — просто де Камюзо, пойдя по пути всех мещан во дворянстве.

Тут уж наш коллега-журналист пришел в неописуемый восторг, поскольку господин де Камюзо был ему известен лично. Скажем более — он был известен всем, кто несколько лет назад составлял свиту щедрого и великоудинного господина Дюма. И тут возник вопрос: не этот ли господин поделился с прославленным литератором подробностями осады Янинь?

Российские поклонники, а главным образом очаровательные поклонницы прославленного литератора пережили в свое время некоторое потрясение. Мы привыкли к тому, что русский писатель, собравшись писать нечто историческое, роется в пыльных летописях, вызывает дух историографа Карамзина, мается несколько лет и вдруг являет взору нашему произведение, в коем не всегда колпцы с концами сходятся, а герои вещают, как если бы выступали в трагедиях незабвеннего пинта Тредиаковского. И господин Дюма, издав чуть ли не в один год три преогромных романа («Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо» и «Королева Марго»), сильно нас озадачил. Вкрадось даже в души подозрение — да не ахинею ли нам преподносят? Но выступления литератора в печати всех успокоили — он готовился к написанию романов едва ли не десять лет и посетил все места, где разворачивается их действие. Что касается «Графа Монте-Кристо», господин Дюма божится, что побывал в Марселе, съездил на остров Иф, совершил путешествие в Италию, а оттуда поплыл к острову Эльба, где увидел среди моря величественный утес Монте-Кристо, что значит Гора Христова.

В списке этом, как ты, читатель, заметил, нет албанского города под названием Янинь. Однако же литератор столь ярко живописал обстоятельства осады, что становится ясно: он допрашивал с пристрастием кого-то из участников. И надо полагать, что участник поведал ему о предательстве французского офицера, что господин Дюма, с его любовью к историческим подробностям, радостно включил в замысел своего романа.

Итак, молодой француз, сотрудник «Съекль», догадался, какую роль сыграл господин Баржетон, ныне господин

де Камюзо, в истории создания романа. Оставалось ненужным, для чего неведомый автор «Графини Монте-Кристо» употребил в своем произведении имена действительно живущих людей, сотворив из них при этом злодеев, каких свет не видывал.

Вернемся же к переполненному тайнами роману «Графиня Монте-Кристо».

Как и следовало ожидать, мост через реку, который следовало преодолеть Гайде и ее верным спутникам, оказался испорчен, и карета едва не свалилась в воду. Художник, нарисовавший иллюстрации к роману, изобразил нам страшное зрелище: высокая скала, и над пропастью, едва цепляясь одним колесом за хилый куст, висит элегантный экипаж явно английской работы. Лошади же падают в воздухе наподобие бескрылых Пегасов.

Вообще в старое доброе время этого художника непременно отправили бы на конюшню для разумного отеческого увещевания. Портрет Гайде ему решительно не удался, Валентина похожа на Гайде как две капли воды, даже платья у них одинаковые, а попытка изобразить слона, размахивающего хоботом на фоне алжирских пирамид, вызывает у читателей нечто вроде смятенного трепета, ибо смертному так малевать не дано, и сердце чует, что карандаш держала отнюдь не человеческая рука.

Белокурый красавчик Этьен Видаль был готов к такой причуде судьбы. Откуда-то взялись у него веревки, чуть ли не канаты, и ему удалось при помощи Дюканжа не только вытащить из кареты Гайде с Валентиной и Максимилианом, но и самую карету вместе с лошадьми удивительно легко вытянуть на безопасное место. Заметим при этом, что обоз с прислугой и мебелью так и не появился у моста. Трудно сказать, какой дорогой он двигался, но исправно прибыл в Северную Пальмиру разом с путешественниками.

В дороге Видаль оказывал всяческое внимание Гайде, а именно пожирал и испепелял ее огненными взорами. Проделывал он это в полном соответствии с романтической трагедией господина Гюго «Эринии», где главный

герой, будучи послан служить грандом в Эскорьял, получает от хозяина своего напутствие: «Вот этой женщины любовником ты стань!» Но бедняжке Гайде было не до кавалеров. Она спешила исправить ошибку своего супруга, как полагал Максимилиан — горячо любимого, но у Валентины сложилось на сей предмет свое особое мнение.

Валентина, дама приятная во всех отношениях, став супругой, несколько поумнела. Волей господина Дюма она получила в мужья офицера мужественного, отважного и чертовски красивого, но мало способного к делам. Уйдя в отставку, Максимилиан предавался блаженному безделью и даже несколько располнел. Валентина же хотела видеть в нем рачительного хозяина и сама, без подсказки, пришла к мысли, что мужчина должен быть чем-то занят, хотя бы ходить по утрам в присутствие и исполнять должность столоначальника. Мужчина, не имеющий занятия, несколько портится, и Валентина подозревала, что именно это произошло с графом Монте-Кристо. Лишенный своего занятия, которое заключалось в восстановлении справедливости, он вряд ли стал на старости лет осваивать иное ремесло. Было у Валентины и еще одно страшное подозрение, но изуважения к целомудрию наших милых читательниц мы его опустим. Намекнем лишь, что четырнадцатилетнее заключение вкупе с плохим питанием и расстройством чувств плохо влияет на здоровье узников.

Поэтому страстная погоня Гайде за молодым и красивым виконтом Альбером, единственным из мужчин, кого она принимала в своих апартаментах и с кем разговаривала до вступления в супружество с графом Монте-Кристо, казалась умнице Валентине весьма подозрительной. Даже то, что Альбер был сыном убийцы ее отца, могло сподвигнуть сердце пылкой албанки сперва на жгучую ненависть, а потом, что вполне естественно, на не менее жгучую любовь, ибо страсть, доведенная до крайности, очень легко переходит в свою противоположность.

В конце концов герои романа въехали в Санкт-Петербург. И тут непостижимым образом выяснилось, как зовут русского набоба. Почему-то в Африке автору это бы-

ло безразлично, в столице же Гайде принялась наводить справки, не знает ли кто господина, который в ларчовом халате отправился пужать алжирских тигров. И прозвучало имя, которое привело половину нашей редакции в ужас, как бы при виде воскресшего покойника. С воплями «Сгинь, рассынься, нечистая сила!» отскочили г-да журналисты от раскрытой книги. Вторая же половина осмелилась, крестясь и трепеща, прочитать вслух, как звали набоба. Трепещи и ты, о легкомысленный читатель, — это звали Грекуар Потемкин-Тавричес! И полувека не прошло, как слава покойного князя докатилась до Франции. Правда, выговорить до конца славное имя не всякому французу бы удалось, и автор, видать, даже не пытался.

Далее интрига закручивается по всем правилам. Альбера найти не так-то просто. Вместо того чтобы адресоватьсь в полицию, которая ведет учет всем иностранцам, Гайде со свитой отправляется в театр — потому что какой же француз не посетит представления «Гугенотов»? В сей опере пользуется бешеным успехом прекрасная певица Виолетта де Сент-Лоран, исполняющая партию Валентины, блистает там и другая француженка, взявшая звучный псевдоним Эртебиза, в роли мальчика, пажа Урбана. Ходят слухи, что благосклонности Виолетты добивается Потемкин-Тавричес, и Гайде принимает решение — искать встречи с певицей, чтобы просить ее узнать у набоба, где скрывается привезенный им из Алжира Альбер.

Забегая вперед, скажу, что причины скрываться у Альбера, в сущности, не было, просто автору хотелось вывесить на сцену двух прелестных певиц и вдоволь порассуждать об оперной музыке. В свое время господин Жорж Санд столько о ней поведал в романе «Консуэло», что все французские писатели считают своим долгом поместить в роман хотя бы маленький музыковедческий трактат, а без трактата нехорошо — публика смеяться станет. Как же, скажет, братец, ты трактат сочинить поленился?

И тут красавчик Видаль показывает свой гнусный характер, заодно сообщая тебе, испуганный читатель, о своем происхождении. Ужс увидев из ложи артисток,

испускающих божественные трели и фиоритуры, он демонически усмехается и бормочет под нос нечто по-итальянски. Тут бы тебе и сообразить, но нет, автор на твою сообразительность не надеется, а нарочно выписывает целую цепу с узнаванием. Когда Гайде отправляет Видала разведать о местожительстве певицы, он просто-напросто вторгается ночью в окошко к Виолетте и ошарашивает ее такими словами:

«— Немедленно убирайтесь отсюда! — воскликнула хрупкая, но исполненная решимости Виолетта. — Или я позову слуг!»

— Я советую вам, красотка, позвать вашу подругу Эртебизу. Когда она увидит меня, никаких слуг звать не придется — вам обеим ни к чему скандал. Впрочем, она такая же Эртебиза, как вы — Виолетта!

— Но кто же вы? — придерживая на груди распахнувшийся пеньюар левой рукой, правой же продолжая сжимать бронзовый двусвечник, спросила певица.

— А, вы не узнаете меня? И верно — в Париже вы даже глядеть в мою сторону не желали. Я прекрасно помню, как высокомерно отворачивались вы, когда я входил в гостиную.

— О господи! — прошептала Виолетта. — Кажется, я узнаю вас! Эжен! Эжен, слуша!

— Вот уж нет никакой Эртебизы, и сами вы не Виолетта теперь, а Луиза, — садясь в кресло, заметил Видаль. — Вы поступили правильно — чтобы начать новую жизнь, сперва следует переменить имя. И Луиза д'Армиль стала Виолеттой де Сент-Лоран, подруга же ее Эжен, дочь преступника, по чьей милости обанкротилось немало благородных семей, отказалась от фамилии и сделалась просто Эртебизой. Она не желает, видите ли, быть баронессой Дангар, дочерью беглого банкира и невестой каторжника!

— Молчите, ради бога, молчите, не смейте оскорблять ее! — вскричала Луиза, ибо это действительно была она. — Эжене!

Дверь распахнулась, на пороге стояла черноволосая, коротко стриженная женщина в мужском костюме, но уже

без сюртука и жилета. Пистолет в ее руке был нацелен на Видала. Но мошенник остался невозмутим.

— Прекрасная моя невеста, я счастлив видеть вас! — издевательским тоном произнес он. — Кажется, сейчас самое время продолжить наш роман. Нет родителей, которые бы нам помешали...

— Андреа Кавальканти? Это вы?

— Я, моя голубка. Хотя вместе с фраком я скинул и имя, и любящая невеста может звать меня, как я привык в Италии: Бенедетто».

Бенедетто сделал глупость, начав корчиться из себя площадного шута. Простим его, уважаемый читатель, он всего-навсего старался сесть разом на два стула и получить деньги не только от своего хозяина, который приставил его к Гайде, но и от дочери барона Данглара за молчание.

Но он не знал, что явился совершенно некстати. Очаровательный набоб Грекуар Потемкин-Тавричес был сильно увлечен Луизой д'Армильи, был сильно распален гордостью и сопротивлением певицы, и самой малости недоставало, чтобы он предложил красавице руку и сердце. Для того-то и уезжал он поохотиться в Алжир, что понадеялся на поговорку: с глаз долой — из сердца вон, но сражения с тиграми не истребили в набобовой душе любви, а вовсе наоборот. Луиза же обнаружила, что скучилась по своему упрямому воздыхателю, и уж согласилась в душе сказать ему «да». Ты видишь сам, догадливый читатель, что явление бедного беглого каторжника в спальню красавицы могло смешать все планы. Луиза и Эжени подозревали, что вся их прислуга подкуплена ревнивым набобом и о госте, влезающем в окошко, ему тут же донесут.

Эжени уж готова была пристрелить этот призрак прошлого, но мягкосердечная Луиза отговорила ее и сделала именно то, на что рассчитывал Бенедетто: предложила откупиться.

Эжени сказала, что пойдет за деньгами, и вышла из спальни Луизы. Тогда Бенедетто расспросил певицу о

французском офицере, которого Потемкин-Тавричес привез из Африки. В какую-то минуту их разговора тебе, читатель, может показаться, что речь идет о звере диковинной породы, но ты не давай воли фантазии. Оказалось, что Альбер живет в загородном владении набоба и — ахни, читатель! — пишет книгу об особенностях алжирской национальной охоты. Туда же вызвана и его многострадальная матушка. Тут и горничная подоспела с вышитым кошельком (автор забыл, что прислуга подкуплена), так что Бенедетто покинул спальню с двоякой добычей — и сведениями разжился, и деньгами.

Он только не знал, что за ним следует Эжели Дан-глар, переодетая, по обыкновению своему, в мужской костюм. Эта деятельная и энергическая девица выследила каторжника, пройдя за ним пешком от Александро-Невской лавры до самого Крестовского острова, где оборудовал себе приют главный злодей этого романа. Приникнув щекой к оконику, она подслушала доклад Бенедетто и таким образом узнала, что супруга графа Монте-Кристо находится в Санкт-Петербурге.

И тут, любезный читатель, есть некая зацепочка, торчит некая ниточка, вовсе неискриметная. Не всякий догадается потянуть за нее и размотать клубочек. Обрати же особое внимание, что Эжели знает, какую роль сыграл граф Монте-Кристо в разорении ее семьи, из писем, которые она получает из Парижа. И задумайся, кто бы мог писать ей эти письма. Задай также себе вопрос: отчего девица, бесстрашно бросившая родителей и ставшая актеркой, по всей видимости равнодушная к судьбе отца и матери, вдруг решается мстить графу?

План ее таков: рассказать набобу историю своей семьи, но изменить одну мелочь — пусть дочерью разоренного банкира явится Луиза д'Армильи, погубительницей же выставить супругу графа Монте-Кристо, Гайде, приехавшую нарочно из Турции, чтобы преследовать и дальние бедную Луизу.

Вот какая отчаянная интрига закручивается в романе. Но в действительности интрига еще отчаяннее, хотя

в ней и не блестят невинные белокурые красавицы в белоснежных пеньюарах.

Вернемся теперь к человеку, который существует в действительности, к корреспонденту парижской газеты «Съекль». Оставив все иные дела, этот настойчивый молодой человек стал доискиваться, где теперь прячется господин Баржетон де Камюзо. Он не без оснований решил, что только этот человек объяснит ему, для чего загадочный автор романа «Графиня Монте-Кристо» сделал трех почетных провинциальных обывателей страшными злодеями и как это связано с осадой Янны. Заметим, кстати, что Видаль, Жиродо и Дюканж, проживающие в Нормандии, романа не читали и о злодействе своем не подозревали.

Хотя редактор «Съекль» и грозил журналисту всевозможными караими за отлынивание от прямых обязанностей, включая отлучение от газетных полос, этот неутомимый искатель истины обошел всех давних приятелей господина Дюма и получил наконец адрес г-на де Камюзо. Оказалось, бывший участник обороны Янны проживает на окраине Парижа в собственном доме. Журналист отправился туда, но не был даже впущен. Дом этот скорее напоминал укрепленный форт — двор его был окружен каменной стеной в два человеческих роста, выходящие на улицу окна были замурованы (очевидно, хозяин научился этому на Востоке), а впускали только поставщиков продовольствия и двух докторов. Прислуга со двора не выходила вовсе.

Все эти предосторожности разожгли любопытство молодого француза. Обладая силой и ловкостью греческого атлета, он преодолел забор и явился в спальню господина Баржетона де Камюзо точно так же, как каторжник Бенедетто — в спальню к Луизе, а именно через окошко.

Он увидел перед собой человека пожилых лет и в весьма бедственном состоянии. Не секрет, что ветераны держатся бодро лишь до определенного срока — при наступлении старости все их раны и увечья разом ожидают и наступают единым фронтом. Именно это произошло с господином де Баржетоном де Камюзо. Но в довершение

всех бед несчастный повредился рассудком. Увидев юношу, возникшего в окошке, он закричал не своим голосом: «Я узнал тебя! Ты пришел с того света погубить меня!» — и лишился сознания. На крик прибежали слуги, и журналисту пришлось скрываться бегством.

Всякая дама знает множество случаев, когда в заброшенной усадьбе вдруг является случайному гостю белая тень, и в тени той местные жители безошибочно узнают какую-нибудь безутешную невесту, скончавшуюся в девках, или безвинно убиенного старца. У французов тоже есть приемы обхождения с призраками. Но падать в обморок — уж больно странно для бывшего вояки. И корреспондент «Съекль» попял: во-первых, совесть ветерана изрядно нечиста, во-вторых, он боится явления мстителя с того света.

Далее молодой человек повел себя чересчур решительно для корреспондента. Он явился к гречнику вторично, на сей раз — вооруженный пистолетами.

— Удивительно, как страсть к раскрытию истины движет французскими журналистами! — скажешь ты, читатель. — Наши бы не стали с опасностью для жизни домогаться услышать бредни старика, стоящего одной ногой в могиле. Ишь ты, и тут нас Европа обскакала.

Угодно ли тебе знать, что вымысел корреспондент «Съекль» у господина Баржетона де Камюзо? Потерпи малость, о пылкий читатель, а пока не желаешь ли дальнейших похождений Гайде, Валентины, Максимилиана, каторжника Бенедетто, Луизы, Эжеши и, разумеется, загадочного злодея?

Но сдается нам, ты уже устал от романа «Графиня Монте-Кристо». Тебе уже понятно, что после многих перипетий, включая погони, похищения, шантаж и прочие прелести приключенческих романов, Гайде отыщет Альбера де Морсера и вручит ему сундук с золотом. Брак Луизы с набобом тоже кажется делом решенным — после нескольких приступов острой ревности набоб раскается, и Луиза сделается госпожой Потемкиной-Тавричес. А Альбера свататься не к кому — автор оставил в его распоря-

жении либо замужнюю даму Гайде, либо Эжени, вздумавшую было стать злодейкой. Эжени, строя козни Гайде, конечно же, столкнется с Альбером, они вспомнят свою прежнюю вражду, но потом, вместе спасая изохищенную Валентину и истребляя главного злодея, помириятся. Повенчаться с Гайде он все равно не может, а взять в супруги Эжени — все равно что вступить в брак с землетрясением. Подобные особы менее всего способны осчастливить мужа. Некоторое их число появилось и у нас, они действительно стригут волосы и даже курят трубки. Поэтому, хотя пара и слилась в поцелуе, мы надеемся, что до свадьбы дело не дойдет.

Но автор не все концы с концами свел. Он как с самого начала грозился открыть некую тайну, так до самой последней строчки не собрался сделать это. Хотя все мы ждали с нетерпением и даже умоляли шепотом: ну, автор, голубчик, не томи! Представляем, как сетовали прелестные любительницы тайш, раскрываемых на предпоследней странице! Положительно, автор умудрился показать себя женоненавистником.

Но гораздо любопытнее «Графини Монте-Кристо» история автора сего романа, ты уж поверь нам, читатель. Ибо тут-то и едет сюрприз на сюрпризе, да еще сюрпризом погоняет.

Итак, молодой французский журналист пробрался во двор к господину Баржетону де Камюзо. Тут ему не повезло — он подвергся нападению псов и вынужден был их пристрелить. На это ушли заряды в обоих пистолетах. Вооруженные слуги ветерана загнали корреспондента в угол и грозились отправить его на тот свет, а тело спустить в речку — так оно и у нас частенько делается. Но вдруг появился некий господин и строго приказал им отпустить жертву. Сам же обратился к корреспонденту весьма любезно и оказался сущим благодетелем — даже велел отворить ворота и вывел молодого человека на улицу. Между ними завязалась беседа, и спаситель, к великому удивлению спасенного, вдруг назначил ему свидание.

Их встреча состоялась на следующий день в доме великодушного господина. Он представился доктором, имеющим хорошую практику, и назвал свое имя — господин Орас Бьяншон. Имя было известно журналисту, потому что доктор имел знакомства в литературных кругах. Господин Бьяншон уже не первый год пользовал больного господина Баржетона де Камюзо и нашел в нем кладезь неких редких симптомов, так что готовился даже писать статью в ученый журнал. Но он не предполагал, что болезни страдальца сопутствуют галлюцинации. Поэтому, наслушавшись о госте с того света, он решил расспросить журналиста, уж не был ли он тем ночным гостем. Доктор даже пообещал держать в тайне странный способ корреспондента наносить визиты, он даже не расспрашивал о причинах такого вторжения, ему лишь хотелось знать правду о своем больном.

Журналист был ловок в расспросах, к тому же он сумел добиться расположения врача, рассказав, что лез через забор на пари с такими же молодыми шутниками. В результате не он рассказывал господину Бьяншону, как появился в окошке, а господин Бьяншон исправно доложил ему о всех бреднях пациента.

Дальнейшее переведено нами дословно из «Съекль».

«— Бедный мой пациент послал за мной с раннего утра. Я приехал к нему так скоро, как только смог, — сказал мой собеседник. — Он был в отчаянии и толковал о своей скорой кончине. Я спросил его и узнал о ночном явлении призрака. „В комнате моей горела хорошая лампа, и я видел его так же ясно, как вас при свете дня. Я узнал его, это был он — и он совершенно не переменился с той поры! Верно говорят, что на том свете ко всем возвращается облик их молодости, — говорил г-н Баржетон де Камюзо. — Он молча глядел на меня, и в его глазах я читал более укора, чем если бы он предстал предо мной опутанный водорослями, с безумным взором утопающего».

— Очевидно, бедный ваш пациент оказался в незавидном положении человека, который когда-то в молодости не смог или побоялся прийти на помощь утопающему, —

отвечал я. — Может статься, он просто не умеет плавать. Но совесть не разбирает таких подробностей. Судя по всему, больной — просто чрезвычайно совестливый человек.

Невзирая на ранний час, на столе г-на Бьяншона уже стояла бутылка бордо и он, к большой моей радости, успел выпить стакан или два. Поэтому доктор был более откровенен, чем полагалось бы при его профессии. Но в нашем случае мы можем только поблагодарить его за эту откровенность, поскольку она помогла раскрыть тайну, омрачившую существование нескольких ни в чем не повинных людей.

— Между нами говоря, он просто старый неудачливый пройдоха, — произнес доктор. — Друг мой, я знаю свет, и я встречал таких людей. Я бы даже сказал, что существует особый тип людей, слабых духом, но чрезвычайно злопамятных. Во всех своих бедах, происходящих от их собственных недостатков, они винят других людей и настолько себя в этом убеждают, что принимаются мстить. Обычно им мало что удается, потому что они плохо приспособлены к действию, но распустить гнусную сплетню и наслаждаться результатом — вполне в их силах и в их духе. Но мой несчастный пациент, кажется, сумел наворотить больших бед. И теперь он ждет возмездия.

— Не утопил же он человека своими руками?

— Вот в этом я не уверен, — задумчиво сказал Бьяншон. — Видите ли, он утверждает, что ему являлся той ночью покойный генерал де Труавиль. А смерть генерала до сих пор загадка. Что заставило его выйти на яхте в открытое море без экипажа, но с горячо любимой женой? Есть даже подозрение, что он взял с собой детей. Яхту штормом выкинуло на берег, тела не найдены. Загадочное дело, очень загадочное!

— Знали ли вы генерала де Труавиля в молодости? — спросил я.

— Нет, сударь, не имел чести. Я вообще не был с ним знаком.

— Сдается, все это как-то связано с их совместным прошлым. Ведь генерал много лет назад оборонял Янину,

а г-н Баржетон де Камюзо и еще двое нормандцев, как мне удалось узнать, служили там под его началом. После гибели Али-паши они почти одновременно вернулись во Францию. Но карьера генерала была удачной, а Баржетон не смог добиться успеха. Всем своим благополучием он обязан женитьбе.

— Да, он женат, и жена ненавидит его так, как только может женщина ненавидеть мужчину. Дело в том, мой друг, что женился-то он обманом. Молодая богатая вдова еще до замужества полюбила генерала де Труавилья, но родители отдали ее замуж за другого. Пока де Труавиль вое-вал в Греции, она овдовела. Наш пройдоха вернулся раньше генерала, который тогда был всего лишь полковником, первым делом отправился к бедной женщине и сообщил ей о смерти ее возлюбленного. Она, поклявшись вечно носить траур, по его наущению уехала скорбеть в Нормандию, в некий Богом забытый городишко, где у нее была недвижимость. Он поспешил следом, поселился там вместе с боевыми своими товарищами, которых подучил, как нужно лгать бедной женщине. Кончилось все плачевно. Когда де Труавиль, вернувшись наконец, отыскал ее, она уже была женой моего пациента. Конечно, она узнала правду, и вскоре супруги разъехались. Но наш пройдоха успел наложить лапу на ее приданое.

Я знал, что г-н Баржетон де Камюзо вступил в выгодный брак, но про обстоятельства услышал впервые. Теперь стало понятно, в чем провинились перед загадочным автором романа «Графиня Монте-Кристо» Жиродо и Дюканж. Женщина, которая знала от мужа и его приятелей подробности осады Янинь, которая горела желанием разоблачить злодея, вполне могла оказаться автором книги!

— А где теперь проживает г-жа Баржетон де Камюзо? — спросил я.

— Сам бы я желал это знать! Если состояние больного ухудшится, его судьбу придется решать родственникам, а он о них никому ни слова не говорит, да и занимаются этим обычно жены.

— Не может быть, чтобы он не знал ее адреса.

— Я допускаю, что она нарочно запутала следы, зная его мелкий и мстительный характер. Ведь он при мне еще ни о ком хорошо не отзывался. Все виноваты перед ним, все должны оказывать ему благодеяния! А коли человек не желает с ним знаться, то становится злейшим врагом. Есть люди, мой юный друг, которым нельзя давать в руки деньги. Имея скромный доход, они лишь лелеют планы мести, в худшем случае — делятся ими с друзьями. А заполучив крупные суммы, начинают что-то предпринимать.

— Кого, кроме покойного генерала, он числит во врагах?

Господин Бьяншон вздохнул:

— Мне кажется, что он уже посчитался с этими людьми, и со дня на день следует ждать появления в оконке его спальни окровавленного господина Ранглара или господина де Бельфора.

Я насторожился — оба имени были мне знакомы в детстве, но что сделалось с этими людьми, я не знал.

— Странно, что он не оставил у себя на службе тех двух нормандцев, которые столь удачно выполнили его поручение. С ними он бы чувствовал себя гораздо спокойнее, — сказал я.

— Они слишком много знают о его делах, и он предпочитает, чтобы они жили подальше от Парижа, — был ответ. — Эти бывшие солдаты наверняка помогли ему отомстить Ранглару и де Бельфору. По крайней мере, если верить моему пациенту, именно он устроил грандиозное банкротство Ранглара и довел беднягу де Бельфора до сумасшедшего дома».

После беседы со старым врачом отважный журналист отправился собирать сведения о господах Рангларе и де Бельфоре. Сведения эти были неутешительны. Ранглар разорился и, оставив толпу разъяренных кредиторов, исчез вместе с семьей. Господин де Бельфор, судья с доселе не запятнанной репутацией, стал главным героем скандала, после которого оказался в приюте для душевнобольных. Речь шла о страшных вещах — кровосмешении, убийстве младенцев, и из сострадания к тебе, любезный читатель, мы не станем перечислять всех обвинений. Скажем лишь,

что три четверти оказались злобной выдумкой, но вылечить беднягу так и не удалось.

Ты убежден, читатель наш, что журналисты — сплошь люди светские, их можно видеть на всех театральных премьерах, они носят фраки при любых обстоятельствах, а коли вдруг окажутся без денег — за одну бессонную ночь пишут книгу, которая расходитя с бешеным успехом. Так вообрази же себе молодого человека, сотрудника «Съекль», в обществе двух страшных громил, едва ли не насыщенных убийц, и сам он выглядит не многим лучше в синей блузке парижского мастерового, всклокоченный, не выпускающий из руки свинчатки (на французский лад — кастета). Вообрази его на козлах кареты, которая по виду своему достойна того, чтобы возить на ней в ад грешные души. Вообрази его ночью на улице нормандского городка, в маске, следящим, не подадут ли тайного знака от задних дверей кабачка...

Удалось это тебе? Знак подан, совиное уханье оглашает уличку, стучат копыта — сперва медленно, затем все быстрее, карета несется во всю конскую прыть, ибо лошади достойны лучшей парижской запряжки! Ветер свистит в ушах, бледный месяц несетя сквозь клочковатые тучи, отчаянно свистит разбойник на занятиях! Так, именно так возвращается в мир попранная справедливость!

Карета останавливается у заброшенной мельницы, из нее вытаскивают огромный тюк, двое волокут его по лестнице, третий освещает им дорогу факелом. Ударом ноги распахивают дверь. Тюк падает на пол, раздается стон, похожий на мычание. Да, это похищенный человек. С его головы сдергивают менюк. Кляп во рту искажает черты лица, но страшный сабельный шрам ни с чем не перепутаешь — это преуспевающий трактирщик Дюканж.

— Настало время задавать вопросы, — говорит молодой человек в маске. — От твоих ответов зависит твоя жизнь. Выньте у него изо рта кляп.

Трактирщик в ужасе. Тщетно пытаются он угадать, кто его похитители. Он настолько взволнован, что первые вопросы приходится повторить.

— Почему ты участвовал в обмане ни в чем не повинной женщины? Почему поклялся, что своими глазами видел смерть полковника де Труавиля?

— Негодяй Баржетон напоил меня и уговорил...

— Врешь! Чтобы заставить солдата лжесвидетельствовать, нужно иметь власть над ним! Каким образом приобрел Баржетон власть над тобой?

— Он заплатил мне...

— Врешь! У него не было тогда денег, чтобы расплачиваться с пособниками. Очевидно, жизнь надоела тебе. Я узнаю все, что мне требуется, у твоего сообщника Жирудо. А ты проведешь эту ночь под мельничным колесом. Ночь, утро для которой не наступит никогда.

— Пощадите, пощадите! — вопит пленник. — Я все скажу! Он знал о моем проступке... он грозился обнародовать его... меня убили бы!..

— Не ошибусь, если скажу, что речь идет о военной добыче. Когда Янина была захвачена турками, не одни лишь они мародерствовали — кое-кто из французских артиллеристов тоже испачкал руки в окровавленном золоте! Я знаю больше, чем ты думаешь, мерзавец.

— Но кто вы, сударь? Ваш голос кажется мне знакомым...

— Стоя на пороге ада, ты увидаишь мое лицо!

Маска слетает, Дюканж кричит не своим голосом.

— Ага! Ты узнал меня! Рассказывай же все, подлятья. Только чистосердечное раскаяние спасет тебя. Ибо я, вернувшись из могилы, наделен страшным правом карать за прегрешения.

И начинается гнусная исповедь трактирщика. Он неизнайд перечисляет все пакости и интриги господина Баржетона де Камюзо. Он рассказывает, как этот человек пытался стать посредником для Хуршид-паша в подкупе наложницы Василики, как полковник де Труавиль начал было расследовать это дело, но не успел, поскольку Василики всех опередила, он поделился и многими иными подробностями касательно судьбы дочери Янинского паша. Рассказал он также, что, кроме господ де Труавиля, Ранглара и де Бельфора, жертвами мстителя стали и иные

люди, виновные лишь в том, что, когда он вернулся из Греции без денег и без славы, отказались дать ему в долг крупные суммы.

Да, изумленный читатель, во всем, как всегда, виноваты деньги. Баржетон вернулся во Францию израненый и озлобленный. Ему казалось, что весь белый свет в долг перед ним лишь потому, что он испытывает боль при каждом движении. Он не стал просить помощи и сочувствия — он стал их требовать.

Пойти к господину де Труавилю он, возможно, не решился. Какое-то время он скорее всего скрывался от человека, возлюбленную которого подло украл. Правды не узнает никто и никогда. А если и пошел, то скорее всего был изгнан с позором, поскольку военные люди очень строги в вопросах чести.

Первый, к кому он направил свои греческие стопы, мог быть барон Раинглар, бывший его соученик, талантливый и опытный финансист. Но Раинглару вряд ли понравились обещания вернуть долг из богатого приданого. Затем он мог посетить своего дальнего родственника де Бельфора. То тоже явно имел основания не доверять Баржетону. Еще несколько человек поступили сходным образом.

Наконец предателю удалось стать мужем несчастной женщины. Некоторое время он жил с ней в Нормандии. Затем они расстались.

Баржетон оказался в полном одиночестве, а злобный и завистливый характер мешал ему находить радость в простой и размеренной жизни. Пытаясь развлечься, он свел знакомство с актерами и каждый раз, наезжая в Париж, кутил с ними и с многообещающими молодыми драматургами, среди которых был господин Дюма. Каким-то непостижимым образом этот человек втерся в окружение будущего знаменитого писателя. И одним из первых узнал о замысле романа «Граф Монте-Кристо».

Это был всего лишь замысел, господин Дюма имел в своем распоряжении только историю саножника Пико. Вскоре после выхода в свет романа «Граф Монте-Кристо» эта история была обнародована, и мы писали о ней

в нашем журнале. Господин Дюма еще только начинал выстраивать сложное здание будущего своего произведения и нуждался в историях из жизни, которые мог бы использовать.

Именно тогда господин Баржетон де Камюзо понял, какой клад дался ему в руки. Он стал проявлять о писателе неслыханную заботу и за рюмкой дорогого вина рассказывать ему об осаде Янны, свидетелем которой он был, о подделках векселей и прочих документов молодым Рангларом (тут мы, уважаемый читатель, можем лишь предполагать правду, но что иное мог бы Баржетон вменить в вину удачливому финансисту?), о семейных тайнах де Бельфора.

Неудивительно, что господин Дюма ухватился за эти истории, решив, что они, как нарочно, подоспели к началу работы над романом. Своим талантливым пером он начертал образ Фернана Мондего, в котором всякий бы угадал генерала де Труавиля. Он изобразил помышляющего лишь о деньгах барона Данглара и заставил его отдать горячо любимую дочь за каторжника (Данглар был списан с господина Ранглара, а история о помолвке с каторжником — из приключений сапожника Пико, который именно так проучил одного из своих неприятелей). То же касается и де Бельфора.

Господин Баржетон де Камюзо был бессилен причинить вред отважному и благородному господину де Труавилю, честному Ранглару, неподкупному де Бельфору. Тайна капитуляции Янны, которой владел этот мерзавец, более касалась его самого, и он не мог ее обнародовать, не выказав себя при этом гнусным предателем. И он нашел способ сделать из правды о гибели наши Янинского ложь, в которую поверят тысячи французов. Ибо талант господина Дюма таков, что любой домысел под его пером преображается и внушает несокрушимое доверие. Господин Баржетон де Камюзо сделал себя беспристрастным свидетелем, а де Труавиля — предателем. Разумеется, при таком взгляде на дело наложница Валики оказалась невинной страдалицей. И историю о том, как полковник-предатель продал работоговцу дочь

своего несчастного покровителя, наш злодей тоже преподнес в наилучшем виде, искусно собрав ее из нескольких действительно имевших место фактов. Он даже пересказал своими словами контракт между работоговцем и полковником, но был чересчур усерден и упомянул год по мусульманскому летосчислению, а славный наш литератор не удосужился проверить. Главное — господин Дюма понял, что именно прекрасной Гайде недостает в сюжете, и охотно, как говорят рыболовы, проглотил подброшенную наживку.

Подлец все рассчитал правильно. Он знал, что свет примется доискиваться, с кого списал господин Дюма своего Фернана Мондего, графа де Морсера. Все нити вели к несчастному де Труавилю. И бессильны были бы попытки де Труавиля оправдаться — что бы он ни сообщил о своих приключениях в Янине, свет более поверил бы строкам романиста, чем рассказам офицера. Пятно беспечестия легко бы на него, и до конца его дней у него за спиной шептались бы: вот тот, с кого сам Дюма списал предателя и негодяя!

Мы можем лишь догадываться, что творилось в душе у несчастного генерала, а также у финансиста, у прокурора дс Бельфора и еще нескольких человек, когда они читали, выпуск за выпуском, роман «Граф Монте-Кристо». Генерал не стал дожидаться сцены, где разоблачают Фернана Мондего. Выстрелить себе в висок означало подписать под всеми обвинениями, которые предъявлены Фернану Мондего, и генерал предпочел инсценировать кораблекрушение. Он позаботился о будущности своих детей, отправив сына и дочь в пансионы за пределами Франции, сделав для них новые документы, а также положив на их счета немалую сумму денег. Преданная супруга генерала решила разделить его участь.

Но перед тем как взойти на борт яхты «Мерседес», она написала письмо сыну и оставила это письмо в надежных руках. Она умоляла свое дитя не верить никаким оговорам и обелить репутацию несчастного отца. Также она рассказывает историю подлинной Гайде — в надежде,

что юноша, возмужав, отыщет ее, потому что и она, возможно, нуждается в помощи.

Видишь ли теперь, изумленный читатель, насколько жизнь любопытнее, занятнее и страшнее романа «Графиня Монте-Кристо»? Разумеется, читать о подвигах прекрасной графини — прелобезное занятие, особливо сидя дома на диване и приказывая Ангелике подбросить дров в печку. В приключениях парижского журналиста нет главного, что ищем мы в романах, — нежной страсти. Он ни в кого не влюблен, а ежели и влюблен, то откладывает сватовство и помолвку до завершения своего розыска по делу Баржетона де Камюзо. Он почти ни слова не пишет о женщинах и только уделяет немного внимания супруге письменного предателя, на первых порах считая ее автором романа.

И теперь самое время вернуться к роману «Графиня Монте-Кристо».

Газета «Съекль» опубликовала расследование своего сотрудника. Никто ни в чем не обвинял господина Дюма, ставшего жертвой подлеца. Репутация генерала де Труавиля была обелена. То же произошло с репутациями прочих жертв негодия Баржетона де Камюзо. Тут объявилась и его беглая супруга. Поддержанная общественным мнением, она начала судебный процесс, ратуя за возвращение своего приданого, и есть основания полагать, что ее ждет победа. Поскольку детей у этой дамы нет, наследниками ее по завещанию станут сын и дочь покойного генерала де Труавиля.

Тем, собственно, и закончился цикл статей «Съекль». И французская публика вынуждена была этим удовлетвориться.

По мы, уважаемый читатель, знали, что ежели преподнесем тебе лишь перевод из парижской газеты, то ты останешься весьма недоволен. Поскольку вопросов у тебя уже возникло множество, и ты их непременно все записал на бумажке. Мы ведь так и не сообщили, кем оказался загадочный автор романа «Графиня Монте-Кристо». Опять же наши милые читательницы непременно хотят знать, кем же оказался безымянный молодой журналист,

с такой отвагой восстановивший справедливость. А кое-кто из них и догадался...

Да, милые дамы, это был сын генерала де Труавиля Анри-Этьен де Труавиль, очень похожий на своего отца в молодости, во время осады Янинь. Получив воспитание в Бельгии и оставив пансион, он отправился под чужим именем во Францию. У него было только письмо матери, в котором она умоляла отомстить за нее и за несчастного отца, который предпочел смерть бесчестию. Прибыв в Париж, он стал наводить справки о давних событиях, устроившись для этого корреспондентом в «Съекль», и когда в свет вышла книга «Графиня Монте-Кристо», проявил столько энергии, идя по следам ее героев.

Откуда мы знаем об этом?

Тут, дорогие дамы (да и кавалеры также!), приготовьтесь к самому романтическому приключению, какое только возможно.

О том, что наши сотрудники проводят свое расследование тайны «Графини Монте-Кристо», знали некоторые лица в том мире, который представляется людям иссвешущим сказочно прекрасным, куда стремятся неопытные юноши и девицы в ногоне за славой. Это мир кулис.

И вот однажды поздно вечером к дому одного из наших журналистов подъехала наемная карета. Оттуда вышла закутанная в черный плащ дама, сопровождаемая кавалером в маске. Они поднялись во второй этаж, и кавалер велел доложить о себе, назвавшись именем, под которым несколько лет назад известен был в закулисном мире. Наш журналист, сидевший в известном мужском неглиже, переполошился — он никак не ожидал такого визита.

Дама вошла — и стало ясно, что она принадлежит к высшему свету. Все в ней было аристократично до предела — и тонкий аромат духов, и ручка в черной перчатке, и тонкие кружева, золотистые блонды, выбившиеся из-под плаща, и белокурые локоны, которые не могли скрыть шелковый капюшон и бархатная маска, и узенький башмачок, который напп сотрудник, хоть и был взводновал

беспребедельно, успел разглядеть, когда незнакомка садилась на стул.

Она по-французски просила своего спутника ненадолго оставить ее наедине с журналистом, и по тому, как спокойно он вышел, можно было понять, что они состоят в законном браке.

— О сударь, — сказала эта прелестная замаскированная дама, — я знаю, что вы с друзьями вашими расследуете тайну романа «Графиня Монте-Кристо». У меня есть сведения о судьбе некоторых людей, с которых господин Дюма, а вслед за ним и господин Мистигри списали своих героев. Я могу поделиться с вами этими сведениями, но при условии: чтобы вы не доискивались более, куда скрылись и чем занимаются упомянутые в обоих романах дамы. Своим вмешательством вы можете им навредить.

Разговор был короток. Дама поблагодарила нашего сотрудника за доброту и внимание, после чего уехала, а он остался в недоумении: не было ли это явление сонной грезой? И даже более того — около недели он испытывал признаки самой настоящей влюблённости, хотя не видел лица своей дамы, а лишь вдыхал ароматы и слышал божественный голос. О читательницы, сделайте из этого должный вывод — не лишайте нас тайны, давайте нам возможность мечтать о тех сокровищах красоты, что скрыты под черным шелковым плащом и прелестной полумаской!

Наш сотрудник дал слово сохранить секрет — только поэтому мы не назовем имен дам, ограничившись именем молодого де Труавиля, которое сделалось известно из этой беседы, а оценим ситуацию, как принято теперь говорить, общими словами.

Итак, что мы знаем об авторе романа «Графиня Монте-Кристо» из самого этого романа и из расследования газеты «Съекль»? Это женщина, искренне желавшая написать роман, но не имевшая достаточных знаний и способностей для того. Да опа и не стремилась прославиться как писательница — ей было достаточно сообщить подлецу Баржетону де Камюзо, что вот-вот явится мститель.

Тот же, сам человек очень мстительный, воспринял угрозу всерьез. Была в романе скрыта и еще одна угроза. Ниже мы докажем, что только одна женщина в мире имела право и могла произнести эту угрозу.

Загадочный автор знал, что явление романа под таким названием не останется незамеченным. Поединок с великим Дюма должен был вызвать всесобщий ажиотаж — и вызвал! Само название уже гарантировало успех — кто не пожелал бы прочитать новые приключения общего любимца, графа Монте-Кристо, и его прекрасной супруги! Расчет автора оказался верным. Он (а точнее, она) дал борзонистам возможность самим раскопать это давнее дело и подсунул им прелестную приманку. Если бы в редакцию любой парижской газеты, включая знаменитый «Журнал де леба», пришло письмо, в котором излагалась бы подлинная история гибели несчастного де Труавиля, судьба его была бы незавидна — прошло столько лет, а жизнь каждый день преподносит шумные и скандальные новости. Сейчас же, когда «Секрель» в поисках автора модного романа произвела целое уголовное следствие, она просто обязана сделать из него то, что называется сенсацией.

Вернемся к угрозе.

Мы уже знаем, что благородный генерал де Труавиль не предавал Японского пашу и уж тем более не торговал его наложницами и дочерьми. Однако девочка существовала и исчезла. Строго донпрощенный, Дюканж сообщил, что малютка некоторое время вместе с несколькими плениницами жила под охраной артиллеристов, покровительствуемых де Труавилем.

А теперь перенесемся во Францию.

Вернувшись домой, генерал встретился с давним своим приятелем, французом Рангларом, который незадолго до того женился на прелестной женщине, молодой вдове. Насколько можно судить по портретам, это была нежная и хрупкая блондинка, настоящая дочь Евы. Ранглар же, в чьих жилах текла (возможно, и по сей день течет) немецкая кровь, с виду был сущий здоровяк-эльзасец. Нам, жителям Санкт-Петербурга, знаком этот тип дородного и бе-

локожего немецкого молодца с льняными волосами и румянцем во всю щеку.

Наш парижский корреспондент не поленился и отыскал миниатюру, изображающую госпожу Ранглар с дочерью. На портрете — девочка лет четырех, смуглая и черноволосая, не имеющая ни малейшего сходства с матерью и отцом.

Отчего бы не предположить, что де Труавиль, спасая дочь своего погибшего покровителя от его врагов, которых наколилось предостаточно, тайно вывез ее во Францию и отдал на воспитание в семью друзей?

Это лишь предположение. Вот еще аргумент в его пользу. Супруги Ранглар нежно любили друг друга, но других детей у них не родилось. Возможно, к тому дню, когда де Труавиль привез из Янны девочку, госпожа Ранглар уже знала, что судьба лишила ее счастья материнства.

И третий аргумент. Люди, знающие эту чету, рассказали, что госпожа Ранглар совершила длительное путешествие, из которого привезла малютку, и сообщила нескольким подругам по секрету, что родила девочку, которую окрестили Алжеликой, еще не будучи повенчана с господином Данегларом и соблюдая траур по своему покойному супругу, отчего вся эта история и была окутана мраком неизвестности. Поверить в это возможно, особенно если в дело замешано завещание покойного супруга, — нам известны случаи, когда жестокие мужья, умирая, лишили жен наследства в случае, если они, оставшись вдовами, вторично выйдут замуж.

Как бы то ни было, чета Ранглар вырастила девочку так, как растят родное дитя. Ей напоминали лучших учителей, чтобы ее музыкальные способности получили полное развитие. Никто и никогда не принуждал девушку к замужеству. Она же звала присмных родителей отцом и матерью, так что большинство парижан не сомневались в том, что юная Алжелика — дочь финалиста и его супруги.

И вот грянул тром — началась публикация романа «Граф Монте-Кристо».

Разумеется, семья Ранглар могла попытаться опровергнуть обвинение в адрес де Труавиля, но это помешало бы счастливому будущему и, возможно, удачному замужеству юной Анжелики. Да и доказать, что девочка — дочь Али-папы, Ранглар не мог. Когда де Труавиль увозил ребенка из Греции, было не до составления документов.

И тут на сцене появляется женщина, которая одна лишь могла решать, должен или не должен свет знать тайну ее дочери. Эта женщина выведена в романе «Граф Монте-Кристо» под именем Эрмины Данглар. Все нити ведут к ней — лишь она знала все подробности этой истории, лишь она могла быть автором романа «Графиня Монте-Кристо». И лишь она могла пригрозить подлецу, что вот-вот раскроет тайну Анжелики Ранглар.

Нам известно имя, которое она теперь носит, но называть его мы не станем. Когда эта дама пожеласт, мы готовы предоставить страницы нашего журнала для опубликования ее письма. И лишь в этом случае прозвучит ее новое имя.

Госпожа Ранглар оказалась сообразительной дамой. Обнаружив, что господин Дюма снабдил ее незаконнорожденным младенцем и пронырливым любовником, она стала готовиться к худшему. Прочитав очередной выпуск романа, тот, где Эжени Данглар убегает из дома вместе с подругой своей, Луизой д'Армильи, она поняла, как следует поступить. Обратив все драгоценности в наличные деньги и раздобыв паспорт, она отправила свою дочь Анжелику с ее подругой, талантливой певицей, подальше от Франции, сперва в Вену, потом на север — в Санкт-Петербург, обещав приехать к ним, как только это окажется возможно. Муж предлагал ей уехать в Америку, чтобы начать все сначала, но она предпочла остаться в Париже, чтобы выследить врага. Ранглар уехал один — всеми презираемый и проклинаемый.

Свет полагал, что жена тайно отправилась следом за мужем. Но она, покинув дом, где была так счастлива, поселилась в предместье и стала распутывать клубок злодеяний гнусного Баржетона де Камюзо. Наконец все ей

сделалось ясно. Она не могла выступить против подлеца открыто — этим она навела бы на след горячо любимого мужа кредиторов. И она поняла, что с романом «Граф Монте-Кристо», ставшим зловещим губителем репутаций, надо бороться, написав другой роман, в котором можно перейти в нападение и все расставить по местам.

Вот откуда прекрасное знание оперной музыки, которым щеголяет автор романа. Вот откуда и знанье Санкт-Петербурга — госпожа Ранглар могла бывать в гостях у Анжелики и ее подруги, под вымышленными именами получивших ангажемент в нашем Большом театре. Очевидно, ей был лично знаком человек, которого полюбила подруга Анжелики и с которым в конце концов тайно обвенчалась.

Надо ли говорить, что певица, несколько сезонов выступавшая под именем мадмуазель де Мергейль, несколько лет проведя за границей и став счастливой матерью троих прелестных малюток, служит украшением светского общества? Ее имя пусть также останется загадкой для тебя, о не в меру любознательный читатель!

Как же сложилась судьба той решительной девицы, с которой в романе «Граф Монте-Кристо» г-н Дюма списал Эжени Даиглар? Дочь старого разбойника Али-наши менее всего хотела стать нежной супругой и любящей матерью. Некоторое время спустя после того, как ее подруга покинула сцену, Анжелика Ранглар продолжала выступать, предпочитая роли, требовавшие переодевания в мужской наряд. Затем она предложила дирекции Императорских театров написанную ею оперу. Опера была отклонена, и мадмуазель Ранглар покинула Санкт-Петербург. По недостоверным сведениям, ее встречали в Париже, переодетую мужчиной; говорят также, что она отбыла в Америку — истинный приют всех неординарных натур, которым тесны рамки Старого Света.

И мы предчувствуем последний твой вопрос, читатель: так кто же тайно приезжал к сотруднику «Отечественных записок» — светская дама, бывшая несколько лет назад певицей, или же сама госпожа Ранглар? А если это

была госпожа Ранглар, то кто сопровождавший ее мужчина?

Опомнись, легковерный читатель! Тебя предупреждали: это лишь домыслы, догадки, полет романтической фантазии! Правды мы не знаем и, сдается, не узнаем никогда. Так что читай роман «Графиня Монте-Кристо» и сам распутывай все узлы, выслеживай его героев на улицах ночного Санкт-Петербурга, презирай подлецов и сочувствуй их жертвам, содрогайся от предательства и радуйся торжеству справедливости. А мы умолкаем, ибо и так, кажется, сказали слишком много.

часть четвертая

МАЛЕНЬКИЕ ЗЕЛЕНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ

ЕЛЕНА ПЕРВУШИНА

Доброе утро, последний герой!

Посвящается А. Стуколину, худфану

1

12

апреля 1973 года летчик-испытатель Эдуард Громов возвращался на аэродром, когда руководитель полетов попросил его оценить неопознанный объект, который внезапно вошел в зону полетов. Эдуард предполагал, что его ждет встреча с аэростатом или геодезическим шаром, а возможно, с зондом, посланным, как он выражался, «нашими вероятными братьями по разуму из стран НАТО».

Однако, приблизившись к заданной точке, он увидел нечто серо-стального цвета с шарообразной верхней частью и усеченым конусом внизу. Между шаром и конусом находился узкий пояс, усеянный круглыми пятнами правильной формы, напоминавшими иллюминаторы. Ничего подобного прежде наблюдать ему не приходилось, но он все же полагал, что имеет дело с зондом-шпионом иностранного производства.

Эдуард как раз испытывал скорострельную пушку для истребителя-бомбардировщика МиГ-27, и в этом полете у него остались невыпущенные снаряды. Поэтому, недолго думая, он предложил:

— Товарищ командир, может, сбить его на фиг, чтоб не висел?! В конце концов, он зашел несанкционировано в наше воздушное пространство.

Руководитель полетов откашлялся.

— Я бы не стал с этой штуковиной связываться, Эдик, — ответил он чуть погодя.

— Да ничего, я ее в момент разнесу.

Пока они беседовали, истребитель Эдуарда выполнял маневры с разворотом, заходя на цель то справа, то слева. Цель так же неподвижно и безучастно висела в воздухе.

— Не надо, Эдик. — Голос руководителя стал тверже. — Уходи.

— Есть, товарищ командир!

Эдуард со вздохом последний раз взглянул на объект и повернулся к аэродрому.

НЛО лег па ребро, выполнив маневр расхождения с истребителем, затем, заложив крутой вираж, устремился к земле. Над ближайшим полем он включил лазер и несколько минут кружил над волнами ржи, старательно выписывая на стандартном галактическом языке: «Земляне — баxларопы!»

2

Саманта Джонс, сенатор Галактического Конгресса, досадливо поморщилась и отвернулась от иллюминатора. Ее собственный корабль, замаскированный под небольшой астероид, мирно дрейфовал по геоцентрической орбите. Был он тем не менее неплохо вооружен, и несколько секунд Саманта боролась с искушением всадить пару зарядов в корму космического хулигана, только что выпарапавшего очередную гнусную писульку на лице матушки-Земли. Сенатор прекрасно знала, что *баxларопы* — это черви-надальщики с Татуина. Существа со слабо развитой нервной системой и необычным, но крайне неэстетичным циклом размножения.

Стрелять она, конечно, не стала, но в душе поклялась разыскать обнаглевших писателей и устроить им веселую жизнь. Больше всего ее возмущало то, что эти осквернители памятников культуры останутся безнаказанными. Ведь земляне даже не в состоянии прочесть и понять оскорбление, не говоря о том, чтобы достойно на него ответить.

Из-за некоторых интриг в Конгрессе родители Саманты (также особы весьма высокопоставленные) были вынуждены надежно спрятать свою малолетнюю дочь. Так будущий сенатор попала на воспитание в семью простого патрульного Джонса из Оклахомы. И, став взрослой, она по-прежнему настолько преклонялась перед земной культурой и душевными качествами землян, что даже свой короткий отпуск старалась провести поблизости от любимой планеты.

Но на этот раз отдых с самого начала был испорчен. Саманту всегда обижало то пренебрежение, с которым относились к землянам соседи по Галактике. Подшучивать над людьми считалось хорошим тоном. Порой шутки перерастали в откровенное издевательство. Чего стоил один Розуэллский инцидент, когда во время вскрытия из тела энлонавта (муляж, изготовленный подпольными умельцами на Дентуне) вдруг забили фонтаном на редкость липкие и вонючие экскременты юпитерианских атмосферных медуз, а спрятанный в голове псевдоинопланетянина универсальный магнитофон-переводчик заверещал: «Только без рук, старый козел!» Несмудрено, что всю документацию по этому инциденту тут же строжайше застекретили.

Сенатор коснулась украшенного драгоценными камнями браслета на запястье, и корабельный компьютер, получив сигнал, принялся выводить на экран последние новости информационных агентств Земли, особо выделяя сообщения о наблюдении летающих тарелок.

Их было немало. То в Миннесоте огненный шар пугал мирных жителей, то близ заснеженного города Петрозаводска тарелка пристраивалась позади тепловоза и развлечалась некоторое время, ускоряя или тормозя тяжелый состав. То в Бразилии какой-то особо ретивый шутник выдавал себя за Деву Марии и обещал сообщить тайные знания об устройстве Вселенной.

Да, бессовестные межпланетные вандалы не желали оставить ее милых землян в покое.

А земляне по-прежнему даже не догадывались, в каком дурацком положении они находятся.

Большинство попросту пренебрежительно отмахивались от сообщений бульварных листков. А те, кто верил, все равно заблуждались. Одни готовились отражать нападение жестоких инопланетных агрессоров. Другие полагали, что энлонавты прибывают на Землю за генетическим материалом, и надеялись внести лепту в заселение Галактики. Третьи жаждали откровений и тайных знаний с неба. Четвертые были уверены, что у ФБР и КГБ «уже все схвачено» и контакты идут полным ходом.

Компьютер Саманты меж тем продолжал выдавать последние публикации с попытками анализа поведения энлонавтов. Глаза галактического сенатора наполнялись слезами то от смеха, то от сдерживаемой ярости.

«Конечно, не исключено, что пилоты НЛО могут оказаться обитателями каких-то других планет, хотя никаких логических предпосылок для подобного утверждения нет. Если природа НЛО паразитична (и, как следствие этого, они обычно остаются невидимыми), то они, скорее, могут быть созданиями невидимого мира нашей планеты, нежели существами паразитической сферы какой-либо другой планеты Солнечной системы.

Предположим, что НЛО паразитичны, способны отражать свет подобно призракам. Предположим также, основываясь на показаниях многочисленных наблюдателей, что они становятся видимыми, когда со сверхвысокими скоростями перемещаются из одной позиции в другую. Тогда из всего сказанного вытекает, что, оставаясь видимыми в момент перемещения, они не дематериализуются при прекращении перемещения, а просто их масса становится прозрачной из-за своей диффузной природы и эфирной субстанции. Данные наблюдений подтверждают их паразитичность, что повышает вероятность их земного происхождения, а не инопланетного. Астральный мир иллюзий, который хорошо известен от богатых воображением лиц и их проповедей, битком набит склонными к разным проявлениям духами. Складывается впечатление, что одни из них горят желанием продемонстрировать нам свою мощь, другие — преподать уроки морали.

Все эти представители астрального мира, весьма вероятно, искренне взывают к человеческому сознанию, преследуя иногда специальные цели, может быть, подгоняя нас по пути технического прогресса, а порой просто изумляют простаков с целью, которая известна лишь дьяволу».

Маршал Королевских военно-воздушных сил
сэр Виктор Гедаил.

«Своей книге „Микрокосмос и макрокосмос“ авторы дали непривычный подзаголовок: „Учителя Космоса о структуре микромира и Вселенной“. В этой безумно интересной книге, в частности, говорится о том, что видимая в нашем четырехмерном континууме Вселенная — это лишь часть бесконечных, невидимых для нас планов мироздания. Вокруг нас простираются необъятные n -мерные миры — материальные, реальные, наполненные движением, информацией, энергией, взаимными и бесконечными превращениями видимых и невидимых элементарных частиц друг в друга, переходами их в иррациональное пространство и другие измерения.

Рассматривается время — Универсум — и его частицы в материальных телах — хрононы, формирующие вместе с информационной составляющей Универсума матричные программы развития и эволюции живых и неживых систем Космоса.

И еще — описывается информационное поле планет, астероидов и других образований Космоса как часть Универсума Вселенной, имеющая собственные законы формирования, заполнения и прочтения информационных матриц.

Говорится и о пси-энергии, одной из могущественных сил во Вселенной, энергии, которой обладает каждый человек на Земле. Она рассматривается в качестве примера неиспользуемых резервов нашей планеты.

На этом фоне еще явственнее ощущается бездна, разединяющая наше незнание от действительно необходимого знания законов развития».

Петербургские исследователи НЛО
В. С. Злобин и В. Г. Федотова.

Саманта вздохнула. Поистине это замкнутый круг. Инопланетяне ведут себя так, что ни один достойный человек не поверит в их существование. Он скорее предположит, что столкнулся с неизвестным природным явлением, чем с поведением претендующего на разумность существа. Те же, кто верит... Лучше бы они молчали! Именно благодаря им Земля и заслужила репутацию планеты шизофреников, фанатиков или просто темных людей, над которыми не смеется только ленивый.

«Милая, я прекрасно понимаю, почему ты так держишься за своих протеже! — сказала как-то Саманте ее всегдашая соперница в Конгрессе высокомерная Лея Органа. — Могу себе представить: золотое детство, первый поцелуй с аборигеном в стоге сена. Но это же не повод для нас приближать к себе этих неотесанных мужланов!»

Саманта отомстила, и отомстила жестоко. Гиплоконтакт с одним из самых талантливых земных режиссеров — и вот уже в ее руках великолепный фильм, в котором ненавистная интриганка Органа не только вешается на шею неотесанному мужлану на допотопном, на ладан дышащем корабле, но и радостно обнимает в финале своего брата — ЧЕЛОВЕКА! Каково?! Как хотели остальные конгрессмены на закрытом просмотре! Однако популярности Земле эта выходка Саманты все равно не прибавила. Еще счастье, что Лея не была знакома ни с авторитетным мнением британского маршала, ни с откровениями петербургских парафизиков.

3

Человеколюбивая сенаторша в раздражении мерила шагами свою каюту, постукивая по полу туфельками, вырезанными целиком из огромных драгоценных камней. Брат... Да, родственные связи внутри отдельных социальных групп землян чрезвычайно сильны. И это так трогательно и прекрасно! И вдруг ее буквально ослепило внезапное прозрение. Саманта нашла выход! Теперь она зна-

ла, как познакомить своих высокомерных современников с достойным представителем человеческой расы. Тренированный ум сенатора мгновенно разработал план действий. Придется подождать лет двадцать. Но что такое двадцать лет в масштабах галактической истории?!

Она включила актирианский сканер и направила его луч на погружение в ночную тьму Западное полушарие. Вскоре она нашла подходящего кандидата. Мальчик двенадцати лет. Хорошая внешность (красавцем не станет, но, вероятнее всего, сохранил свое обаяние и в зрелые годы), хороший достаток в семье, хорошее образование.

Одной рукой Саманта вела поиск по базам данных, другой снимала и расшифровывала энцефалограмму.

Единственный сын. Для его социальной страты это нехарактерно. Но что поделаешь! Отец — ответственный работник, от малоподвижной жизни рано обзавелся простатитом и смог оставить после себя только одного наследника. Ладно, это не так важно. А что у нас с характером?

IQ 120. Замечательно! Искренность 95 % по шкале Гловера, гибкость мышления 80 %, альтруизм — 75 %. Прекрасно! Несомненно, она напала на одного из самых достойных представителей человечества. У этого мальчика большое будущее. И сейчас она возьмет его будущее в свои руки.

Гипноконтакт!

Темноволосый мальчик застонал, попав во власть комара, от которого не мог проснуться.

Свет... Очень яркий... ослепительный свет... Этот свет испускает летательный аппарат. Он перемещается быстро и беззвучно. Вот он завис над домом, луч скользнул в окошко спальни. Девочка лет восьми в ночной рубашке. Она кричит, зовет на помощь, мальчик пытается вскочить с кровати, но не может шевельнуть ни единым мускулом. Девочка вдруг начинает уменьшаться, словно ее втягивает внутрь аппарата. Крик обрывается...

Оставалась мелкая работа. Провести сеанс гипноза с родителями мальчишки. Пусть также считают, что у них был еще один ребенок — дочь, которая однажды ночью исчезла при таинственных обстоятельствах. Соседи, учителя в школе будут, несомненно, удивлены. Они скажут

мальчику, что никогда не встречали его сестру. Пускай. Это приведет его к мысли, что люди вокруг склонны лгать. Он захочет самостоятельно найти истину. Ему не будут верить, но это закалит его, заставит добиваться своей цели во что бы то ни стало.

Прости, я делаю тебе больно. Но я знаю, ты придешь. Ты научишься отличать правду от лжи. Ты поймаешь этих безнравственных уродов. Ты отомстишь им за поруганную честь Земли. Я жду тебя.

Прекрасная женщина в сверкающих одеждах склонилась над гипноизлучателем и шепнула:

— Меня зовут Саманта. Я жду тебя. Я рядом...

ВИКТОР ТОЧИНОВ

Муха-цокотуха

1

Муха, Муха-цокотуха, позолоченное брюхо, Муха по полю пошла, Муха денежку нашла...

Да, все так оно и было.

Даже позолоченное брюхо. Почему бы и не считать позолоченным брюхом изыск пирсинга — сережку, украшавшую отнюдь не ушко, но пупок Тани Мухиной? Мать, конечно, ругалась; отец молча повертел пальцем у виска.

Ну и что?

Женщинам испокон веку хочется себя украсить, и первую из них, проколовшую с этой целью уши, родитель наверняка покритиковал аналогичным жестом... Со времен Евы мужчины-шовинисты не теряют женщин-новаторов. Притесняют и изгоняют из эдемов. Хотя у Евы, по слухам, пупка не наблюдалось...

Муха шла не по полю — по одному из бульваров Царского Села. Вернее, по пустынной липовой аллее, протянувшейся вдоль него. Наверное, думала Муха, под этими липами гуляла юная Ахматова с влюбленным в нее Гумилевым, а чуть раньше здесь же хулиганистый лицеист Пушкин в компании дружков прикидывал, где бы раздобыть бутыль казенной, соорудить ведерную чашу пунша и устроить пиршку совсем как у взрослых...

В общем, романтичное место. Поэтическое.

Таня Мухина стихов не писала, вопреки распространенному мнению, что в шестнадцать лет вирус виршеплетства

поражает всех особ женского пола. Но романтики не чуждалась, скорее наоборот...

Муха шла по аллее и не спешила. Хотя опаздывала. Но так и задумано. Пусть Толик подождет, помучится. Пусть не думает, что раз он двадцатилетний студент, то дуреха-девятнадцатилетница так сразу и повиснет у него на шее. И не только на шее — значение взглядов, бросаемых ее кавалером на иные части тела подружки, могла распознать любая, самая неискушенная девчонка.

Муха такой — неискушенной — и была. Но кружить головы кавалерам так и не сбывающимся надеждами весьма любила...

...Денежка лежала под ногами. Возле самого поребрика, отделявшего пешеходную часть аллеи от засаженного липами газона. Копеечка... Фу. Неизвестно, какого номинала и в какой валюте денежку обнаружило в поле пасекомое отряда двухкрылых, прославленное классикой. Но не копеечку, это точно. Иначе и пагибаться бы не стоило, не говоря уж о возможности закуцок кухонной утвари...

И Таня Мухина проплыла мимо. Не нагнулась. Пошла дальше, по-прежнему не спеша.

Но через десяток шагов узрела вторую денежку — того же достоинства и ровнехонько на том же расстоянии от поребрика. Совпадение это тоже никак внимания Мухи не зацепило. Но на третью монетку — расположенную точь-в-точь как две первые — она невольно взглянула чуть внимательнее... Что-то не так. То ли размер чуть-чуть отличается от копеечки, то ли блеск несколько иной.

Муха нагнулась.

Не просто денежка — валюта! Надпись на аверсе монетки гласила: «1 cent». Один штатовский цент... Хотя нет, нет... С американской мелочью Муха знакома, отец в молодости увлекался нумизматикой, да и сейчас не совсем забросил. Несколько центов и юбилейных десятицентовых у него завалялись, а Таня любила разглядывать монеты, мечтая о дальних странах...

Цент не американский. Память у Мухи хорошая. На штатовских центах отчеканено «one cent», на десятицентовых «one dime»... А латиноамericанцы пишут по-ис-

пански: «сентаво» («centavos»). Австралия? Новая Зеландия? Вроде валюта там тоже доллары, а вот как называется мелочь, Мухина не вспомнила.

Решая нумизматическую загадку, она вернулась назад, за двумя первыми монетками. Не копеечки... Те же центы неизвестной державы. Спрятав находки, пошла прежним курсом.

«Подарю отцу, обрадуется», — решила Муха и в тот же момент увидела четвертую денежку. Интересно... Такое идеально ровное расположение не могло быть случайным. Никак не могло. Не падают монеты из прохудившегося кармана с такой регулярностью.

Вторая загадка.

Первую, впрочем, Муха разгадала быстро, оглядев новые находки. Поднятая раньше оказалась слегка испачкана землей, не иначе, наступил кто-то, — и лишь теперь Таня увидела над мелкой надписью «1 cent» вовсе уже крохотные буковки «евро».

Вот оно что... Евро, новая европейская валюта. Татьяна видела и держала в руках купюры евро, но разменные монеты ей до сих пор не попадались, а они, помнится, как раз центы...

Отец обрадуется, подумала Муха. С легким разочарованием подумала: загадка решилась слишком легко.

Но оставалась вторая: кто и зачем раскладывал здесь монетки? Именно раскладывал — после пятой находки последние сомнения рассеялись. Обозначен путь. Или след? Чей? С какой целью?

Сладкое предвкушение тайны защекотало романтическую душу Мухи. Она обожала тайны и загадочные истории — с хорошим концом, разумеется. Запомнила читала книги о приключениях Гарри Поттера, по несколько раз пересмотрела снятые по ним фильмы и охотно принимала участие в многочисленных порожденных сериалом играх — эпидемия поттеромании бушевала среди школьников средних и даже старших классов.

...Шестая и седьмая монетки лежали почти рядом — в полуметре друг от друга. И, надо понимать, обозначали поворот пути или следа — здесь от бульвара отходила

подъездная дорожка к притаившимся среди зелени домам. Похоже, в одном из них жил коллега Мухи по увлечениям, ищущий единомышленников — таким вот интересным способом. Вариант беспроигрышный — надо иметь определенный склад характера, чтобы опознать в валяющейся под ногами мелочи тайный призыв...

Следующие монетки Таня не подбирала — пусть лежат, может быть, и первые она вернет на место, когда познакомится с загадочным автором послания. Нет, одну все-таки прихватит, для отца.

Таинственный путь привел к двухподъездному дому, исходящему на бульвар, — здание, живописно обрамленное зеленью, стояло во втором ряду построек. Два этажа — все дома тут стояли такие, много десятилетий обывателям Царского Села высочайшие запрещалось возводить строения, превышающие этажностью императорскую резиденцию. Муха, впрочем, жила на окраине, в новостройках. В точечной многоэтажке. Там — никакой романтики старых особнячков, помнятших звон гусарских цпор и шорох шелковых кринолинов...

У двери подъезда поблескивала очередная монетка. Таня юмдлила. Толик? Ладно, подождет час вместо запланированного Мухой получаса. Но входить в подъезд не спешила. Подняла голову — может, кто-то наблюдает и подаст знак? Никого. Разве что на нее смотрят в незаметную щелочку между занавесками... Очередной тест?

Таня заметила большую трещину, рассекающую фасад сверху донизу как раз посередине. Кое-как замазанная и скваченная скобами-стяжками, трещина показалась Мухе весьма романтичной... В какой-то полной приключений и ужасов книжке ей встречалось похожее — и в душераздирающем finale замок тайн рухнул грудой обломков, расколоввшись именно по такой трещине...

Она коснулась висевшего на груди кусочка янтаря с навеки застывшим внутри насекомым. Привезенный из Прибалтики, амулет помогал (Муха считала — помогал) в самых разных жизненных трудностях. Кстати, и с Толиком они познакомились, можно сказать, благодаря этому украшению — он заинтересовался, потом прочел длин-

шую, но увлекательную лекцию о янтаре и древних насекомых; учился новый кавалер на биологическом факультете...

Муха верила (иу, почти верила), что в сомнительных ситуациях стоит прикоснуться к амулету — и он подскажет, что делать.

Янтарь оказался теплым и приятным на ощущение, без противной, как порой случалось, скользкости. Все сложится удачно. Таня решительно шагнула вперед.

Приключилась бы подобная история в вечерней или ночной тьме, Муха бы призадумалась, стоит ли прислушиваться к амулету. Но яркий летний полдень рассеивал опасливые сомнения. Старинная высокая дверь подъезда скрипнула и пропустила ее внутрь.

2

Толик не ждал Мухину у Московских ворот, как она рассчитывала и, собственно, как он сам собирался. Он уже привык к Татьяниной манере постоянно опаздывать, но сегодня Толику отчего-то не стоялось на месте. Он бросал взгляды то на минутную стрелку часов, то на бульвар, по которому должна была подойти Татьяна, потом не выдержал и пошел ей навстречу.

Напряженно всматривался в даль, и — не то показалось, не то действительно — между зеленью лип мелькнул бежевый Танькин костюмчик. Мелькнул и исчез. Свернула? Толик прибавил шагу.

3

На площадке первого этажа лежала еще одна монетка. Последняя. Прямо перед дверью. Муха снова помедлила. Подняла было руку к звонку — и опустила. Как-то невовко... Вдруг там, внутри, взрослые солидные люди, понятия не имеющие об авторе этой шутки...

И тут дверь открылась. Без звонка.

Муха на всякий случай сделала вид, что просто так идет мимо. Прогуливается.

Высокий мужчина, одетый не по-домашнему — легкий светло-серый костюм, галстук, — ничуть не удивился, обнаружив за дверью Таньку.

— Вы, наверное, к Роберту? Проходите. — И он отступил вглубь прихожей.

Эмоций в голосе мужчины не слышалось. Не только удивления или недовольства нежданным визитом — вообще никаких. Голос напоминал механический, записанный на членку, — тот, что объявляет остановки в метро.

Муха не заметила этих фонетических особенностей. Внутри ее нарастило ликование: угадала! Есть еще приключения в жизни! И какое романтическое имя — Роберт... Она шагнула в квартиру.

— Прямо до конца и направо, — так же бесцветно проинформировал мужчина.

Глаза приспособились к полумраку вытянутой, пещерообразной прихожей, и Муха двинулась дальше. Прошагала мимо старинного трюмо с мутным зеркалом, мимо вешалки, обильно увешанной одеждой, мимо низкой длинной тумбочки, вся обувь в которой не помещалась и была навалена сверху, мимо всевозможного хлама, приткнувшегося в углах и развешанного по стенам...

Три ближние двери оказались закрыты. Четвертая, последняя, распахнута. Из нее прорывался в коридор поток солнечного света и распихивал, расталкивал в стороны пыльный сумрак. Муха немедленно вообразила себя героиней фэнтези, юной и отважной эльфийской принцессой, пробирающейся по пещере, полной опасностей, к... К чему, она пока не успела придумать. Но к чему-то прекрасному и сияющему...

— Роберт? — позвала Танька, смешав в нужной пропорции вопрос, извинение и некую долю кокетства. А неловкость, ощущаемую несмотря на всю любовь к авантюрам и приключениям, постаралась скрыть.

Никто не ответил.

Комната заливал яркий свет. Широченное окно с раздернутыми шторами выходило на южную сторону, на пус-

тырь и глухой забор военного училища, и солнце ослепило Муху.

Зажмурившись, она смутно увидела лежащую на полу человеческую фигуру, крестообразно раскинувшую руки. И ничуть не удивилась. Вполне естественно встречать в такой позе гостей, приглашенных столь необычным способом.

— Роберт? — позвала Танька громче и настойчивей, входя в комнату.

Фигура не пошевелилась, ничего не ответила. Глаза привыкли к яркому свету, и Муха наконец разглядела, что лежит на полу.

— Дурак ты, Роберт, и щутки у тебя дурацкие... — Голос ее дрогнул от разочарования.

4

Тревога нарастала.

Толик метнулся в одну сторону, в другую... Ничего. Танька не присела отдохнуть на скамейку (да и нет у нее такого обыкновения, не старушка, в самом деле). Не перешла усаженный лицами газон и проезжую часть, чтобы пойти вдоль домов, по тротуару...

Увидела его и решила поиграть? Спрятаться? Порой у Татьяны свет Ивановны рецидивы детства прорываются совершенно неожиданно...

Поразмыслив недолго, Толик отверг версию. Мухина, перед тем как свернула и исчезла из видимости, шла по открытому месту, а Толика скрывала зелень. Никак не могла она его заметить...

Обознался? Лицо ведь не разглядел... Мало ли девиц в Царском Селе носят бежевые костюмчики и коротенькие, не прикрывающие живот топики? Но Толик был уверен — она. Даже не в знакомой одежде и сумочке дело. Походка, пластика движений — точно она, Толик такие вещи чувствовал очень хорошо...

Стоп! Ведь Татьяна шла, словно что-то искала, что-то высматривала на утрамбованном песке аллеи...

Толик с максимальной точностью восстановил в памяти траекторию Мухи и двинулся по ее следам, внимательно глядя под ноги...

5

Как ни печально, родственной душой Роберт не оказался.

Придурок, склонный к дебиловатым шуткам, — Муха заочно вынесла свой вердикт. Есть и у них в классе такой, Вовка с дурацкой фамилией Огурцов, юморист всех времен и народов. Каждую неделю ездит в магазинчик «Приколы», что у метро «Горьковская», и считает верхом смешного подложить в портфель пластиковые фекалии или в мыльницу — красящий руки кусок мыла...

...Незнакомый Роберт не придумал ничего лучше, как соорудить лежащий на полу труп. Причем имитировал его на редкость бездарно. То, что он напихал внутрь спортивного костюма, за человеческое тело можно принять лишь на секунду и лишь при бывающем в глаза солнце. У тела объем гораздо больший. И резиновую маску (наверняка из тех же «Приколов»), заменяющую «трупу» голову, тоже стоило набить чем-нибудь — чтобы не осела бесформенно, чтобы сморщенное «лицо» не провалилось внутрь «головы»...

Муха скривила недовольную гримаску, но про себя отметила, что с финансами у Роберта получше, чем у дурака Огурцова — маска сделана гораздо тщательнее, чем те, что приносил Вовка. Волосы совсем как настоящие...

Она машинально нагнулась, протянула руку к голове «трупа», параллельно размышляя: немедленно ли развернуться и уйти или сначала высказать шутнику все, что о нем думает. Стоило из-за такой ерунды заставлять муничиться Толика...

Волосы у сморщенной маски оказались мягкие, шелковистые, на ощупь не похожие на искусственные. А лицо... Нагнувшись, Татьяна смогла оценить тончайшую сте-

пень имитации: крохотные морщинки в углах глаз, чуть синеющую сквозь кожу виска венку, угревую сыпь на лбу, старый, давным-давно заживший шрамчик над верхней губой...

Ничего кошмарного в маске не было, никаких окровавленных вампирских клыков. Но она пугала — вернее, своей *настоящестью* производила на редкость отталкивающее впечатление. Муха не без брезгливости коснулась кожи лба, пытаясь понять: как же это сделано?

Не резина... Больше всего похоже на... — Муха не успела закончить пугающее мысленное сравнение.

Сзади раздался звук.

Странный.

Неожиданный.

Тем более неожиданный, что — Муха лишь сейчас осознала — в квартире было тихо, как в склепе.

И в этой мертвотишине за спиной Тани послышалось что-то непонятное.

Не то постукивание, не то поскребывание...

Словно, чуть царапая коготками паркет, к ней неторопливо приближался какой-то зверек. Нет, пожалуй, не один, четыре лапы не могут ступать так часто... Звук раздражал, как будто когти неведомой зверушки царапали заодно и по хребту Татьяны...

Муха распрямилась мгновенно, как подброшенная пружиной. Но обернуться медлила. Почему-то не спешила увидеть и узнать, какую еще мерзкую шуточку измыслил недоумок Роберт.

Потом обернулась.

И широко распахнула рот, намереваясь закричать.

Но не смогла.

Толик ничего не понял.

Только что он шел по прямой, вдоль поребрика, ощущая каждую пядь аллеи глазами, и вдруг, совершенно неосознанно, сделал в сторону шаг, другой, машинально

отвел взгляд, скользнул им по кронам лип, подумал, что небольшой ночной дождь не помешает, листья совсем пыльные; кстати, про листки — не забыть бы отдать сегодня раздерганный на листки-иниаргалки конспект, поленился ксерокопировать в свое время, теперь придется тащиться через полгорода... Толик шел, ускоряя шаг, направо позабыв про Ташу Мухину.

Остановил он себя усилием воли. Постоял, приказывая ногам застыть на месте, — те так и порывались шагать непонятно куда. Вернулся назад. Не па то место, откуда началось непонятное, но за пару шагов до него.

И сделал эти два шага.

Опыт удался. Через несколько секунд Толик убедился, что идет уже вдоль противоположного газона аллеи и напряженно размышляет, у кого бы перехватить деньжат и рассчитаться с Дедюхиным, все чаще напоминающим про висящий с марта долг...

На третий раз он повторил все нарочито замедленно, контролируя каждую мысль, каждое движение...

С огромным трудом, но получилось. Толик сделал шаг, другой по заколдованному месту — наваждение исчезло. На лежащую монетку он не обратил внимания. Не обратил бы и на вторую — если бы непонятная сила слова не начала отводить в сторону.

7

Крик не прозвучал.

Воздуха не осталось — ни в груди у Мухиной, ни вокруг, воздух куда-то исчез, как из стеклянной колбы электролампочки. Рот открывался и закрывался беззвучно.

...Тварь, надвигающаяся из мрака прихожей, напоминала паука. Типичный паук — длинные суставчатые лапы; голова с мерно двигающимися жвалами, покрытая темным густым мягким пухом и опоясанная нялящимися во все стороны глазами; брюхо — блеское, шаровидное, не-пропорционально большое, жидкко-мягкое, колыхающееся, волочающееся по паркету.

Словом, самый обычный паук. Но размеры... Согнутые под острым углом колени оказались на уровне талии Мухи.

Такого не могло быть, но почему-то ей ни на секунду не пришло в голову, что это очередная щутка Роберта, что паук — искусственная подделка, что сзади тащится управляющий провод, а внутри тихонечко жужжат питающие батарейками двигатели... Паук был настоящий. Не мог — но был.

Воздух так и не появился. Всё внутри у Мухи сжалось, горло словно стиснула ледяная рука. Кровь стучала в висках болезненной барабанной дробью. И — она это хорошо почувствовала — по спине, вдоль хребта, где до сих пор отдавались скребущие шажки чудовища, побежал ручеек пота. Ледяного.

Твари оставалось пройти до Тани три шага — человеческих шага. Два. Один...

Странно, но паника тела на мозг не распространялась. Способность мыслить Муха не потеряла.

Надо что-то делать, вяло думала она, но бежать некуда, выход перекрыт... А ведь он не такой уж и большой, просто кажется громадным из-за длиннющих лап, а голова меньше футбольного мячика, если пнуть по ней хорошенько...

Мысли были тягучие, ленивые и почему-то никак не могли претвориться хоть в какие-то движения тела. Мысли оставались парализованными. Параллельно откуда-то появилось и крепло чувство, что это сон, кошмар, наваждение, надо лечь, расслабиться и закрыть глаза — все исчезнет, без следа развеется...

Членистоногая тварь приблизилась почти вплотную. Подняла переднюю лапу. Протянула вперед, едва не коснувшись Мухи... Та смотрела на ряд неподвижных немигающих глаз — и не могла пошевелиться. Почувствовала, как трусики и брюки в паузе намокли горячим, как внутреннюю сторону бедер защекотали струйки...

(...лечь... опуститься на пол... крепко-крепко зажмуриться... а сверху еще прикрыть глаза ладонями... тогда ничего не страшно...)

Пауков она боялась с детства. Обнаружив в ванне самого крохотного и безобидного, визжала и боялась подходить, пока мать не смывала паучишку струей из душа...

Конец лапы, казавшийся цельным, разделился вдруг на несколько частей, тоже суставчатых, шевелящихся, отдаленно напоминающих пальцы, и на концах псевдопальцев двигались, сгибались и разгибались какие-то крючочки, отросточки... Вся эта шевелящаяся мерзость коснулась обнаженного живота Тани.

Что бы там ни задумала тварь, если вообще умела думать, но последнее ее действие стало ошибкой. Отвратительное прикосновение вдребезги разбило паралич, сковавший мышцы. И — вымело из головы желание лечь, расслабиться.

Муха дернулась, отскочила назад. Воздух наконец-то ворвался в легкие свежей ледяной струей. Муха завизжала — пронзительно, на грани ультразвука.

Тварь как-то сжалась, подтянула лапы, стала меньше на вид — сдва ли от страха, скорей от неожиданности, но Мухе было все равно, она ринулась к окну. Первый этаж, выскочит, наплевать на стекло, пусть поцарапается, пусть порежется, лишь бы унести отсюда ноги...

Путь преграждал огромный, допотопного вида письменный стол. Пришлось огибать, протискиваться между деревянным четвероногим монстром и стеллажом, заваленным всякой всячиной — книгами, дисками, деталями компьютеров. Она зацепилась, ткань затрещала, со стеллажа посыпалось содержимое полок.

Тут запястье Мухи что-то цепко ухватило, дернуло назад, разворачивая... Она обернулась, снова взвизгнув. К левой руке приkleился прозрачно-серый, чуть тоньше мизинца шнур. Другой конец шнура остался у паука. Муха рванула — шнур выдержал. Попыталась оторвать пальцами другой руки — шнур прилип намертво.

Краем глаза Танька увидела движение твари, испуганно взглянула туда. Паук уже не держался за шнур, тот теперь крепился к полу, а чудище странно, боком, неторопливо передвигалось, но почему-то не к Мухе, а к противоположной стене.

Она снова попробовала освободиться — отдирала гигантскую паутину осторожно, постепенно, с края, как при сохший лейкопластырь. Помогло! Казалось, в руку впились тысячи микроскопических зазубренных крючков, пежелающих выходить из кожи, раздирающих ее, но проклятый шнур — медленно, больно — отлипал от запястья...

Муха, искоса поглядывая на затихшего у стены паука, закончила освобождение. Облегченно потряслась свободной конечностью, попыталась отшвырнуть паутину — и безнадежно застонала. Шнур прилип к пальцам правой руки...

Она торопливо оглядывалась в поисках чего-либо остального и не уловила тот момент, когда тварь метнула новую паутинку. Заметила что-то вроде несущейся в лицо струи, защитно вскинула свободную руку — предплечье сдавило, стиснуло, и Муха впервые услышала тихий голос твари — невоспроизводимое сочетание шипящих и скрежещущих звуков.

Паутину дернулась, натянулась. Муха хотела в отчаянии вцепиться в нее зубами — и не вцепилась. Вместо этого завизжала: «Сюда!!! Скорей!!!» — потому что в коридоре затопали шаги. Людские шаги.

Человек, торопливо вошедший в комнату, — тот самый, открывший дверь, — отреагировал на увиденное странно. Точнее, никак не отреагировал. Не смотрел ни на бьющуюся в тенетах Муху, ни на паучину, выстрелившую в нее треттым шнуром. Человек вцепился двумя руками себе в горло, точно его тоже стиснула паутинка, но невидимая. Лицо корежилось, искажалось гримасами. Потом тело грузно осело на пол, голова откинулась далеско назад, очень далеко — и шея спереди лопнула, разошлась поперечной трещиной...

Муха, глядя на это, оторопела, на мгновение даже забыв о собственных проблемах. Голова запрокинулась, коснувшись затылком спины, и сморщилась, опала внутрь, как давешняя маска, а на ее месте...

Вместо головы — человеческой головы — из торса торчала другая... С мерно двигающимися жвалами, покрытая

темным густым мягким пухом и опоясанная рядом щемящими глаз. Глаза смотрели на Муху. Она попыталась закричать, заорать во весь голос — и опять не смогла.

Тело на полу подергивалось и постепенно опадало, как проткнутая надувная игрушка. Вторая тварь вытягивала наружу длинные суставчатые лапы...

8

На третьей или четвертой монетке все удивительные ощущения куда-то исчезли — Толик шел по следу уверенно, как почувствовавший дичь сегтер. Одну денежку, правда, выхватил у него из-под носа карашуз детсадовского возраста, рисовавший мелом на асфальте и до этого отчего-то не замечавший валявшейся рядом наличности.

Но Толика было уже не сбить. Он торопливо вошел в подъезд, увидел последний тускло блеснувший кругляш, втиснул палец в кнопку звонка. За дверью — ни звука. Отключен свет? Сломался звонок?

Он забарабанил в дверь кулаком. Ее обтягивал дерматин, бугрившийся пухлыми ромбами, — еле слышный звук тут же погас в мягкой звукоизоляции... Толик приник ухом к замочной скважине, — может, звонок тут негромкий и он не слышит его звук в глубине квартиры? Палец снова придавил кнопку.

И Толик услышал.

Не звонок. Приглушенный девичий визг.

Он как-то неуверенно, вполсильы, толкнул дверь плечом. Ерунда, бесполезно. Не нынешняя трухлявая ДСП. Старая добротная работа, без кувалды тут и Шварценеггер не справится... Метнулся зачем-то на несколько ступенек вверх, остановился. Застыл на секунду в раздумье. Из-за двери донесся — или почудилось? — новый визг.

Толик вылетел из парадного. Сориентировался, куда выходят окна. Бегом обогнул угол дома. Пустыри, кусты, ядовито-желтый забор — и ни одного человека. На окне — решетка. На соседнем — тоже. Третье призывно по-

блескивало давно не мытыми стеклами, причем не защищенными.

Он ухватился за оконный карниз, рывком подтянул-ся... Вглядываться внутрь не стал — прикрыл лицо локтем и навалился на стекло.

Линолеум скользнул под ногами — Толик не удержался, приземлился на колено. Осколки обрушились звонким ливнем чуть раньше — один попал под коленку, исприятно кольнул сквозь брюки. Лоб сдвинуло — сам не заметил, как зацепил за оставшийся в раме хищный стеклянный клик...

Он оказался на коммунальной кухне — две газовых плиты, четыре столика, четыре полочки с посудой... Людей не видно.

И вообще, вторжение, похоже, прошло незамеченным.

Никто не возмущался, никто не орал в телефонную трубку: «Алло! Милиция?!» Типчина. Нехорошая типчина. Опасная.

Он подавил порыв немедленно броситься на поиски Таньки. Двинулся вперед медленно, настороженно поглядывая по сторонам.

И чуть не споткнулся о ноги, торчащие из-под стола. О женские ноги — на одной домашний плечанец, другая босая...

...Трупом это назвать было нельзя. Пустая шкурка, не то выгрызенная изнутри, не то... По крайней мере, нога, за которую ухватился Толик, пытаясь вытащить тело из-под стола, сгибалась легко и свободно в любой точке. И не обнаруживала внутри никаких признаков костей, хотя бы и переломанных.

Вот, значит, что... Вот, значит, чем тут занимаются...

Он протянул руку к магнитной доске, с негромким лязгом отлепил самый большой нож. Широкий, с тяжелым обушком и длинным клинком, он явно предназначался для разделки мяса. Толик пальцем попробовал лезвие, улыбнулся — нехорошо, зловеще...

После секундного раздумья отлепил другой — почти такой же длинный, но с узким лезвием. Для резки хлеба? Не важно, буханки и батоны пластиать не придется... Второй нож он засунул за ремень сзади, аккуратно вывернув

лезвие наружу, чтобы при неловком движении не проткнуть самого себя.

Толик вышел из кухни, зачем-то (после высаженного окна) стараясь ступать бесшумно.

9

На шум вторжения твари отреагировали. Прекратили на мгновение работу — на вид суетливую и бессистемную, но на деле продуманную и быструю. Замерли, обменялись скрипящим шипением...

Потом один паук — тот, у которого брюшко болталось крохотным сморщенным мешочком, куда-то исчез из поля Мухиного зрения. Над ней продолжал хлопотать другой — свое огромное и шарообразное брюхо он едва ли смог бы втиснуть в человеческое тело.

Танька хотела крикнуть, предупредить неведомого спасителя (она очень хотела надеяться, что спасителя), но не могла. Паутина уже закрывала ей губы...

10

Толик Комаров обладал неплохой реакцией.

И после трех людских шкурок, найденных в бессжизненных комнатах, был готов ко многому. А еще ему повезло.

От двери Толик сразу бросился к серебристо-серому бесформенному кокону — наружу торчали лишь волосы и верхняя часть лица Мухи.

Тварь — та, с огромным брюхом, — таилась у входа, за открывшейся дверью. И выстрелила жгутом паутины. Он заметил — боковым зрением. Отреагировал взмахом руки с зажатым ножом. Паутина ударила о лезвие. Раздался скрежет — словно сталь столкнулась с чем-то не менее твердым. Жгут бессильно упал на пол.

Мухе — она могла наблюдать схватку, только вывернув назад голову и закатив глаза под лоб, — хотелось крикнуть: «Скорей! скорей! убей его!!!»

Она уже поняла, что пауку требуется какое-то время для нового выстрела. Однако носовым мычанием передать это знание не могла...

Толик осторожно, полукругом, пытался обойти тварь, вытянув руку с ножом и не приближаясь. Он старался держаться подальше от паучьих жвал, не уступающих размерами клыкам крупного хищника.

Паук поворачивался вслед за противником, не давая зайти со стороны беззащитного брюха. Жвала угрожающе шевелились, с них капала темная тягучая жидкость...

В схватке наступила короткая пауза — напряженная, готовая взорваться смертоносной атакой.

Где же второй? — думала Муха, одолеваемая тоскливым предчувствием: битва с монстрами закончится совсем не так, как бывает в романах и сказках. Сейчас паук снова метнет свой аркан, а второй где-то рядом, против двоих Толику в жизни не выстоит...

«Господи, Господи, Господи, сделай так, чтобы он победил, — твердила про себя ни во что не верившая Муха, — я ему отдамся, я выйду за него замуж, я рожу ему троих... нет! пятерых детей, я...»

Ничего больше она пообещать не успела.

Дальше всё смешалось. Слитное, непрерывно воспринимаемое движение исчезло. Остались короткие, слабо связанные кусочки, фрагменты.

Нож рассекает воздух, переворачивается в полете, блеснув в солнечном луче.

Навстречу — так же быстро — паутина.

Брюхо паука лопается. Зловонная жижа заливает пол.

Паутина вливается в лишившуюся оружия руку.

Второй паук появляется в поле зрения Мухи откуда-то сверху.

Толик выдергивает еще один нож.

Раненый паук быстро-быстро скребет лапами, оставаясь на месте и разбрасывая едкие капли. Одна попадает Мухе на лоб — и жжет как кислота.

Второй приближается — поверху, как-то удерживаясь на гладкой стене. Толик его не видит. Паук все ближе.

Нож рубит, рубит, рубит по паутине — впустую.

Муха иснускает — носом! — страшный, оглушительный, ни на что не похожий вопль. Толик дергается, обворачивается — и видит второго противника. Отскакивает — вовремя. Второй, похоже, метать паутину не может, но в движениях быстрее собрата.

Потом что-то быстрое, вовсе уж неуловимое, рушится стеллаж, опрокидывается кресло. Первый, раненый паук пронзительно скрежещет, второй тянется жвалами к Толику, а у того почему-то нет ножа...

Потом она, наверное, от страха зажмурилась, или по какой-то еще причине кусочек схватки выпал из восприятия.

Потом она увидела зажигалку в левой руке лежащего Толика, поднесенную к паутине, впившейся в правую. Колесико проворачивается — раз, другой, вспышки искр, — газ не загорается. И — наконец! — пламя касается паутины, та разваливается неожиданно легко, мгновенно, словно и не сопротивлялась так упорно стали...

Толик уворачивается от готовых вцепиться жвал, подхватывает нож... Взмах, еще, еще...

И всё кончилось.

11

Толик куда-то исчез, и Мухе стало страшно — страшнее, чем во время схватки. Казалось, она навсегда останется тут, спеленатая тугим коконом, в компании двух изрубленных монстров...

Потом он появился — со страшным грузом. С тремя почти невесомыми — выедеными, выгрызенными — когла-то людьми под мышкой. Аккуратно опустил их на пол. Волосы Толика слиплись от пота. Лицо покрывали крупные капли. Сказал (голос прерывался тяжелым, одышливым дыханием):

— Извини, сейчас всё распугаю... Не стоило оставлять... кого-либо за спиной... Но все чисто... Их было двое... И там еще остались... четыре... шкурки...

Муха промычала что-то утвердительное: дескать, все понимаю, просто страшно остаться одной, именно теперь — страшно.

Он поставил кресло на ножки, осторожно водрузил на него Муху в полулежачем положении — кокон почти не сгибался. Повертел в руках зажигалку, отложил в сторону. Долго искал конец паутины, нашел, подцепил ножом... Говорил успокаивающее:

— Всё уже кончилось, маленькая...

И что-то он еще говорил — Муха не слышала. Муха рыдала.

12

Распутать кокон быстро не получилось. Паутина здесь оказалась другая — значительно тоньше, чем ловчая, и не впивающаяся в кожу множеством невидимых крючков. Но было ее столько...

Принесенная Толиком откуда-то деревянка мелькала кругами вокруг головы Татьяны, серебристый ком рос на импровизированном веретене. Потом Толик пережег нить, взял новую палку, а из плена освободились лишь рот и подбородок Мухи.

К тому же, едва Мухина смогла говорить, начала задавать вопросы. Много вопросов. Истерика у нее закончилась на удивление быстро.

Толик отвечал, не отрываясь от работы.

— Что.. кто это был? — спросила Муха.

— Пауки. Ты же видела — самые обычные пауки. Только громадные. Чернобыльские. Мутация, радиация... Вскрытие покажет.

— Не-с-ет... НИКАКИЕ ОНИ НЕ ОБЫЧНЫЕ. Ты бы видел, как они меня сюда заманили... А как людьми притворялись... Может, инопланетяне? Галактические монстры?

— Едва ли... Обходились без всяких скафандров, нормально переносили нашу атмосферу, гравитацию... И... хм... в общем, нашу белковую пищу...

— Тогда откуда? А если... если где-то таких много?

— Не знаю... Есть теория, затерятая фантастами до дыр, о множественности параллельных миров. По одной из версий, образуются они при реализации — или не реализации — каких-то судьбоносных вероятностей... В одном мире Земля столкнулась с гигантским метеоритом, прикончившим динозавров, а в другом, допустим, разминулась. И млекопитающие обречены прозябать на задворках эволюции, никогда не породив хомо сапиенса... Если напрячь фантазию, можно представить мир, где никогда не появились позвоночные. И вот результат — разумные паукообразные. Арахниды. Да я тебе рассказывал про это, вспомни...

Муха вспомнила — ну да, заливал что-то такое, любил Толик научные теории, лежащие на грани не то фантастики, не то шарлатанства. Даже картишки набрасывал, как могли бы выглядеть разумные птицы, разумные... Называемых им тогда терминов она уже не помнила — в общем, всякие разумные рыбоиды и ползоиды... Тьфу. Танька тогда слушала невнимательно, кто знал, что придется столкнуться с разумными... как их там... арахнидами. Но теория Толика — в качестве объяснения происшедшего — имела один изъян.

— Подожди, подожди... Какой такой еще мир? Ведь мы в нашем? Откуда здесь эта гнусь? Дыра где-то? Так заткнуть же надо, пока не наползли!

— Нет, это ты подожди, маленькая, — сказал Толик, обозревая результаты трудов. Кокон сполз еще ниже, приоткрыв шею и плечи Мухиной. Теперь вращать палку вокруг Таниной головы стало гораздо труднее.

— Попробую новую методу, — продолжал Толик. — Не знаю, надолго ли меня хватит. Но разговаривать будет затруднительно.

Он встал, поднял палку над головой и стал обходить вокруг кресла и Мухи. Круг за кругом, всё убыстряя движение. Потом перешел на бег. Вскоре у Мухи от этого мелькания закружилась голова. Она закрыла глаза.

Хватило Толика надолго. Грудь Мухи освободилась, дышать стало легче, кокон сейчас заканчивался на локтях прижатых к телу рук.

...Толик остановился. Пошатнулся, оперся о стену. Комната раскачивалась, как корабельная каюта в десятибалльный шторм, и при этом норовила закружиться. Толик попытался сфокусировать взгляд на постере, висевшем на стене перед самым его носом,— там две участницы суперпопулярной группы наглядно демонстрировали преимущества однополой любви. Но Толику казалось, что дует превратился в квартет, потом в октет, потом в целый хор лесбиюшек.

Он сделал несколько пьяных, заплетающихся шагов и тяжело опустился на пол у кресла. Закрыл глаза. Сказал устало и медленно:

— Извини, технологический перерыв. Потом продолжим... Когда ж они столько накрутить успели? Стахановцы...

13

Муха попыталась вновь засыпать его вопросами, но быстро отстала — Толик отвечал неохотно, невпопад, односложно. Умаялся.

От ничего делать она стала глясть во все стороны — и почти сразу громко вскрикнула...

— Что такое? — встрепенулся Толик.

— Эт-то она... Т-та тетка... Точно, платье ее, волосы...

Теткой опустошенную оболочку можно было назвать с натяжкой, но Толик понял, о чем речь.

— Знакомая?

— Вчера... На улице подошла. Мы с девчонками шли, болтали — подходит, меня за рукав, в сторону, и: девочка, продай кулон, у меня, дескать, к гарнитуру идеально подходит. Я ее послала — так она еще полчаса клянчила... Большие доллары сулила.

— А ты?

— А я ей: подарок, мол, никак нельзя продавать, счастья не будет... Ну, отстала... Неужели... с этим внутри ходила?

Толик последний вопрос проигнорировал. Спросил новым, тревожным и отчего-то неприятным голосом:

— А где сейчас кулон? Сняла, дома оставила?

— Да нет... Эти гады сорвали... Вон туда куда-то утащили. — Муха показала взглядом на занавеску, отделяющую небольшой альков.

— Вот оно что, — протянул Толик. — Подожди, я быстро...

Он долго рылся за занавеской — и вышел оттуда уже почти нормальной походкой. Разжал кулак, высыпал на стол кучу янтарных украшений. Гарнитуром тут и не пахло — Муха узнала свой кулон, еще пару похожих, броши (абсолютно с кулонами не гармонирующую), одинокую запонку, что-то еще непонятное — вроде бы шахматную янтарную фигурку, донельзя стилизованную...

— Вот оно что, — повторил Толик тем же неприятным голосом. — А я поначалу надеялся — случайность...

— Что — случайность? Что?! — Муха почти кричала,

Толик не ответил, долго глядел на нее... Потом порылся в кучке янтарных вещей, взял брошь и Танькин кулон, поднес ей к глазам.

— Посмотри. Посмотри внимательно.

— Ну и что? Тоже с мухой... Как и мой, ты же сам все шупил: «Муха с мухой, Муха под мухой...»

— Это не мухи. Ты присмотрись. — Толик развернул кресло, поднес янтарь к ее лицу снова — так, что солнце насквозь просвещивало окаменевшие кусочки смолы.

Муха зажмурилась — свет слепил глаза, — но присмотрелась. Впервые присмотрелась к своему кулону в таком ярком, пронизывающем освещении... Потом к броши. Действительно, не мухи. Крыльев нет. Лапок — восемь. У обитателя броши — шаровидное, непропорционально большое брюшко... В общем, уменьшенные копии изрубленных Толиком монстров.

Мухе стало мерзко. Таскала на себе это... Спрашивать ничего не хотелось. Она поинтересовалась:

— Распугтай меня...

Голос звучал жалобно.

Толик, казалось, не слышал. Говорил негромко, задумчиво, как будто сам себе:

— Вот так оно и бывает... Именно так. Стоит кому-то открыть способ путешествовать сквозь миры и времена, а потом обнаружить, что в соседнем мире разумом наделены совереннейшие, с твоей точки зрения, чудовища, а твои собратья уничтожены или деградировали, стали безмозглыми тварями, — тогда такое и начинается... Ищут толчок, первопричину — и переделывают все по своему разумению... Корректируют орбиту астероида, и в этом измерении никогда не возникает мир разумных ящеров Рхнаа — странный, но по-своему красивый, — но империя земноводных отчего-то тоже не появляется, и на авансцену эволюции выходят захудалые и ничем не примечательные предки Хомо... А арахниды-сапиенсы тем временем ведут расследование. Раскашивают, чьими страениями в этом мире в смолу деревьев, росших некогда в небольшом ареале вымерших ныне паучков, было искусственно добавлено наркотическое вещество... Наркотик, сделавший смолу приманкой, мимо которой паучки не могли пройти — и вымерли. Погибли. Прилипли и окаменели. А они, и только они, могли стать предками разумных арахнидов — благодаря уникальному устройству передних лапок...

Откуда он это знает? ОТКУДА ОН ВСЁ ЭТО ЗНАЕТ??? — билось в голове у Мухи.

Но спросила она о другом:

— Как ты здесь оказался?

Он словно очнулся. Посмотрел на Муху — странно. Ответил не сразу:

— Где оказался? А-а... Да как и ты... По монсткам.

— Ничего не понимаю... Если это приманка, если охотились они за кулоном, то почему такая странная ловушка? Ведь по следу мог пройти кто угодно, дети могли денежки растищить...

Толик молча покачал головой: не могли. Но не стал рассказывать, что ловушку насторожили на одну-единственную дичь, что все прочие граждане, заинтересовавшиеся монстками, получали мощный психосуггестивный удар: проходи мимо, не задерживайся! Незачем объяснять... Теперь уже незачем...

Муха продолжала давить вопросами:

— Да и зачем им вылезать из этих.. из шкурок? Проще остаться в человеческом виде да и шарахнуть по затылку... Или... ну, не знаю... пистолет наставить. Отдала бы я кулон, жизнь дороже. Зачем — так вот? Пауками?

— Зачем?.. — Толик поскреб темя хорошо знакомым Мухе жестом. — Зачем... Знаешь, просто физически и морально невозможно таскать на себе шкуру чудовища, не снимая, — бесконечно долгие часы... дни... месяцы... годы... годы... годы...

Его губы шевелились отчего-то не в такт словам, а пальцы уже не чесали голову машинальным жестом, но выполняли там какие-то непонятные манипуляции.

Рот Мухи широко распахнулся.

Лицо, волосы, кожа стекли с головы Толика, как стекает шелковое платье с обнаженного женского тела. На Таньку смотрели два огромных глаза, похожие на граненые драгоценные камни, и в каждой грани отражалась крохотная Муха. Чуть ниже распрямлялся, разворачивался длинный, с руку, игольчато-острый хоботок...

Танька снова попыталась заорать изо всех сил — как уже дважды сегодня пыталась и не смогла под взглядом чужих немигающих глаз.

На этот раз получилось.

14

Два больших прозрачных крыла высохли и затвердили.

Толик Комаров — не шкурка, выгрызасная варварами-арахnidами, но великолепный живой костюм-симбионт — лежал на полу, аккуратно сложенный.

Существо, напоминающее гигантского комара, совершило небольшой пробный полет — пересекло комнату по диагонали, на уровне человеческого роста.

Неподвижно зависло в воздухе у стены — как раз возле пресловутого постера. Крылья трепетали, став невидимыми. Шум от них раздавался тихий, но сверляще-не-

приятный. Хоботок, выполнивший свою функцию, был снова убран. Огромные фасеточные шары глаз давали сектор обзора почти триста шестьдесят градусов, но смотрело существо именно на постер. В каждой грани-фасетке отражалась маленькая парочка любвеобильных певицек... Потом звук стал тише — анофелид медленно опустился, крылья сложились за спиной.

Грустная ирония ситуации состояла в том, что существо, много лет живущее под личиной Мухиного дружка Толика, было самкой. И вся цивилизация анофелидов состояла из самок, размножающихся партеногенезом... Но для успешной кладки яиц требовалась кровь. Кровь позвоночных уродцев, прозябающих на редких островах бескрайних болот Зззззузууссса. Существо, имевшее себя Толиком, долго оттягивало этот момент, хотя переполненный яйцевод грозил уже разорваться...

Ладно... Здешняя... хм... красная белковая субстанция оказалась вполне подходящей. Ночью предстоит полет к ближайшему болотцу...

Танька, мертво смотрящая в потолок широко распахнутыми глазами, так никогда и не узнает, что ее обещание — подарить Толику не то троих, не то пятерых детей — будет перевыполнено в десятки тысяч раз... Правда, дети окажутся мертворожденными — пи к чему преждевременно плодить нездоровые сенсации.

А потом... Потом снова постылая жизнь в постылой шкурке монстра... Жизнь, которая, как ни странно и страшно это звучит, все больше нравится какому-то уголку сознания... Снова навалится рутина привычных (как ни дико — привычных!) дел: сессия, а затем экзамены экстерном за третий курс, учеба на четвертом и — одновременно — изучение предметов курса пятого...

Будущему академику-биологу А. Н. Комарову придется чем заняться в своей будущей научной деятельности. Надо наконец выяснить, какие сволочи и каким образом создали в этом мире мутанта-росянку. Растение с замашками хищного животного и с наркотическим запахом, привлекавшим за *несколько километров* одно-единственное, ныне вымершее насекомое. Росянки живут тут до

сих пор — приспособились, перестроились, жрут случайно подлетающих-подползающих букашек... Но прекрасный мир Зазззуууссса здесь не возник и не возникнет — мир гигантских живых плотин, перекрывших все великие реки и породивших бескрайние — от горизонта до горизонта — болота.

Заодно, в качестве побочной темы, академику Комарову предстоит поработать со смолой некоторых хвойных деревьев, на его родине не растущих. Поскольку насчет создателей растений-убийц, росянок, есть очень пехорющие подозрения.

АЛИЯ ТРУНОВА

Враги

*Нью-Йорк, 7 марта 1992 года
3 часа утра*

Дану Скалли разбудил свет: бледные лучи, пробившись сквозь жалюзи, через открытую дверь палаты проникли в коридор и коснулись ее лица.

Еще не вполне понимая, где сон и где явь, Дана приподнялась на жестком диванчике, сонно прищурясь и вдруг поняла, что никакого света нет. Вокруг царила густая предутренняя темнота больничного коридора.

Чья-то рука легла на ее плечо. Скалли вздрогнула, резко оборачиваясь.

— Мисс, вам следует пойти домой и выспаться. — Голос молодой медсестры звучал сочувственно. — Ведь нельзя же так... вторые сутки подряд...

— Ничего, я в порядке. — Дана спустила ноги с диванчика, потерла лоб ладонью. — Как мистер Адамс?

— Без изменений. — Медсестра грустно покачала головой и отошла от Скалли. Казалось, девушка растворялась в темноте, только белый халатик плыл по воздуху.

Хриплой трелью рассыпался телефон. Обнаружив, что пиджака на ней нет, Дана перегнулась через край диванчика и зашарила руками по полу. Через некоторое время сотовый был извлечен из кармана и поднесен к уху.

— Да, слушаю... — пробормотала она, протирая слипающиеся глаза. — Что? Понятно. Сейчас буду.

На ходу приглаживая растрепанные волосы и застегивая пиджак, Скалли побежала вниз. У стойки регистрации ее перехватил Джон Догgett.

— Я за тобой. Люди Кулиджа отыскали Павшича и его компанию. Мы должны быть на месте через полчаса.

— Я знаю. Какие-то осложнения. — В голосе Дани вопроса не слышалось.

— Да. — Джон подвел ее к полицейской машине, открыл дверцу. — Мы нашли его. И Павшич взял заложников.

Скалли прикрыла глаза. Уже это было очень плохо. Но беда, как известно, не ходит одна. И Доггет, поколебавшись, добавил:

— С ним Фокс Малдер.

* * *

С неба сыпался мелкий мокрый снежок, наводя на мысли о Рождестве. В черной воде океана подрагивало разноцветье полицейских мигалок. Где-то вдалеке тоскливо, как одинокий оборотень, завывала сирена.

Обычно полузаброшенные склады на окраине Нью-Йорка пользовались популярностью лишь у мелкой криминальной нечисти да у копов, которые с завидной регулярностью проводили здесь облавы, вылавливая скучный бродяжий улов. На этот раз берег светился как под Новый год.

Под оперативный штаб приспособили такой же ветхий склад. Судя по характеру творящейся в нем деятельности, ФБР намеревалось расположиться здесь надолго. Где-то в углу уютно булькала кофеварка, на импровизированный стол были выдвинуты разноцветные кружки, а грузный мужчина любовно цеплял на матерчатый стенд планы и фотографии.

— Агент Кулидж?

Толстяк вздрогнул, бумаги вылетели из его рук, красиво спланировали к ногам Доггета. Джон наклонился и поднял одну фотографию. Худощавое, какое-то вдохновенно красивое лицо было у Фокса Малдера, серийного убийцы, а теперь еще — сообщника Руди Павшича, отставного майора ВВС США, ныне — фанатика-террориста.

— Агент Скалли, наконец-то вы прибыли! — Кулидж обменялся с коллегой рукопожатием, его пальцы были

неприятно холодными. — Штурм начнется через тринадцать минут.

— Штурм? — Дане стало нехорошо. — Простите, агент Кулидж, но не слишком ли вы торопитесь с силовым решением?

— Тороплюсь? — Возмущенно крякнув, Кулидж опустился на ящик, заменивший ему привычное кресло. — Подоспей вы сюда час назад, посмотрели бы, как летают пули между этими салями!

— А вы подумали о заложниках, Кулидж? Сколько их?

— Пять человек, захвачены в каком-то ночном баре. Личности еще не установлены.

— Послушайте, — Скалли оперлась руками о стол, — в случае штурма их личности, возможно, придется устанавливать уже в морге. Парни Павшича вооружены, да с ними еще Малдер... Они не задумаются перед тем, как пустить в ход оружие. Число жертв может исчисляться десятками. В прошлый раз...

— В прошлый раз вы уболтали его, да! — Толстяк неожиданно повысил голос. — Но сейчас этот номер не пройдет!

— Почему?

— Потому что вы появились на пять часов позже, чем требовалось! — Скалли показалось, или Кулидж произнес эти слова с горечью? — Люди Павшича убили троих наших. Время переговоров прошло.

— Я приехала, как только получила ваше сообщение!

— В самом деле? Я три часа висел на телефоне, пытаясь дозвониться до вас! Мне пришлось посыпать за вами детектива Догтета! Зная о том, что Павшич нелегально купил оружие, вы могли хотя бы не отключать сотовый! — Он засопел. — Конечно, я понимаю, сочувствую вам и все такое... Но вы агент ФБР, и не смейте забывать об этом!

— Я не отключала... — Дане осеклась. — Отложите штурм, Кулидж. Я позвоню ему, попробую поговорить.

— Нет, — невыразительным голосом сказал агент. — Осталось одиннадцать минут.

— Там ведь женщины и дети, верно? Они ведь приходят умирать целыми семьями... Может быть, все еще исправимо.

— Агент Скалли, не сходите с ума! Против Малдера у вас нет никаких шансов: Павлич полностью находится под его влиянием.

— Тогда я звоню Малдеру.

— Вы точно свихнулись, — не стал церемониться Кулидж. — Этот парень прикончил собственную сестру, не считая еще этого количества народа. Что ему эти жертвы?.. Хорошо. Звоните. Но помните: мы штурмуем склад через одиннадцать минут! Если, конечно, не произойдет чуда.

Кулидж демонстративно постучал по циферблату часов. Дана с досадой отвернулась и увидела, что Догgett снял пиджак и возится с бронежилетом.

— Ты что, тоже собираешься лезть в это дело?

— Я участвовал в операциях по освобождению заложников. Если ты это имеешь в виду.

— Тогда... будь осторожен. — Поколебавшись, Скалли провела ладонью по его щеке.

Догgett вздрогнул и перехватил ее руку. На мгновение в его взгляде отразилось то, что он никак не мог выразить словами: любовь, восхищение, безмерная тоска... Но вслух он сказал:

— Как Гордон?

— В реанимации. Он держится.

Такой страх и такая надежда прозвучали в этих словах, что Джон горько подумал: за меня она никогда так не переживала...

Скалли набирала на сотовом номер, но Догgett неожиданно остановил ее руку.

— Не звони Малдеру.

— Что? И ты туда же?

— Он знает, как ты ненавидишь его, и не упустит случая поиздеваться.

Дана глубоко вздохнула:

— Да, он мой враг. Да, он убийца. Но Малдер не дурак и понимает, до какого счета можно играть.

— Скалли, сыграть вничью хотят только нормальные люди. Такие, как Малдер, желают только выигрывать. И выигрыш для них — не цифры на табло. Им нужно взорвать стадион.

Скалли погунилась. Доггет, на несколько секунд задержав грустный понимающий взгляд на лице Даны, отошел от нее. Сарай быстро пустел. Те, кто остался, подтягивались к Кулиджу. На Скалли никто не обращал внимания.

Только бы Малдер согласился с ней разговаривать...

— Да?

— Это Фокс Малдер?

— А кому он нужен?

— Мы с вами встречались раньше. — Сердце Скалли стучало неровно. — Я агент Дана Скалли. Помните?

— А-а, самый очаровательный агент ФБР, как же я мог вас забыть? — В его голосе звучали такие обаятельные озорные искришки... И этот человек хладнокровно распорол живот лучшему другу Даны. — Я приготовил вам сюрприз.

— Малдер, я не хочу кровопролития. Вы говорили, что считаете свою жизнь конченой, неудавшейся... что хотите хотя бы умереть эффектно. Но эти люди, за что им умирать?

Он молчал. Не задумчиво, нет. Насмешливо.

— Скалли, я ведь убил вашего лучшего друга, этого журналиста.

— Малдер... — начала Дана и осеклась. Слава богу, он не знает, что Гордон жив. И Горди выдержит, выкарабкается.

— Вы хотите знать, почему я это сделал? Я убил Адамса не потому, что он следил за мной. Останься он жив, вы бы еще не скоро подобрались ко мне... Я просто позавидовал вашему другу. Да. Странные вещи я говорю, не так ли? Гордон Адамс был дурак, неудачник, идеалист. Его выставили из колледжа, дай время -- выиграли бы из газеты. Но у него была мечта, он гонялся за жареными сенсациями, его били, над ним смеялись, а он все равно был счастлив, потому что видел перед собой цель, и жизнь

его была прекрасна. А мне не надо было хватать звезд с неба — они уже были у меня в кармане. Оксфорд, красивая жена, теплое местечко, растущий счет в банке... Звучит как сказка, верно? Но это была не жизнь. Что угодно, только не жизнь. Сладкос, жирное существование без мечты, без надежды, без цели... Хапнул крупный кусок — и лежи, жди следующего!

«Верно говорят, что с жиру люди бесятся», — подумала Скалли, кидая на Кулиджа умоляющий взгляд, чтобы выпросить еще несколько минут. Он покачал головой.

— Саманта поняла это первой. Она была сукой и наркоманкой, моя любимая сестренка, но она разбиралась в жизни. Я не убивал ее, как вы думаете, но ее смерть заставила меня начать... дело. Сколько там убийств вы на меня повесили?

— Одиннадцать, — сказала Дана.

— Можете верить, а можете нет, но их было куда больше. Причем вовсе не обязательно кому-то резать горло, чтобы лишить человека жизни. Самая страшная смерть — духовная, как говорили еще классики... А вы-то сами живы, агент Скалли?

— Наверное, вам как психологу это виднее.

— У вас был суровый отец, агент Скалли, и он совершенно раздавил вас как личность. Из всей семьи только вы проводите с родителями Рождество. Ваше сердце свободно, потому что вы даже не знаете, что такое любовь и дружба. Для души у вас был милый Горди и дружок-коп, которого можно иногда приглашать к себе, чтобы ночи не были такими одинокими. Вы никогда не думали о том, что разрушили его семью, лишили отца маленького ребенка? Вы считаете, что это и есть настоящая, светлая и радостная жизнь?

Скалли зажмурилась. Не слушать!

— Это моя жизнь, Малдер.

— Что ж, оставайтесь при своем заблуждении, Дана... Вы ведь позволите мне так называть вас? Знаете, вы никогда не будете счастливы. Как и я. Может быть, мне стоило в свое время пойти в ФБР, а вам заняться пси-

хологией?.. Ну ладно, Дана, до свидания, не буду больше утомлять вас своими рассуждениями.

— Подождите! — почти крикнула Скалли. На нее даже оглянулись. — О каком сюрпризе вы говорили, Малдер?

— Какая же вы любопытная, Дана... Скоро узнаете. Вокруг меня люди, которые хотят умереть за свою мечту. Может, если я умру вместе с ними, то увижу тоже свет в конце туннеля, каким бы призрачным он ни был?

В трубке поплыли гудки... В сердцах Скалли швырнула сотовый на стол. Кулидж взглянул на нее исподлобья:

— Ну и какие результаты?

— Никаких, — сквозь зубы сказала Дана. — Малдер любит поговорить... но исключительно не по делу.

Кулидж разочарованно крякнул:

— Ни к чему была эта болтовня, я ведь был прав?

— Нет, не правы. — Скалли обращалась уже ко всем присутствующим. — Из разговора я поняла, что они к чему-то готовятся. Отложите штурм, иначе может случиться нечто непоправимое.

— Нечто непоправимое случится, если мы не вмешаемся. Между нами: я ничего не имею против, если люди Павличча перестреляют друг друга, но я не хочу, чтобы перед этим они перестреляли заложников. Я выполню свой долг, агент Скалли. — Это было сказано холодно, жестко, уверенно.

«Это предприятие закончится чем-то страшным», — вдруг подумала Дана.

* * *

Склад пыпал; огонь насквозь проедал крышу, спекок мешался с черными хлопьями пепла.

Мимо Скалли везли распухшие черные мешки, несли носилки, на которых лежало что-то относительно живое. Некоторые шли своими ногами, но таких было немного.

«Почему склад так горит? — думала Дана. — Там же сырое, трухлявое дерево».

Столб пламени пригнулся под напором воды, но занимались уже и соседние постройки. По дороге текли два

параллельных потока — машины «скорой помощи» и пожарной охраны. Последние все подъезжали и подъезжали.

Помощь Скалли никому не требовалась, Догтета она найти не могла и гнала от себя мысли о том, что Джон оказался в числе тех, кому не посчастливилось слишком близко подойти к проклятому складу, когда в нем грянул взрыв.

Нелепой трусцой мимо пробежал Кулидж, с завернувшимся за шею галстуком, рядом с ним ожившим монументом вышагивал стриженый крепыш. До Скалли доносились обрывки их разговора:

— Четырнадцать... Когда потушат, еще неизвестно...
А сколько там...

Гордон был мертв. Умер в реанимации полчаса назад. Сгорбившись, Дана побрела к полицейской машине.

— Господи, да что же это такое? — хрипло произнес кто-то за ее спиной.

Скалли неохотно обернулась — и сердце пропустило несколько тактов.

Над складом медленно расплывалось пятив ярко-желтого света, рядом с которым тускнел даже огонь. Свет падал густым тестом, медленно, пластами, сваливаясь на крышу склада...

часть пятая

ГОРЬКИЙ ПИСАТЕЛЬСКИЙ ХЛЕБ

ВИКТОР ТОЧИНОВ

Ночь накануне юбилея Санкт-Петербурга

З а отдаенным иллюминатором — его писатель, как человек сухопутный, считал открытым окном — плыла ночь. И плыли берега — хотя их почти не было видно. Левый, близкий, во многих местах вздывающийся высокими отрогами, еще как-то чувствовался. На звезды (на те, что не догадались забраться на небесном своде в безопасные места, поближе к зениту), на эти недальновидные звезды наползали черные силуэты утесов. Звезды исчезали — словно там, в небесной выси, завелось огромное мрачное чудовище, пожирающее их. Потом появлялись снова, целые и невредимые, — словно прожорливое чудовище обладало весьма слабым пищеварением. Улыбнувшись такому сравнению, писатель отвернулся от окна, которое на самом деле называлось иллюминатором.

...Каюты были роскошные — мореный дуб, сафьян, бархат, слоновая кость, серебро. Поначалу писатель чувствовал себя в ней неуютно, но чувство это слабело по мере того, как убывало вино в покрытой паутиной бутылке. Кончились они одновременно — и «Божоле Луизион», и писательская неловкость. Впрочем, его спутник и собеседник откупоривал уже вторую — открывал сам, встреча старых знакомых проходила тет-а-тет, без стюарда и прочей вышколенной прислуги.

— Странно, что ты совсем не пьешь виски, — сказал писатель. — Почему-то мне представлялось, что ты обязательно пьешь виски.

— Пробовал много раз. Тут же лезет обратно, — коротко и мрачно ответил Хозяин.

Он действительно был хозяином и этого судна, и много еще чего хозяином. Матросы, прислуга и даже сам капитан звали его не шефом и не боссом, а именно Хозяином¹. Звучало это с неподдельным уважением и как бы с большой буквы — будто имя собственное. Писатель решил, что надо быть весьма и весьма незаурядным человеком, чтобы тебя называли так даже за глаза, и по неистребимой своей писательской привычке подумал: вставлю куда-нибудь.

Будем называть владельца судна (и не только судна) Хозяином и мы. А писателя... Ладно, писателя будем звать Писателем — тоже с большой буквы. Пусть ему будет приятно — тем более что к тридцати девяти годам известности он добился изрядной.

— Наверное, мой цапана заодно вылакал и то виски, что судьбой было отмерено на мою долю, — добавил Хозяин, разливая.

Вино лилось тонкой струйкой, и ударялось о хрусталь бокала, и в свете свечей казалось... Писатель мысленно замялся, поняв, что не может с лету подобрать сравнения — незатертого, яркого, свежего — *писательского*.

— За Санкт-Петербург! — провозгласил Хозяин уже третий сегодня тост за родной город. — За его юбилей. Семьдесят лет — не шутка, что и говорить. Странное дело, Сэмми: где я только не бывал, и попадал в красивые по-настоящему места, но до сих пор мне порой снится этот занюханный, сонный и вонючий городишко, где, по большому счету, ничего хорошего я не видел.

— Это, Берри, и называется — постальгия... — сказал Писатель. Произнес он на французский манер: «nostalъжи».

— Теперь я тоже знаю, что такое постальгия, — кивнул Хозяин. — Мне было тридцать с лишним лет, и я заплатил кучу хорошеных кругленьких долларов, чтобы узнать это и другие похожие слова. И что же? Ничего не изменилось, когда на душе скребут кошки, — назови

¹ В оригинальной речи персонажей слово «Хозяин» звучало не как boss, но как master.

это хоть по-французски, хоть по-китайски, а тебе все так же паршиво... Теперь вот мы плывем вверх по реке, а мне кажется, что вокруг не вода, а время... Время — понимаешь, Сэмми? А мы плывем ему встречь... Кажется, что снаружи — стоит выйти из каюты — все по-прежнему. И меня, одетого в лохмотья юнца, вышибут пинками с палубы первого класса и вообще с парохода... Нет, Сэмми, что ни говори, а Санкт-Петербург — маленькая паршивая дыра. И хорошо, что его юбилеи бывают не часто.

— Зато на заиграшном торжестве ты будешь первым человеком, Берри. Вот если бы ты родился, скажем, в Бостоне — на его юбилее затерялся бы в толпе знаменитых уроженцев. А так имению тебе предстоит открывать памятник Уильяму Смоулу... Я, кстати, до сих пор не понимаю, как тот похожий на армянина-ростовщика скульптор сумел уболтать отцов города и добиться возведения этакого бронзового чудища... Да и не Смоул это вовсе. Я сильно сомневаюсь, что старина Билли семьдесят лет назад, когда он вылез из фургона на берегу Миссисипи и сказал: «Строить будем здесь!» — был в треуголке, камзоле и высоченных ботфортах. Скорее в соломенной шляпе, домотканой блузке и башмаках с деревянными подошвами. И в руках держал не трость, а обычный кнут, которым погонял лошадей... Ты, Берри, видел эскизы памятника? Это же не фронтирьер, а какой-то хлыщ из Нью-Амстердама.

— Что там эскизы, Сэмми. Смоула-основателя отливали на моем заводе в Цинциннати и везли в Санкт-Петербург на моей барже. Мне он, между прочим, понравился. Большой, внушительный. А что одет не так — и сейчас-то его никто не помнит, а еще через семьдесят лет не будет и тех, кто слышал рассказы отцов и дедов о старине Билли. И он останется для людей таким, каким мы его изобразим. В треуголке и ботфортах... Но кое в чем ты ошибся. Памятник мы будем открывать вместе, стоя рядом. Потому что более никого, достойного такой чести, Сан-Питер не породил. Гордись. — И Хозяин вновь наполнил бокалы.

Писатель гордиться не стал. Сказал задумчиво:

— А ведь странно... Ведь кем мы были среди сверстников? Я — незаметный в любой компании середнячок...

А ты... Ну, не мне рассказывать, кем ты был тогда. Мне всегда казалось, что добываются успеха и прославляются или Джо, или Томми, или... Но никак не мы.

— Джо действительно мог прославиться, — подтвердил Хозянин. — Отчаянный был парень. В войну записался в «Белый легион Миссисипи», потом стал одним из лучших кавалерийских офицеров в армии генерала Ли. Готовился приказ о присвоении Джо чина полковника, когда он погиб под Геттисбергом. Глупо погиб — два эскадрона послали в разведку боем, фактически — на убой. Джо добровольно заменил лейтенанта, что должен был командовать смертниками, — к тому накануне приехала невеста... Кстати, в Санкт-Петербурге есть улица капитана Джозефа Гарпера. Ты не знал?

Писатель знал, но покачал головой.

— Тоже почти слава... — сказал Хозянин. — Правда, через двадцать лет и не вспомнят, кто это такой...

Они, не чокаясь, выпили за упокой души «Джо Кровавой Руки» — так в детских играх именовал себя их товарищ, подставивший грудь под картечь федератов. Подставивший за другого, точно так же, как когда-то — с презрительным спокойствием — принимал за чужие грехи розги от мистера Доббинса, учителя, очень не любившего детей.

Помолчали. Хозянин в той войне принимал участие косвенно — занимался поставками в армию северян. А Писатель... Ему довелось взять в руки оружие. Но как-то не всерьез, какая-то оперетка получилась. С компанией друзей-сверстников вступил в Миссурийский иррегулярный эскадрон — с шутками-прибаутками; казалось, продолжаются игры в Кровавую Руку и Черного Мстителя испанских морей на Индейском острове... Затем — неожиданно — полилась кровь. Настоящая. Понял — не для него. Уехал в Теннесси, в самую глушь, занялся журналистикой. И война проходила мимо. Потом убедил себя — так и надо было: кто-то воюет саблей, кто-то пером... Но не любил, когда при нем вспоминали Джо Гарпера.

Чтобы смснить тему, Писатель сказал:

— А помнишь Томми? Вот уж кто, все думали, прославит Санкт-Петербург. И вон как все получилось...

Хозяин согласно кивнул:

— Да, голова у него варила... Я всегда говорил: если уж наиз Томми до чего-то додуматься не может, так и никто не додумается. Я в Вашингтоне поначалу-то по делам бывал, все думал: зайду в какой департамент, а там он — в большом кресле сидит, клерками командует... А Томми как смылся с той смазливой блондинкой, так ни слуху ни духу...

— Так ты что... — медленно и тяжело сказал Писатель, — не слышал?..

— Что — не слышал? Нашелся наш Томми?

— *Нашли...* Год назад... Вернее, сначала нашли залежи руд — ну, знаешь, для этого новомодного металла, как он там называется...

— Алюминий, Сэмми, — мягко подсказал Хозяин. Но новомодный металл уже принес ему немалые деньги.

— Вот-вот... Нашли аккурат под Кардифской горой, начали разработку. И одна штолня натолкнулась на естественный грот. На какое-то дальнее ответвление пещеры Мак-Дугала, милях в четырех от ее главного входа. Там они и отыскались.

— Кто — они? — не понял Хозяин.

— Они. Томми и дочь старика Тетчера. Ну, тогда-то он был не старик, когда...

— Подожди, подожди... То есть — они не сбежали? Заблудились в пещере? И все годы их скелеты лежали там?

— Не скелеты, Берри. Мумии. Такой уж в той пещере воздух... Ты знаешь, я всегда стараюсь заскочить в Сан-Петербург, когда бываю проездом неподалеку. И через два месяца после той находки встретил старого судью... Не узнал. За полгода до того был представительный пожилой джентльмен — волосы «соль с перцем», спина примая, походка твердая... А тут — седой как лунь, сгорбленный, едва ноги волочит. Он ведь двадцать пять лет надеялся — жива его Ребекка, жива,растит внуков где-то, просто на глаза показаться боится. Самое страшное — они там просидели живыми не меньше недели. По крайней мере, Бекки неделю вела записи.

— Записи? Она взяла с собой чернила и бумагу? Лучше бы прихватила клубок бечевки, да побольше.

— Не было ни чернил, ни бумаги. Нашелся свинцовый карандаш, они отрывали клочки ткани от ее юбки, от рубашки Томми, и Бекки на них писала. Кошмарный получился дневник...

— Ты его читал? — спросил Хозяин с долей скептицизма.

— Нет, это почти никто не читал. Надеюсь, судья Тетчер его сжег. Никому не надо читать такие вещи — и неизвестно. Но мне рассказывал Бен Роджерс — ты должен его помнить, он сейчас окружной коронер... Так вот, он читал. И, говорит, не спал потом две ночи. Они... они умирали от голода, Берри. Вода там откуда-то сочилась. У них была с собой маленькая корзиночка для пикников — пирог, что-то еще из продуктов... Растигивали как могли, Томми уверял, что их ищут и обязательно найдут. А сам слабел и через неделю умер первым. Она нашупала рядом сверток со всеми его порциями... Томми до конца надеялся, что Бекки дождется помощи. Она написала большими перовыми буквами, свечи давно кончились: **ЛЮБЛЮ ЕГО. НЕ ХОЧУ ЖИТЬ.** И больше дневник не вела, сколько еще прожила, никто не знает... Мне порой хочется написать про них, но с хороним концом, чтобы они счастливее, выбрались, чтобы жили долго и счастливо, чтобы она родила ему пятерых детей...

— Напиши. А то история действительно потасная, — сказал Хозяин. — Но... знаешь, Сэмми, я даже не помню лица девчонки. И имя — Бекси — вспомнил, только когда ты его назвал. Звучит для меня всё как сказка — странная, но сказка... Надеюсь, Томми успел, пока оставались силы, поиграться ее любовью.

Прошедшие годы изрядно добавили ему цинизма.

— Как ты догадался? — неприятно удивился Писатель. — Я ведь не хотел тебе говорить...

— Напел загадку... Чем еще может заняться четырнадцатилетний парень с ровесницей — если темно, иди некуда и надо чем-то задавить страх смерти? Мне тоже было четырнадцать, когда...

Хозяин неожиданно замолчал. Писатель отметил странную вещь: лицо у его старого приятеля стало друг-

гим — мрачным, темным. Суставы пальцев, сжимавших бокал, побелели. А ведь про заблудившихся в пещере слушал гораздо спокойнее. Вспомнил свою страшную сказку?

Хозяин встал. Сделал шаг к иллюминатору. Постоял, глядя на круглый проем — Писатель мог поклясться, что звездного неба Хозяин не видит. Потом — два шага к двери. Застыл снова. Потом — быстро, уверенно — раскрыл отделанный слоновой костью погребец, ухватил сразу две бутылки. Поискав глазами штопор... Не увидел, и — резко — горлышком о край стола.

Писатель вздрогнул. Стекло хрустнуло. На палисандре столешницы появилась глубокая вмятина — и была видна даже сквозь накрахмаленную скатерть.

Вино — то, что не выплеснулось при ударе, — хлынуло в бокалы кроваво-красной струей. На скатерти набухали лужицы...

«Сейчас расскажет все, — думал Писатель с холодным удовлетворением. — Расскажет, никуда не денется, потому что дернул за какую-то дверцу в своей памяти, к которой прикасаться совсем не стоило. Пусть расскажет, а я послушаю. Может, куда-нибудь вставлю».

Прошедшие годы изрядно добавили цинизма и ему.

Но знания жизни добавили тоже. Писатель оказался прав. Хозяин рассказал всё. Причем — Писатель удивился — речь его изменилась разительно, словно и не платил старый знакомый кучу хорошенъких кругленьких долларов своим педагогам, словно действительно пароход плыл вверх по реке времени, словно рассказывал эту историю парнишка в лохмотьях, сидящий на старом бочонке, покуривающий трубочку из маисового початка и временами лихо сплевывающий сквозь зубы...

* * *

Это случилось в то лето, когда меня убили. Меня и моего папашу. Помнишь, Сэмми, ту историю? Я думаю, что в Сан-Питере о ней толковали долго.

Так вот, в то лето мой старик допился до белой горячки. Вроде бы обычное для него дело, да не совсем. На этот

раз вместо розовых тараканов или зеленых уточленников на папашу напустился сам Ангел Смерти. Причем мнится ему, что Ангел — это я. Ну, стариk мой за топор — и давай отбиваться. Хибарка у нас была — семь футов в ширину, десять в длину, дверь заперта, в оконечко разве что кошка проскочит. Вижу — конец пришел. Ни увернуться, ни убежать — разделает, как баранью тушу. Хорошо, успел я... В общем... Короче говоря, споткнулся старикан о бочонок с солониной и на пол рухнул. А там как раз мой ножик фирмы «Барлоу» валялся и...

И осиротел я, Сэмми, в четырнадцать лет. Горько мне стало, муторно. Сижу, думаю: вот панацка мой всю жизнь пил... Всё, что под руку подворачивалось, крал, вечно рядом со свиньями на старой кожевне пьяным валялся... А ведь никто мне руку не покажет, спасибо не скажет за то, что если не веревку, то уж ведро смолы и старую пеприну городу точно сэкономил. Нет, сэр! Сразу вспомнят, что был он каким-никаким, а гражданином Соединенных Штатов, и упекут меня в кутузку. Могут, правда, туда и не довести, по дороге повесить — другим строптивым сыновьям для острастки.

И решил я сказать «прощай!» штату Миссури. Но так, чтобы меня потом не ловили и не искали. Ну и обставил дело соответственно — будто кто-то дверь снаружи топором изрубил, нас с панацкой прикончил, а мой труп до реки дотащил — и в воду.

Короче говоря, загрузил в лодку всё, что в хибаре ценного нашлось, — и на Индейский остров. Затаился, день сижу, другой сижу — самого сомнения гложут. Поверили моей выдумке? Нет? Дай, думаю, сплавлю на миссурийский берег. Подкрадусь-подиолзу к пристани, может, и узнаю чего... Дождался темноты, поплыл. Едва причалил в сторонке — слышу: шум, крики, лай собачий. Факелы мелькают, пальнули пару раз из ружья вроде как... Нет, думаю, не судьба, другой раз как-нибудь. Стал отчаливать — из кустов человек. И — прыг ко мне в лодку! Гляжу — негр! Здоровенный, зараза, нахать на таком можно. Ну вот, думаю, сейчас моя придумка правдой обернется — и поплынет мой труп вниз по матушке-Миссисипи.

Но негр вроде мирный: чуть не на коленки хлопаетсѧ — спаси, мол, масса, не дай безвинно погибнуть. Линчевать его, видишь ли, собрались. Но мне-то что до его проблем? Своих кучा. Да только пока я его из лодочки вытихивать буду — тут обоих и повяжут. Ладно, говорю, садись за весла. Как он греб, Сэмми, как он греб! Борта трещат, весла гнутся. Даром что негр, а висеть тоже не хочет. Стрелой отплыли мили две — тут луна из-за туч. Негр лицо мое разглядел — и чуть за борт не сиганул. Да не смог — сомлел, отнялись руки-ноги. Тут и я сго призывал — Джим же это, его сестра старой здравы Локхид к нам привезла, когда погостить приехала, да на три года и застрияла. Что, говорю, весла-то бросил, греби давай к тому берегу. А он: не тронь меня, не тронь, я мертвцевов не трогал никогда, и ты меня не тронь...

Ну, отвесил я ему затрецину, чтоб прочувствовал, какой я мертвец. Помогло. Выяснилось: линчевать Джима собрались не за что-нибудь — за убийство меня и папаши. Он в тот вечер за дровами поехал, как раз неподалеку от нашей хибарки рубил. Ну, видел его кто-то там, потом вспомнил — и пошла потеха. В Миссури, сам знаешь, даже сейчас негру лучше не мелькать возле места, где белого убили. А уж тогда...

Ладно, думаю, негра от себя отпускать нельзя. Никому он не должен проболтаться, что я еще по этому свету разгуливаю... Тут он меня за рукав: пойдем, дескать, расскажешь, что я не убивал тебя вовсе... Говорю ему в ответ так спокойненько: мол, папашка мой, думаешь, тоже придется — и пятерней на Библию, что не ты его на ножик насадил?

Призадумался черномазый. Да и я в затылке чешу. А лодочку мою помаленьку течением сносит.

В результате всех раздумий получается, что сидим мы с Джимом в одной лодке. И в прямом смысле, и в переносном. Если его линчеватели поймают и он все расскажет — конец моей привольной загробной жизни. А если я попадусь — придется па него убийство папаши навесить, нет другого выхода. Так что лучше нам друг другу помочь унести ноги из тамошних мест.

В общем, поплыли мы в сторону устья Огайо вместе, Джим в свободные штаты податься решил. А мне все равно куда, лишь бы от дома подальше. Ночами плывем, днем отсыпаемся, питаемся чем бог пошлет. Попыт курицу — едим курицу, пошлет контину незапертую у берега — едим окорок, поле с молодым майсом пошлет — и за это богу спасибо. Рыбу еще ловили. Папаша мой, паверное, в гробу ворочался — если, конечно, ему городская казна на гроб расщедрилась. Сам-то был он рвань рванью, но белым цветом кожи крайне гордился. А тут сынок его единственный с негром связался, из одного котелка с ним пьет-ест, в одном шалаще спит, одной циновкой укрывается... Мне и самому дико поначалу казалось. Потом ничего, привык. Да и к Джиму пригляделся получше — все почти как у людей у него. Не совсем, конечно, по очень похоже. Жену он свою вспоминал, дочек, сына — плакал даже. А со мной — я когда понял это, чуть за борт не свалился, — со мной просто подружился. Хуже того, я и сам стал как-то... не знаю, как сказать... в общем, никогда не думал, что я за какого-то негра так тревожиться буду, когда нас у Сен-Луи чуть охотники за беглыми рабами не прихватили. Не того испугался, что все он обо мне расскажет — ничего бы он не рассказал, — за него самого.

Тем временем бог нас не забывал. Послал весьма удачно лавочку скобянную, плохо запергую. И стали мы с Джимом богачами — по шестнадцать с лишним долларов на брата, не шутка. Купили у плотников за полдоллара звено плота, палатку там капитальную установили, парусиной обтянутую, чтоб не возиться с шалашом на каждом новом месте. Да и вообще, плот не членок — на том целую ночь плыть тяжко, ни встать, ни пройтись, ноги не размять. На плоту же — иное дело. Медленнее, конечно, ну да нам спешить некуда.

В общем, плывем вольготно, как короли или герцоги. Обленились, ночью по берегам не пиратствуем, еду покупаем. Одежду себе новую справили... Тогда-то я на всю жизнь и понял, что главное в этой стране — капитал заиметь...

...В свободные штаты мы не попали. Вместо этого ночью в тумане угодил плот наш под колесо парохода.

Они там, как положено, в колокол били, но в тумане, знаешь, звуки странно расходятся, — казалось, мимо пароход проскочит... Не проскочил.

Короче, что получилось: плот вдребезги, пароход своей дорогой уплыл, мы на берег выбрались — без ничего и до нитки мокрые. Вокруг тьма, ни огонечка, лишь звезды над головами. Вдруг копыта «цок-цок-цок» — всадники. Подъехали, окружили, все с оружием... Двери фонаря распахнули, в лицо мне светят — на старину Джима никто и внимания не обратил. Всё, думаю, конец, догнали нас все-таки... Думал, к миссурийским линчевателям в лапы попал. Но попал я к Монтгомери, канзасским плантаторам. И до сих пор иногда сомневаюсь: может, к линчевателям лучше было бы, может, столковался бы с ними как-нибудь...

* * *

Полковник Роджер Монтгомери оказался настоящим джентльменом, Сэмми. Мой старикан говорил, что для джентльмена самое главное — порода, хотя сам папаша был не породистее подзaborной дворняжки. Уже ведь в немалых годах был полковник, но высокий, стройный как юноша. Всегда чисто выбрит, каждый божий день — свежая рубашка. Говорил негромко и мало, но когда начинал говорить, все замолкали.

Вся семья такая же. Джентльмены. Полковник овдовел лет десять назад, три сына с ним жили — Питер, Бакстон и Роджер-младший. Старшим — Питу с Баком — лет под тридцать, Род мой ровесник. И дочь у полковника была, Эммелина, восемнадцатый год ей шел. Ну и еще — «сестренки» и «братьцы», но про них чуть позже.

Дом у полковника стоял большой, внушительный. Двухэтажный, у входа восемь колонн — деревянные, но гипсом обложены, от камня не отличить. Вместительный, пять таких семей разместить можно, но... Но вот чем-то не понравился мне сразу дом тот. А чем — не пойму. Только смотрю на него, Сэмми, и нехорошо на душе както. Муторно. Словно за окно глядишь в ноябрьский день, когда все серое и жить не хочется... Хотя лето в тот год стояло солнечное.

Вот... Комнат в полковничьем доме было чуть не тридцать. Ладно спальня у каждого своя, ладно кабинет у полковника отдельный, ладно гостиная без единой кровати (а в те годы и в городах-то такое редко у кого увишишь) — так там еще и курительная комната оказалась! У меня — тогдашнего — просто в голове не укладывалось. Ну и комнаты для гостей, понятно. В одной из них меня поселили. А Джим где-то при конюшне ночевал, с другими неграми.

Я ведь какую историю полковнику рассказал: дескать, была у моего отца плантация небольшая в Миссури, негры были, там и жил я с семьей, пока не пришла эпидемия оспы. Родные все померли, плантацию банкиры-янки за долги забрали, а я с единственным негром моим оставшимся на плоту в Луизиану плыл, потому что денег даже на билет третьего класса не осталось... В Новом Орлеане у меня, дескать, родня дальняя — примет ли, нет, неизвестно, но больше податься не к кому. Ну а дальше всё по правде — про туман, про пароход.

Тогда думал — ловко это я про банкиров-янки ввернул, плантаторы их всех поголовно грабителями с большой дороги считали... Лишь годы спустя понял: едва ли старый Монтгомери сказочке моей поверил. Какой уж из меня плантаторский сынок — сразу видно: белая рвань. Но виду полковник не подал. Живу я у него в гостях неделю, вторую, третью — никто меня гнать не собирается. Кушаю за столом со всей семьей, словно родственник, негры ихние ко мне уважительно: «масса Джордж». Я на всякий случай полковнику Джорджем Джексоном назвался — вдруг в Миссури все-таки меня в розыск объявили...

А одии «братец» — Джоб его звали — надо мной как бы опеку установил. Надо думать, по просьбе полковника. Если я за столом что не так сделаю или еще где — полковник и сыновья вроде как и не заметят, а братец Джоб мне потом наедине тихонечко объясняет: так, мол, и так поступить надо было, мистер Джексон. И ничего, пообтесался я за то лето...

Кто такие «братьцы»? Ну как попроще объяснить, Сэмми... Десятка два их там жило, если с «сестрицами» вместе

считать, самому младшему лет двадцать пять уже. В общем, это тоже дети полковника оказались, но от мулаток, от квартиронок, грешен был старик в молодости, хотя совсем черными женщинами брезговал. На вид эти братцы-сестренки почти совсем как люди — от орлеанских креолов и не отличишь. Жили, понятно, не с неграми в хижинах — в доме, но в двух общих спальнях. И на плантациях спину не гнули: один слугами черными командовал, второй счетами да бумагами всячими занимался (они же все грамоте были обучены, что ты думаешь...), еще несколько за полевыми работами надзирали... Сестренки же просто без дела болтались — продать их у полковника рука не поднималась, а замуж кто возьмет... В общем, ни то ни се — ни люди, ни негры.

Как утро — полковник с сыновьями на коней и поля свои осматривать или на охоту. А я к этим делам непривычный, в доме остаюсь. Хожу как по музею — все в диковинку. Картины висят, гравюры старинные — хотя я много позже узнал, что это именно гравюры, но все равно красиво. Статуи оять же, целых три, не гипс какой-нибудь — натуральный мрамор. Хожу, смотрю — нигде ничего не заперто, даже спальни хозяйские, но туда-то я не совался. Только вот одна дверь... На первом этаже ее нашел, в неприметном коридорчике у черного хода — я тот закуток не сразу и заметил. Толстенная, дубовая, с коваными накладками — и два замка врезаны, а третий сверху висит. Интересно, интересно... Дом снаружи обошел, дай, думаю, в окно загляну, что там такое... Не выплю — нет окон в том месте. Решил: может, каморка какая, где полковник капиталы свои держит? Этаж шагами измерил — аи нет, не каморка, здоровенная комната получается, чуть не больше гостиной. Монтгомери, понятно, не из бедняков был, но и ему под казну что-то больно просторно выходит...

В общем, загадка. Тайна. Всякие мысли в голову лезут. А тут еще братец Джоб меня грамоте учить затеял — и успешно, я ведь все всегда на лету схватывал. По книжке детской учил — картинки там были, буквы крупные. Хитрую методу придумал — начнет какую сказку читать, до самого интересного места дойдет, я от любопытства

разрываюсь, до того узнать хочется, чем дело кончилось. А он: стоп, давай-ка сам дальше — ну я и лыхчу, слова из букв складываю... Одолели мы таким манером сказку про Синюю Бороду. И в башку мою дурная мысль втеснилась: а ну как у полковника там комната, как у той Бороды? С мулатками-квартеронками зарезанными?

Сам понимаю, что глупость, но из головы не выходит.

А как разузнать доnodлишо — не знаю. Не спросишь же полковника: что это, мол, вы тут, мистер, от честного народа иричите? Но в закуток тот порой заглядывал вроде как невзначай — вдруг да увижу, как кто входит-выходит. И увидел-таки! Дважды туда Мамочка при мне заходила да выходила один раз.

Кто такая Мамочка?

Это, Сэмми, негритянка была. Я таких, скажу честно, ни до, ни после не видал. Ростом — на голову выше меня теперешнего. Толстенная — не обхватишь. Старая-престарая, лет сто на вид, не меньше, но совсем даже не усохла, как со старухами бывает. И вполне бодро так по дому шныряет.

Ее полковник Монтгомери откуда-то лет пять назад привез... Причем не купил, а... Не знаю, смутная там какая-то история выпала, мне так толком и не объяснили. Но вроде как ее, Мамочку, продать нельзя, если сама к другому хозяину уйти не пожелает. Что, странно? Мне и самому, Сэмми, тогда странным это показалось — чтоб на Юге, да в те годы, да негритянка сама решала, у какого хозяина жить... Но такие слухи ходили.

Вот... А привез полковник Мамочку не просто так. Я уже говорил — дочка у него росла, единственная, Эммелина, попросту если — Эмми. Красивая девчонка — тоненькая, бледная, хрупкая, на «сестриц» пышнотелых вовсе не похожая. И с самого детства талант имела. Стихи писала, картинки всякие рисовала — и карандашом, и маслом, и водяными красками... Видел я те картинки и стихи в альбоме читал — благо крупными буквами, как печатными, написаны оказались. Хорошие стихи, и рисунки тоже, ино... Мрачные какие-то. Всё про смерть да про разлуку. Но талант от бога был, это точно.

Только недаром говорят: кому бог много дает — в смысле души, не денег, — того к себе и прибрать норовит поскорее. В тринадцать лет заболела Эмми — на глазах чахнет, слабеет, врачи руками разводят, ничего понять не могут. Старик Монтгомери денег не жалел — из Мемфиса докторов привозил, из Сен-Луи. Один даже из Орлеана профессор приехал. Да все без толку. Осмотрел Эммелину профессор, руки вымыл, говорит: мужайтесь, полковник, но жить дочке вашей не больше месяца.

Тогда-то в доме Монтгомери и появилась Мамочка. Поскольку среди негров слухи ходили — знахарка она, силу великую имеет, хоть мертвого на ноги поставит. Слухи и есть слухи, тем более между черными, — кто же к белому больному негритянку-то подпустит. Но полковнику тогда уже не до приличий оказалось.

И что ты думаешь, Сэмми? — вылечила Эмми старуха. Каким способом — никто не знал и, кроме полковника, не видел. А он никому не рассказывал... Стала дочка здоровее прежнего, однако рисовать и стихи писать перестала. На прочь. Словно жишка художественная в мозгу от болезни лопнула... Но полковник и без того рад был безмерно.

Мамочка же так в доме у него и осталась. При Эммелине. Вроде как прислуга личная, только никакая не прислуга, хотя много времени рядом с Эмми проводила. Знаешь, сейчас я ее назвал бы наблюдающим врачом. А тогда... Врач-негритянка? Смешно...

А теперь, значит, выясняется, что и в тайную комнату полковника старуха допущена. Меня пуще прежнего любопытство разбирает. Ренил у негров что-нибудь вызнать — через Джима, понятно. Его, лейтэя этакого, в поле работать не гоняли, он ведь моим негром считался... Иногда, если я куда прокатиться-прогуляться на бричке соберусь, — он на козлы, а так в основном бездельничает. Питается от пуз, раздобрел, животик уже паметился... Ну ладно, провел через него разведку. Выяснилось: ничего оненьки про то, что внутри тайной комнаты, негры не знают. С приездом Мамочки окна там кирпичом заложили, в дверь замки врезали, и никому туда ходу нет. Самой же Мамочки, между прочим, негры до смерти боятся.

Полковник, дескать, ни одного негра не продаст и не купит, с ней раньше не посоветовавшись. А продавать-покупать в последние годы стал отчего-то постоянно, зачастали к полковнику работогловцы. Причем как-то странно все происходит: сегодня партию рабов полковник продаст, завтра примерно такую же купит, словно не хочет, чтобы черные у него на плантациях долго задерживались. Дворовых слуг, с которыми Джим общался, это не касалось, хотя и они порой под горячую руку попадали и отправлялись на продажу. Но этих-то хоть за дело, за провинности какие-нибудь...

В общем, тайна осталась тайной.

И лишь в конце лета я ее разгадал. Вернее, мне показалось, что разгадал.

А тогда, в июле, на время загадка той комнаты у меня из головы вылетела. Потому что со мной другое произошло: случилось.

* * *

Месяц я где-то у Монтгомери прожил, может, чуть больше. И вот как-то утром, перед тем как в поля отправиться, приглашает меня полковник, негромко и вежливо: не угодно ли вам, мистер Джексон, проследовать в мой кабинет для серьезного разговора.

Я не против, в кабинет так в кабинет. Хотя у самого мыслишка — скажет сейчас мне полковник: загостился, парень, пора и честь знать. Одна надежда — может, денег на пароход до Луизианы предложит.

Ладно, прошли в кабинет, полковник за стол свой усаживается, на столе бумаги какие-то. Мне сесть предлагает и начинает разговор свой серьезный.

Для начала документ мне протягивает — возьмите, мол, мистер Джексон, ознакомьтесь. Я ознакомился — но не всё понял, а лишь где буквы печатные были.

Полковник объясняет, что мне негра моего, Джима, без документов везти в Луизиану никак невозможно и продать нельзя — отберут попросту. А это, значит, купчая, — дескать, купил я его у полковника вполне законно, и все приметы Джима там изложены.

Так-так, думаю, угадал: пришла пора прощаться. Слышаю, что дальше Монтгомери скажет. А он спрашивает этак по-простому: чем вы в жизни заняться собираетесь, мистер Джексон? Как равного спрашивает, как взрослого. А мне всего-то пятнадцатый год идет, хоть ростом и удался, на пару лет старше выгляжу, но сам — пацан пацаном.

Призадумался я: чем, действительно, в жизни бы заняться? Ну и вспомнил, как панапика мой однажды торговца хлопком ограбил и не попался — и полгода себе ни в чем не отказывал. Жил в Сен-Луи в лучшей гостинице — за три доллара в день, не шутка! Сигары курил дорогущие и хлестал вина, аж из Европы привезенные. Да еще устриц на закусь требовал — правда, без толку, никто таких зверей в Сен-Луи и в глаза не видел. Потом-то старик все спустил, конечно, но случай мне запомнился.

В общем, я солидно так отвечаю, что хочу заняться хлопковым бизнесом.

Прекрасно, говорит полковник, тогда я напишу письмо моим старым друзьям в Новый Орлеан, в торговый дом «Монлезье-Руж», чтобы, значит, они вас, мистер Джексон, приняли и к делу этому пристроили.

И что ты думаешь, Сэмми, — взял перо и тут же написал. Мне отдал, потом еще одну бумажку заполнил. Тоже мне протягивает.

Вот, говорит, мой вексель к Монлезье на тысячу долларов, чтобы вы, мистер Джексон, не просто наемным работником стали, но младшим партнером. А четверть прибыли, что на эти деньги причитаться будет, мне пойдет, — пока весь долг не покроете.

Ну, тут я обалдел просто. В те времена тысяча долларов о-го-го какими деньгами была, а уж для меня...

Так и это не всё. Вручает мне полковник восемьдесят долларов наличными — на проезд в Орлеан и на прочие расходы. Ну дела... Уж не ждал, что Монтгомери так по-царски меня выпроводит. Благодарю его, откланиваться собираюсь. Ай нет, разговор не закончен еще.

Теперь, говорит, когда я помог вам из стесненного положения выпутаться и свобода выбора у вас, мистер Джексон, появилась, делаю вам от чистой души предложение:

оставайтесь жить с нами. Вы нам, дескать, понравились, да и вам здесь вроде неплохо — будете, значит, как член семьи нашей. Ну а не хотите — так вольному воля, пожелаю вам удачи во всех начинаниях.

Удивил, ничего не скажешь. Озадачил.

По уму, ясное дело, хватать надо было деньги и документы да бежать, пока полковник не передумал. Когда еще такая удача подвалит?

А я бумаги взял — но остался. Почему, спрашиваешь?

Все очень просто. Я к тому времени влюбился в Эммелину Монтгомери. Запал. Втюрился. Втрескался. По самые по уши втрескался.

* * *

История, конечно, глупейшая, как в дешевом романе. Босяк, голодранец — и положил глаз на дочку богатого плантатора.

Но что делать? Сердцу-то не прикажешь... Сердце, как Эммелину увижу, норовит из груди выпрыгнуть и ускакать куда-то, будто лягушка какая. На пятнадцатом году жизни только так и бывает.

Она, Эмми, не каждый раз к обеду или ужину спускалась. Да и когда спускалась — поклюет чуть-чуть, точно итичка, непонятно даже, как прожить можно с таким питанием. Но у меня вообще кусок в горло не лезет. Сижу дурак дураком, чувствую лишь, что уши огнем полыхают. Ночью порой до утра ворочаюсь, представляю: как подойду к ней, что скажу... Но днем увижу — и стою одеревеневший, двух слов связать не могу. А если услышу, как на втором этаже она на клавикордах заиграет (к музыке способность у Эмми осталась) что-нибудь грустное такое, так просто места себе не нахожу. Выбегу из дома подальше, лицом в траву упаду, а мелодия все равно где-то там в голове звучит — и не понимаю я: не то мне петь под нее хочется, не то к реке пойти и утопиться. Дела...

Не поверишь, Сэмми, даже стихи писать пробовал — хотя только-только карандаш в руке держать выучился. Ничего не получилось, понятно.

Полковник Монтгомери, как я думаю, все заметил и все понял. Он, по-моему, вообще все замечал. И понимал... Потому что в тот же день, как мы с ним в кабинете побеседовали и я осталась согласился, ко мне в комнату, уже затемно, пришла...

Хотя нет, сначала про другое рассказать надо.

Полковник, со мной поговорив, плантации облезжал отправился. С сыновьями, как обычно. А ко мне в комнату братец Джоб заходит — ну, тот, что и грамоте меня учил, и другому...

Тоже разговор задушевный начинает — такое уж утро богатое разговорами получилось. Вам, спрашивает, мистер Джексон, наверное, полковник предложил здесь насовсем поселиться? Не иначе как у дверей подслушивал, морда квартиронская. Я молчу, даже головой не киваю. Он тогда мне так тихонько, чуть не шепотом: прежде чем вы решение примете, хочу вам кое-что поведать о жизни здешней. Если, конечно, весь разговор наш в тайне останется.

А я всегда страсть какой любопытный был. Помереть мне, говорю, на месте, если проболтаюсь кому.

Ну и начал он рассказывать.

Раз уж, говорит, вас полковник усыновить решил, не мешает вам узнать об одной семейной традиции.

Я перебиваю: как усыновить? С какой такой радости? У него и своих сыновей-наследников хватает.

И тут выясняется, что родной сын у Монтгомери один — Роджер-младший. А Питер и Бакстон — приемные. Хотя родила в свое время покойная миссис Монтгомери ни много ни мало девятерых сыновей, а десятую дочку, Эммелину. И шесть мальчиков от детских болезней не умерли, выросли, возмужали...

Где ж они все? — спрашиваю. Оспа, что ли, случилась?

Да нет, говорит, поубивали всех...

Оказалось, что Монтгомери и еще несколько семейств, с ними в родстве состоящих, издавна враждуют с Шеппервудами, тоже кланом богатым и немаленьkim. Кровная месть. Вендетта. Лет уж сорок тянется, а то и больше. Из-за чего началось, разве что старики помнят, но стреляют друг в друга Монтгомери и Шеппервуды регулярно.

Каждый год кого-нибудь и у тех и у других хоронят. В смысле убитых, не своей смертью померших...

Вот оно что, думаю... Я краем уха слышал что-то про вражду с Шеппервудами, но и знать не знал, что тут война натуральная. То-то я удивлялся: чего это полковник и сыновья поля свои осматривать ездят, по ружью да по паре пистолетов на каждого прихватив, словно там за каждым кустом команчи засели...

Как же, спрашивало, эти господа еще не закончились все? За сорок лет-то?

Объясняет братец Джоб: палят они друг в друга не абы как, а только по правилам. Нельзя, например, застрелить противника в его доме, или в церкви, или на кладбище, или когда он с женой своей или ребенком. А если праздники какие, или война с индейцами, или наводнение, — то перемирие наступает. И опять же, стараются Монтгомери с Шеппервудами делать так, чтобы случайно — в лесу или на реке — пореже сталкиваться. Потому как тогда — хочешь не хочешь — стрелять надо. Родовая честь обязывает.

Ну и, само собой, вендетта — занятие для джентльменов. Неграм и «братьям» вмешиваться не положено.

Рассказал мне все это братец Джоб и ушел.

А я сижу, думаю: ну спасибо, господин полковник, за честь великую. Это что же, и мне в Шеппервудов стрелять придется? Дудки, нечего мне делить с ними. Понимаю: надо брать Джима да бумаги, полковником написанные, — и дай бог ноги. Ну вас к черту, с вендеттами вашими и с дверьми секретными запертymi... Уж как-нибудь сам по себе проживу. И знаешь, Сэмми, даже собираться начал. Пожитки, что у Монтгомери нажил, в тючок стал укладывать.

Но тут наверху Эммелина на клавикордах заиграла. И я остался.

* * *

Я уже говорил: полковник, старая лиса, наверняка понял, что я на Эммелину неровно задышал. И принял меры. Хотя, может, все случайно совпало...

А произошло вот что.

Тем вечером гроза случилась, в июле не редкость. Я спать лег, а за окном грохочет, сверкает... Вдруг — между ударами грома — тук-тук-тук в дверь тихонько. «Сестричка» Молли на пороге — со свечой, в одной ночной рубашке. Было ей лет двадцать семь или двадцать восемь — полногрудая такая смуглышка, кровь с молоком. Я удивиться еще не успел, как она мне говорит: страшно, мол, грозы боюсь до смерти... Задула свечку — и юрк под мое одеяло.

Ну и...

В общем, стал я мужчиной — под гром и молнию. Молли в этом деле большой искусницей оказалась — когда ушла и уснуть мне наконец довелось, спал крепко, без всяких тебе до утра ворочаний... На другую ночь грозы не было, но «сестричка» снова ко мне... Не скажу, что мне все это не понравилось, наоборот... Но мысль об Эммелине все равно в голове гвоздем сидела, даже когда Молли самые свои заветные умения показывала.

И началась у меня жизнь странная. Раздвоенная.

Ночью с «сестричкой» кувыркаюсь, а днем по Эммелине все так же сохну, но, правда, чуть уже посижнейше. Аппетит вернулся, и стихов писать больше не пробую.

Порой мысль в голову приходит: нельзя так, надо что-то решить, определиться как-то... Но ничего не делаю, живу как живется.

А потом все рухнуло.

В одночасье.

* * *

В августе все случилось, в конце месяца где-то, — как сейчас помню, жара не кончилась, но клены у дома полковничего уже желтеть начали. Хотя тополя еще зеленые стояли...

...В воскресенье мы все в церковь отправились — и семья полковника, и другие его родственники. И Эммелина. Ну и я с ними. Щеппервуды тоже были — сидят на левых скамьях, Монтгомери на правых. Посматривают друг на друга недружелюбно, но все тихо, пристойно.

Там, слева, и Ларри Шеппервуд сидел, красивый такой молодой человек лет двадцати пяти. Но я его и не заметил, во все глаза на Эммелину глядел. И думал... В общем, не очень подходящие для церкви мысли думал. После близкого знакомства с Молли у меня вообще мысли не особо возвышенные часто в голове бродили. У нас, кстати, с «сестричкой» отношения странные были — за все время и полусотней слов не обменялись; днем она со мной держалась так, словно и незнакомы вовсе, ну а ночью я старался языку воли не давать, чтобы не назвать ее «Эмми» случайно. Потому как — что уж скрывать — всегда Эммелину представлял на ее месте.

Служба закончилась, все по домам разъехались, и мы тоже. Отобедали — и старик с домочадцами вздремнуть прилегли, был у них такой обычай. Я в своей комнате сижу, чем заняться, не знаю.

Вдруг в дверь кто-то тихонечко поскребся. Словно ноitem царапнул.

Открываю, и — гроб моей мамочки! — Эммелина. Первый раз ко мне заглянула. До того все мои вздохи-страдания она и не замечала вроде бы и держалась со мной, прямо скажем, как с мальчишкой. Как с младшим братом примерно.

Я стою, язык проглотил, то в жар бросает, то в холод. Но мыслишка где-то шевелится: а ну как она навроде Молли пришла?.. Ну как днем в жару одна спать боится?

Эммелина вошла и меня спрашивает: а как я, собственно, к ней отношусь? Вот так вопрос... Ну, я что-то пробормотал-выдавил: дескать, лучше всех к ней отношусь, ни к кому, мол, так не относился и относиться в жизни не буду... Глупо, наверное, все звучало.

Тогда она ко мне шагнула и говорит, что забыла в церкви свой молитвенник, на скамье оставила. И не мог бы я за ним сходить и принести, да не рассказывать никому про это...

А я, честно говоря, стою такой ошелевший, что ее слова до меня с трудом доходят. Молчу — ни да ни нет. Хотя по ее просьбе не то что милю до церкви — во Флориду и обратно готов был сбегать.

Она еще ближе ко мне придвигнулась. Руку на плечо положила. И говорит спокойно так: хочешь, поцелую тебя за это?

Хочу ли, ха... Только вот сказала она это опять же как братишке младшему — словно в лобик на ночь его поцеловать собралась.

Но я, спасибо «сестричке» Молли, ужс не мальчик был. Притянул Эмми к себе да и поцеловал в губы, понастоящему, долго, пока дыхания хватило, да со всеми сестричками поцелуйными штучками...

И странное дело, Сэмми, она вроде мне как и отвечает, но...

Показалось мне отчего-то, что губы у нее холодные, неживые какие-то — словно я сдуру статую в полковниччьей гостиной поцеловать решил. Причем именно показалось — так-то чувствую, что нормальные губы, теплые...

Всё это я потом понял, когда вспоминал тот момент раз этак, наверное, с тысячу. А тогда все внутри играло и пело — ну как же, сбылись мечты! И — снова Молли спасибо — вся робость делась куда-то, и я в ход уже не только губы, но и руки пustил...

Однако сломалось между нами что-то. Она мне и исмешает вроде, но опять же — кажется, что взялся за мраморные сиськи у статуи. Хотя вроде грудь нормальная, упругая... Я попробовал еще немного ее хоть как-то расшевелить — ни в какую. Руки у меня и опустились... Стою дурак дураком.

А она говорит тихонько: не надо. Сейчас — не надо. Выполню просьбу мою — и, если захочешь, приду к тебе завтра, отец на два дня по делам уезжает...

Ух я обрадовался! Значит, не безразличен ей все-таки. Значит, лишь отца опасается — и за меня небось опасается; прихватит полковник за таким делом с дочкой — мало не покажется...

В церковь пулей домчался. Гляжу — есть молитвенник, лежит на скамейке. Подхватил, обратно тороплюсь — и тут какой-то листок из книги выпадает, к полу кружится. И что-то на нем написано. Поднял, а прочесть не могу — только печатным буквам научился...

Вернулся и к ней в комнату сразу — впервые за все время, кстати. Она у дверей встречает, сразу молитвенник берет и на листок тот смотрит. Я возьми да спроси: что за бумажка, мол, а то чуть не вышла, не затерялась... Просто закладка, отвечает Эмми, да псалмы на ней кое-какие отмечены, чтобы не искать долго.

Отложила и книгу, и листок, снова меня поцеловала — и к двери легонько толкает, шепчет: завтра.

Я по лестнице спускаюсь, сам от счастья не свой. А навстречу — Мамочка. Вперила буркалы свои в меня, говорит: пойдем, молодой масса, погадаю тебе.

С чего бы? Никогда ни с чем ко мне не обращалась. Может, засекла нас с Эммелиной сегодня? Ну, пошел с ней.

Завела в каморку свою — жила Мамочка тоже в доме. На стенах какие-то растения сухие развесаны, на полках бутылки с чем-то мутным. На столике штучки разные — деревяшки странного вида, два барабанчика маленьких, погремушки из тыкв высушенных... А еще — череп. Не человечий, здоровенный такой, вытянутый — вроде как конский, а пригляделся — и не конский вовсе.

Стала гадать мне Мамочка. Странно гадать — без карт, без бобов, без шара волосяного. Подожгла от свечи две палочки — не горят, но дымят, тлеют. На меня уставилась — глаза в глаза. И молчит. Я тоже молчу, только слышно, как палочки дымящие потрескивают.

А потом что-то непонятное получилось. Что-то со стенами ее каморки твориться начало — то надвинутся они на меня, то обратно разъедутся. Я это только красн глаза видел — от Мамочки взгляд не оторвать было. Глазиши у нее огромные стали — словно плошки с дегтем.

Потом заговорила — странным голосом, чуть не басом. Суждено тебе, говорит, быть богатым и счастливым, ни в чем себе не отказывать, прожить до глубокой старости, детей иметь и внуков и умереть в почете и уважении. Но для этого придется тебе любимую убить и друга иредать, иначе не сбудется ничего. А теперь, говорит, уходи.

И — отпустило меня. Стены нормальные стоят, глаза у Мамочки тоже обычные стали. Хотел что-то я спросить

у нее, да она как рявкинет: УХОДИ!!! Аж пучки травяные со стен посыпались.

Меня из каморки будто ветром выдуло, чуть в штаны не нацупстил.

Пошел к себе, стал думать: что же мне старая ведьма напророчила? Гадания-то разные бывают. Одни тютелька в тютельку сбудутся, а другие цента ломаного не стоят — плюнуть да растереть.

Понял — все наврала Мамочка. Потому как я уже богатый — вексель полковника никуда не делся, в комнате у меня припрятан, и — братец Джоб мне объяснил — бессрочная бумажка эта, хоть сейчас пользуйся, хоть через пять лет. И счастлив я уже, а завтра еще счастливее стану. Если, конечно, полковник поездку не отменит. Так что все сбылось, и не надо мне Монтгомери (а какие у меня еще друзья тут?) предавать, и Эмми убивать не надо. Даже Молли — незачем.

Свистло на душе стало, радостно. До завтрашнего дня часы считаю, и кажется мне, что ждать целую вечность. Подумал — может, сестричке сказать, чтоб не приходила? Усну — глядишь, и ночь пролетит незаметно. Но не сказал, запамятовал.

А тем вечером и тайна запертой комнаты раскрылась. Я тогда подумал — раскрылась. Только совершенно тому не обрадовался — голова другим занята была.

Дело в том, что к полковнику опять работоговец приехал, уже затемно. Негров пригнал, десятка полтора — за его фургоном топали, цепями звенели. Ну, их принимают, расковывают, суета на заднем дворе, факелы горят... Я как раз по улице бродил после ужина — совсем не сиделось на месте что-то, сам не свой стал. Вижу — от фургона торговца, на отшибе стоящего, две фигуры в темноте к дому идут. И — с черного хода внутрь. Скрытно прошли, незаметно. Мамочку я сразу узнал — эту глыбу ни с кем не спутаешь. А рядом вроде как другая женщина, в покрывало закутана... Не Эмми и не из сестричек — те вальяжно выступают, по-хозяйски, а эта робко семенит, неуверенно... Любопытно мне стало. Вошел тихонько следом — дверью не хлопнул, ступенькой не

скрипнул. В доме темно, но я слышу — ключи в замках громыхают. Как раз там, у потайной комнаты.

Э-э-э, смею, вот в чем дело... Все понятно. Ларчик-то просто открывался, стоило ли голову ломать...

Бак и Пит, думаю, мужчины в самом соку, но пока не женатые. И пошли по стопам папашиним — по мулаточкам-квартероночкам. А Мамочка при них сводней. То-то работоговцы сюда зачастили. Надоест ребятам очередная красотка — продают, а в клетку без окон новую птичку сажают. И не мне их судить, в своем праве люди.

Скучно как-то загадка решилась...

И пошел я спать. Сначала, понятно, с Молли поигравшись.

* * *

А утром грязнуло.

Проснулся — за окнами едва брезжит. Слышу — шум, на улице голоса громкие, ржание конское... Что такое? Потом как стукнуло: не иначе, вендетта проклятущая. Ох, не вовремя. Оделся быстренько, и — на всякий случай — бумаги полковничьи в кожаный мешочек и на грудь. Вдруг Шеппервуды нагрянут, смываться быстро придется... Мало что у них врагов в их домах убивать не положено. Любое правило и нарушить можно. Я бы лично так и сделал. Перестрелял бы всех почью, в постелях, да и покончил бы навсегда с этой кровной глупостью.

Выхожу из комнаты тихонько. Навстречу — Молли, одетая уже. Хотела пымыгнуть мимо — я ее за ворот. Что, мол, за переполох? А она мне: мисс Эммелина сбежала! С молодым Ларри Шеппервудом! Любовь у них, не иначе. Сейчас все Монтгомери в ногоню поскакут.

Ну дела... Но я-то вроде как не Монтгомери? Мне-то скакать вроде как не обязательно?

И тут — сам полковник. К комнате моей шагает разманисто. Молли тут же испарилась, была — и нету. А полковник мне говорит: ну что, мистер Джексон, пора решать. Вы под моим кровом спали, хлеб мой ели, а теперь вот беда пришла, надо за ружья браться. С нами вы или нет? Неволить не буду, откажетесь — негры вас от-

везут на пристань, парохода дождется — и будьте счастливы.

Ну что тут ответить? По уму, надо бы распрощаться — да и к пристани. Только чувствую: если так сделаю, всю жизнь буду ходить как деръемом облитый. Сам к себе принохиваясь. Сам от себя нос морща. И не потому, что полковник меня последней дрянью считать будет, нет. А потому, что вовек себе не прощу, как эта вертихвостка меня обманула. Как своими руками я ее побегу помог — дураку ведь ясно, что за исалмы на том листке были...

Да и еще одна мыслишка копошится. Если не врал братец Джоб и действительно меня Монтгомери в семью свою принять хочет, так можно же и не сыном. Можно и зятем. Если именно мне посчастливится первым их догнать да Ларри-подлеца подстрелить, то...

В общем, размечтался я сдуру. Даже за эти секунды подумать успел, что супружнику в большой строгости держать буду — примерно как папашка мой мамашу-покойницу. Он, бывало, сантиментов не разводил — лупашевал до потери сознания тем, что под руку подвернется. Старой закалки был человек.

Всего этого, понятно, не сказал я полковнику. Я с вами, говорю. И ничего больше.

Отправились в погоню ввосьмером — полковник, сынёвей трое да еще трое родственников. Ну и я с ними. Как и все, с ружьем.

* * *

А как из ворот выезжали — только тут я понял, что шутки кончились. Потому что висел на воротах братец Джоб собственной персоной — голова набок, язык наружи, сам страшный, аж кони шарахаются.

За что его? — у Рода спрашивала. А он зубы скалит: за шею, парень, за шею! Не узнать старину Рода — нормальный был мальчишка, а тут стал весь дерганый, лицо кривит, в глазах черти пляшут. Но объяснил: через Джоба, мол, любовь вся у них и закрутилась. Зол был тот, дескать, на полковника и нагадил, как сумел.

Думаю — и чего же человеку не хватало? Ну, пусть не человеку, пусть квартирону, но все равно? Даже часы имел на цепочке... Но разговор тот замял я — у самого рыльце в пушку. Не хотел на ворота, к братцу в компанию. Да и поскакали тут мы так, что не до разговоров стало.

До пристани, где пароходы причаливали и куда парочка могла направиться, миль восемь примерно. Можно успеть перехватить было. Да и дождись еще парохода, расписание лишь на бумаге исполнялось — пять-шесть часов никто и за опоздание не считал.

Ладно, скакем мы по дороге, потом скакем по лесной просеке — изгиб реки срезаем. А из меня наездник-то аховый, таким галопом в жизни мчаться не приходилось — задницу отбил быстро и капитально. Но креплюсь — спасибо папаше-покойнику, эта часть тела у меня закаленная...

К берегу вылетаем — видим: негры, штук тридцать, лес корчуют. Шалаши стоят — ночевали здесь же. Мы к ним: проезжал, мол, кто?

Надсмотрщик-мулат объясняет: было дело, проскакали трое в сторону пристани — двое мужчин и женщина. Быстро скакали, словно черти за ними гнались. Еще кто был? Ну и еще одна парочка, на двухколке катила в другую сторону, к Зеленой косе вроде, — но те медленно, спокойно, не торопясь. Когда те трое проезжали? А откуда он знает, часов не имеет, недавно вроде...

Понеслись мы к пристани. Мили две еще проскакали — глянь, лошадь дохлая валяется. Нога сломана, голова прострелена... Ага, втроем на двух лошадях быстро не поедешь... Мы еще наддали.

Тут я вижу — лошади у других от этой скачки сдавать начали. А моя кобыла этак бодро топает, вперед вырвалась. И Роджер-младший рядом. Монтгомери мужчины все как на подбор крупные, мы их раза в полтора меньше весили...

Никак, думаю, и вправду суждено отличиться. Про опасность позабыл — азартное дело погоня.

И тут показались конные впереди! Мужчина и женщина на одной лошади и еще один всадник. Платье Эм-

мелины узнал я сразу, сто раз его видел. Оглянулись они, нас увидели, поняли — не уйти. Конь двоих еле тащит.

Так они что придумали: женщину на круп второго коня пересадили, тот посвежее был. Видать, на нем сам Ларри Шеппервуд ехал, потому что с Эмми дальше поскакал. А второй мужчина развернулся — и нам навстречу. Скачет, в руке ружье, и в нас с Родом целит. Прижался я к гриве конской, только подумать успел: эх, зря мне такая резвая лошадка досталась...

Бах! — что-то над нами свистнуло. А всадник тут же свернулся — и в лес, между деревьев запетлял. Думал, видно, за ним кипучется, да просчитался — Род лишь пальнул на ходу в его сторону, вроде коня зацепил, не разглядел я толком...

Догоняем мы парочку, догоняем! Сердце о ребра бьется, ору что-то громко и самому непонятное. И — обхожу Рода! На полкорпуса, на корпус, на два...

На берегу, среди деревьев, хибарка какая-то, хижина бревенчатая. Те двое с коня соскочили — и за нее. Тут я подскакал, сзади Род нагоняет, еще дальше — остальные наши растянулись. Я с коня спрыгнул, на ружье курок взвел, за угол хижины заворачиваю... И едва не обделался.

Потому что вижу — прямо в лицо мне ружейное дуло смотрит. Широченное со страху показалось, как пушка. А держит ружье моя Эмми.

Только через секунду понял — не она вовсе, парень какой-то в ее платье шагах в десяти стоит. Молодой, едва усики пробиваются. Не знаю, отчего он с выстрелом промедлил. Может, удивился, что совсем пацан против него оказался. А я про свое ружье вообще не вспомнил, будто и нет его.

Парень первым опомнился — и в голову мне выстрелил. Осечка! Ах так, ну погоди... Пальнул я тоже. Стрелок из меня примерно как наездник. И ружье мне картечью зарядили — убить труднее, но попасть легче.

Грохнуло ружье, по плечу врезало. Дылом вонючим все затянуло, но ненадолго. Вижу — попал. Зацепила картечью парня, правда самым краем. К стволу древесному откинула, а на платье белом, справа, пятнышки красные

набухают — два пятна на груди, и на рукаве тоже... Я стою — и что делать, не знаю.

Но это я рассказываю долго. А на самом деле все быстро вышло. Еще дым не рассеялся — из-за угла Род. Ружье вскинул, а оно не стреляет. Забыл перезарядить впопыхах. Так он к парню подскочил — и прикладом. По голове. Раскололась, как спелый арбуз. Звук, по-моему, за милю был слышен...

Тогда и остальные подскакали, спешились. Я полковнику на парня в женском платье показываю. Хотел спросить: где же Эмми-то настоящая? Да не успел.

Нас тут как раз убивать начали.

* * *

Обманули нас Шепнернуды. Провели.

Пустили погоню по ложному следу и засаду устроили. А как наши в кучу собрались — со всех сторон стрелять по ним стали.

Но не такие люди были Монтгомери, чтоб дать перебить себя, как кроликов. У полковника ружье двуствольное: бах! — в одну сторону, бах! — в другую. Попал — застонал в кустах кто-то. Ну и остальные наши пальбу открыли — кто от первого залпа уцелел.

А я так даже и не понял, зацепили меня или нет. В ушах грохот стоит, ноги подкашиваются. Рухнул на землю на всякий случай, прижался. Кто-то на меня сверху навалился, лежит, не шевелится. Надо мной — выстрелы, выстрелы, выстрелы. Ружейные, пистолетные... Потом стихли вроде. Слыши: хрюп, ругань, дерется кто-то с кем-то. Потом и это стихло. Полежал еще — и встаю осторожненько. На мне, оказывается, Роджер-младший лежал. Мертвый. Костюм весь мне кровью залил, новый, полковником подаренный...

Гляжу — вокруг одни трупы, никого живых. Да неужто, думаю, они все тут друг друга до единого истребили? Но нет, слышу — топот конский, удирает кто-то. Потом полковника увидел. Весь в крови, лицо от пороха черное. Хрипит мне: одни, мол, мы уцелели... Ты ранен, сынок? А я ему так небрежно: пустяк, дескать, царапина. Но сам чувствую — ничего мне не сделалось, цел, слава богу.

Он говорит: тогда поспешим. И в кусты меня ведет — там кони Шеппервудов привязаны, свежие, наши-то уже никуда не годились.

Полковник в седло, и я в седло. Хотя сам думаю: ему сейчас разве что к врачу поспешать, едва на коне держится.

Однако держится. И поскакали мы обратно — по берегу, мимо негров-корчевщиков — к Зеленой косе. Моя задница уж и болеть перестала, будто ист се, будто конец хребта о седло бьется, и боль от него по всему телу разбегается.

Примчались мы на косу. И опоздали. Видим — двухколка пустая. Да лодка на реке — двое негров-гребцов и мужчина с женщиной. Далеко, лиц не разобрать, но знаем — она, Эммелина. Больше некому. Тут и пароход из-за косы — чух-чух-чух. Мужчина ему трапкой какой-то машет — знать, заранее уговор с капитаном был.

Полковник сгоряча двустволку свою вскинул да опустил без выстрела — не достать уже.

Застыл на берегу, как памятник, смотрит, как трап опускают и парочка на борт поднимается. И я смотрю — а что еще тут сделаешь? Даже название парохода запомнил: «Анриетта». Не иначе как с низовьев был, там любят имена такие корытам своим давать...

Ну и поплыл себе пароход дальше. Думаю: все, конец истории. Но, как оказалось, ошибся. Я тебе больше, Сэмми, скажу: самое странное и страшное после случилось. Такое, чему и поверить трудно. Я порой сам сомневаюсь: может, и не было ничего? Может, меня пуля у той хижины по черепушке чиркнула и привиделось в бреду всё?

Сам себя уговариваю, а память, проклятая, мне твердит: было, было, было...

Жила бы, Сэмми, у меня собака, назойливая, как память, — я бы ее отравил.

* * *

Честно сказать, я не понимал, зачем полковник к усадьбе своей торопится. Дочь сбежала — ничего теперь не поделаешь. Но сыновья-то на берегу валяются, убитые, прибрать надо бы. Негоже парням из рода Монтгомери ворон

кормить. Я, Сэмми, к тому моменту себя уже вполне членом семьи считал. И на усыновление был согласный. Другие-то наследнички — тю-тю...

Ладно, полковник скакет, я рядом. Железный он, что ли? — думаю. Кровь из ран сочится и сочится, другой бы свалился давно, а этот лишь побледнел как смерть — и всё.

Проскакали мы в ворота — братец Джоб там так и болтается. Только кто-то штаны с покойника стащил, хорошие штаны были, выходные, почти новые. Вороватые тут негры, думаю. Ну да ничего, наведу еще порядок. А вендетту замну как-нибудь — дурное это занятие, если честно.

Полковник с седла спрыгнул — и в дом. Я, чуть посторонившись, за ним. И слышу: впереди перебранка. Орет на полковника кто-то — голос неприятный, словно ворона каркает. Подхожу поближе — Мамочка! Дорогу хозяину загородила, не пускает. А полковник, между прочим, прямо в тот коридорчик рвется, где дверь секретная. Интересные дела, думаю...

Ну, он старуху отталкивает, а такую тушу сдвинь по-пробуй. Но полковник попробовал — и отлетела она, как кегля сбитая. Вскочила кошкой — не ждал я такой прыти от старой рухляди. Из одежек своих разноцветных нож выдернула. Во-о-от такенный — туши свиные хорошо разделывать. Но и человека порубить можно так, что любо-дорого. И — с тесачищем этим — на полковника.

У него двустволка за спиной висела. Я и не думал, что так быстро с ней управиться можно — одним и тем же движением полковник ружье вперед перебросил, курки взвел, приложился — баах! баах!

Стрелок он был — не мне честа. Оба выстрела ровно хонью в голову. Только пули, похоже, у полковника еще на берегу закончились. Картечью зарядил или дробью крупной. А она, если почти в упор стрелять, плотной кучей летит, страшное дело. Короче, была у Мамочки голова — и не стало. Разлетелась мелкими ошметками.

А туши — стоит и тесак сжимает! Ну дела...

Полковник мимо нее — и уже ключами в замках гремит. Я чуть задержался — на Мамочку смотрю, и жутко

мне, и любопытно. Она все стоит. Головы нет, вместо шеи лохмотья красны — по стоит! И странное дело, вроде бы кровь должна хлестать из жил разорванных, а не хлещет!

Не по себе мне стало. Толкнул Мамочкин брюхо толстое стволом ружейным. Осела она назад, словно человек живой, смертельно уставший. А я — за полковником, он уже в комнату секретнуюходит.

А там...

А того, что там, лучшие бы, Сэмми, никому и никогда не видеть. Идолы какие-то стоят кружком, из дерева черного. Человеку по пояс будут. Скалятся мерзко. Губы чем-то измазаны, на черном не понять чем, но подумалось мне, что совсем не кленовой патокой... А на стенах... На стенах головы! Самые настоящие головы!!! Женские — негритяночек, мулаток, квартиронок! Пара сотен их, не меньше. Одни свежие, другие ссохлись, сморщились, кожа черепа обтянула, глаза высохли, внутрь запали — как гнилые изюмины там виднеются. Но трупным запахом не тянет — лишь дымком пованивает, тем самым, под который гадала мне Мамочка.

Я так и сел. Натурально задницей на пол щлепнулся. Думал — стоимит сейчас, но удержался как-то.

С большим трудом от голов этих взгляд оторвал. Но там и остальное не лучше было. Всего я разглядеть не успел, да и темновато — весь свет от свечей щел, они в виде звезды шестиугольной на полу стояли. Идолы как раз звезду ту и окружали — охраняли словно бы.

В центре звезды что-то небольшое лежало. Ну... примерно с руку мою до локтя. А что — не рассмотрел я сразу. Свечей вроде и много, но все из черного воска и горят как-то не по-людски — темным пламенем, не дают почти света.

Кресло я чуть позже увидел. Потому как высоко стояло, чуть не под потолком, на глыбе квадратной каменной. Нормальные люди так мебель не ставят.

А в кресле — девушка! Пригляделся — нет, квартиронка. Чуть шевельнулась — никак живая? Оторвал я от пола задницу и к глыбе и креслу тому поближе направился.

Полковник тем временем к идолам и звезде из свечей идет. Только странно идет как-то, Сэмми... Всего шагов пять-шесть надо сделать, а он согнулся весь и по дюйму едва вперед продвигается. Словно ураган ему встречь дует. Но в комнате ни сквозняка, ни ветерочка.

Я к креслу подковылял — тоже медленно, ноги что-то ослабли. И разглядел: точно, на нем квартиронка моло-денькая. Сидит, ремнями притянута. На левом запястье ранка небольшая кровит. От подлокотника желобок поверху тянется, на цепочках к потолку подведен. Через всю комнату — и ровнехонько над центром звезды обрывается. И с него — кап, кап, кап — кровь вниз капает, почти черной от свечей этих дурных кажется...

И тогда наконец я увидел, что там, между свечей, лежит...

Эмелина там лежала!

Крохотная, с фут длиной, но как живая. Из воска, наверное, была вылеплена и раскрашена, но будь размером больше, точно подумал бы, что никак Эмми не сбегала. Лицо — ее, фигура — ее, волосы — ее, одежда — тоже ее. Даже ожерелье на шейке такое же, но уменьшенное. Сережки в ушах знакомые, синими камушками поблескивают, но крохотные-крохотные, скорее догадался про них, чем разглядел.

А кровь сверху прямо на нее капает. Но что удивительно — должна бы маленькая Эмми при таких делах все липкая и заляпанная быть — ан нет! Лежит чистенькая, нарядненькая, на платьице — ни пятнышка. Вижу ведь, как капли на нее попадают, но исчезают тут же, словно испаряются. Чудеса...

А полковник тем временем почти уже до иолов до-брался — рукой дотянуться можно. Но не успел он ни дотянуться, ни чего иного сделать... Шаги сзади затопали. Тяжелые, грузные.

Обернулся я — и натурально обделался! Полные штаны наложил. И ничуть не стыжусь. Другой на моем месте вообще бы от ужаса помер.

Мамочка к нам шагает!

Как была — без головы! И тесак в руке занесен!

Тут все, что я до того момента повидал, показалось мне пикником младшего класса воскресной школы. А уж денек выдался на зрелица богатый. Но до того все пусть и страшно было, и мерзко, но... как-то жизненно, что ли... А тут...

Окаменел я. К месту прирос. В голове пусто. Мыслей нет. Совершенно. Исчезли куда-то мысли. Потому что человек в присутствии ТАКОГО мыслить не может. Может лишь с ума сходить — причем очень быстро. Чем я и занялся. Мыслей-то нет, но чувства остались. Хорошо мне так стало, тепло и расслабленно, словно я в бадье с горячей водой нежусь, а Молли мне спинку трет, и не только спинку, — бывали и такие у нас развлечушки. И совсем мне все равно, что дальше со мной будет.

Не знаю, как уж там полковник — думал что-нибудь в тот момент или нет. Скорее, он на направленное оружие без всяких мыслей реагировал. Тело само по привычке что надо делало.

В общем, когда Мамочка попыталась его тесаком рубануть, полковник ствол ружья поставил. Дзинк! — только искры полетели. Она снова, да быстро так. И еще. И еще. Дзинк! Дзинк! Дзинк! — не поддается полковник. И орет что-то.

Что именно — я не понимаю. И вовсе мне безразлично, чем эта кошмарная дуэль закончится.

А они по комнате кружат, места хватает там. Дзинк! Дзинк! Дзинк! Полковник едва прикрываясь успевает, самому и не ударить никак. Да и что толку бить труп безголовый? Мертвее всё равно не станет. И кричит, кричит всё время что-то... Да нет, не труп кричит — Монтгомери.

И докричался-таки. До меня докричался. Услышал я. Пробудился от безмыслия своего. Разбей ее! — вот что полковник кричал. И я как-то сразу понял, кого разбить надо. Эммелину восковую. В ней вся пружина этой свистопляски. Ладно, разобью...

Но это легче оказалось подумать, чем сделать. Шагаю я к идолам — точь-в-точь как полковник давеча. Чувствуя как бы, что бреду я в реке из липкой патоки, причем

против течения. Давит, отталкивает что-то. А сзади всё: дзинк! дзинк! дзинк!

Через плечо глянул — гроб моей мамочки! Трупешник-то старухин до меня теперь добирается! Полковник из последних сил спину мне прикрывает. Стиснул я зубы, шагаю, но ногам дермо теплое стекает. Потом думал не раз, что про героев всё в газетах пишут, лишь про подштанники их после подвига — ни словечка.

Оскалы идолъские все ближе, но чувствую — не дойти. Кончаются силушки. И тут как надоумил кто. Ружьё у меня в руке оставалось, протянул я его — тык идола ближайшего прямо в рожу!

Помнишь, Сэмми, на ярмарке в Сан-Питере один чудак фокусы показывал с банками лейденскими? Так здесь то же самое вышло. Словно голой рукой за ту банку схватился. Тряхнуло аж до печенок, и онемела рука. И потом три года еще немела время от времени...

Но идол упал с грохотом. И — все. Нет патоки, нет течения встречного. Слыши сзади не то вой, не то рев какой. Оглянулся скорей — неохота тесаком получить по затылку.

А это Мамочка трубит гудком пароходным. Стоит, замерла, тесаком не машет больше, а из шеи разлохмаченнойвой несется и струи кровавые фонтанами — чуть не до потолка достают.

Ага, не правится! Свалил я еще двух идолов — и ничего, никаких тебе лейденских банок. Сквозь строй их прополоснулся, свечи перешагнул. Над Эммелиной помедлил немного — красивая все же была и как живая. Затем — салогом сверху — хрясы!!! Разлетелась на куски. Я и куски топтать давай... Но не успел в мелкую крошки растоптать. Пол чуть не дыбом встал, я на ногах не удержался. И обратно провалился. И снова — дыбом. Словно не дом тут, а пароход. И угодил тот пароход в самую страшную бурю. Лишь много спустя я узнал, что и с домами такое бывает, — узнал, когда в Калифорнии в землетрясение поцал.

Ну, головы со стен попадали, как тыквы, по полу покатились. Идолы, что стояли еще, свалились. Кресло с квартирной рухнуло — я это не видел уже, лишь услышал,

свечи упали и погасли почти все. Что с полковником и с Мамочкой происходит — не видать. Да и некогда всматриваться — выбираться скорее надо, похоже, дом развалился собирается. Я на карачках к двери — как пьяный матрос в шторм по палубе. Пол всё в свои игры играет, сверху дрянь какая-то сыплется — штукатурка, еще что-то. Вижу — светлее стало, по наружной стеле трещины сквозные поползли. Все, думаю, конец — сложится сейчас особняк полковника, как домик карточный. Но кое-как в коридорчик вытряхнулся, к черному ходу ползу...

И всё кончилось.

Для меня кончилось — доской тюк по темечку, только через два дня я оклемался. Открыл глаза — темно, лежу я вроде как на полу, на груде тряпок всяких. А пол не уgomонился, все качается, правда едва-едва уже. Но тут плеск волн услышал и понял, что опять на плоту мы плывем.

Джим, оказывается, не только нузо у Монтгомери отъедал — он и плот новый потихоньку сколотил, как чуял, что добром житьё тамошнее не кончится.

Как спасся я из дома рухнувшего? Джим же и вытащил. Услыхал он выстрелы полковника и в дом вошел. Не сразу, но вошел. Один он только на это и отважился, все братцы и сестрички разбежались-попрятались. В комнату потайную лезть побоялся, но из-под перекрытий падающих меня выдернул.

А дом не просто на куски рассыпался — даже руины дотла сгорели. Джим говорил: необычным пламенем горело, никогда он такого не видел. Не горит так дерево, хоть бы и нефтью политое.

Тем и закончилась история. Вот только не спрашивай, Сэмми, как вся эта чертовщина происходила. Как Мамочка Эмми спасла и жизнь в ней поддерживала, медленно две сотни чернокожих девчонок загубив. Не знаю и знать не хочу. Я и то, что своими глазами видел, позабыть бы хотел. Да не получается никак... До сих пор глаза ее голубые помню. И ложь ее проклятую...

Нет, нет, Сэмми, насчет судьбы Эммелины Монтгомери ты ошибаешься — кое-что я о ней узнал. Очень не скоро, через десять с лишним лет, но узнал.

Я пароход тот, «Анриетту», купил. Не особо в нем нуждался, но название вспомнил и купил. Крепкое оказалось корыто, потом машину заменили — до сих пор плывает.

Кое-кто там из экипажа десятилетней давности оставался. И странную историю они любили после стаканчика рассказывать. О том, как забронировала каюту первого класса — третью по левому борту — молодая парочка супружеская. С тем чтобы подсесть по дороге. Ну, подсели, на лодке подгребли. И сразу в каюту — нырк. И ни слуху ни духу. Прислуга всё понимает — то да се, медовый месяц. Но одной любовью сыт не будешь. А эти два дня взаперти сидят — ни глотка воды, ни корочки хлеба не заказывают. Постучались к ним — звуки из каюты какие-то странные.

И что ты, Сэмми, думаешь? Когда дверь в конце концов сломали — не было там молодой парочки. Мужчина был — седой, голый, ничего не говорит, мычит, слюни пускает. С ума сдвинулся. По слухам, через год в бодяльне умер.

А еще в каюте труп нашли — совершенно стгнивший. На вид — тринадцатилетней девочки. Вот как оно бывает...

Конечно, парочка записалась как мистер и миссис Джон Смит, но если это были не подлец Ларри Шеппервуд и не проклятая потаскушка Эммелена Монтгомери, то тогда нет, Сэмми, справедливости. Ни на земле нет, ни на небе...

* * *

Сквозь задраенный иллюминатор, который Писатель, как человек сухопутный, продолжал считать закрытым окном, пробивались первые лучи рассветного солнца. В каюте стояло сизое марево. Пепельницу переполняли сигарные окурки. Роскошный ковер был завален бутылками с отбитыми горлышками. Писатель отстал на середине дистанции — окончательная победа над содержимым погребца была достигнута трудами одного лишь Хозяина.

Но, странное дело, пьяным он не казался. Говорил тихо и мечтательно:

— Знаешь, Сэмми, я человек, по большому счету, не злопамятный. Иногда я думаю, что раздавил восковую Эмми как раз в тот момент, когда настоящая впервые улеглась в койку с подонком Шеппервудом, — и мысленно прощаю им все их подлости. Пусть покоятся в мире.

...После долгой паузы Писатель сказал:

— Берри, я, пожалуй, выйду на палубу. Душно тут, глотну свежего воздуха. А потом попробую поспать... Когда мы прибудем в Санкт-Петербург?

— Часа через четыре, не раньше. Но ты сли спокойно, без нас все равно не начнут. Подождут, никуда не денутся. Когда проспишься — загляни сюда, в мою каюту. Тогда и сойдем на берег. А я лягу здесь, проветрю и лягу. Привык я к этим стенам...

— Загляну, — усталым голосом пообещал Писатель. Шагнул к двери, что-то вспомнил, обернулся. — Послушай, Берри... Если ты не против, то я, может быть, когда-нибудь использую твою историю...

— Используй, — сказал Хозяин равнодушно. — Только измени фамилии. И пожалуйста, припиши другой финал. Чтобы все были счастливы...

— Постараюсь. Но тогда еще один вопрос: а что стало в конце концов с Джимом? Тоже ведь немаловажный персонаж. Он добрался до свободных штатов?

— Нет, Сэмми. Устье Огайо, Каир и участок кентуккийского берега он и не заметил — плот проскочил мимо, когда старина Джим ухаживал за мной, лежавшим без сознания. Вместо этого мы попали в Новый Орлеан — благо с бумагой полковника бояться охотников за беглыми рабами не стоило. А там... О, там Джим оказал мне бесценную помощь в первых шагах моей карьеры. Без него я просто никем бы не стал, Сэмми...

— Ты взял в компании *черного*? — приятно удивился Писатель. — Тогда? В Луизиане?

— Ну что ты, Сэмми... Дело в том, что вексель полковника после его смерти ничего не стоил, в отличие от рекомендательного письма. Мне позарез нужен был стартовый капитал. Я продал Джима на хлопковую плантацию — за такого здоровяка мне отвалили девятьсот долларов. Года

через три попытался выкупить, денег уже хватало. Не сложилось. Сам знаешь, какой недолгий был век у негров «на хлонке»... Но ты иди, Сэмми, поспи. Что-то вид у тебя совсем тусклый.

Писатель понял, что ему стоит поспешить на палубу. И глотнуть свежего воздуха. Немедленно. Попшатываясь, вышел из каюты. Потом вдруг вспомнил, что не помнит ее номера. Как, впрочем, и названия парохода — на борт они с Хозяином взошли два дня назад уже изрядно на веселе.

Обернулся, посмотрел на роскошную дверь красного дерева. Цифр там не было. Тогда Писатель стал отсчитывать двери от начала коридора.

Каюту оказалась третьей. По левому борту.

Совпадение, конечно, совпадение, не мог же Берри и в самом деле... — твердил себе Писатель, шагая к свежему воздуху.

На палубе он вцепился в фальшборт, перегнулся вниз и долго разбирал перевернутые — для его взгляда — буквы на борту, не замечая висевших неподалеку спасательных кругов, тоже украшенных названием парохода.

На середине процесса чтения Писателя стошнило. Он смахнул с губ вязкую горькую жидкость, подышал широко распахнутым ртом. Перегнулся снова — и узнал-таки, на каком судне плывет.

Пароход назывался «ЭММЕЛИНА». Но Писателю показалось, что сквозь слой белой краски легчайшим намеком проступает другое название.

Тоже женское имя...

НАТАЛЬЯ РЕЗАНОВА

Vita verita

Нас уверяют, что лучшая из женщин — та, о которой меньше всего говорят. В таком случае она была женщиной идеальной, потому что о ней не говорили вообще. О ней не известно ничего, кроме имени и фамилии. С другой стороны, существование ее никем из современников не подвергается сомнению. И этого достаточно, чтобы восстановить некоторые детали ее образа.

Она не была красавицей, не была также и уродлива. И то и другое — крайности и запомнились бы современникам. Она происходила из состоятельной семьи — это мы знаем благодаря фамилии, поэтому ее обучили читать и писать на родном языке, а также начаткам счета и латыни. Ее рано выдали замуж. Она исправно рожала детей и прожила по тогдашим меркам долго, — следовательно, здоровье у нее было крепкое. Она была необщительна, из дома выходила разве что в церковь, пренебрегая визитами и праздниками, посвящая жизнь детям и хозяйству.

Все это — догадки, равно как и то, что будет сказано ниже. Ибо если домашняя хозяйка хочет, чтобы ее запомнили, она этого добьется: беспрерывными скандалами, развесистыми рогами, наставляемыми мужу, остроумием и гостеприимством, подвигами благочестия — способов предостаточно. Эта же словно стремилась уйти поглубже в тень. Впрочем, почему «словно»?

Конечно, она занималась детьми, домом и хозяйством, но было еще что-то кроме. Она не знала, важнее ли это

«что-то» детей и хозяйства. Но чувствовала, что если не даст этому выход, то сойдет с ума. Странные видения мучили ее, видения, претворявшиеся в слова, слова — в стихотворные строки. Она писала не на латыни, которую знала недостаточно хорошо, а на родном наречии. Прекрасно, некоторые женщины, правда в других странах, тоже сочиняли стихи и песни, и за это их не осуждали, а прославляли. Да, но все это были знатные дамы, хозяйки замков, а знатная дама всегда будет молода и прекрасна в глазах окружающих. Представить себе, что стихотворствует вульгарная горожанка, с лицом, покрасневшим от жара плиты, растолстевшая от многочисленных родов, — все кругом умерли бы от смеха, и она первая.

Но, что гораздо хуже, большинство стихотворных обрывков, нацарапанных ею на обороте счетов от мясника, зеленщика и виноторговца, касались вовсе не любовных материй (хотя были и такие). Они были о Боге и дьяволе, рас и аде, грешниках и святых. А когда об этом рассуждает женщина, это уже не смешно. Это ересь. А куда приводит ересь, ей было известно. И, будь она одинока, она продолжала бы молчать — и сопла бы с ума, либо заговорила — и попала бы на костер.

Но у нее был муж. Не слишком блестящая партия, как ни посмотри. Тоже среднего достатка городское семейство. Тоже отнюдь не красавец.

Всяческим искусствам он был чужд. Что его действительно волновало, так это политика, но в этой области он был редкостным неудачником.

Мечась от одной группировки к другой, он каждый раз безошибочно примыкал к той, что обречена на провал.

А если призадуматься — все-таки род его был с претензией на знатность, и фамилия его была не в пример звучнее ее собственной. Благодаря своим политическим авантюрам он приобрел определенную известность в обществе. А внешность... Единственное, что требуется от мужчины, — быть немножко красивее черта.

Короче, со всех точек зрения на роль автора ее стихов он подходил больше.

Она поделилась с ним своими планами. Они никогда не были влюблены друг в друга, но были уже давно женаты, связаны привычкой, а порой это важнее, чем любовь. Он согласился, решив, что репутация поэта укрепит его репутацию политика (он ошибался, но речь не об этом).

Однако была трудность: кто из знающих его поверит, что такой черствый человек способен сочинять стихи? Разве что он душевно переродится. Но причина, причина?

И тут ее осенила гениальная идея — едва ли не более гениальная, чем то, что она писала. Она вспомнила по-другу детства и юности. Во многих отношениях они были похожи, однако у той здоровье было слабое, и вскоре после замужества она угасла от чахотки. С тех пор прошло немало лет, и никто уже не помнил, как она выглядела. А значит, она могла выглядеть как угодно! Сделать ее символом чистой, небесной красоты, воплощением великой любви, под влиянием которой человек способен стать великим поэтом...

Об этом следовало рассказать подробно. Она засела за книгу. Впервые она писала прозу. Это оказалось труднее стихов, но дело того стоило. Книга имела огромный успех. Понемногу, слегка переделанные, стали распространяться ее ранние стихи. И поскольку публика была к ним благосклонна, можно было сводить воедино и выпускать по частям ту грандиозную поэму, что давно уже была ею задумана и частично написана.

Жизненные обстоятельства этому не благоприятствовали. Политические авантюры мужа привели семью к изгнанию. Но слава его как поэта обеспечила им приют и внимание меценатов. А с годами его слава все росла. Его сухой и склончивый характер, даже его внешность — все казалось поклонникам овеянным роковыми страстями. Он, в свою очередь, тоже начал сторониться людей — отсюда новый виток слухов, новый виток славы. Это еще больше силячило супружеских связанных общей тайной.

Закончив поэму, она поняла, что ничего лучше не напишет. Но поклонники ждали от великого поэта новых книг. И мужу пришлось писать самому. Поскольку стихов

сочинять он не мог по определению, он принялся за трактаты. Надо же было подводить под поэму теоретическую основу и объяснить, почему гениальная вещь, трактующая божественные темы, написана простонародным слогом, да еще на диалекте.

Она не вмешивалась в эти умствования и читала его труды по одной причине — боялась, как бы он не проговорился, кто истинный автор поэмы. Со временем это вылилось в настоящую манию. Она вычеркивала из его трактатов все упоминания о себе, изничтожала даже в его жизнеописании факт наличия жены. Вдруг кто-нибудь догадается? У великой поэмы не должно быть такого автора, и его не будет. Она была обитательницей тени, а тень не сливается с сиянием.

Она добилась своего, выписалась из зеркал. Все знают «Божественную комедию», никто не помнит Джемму Донати, в замужестве Алигьери.

ДАЛИЯ ТРУСКИНОВСКАЯ

Роман для клерков

— Садись сюда, сынок, отодвинь одеяло. Вот так, хорошо, не бойся, бедро мое не болит, доктор Лавлесс прописал хорошее растирание. Я виноват перед тобой, сынок, очень виноват. Мы раньше должны были побеседовать об этом... Вот ты уже уговорил мамочку, уговорил деда с бабушкой, вот ты уже заказал себе матросский сундучок и ходишь гордый, как будто тебе предстоит открыть еще какой-нибудь континент. И семья не могла тебе возразить — чуть что, ты становился в позу трагического актера, задирал нос и возглашал: «Я иду по стопам отца! В моей жизни все будет как в отцовской книге! И я прославлюсь!»

Да и во всей старой доброй Англии не нашлось бы человека, который смог возразить. Кроме разве что хитрого как бес, Джереми О'Нила. Чертов ирландец прекрасно знает душу человеческую — и правды из него теперь плетьми не выбьешь.

Всем своим богатством и всеми неприятностями я обязан этому треклятому ирландцу!

До сих пор не знаю, как вышло, что два часа спустя после знакомства, да и встретились-то мы в грязной таверне, словно в насмешку прозванной «Золотая лань», я уже готов был рассказать ему не только прошлое свое, но и будущее. Точнее, я начал с будущего...

— Боб, — сказал он, — все, что ты привез из дальних странствий, — это твоя собственная шкура, продырявлен-

ная мушкетными пулями, да пустая голова. Ты полагаешь, кому-то нужна правда о твоих приключениях? Да каждый английский моряк к сорока годам наживает их не менее, а то и поболее твоего! Вот ты сейчас собрался купить четыре столки хорошей бумаги, очинить впрок сотню перьев и написать книгу, которую будет читать весь Лондон. Хорошо, говорю я, пиши! Трать драгоценное время! В чем же достоинство твоей книги? Ты предлагаешь читателю приключения, которые развлекут его на день-два, не более. То же самое делает известный мне Гарри Каттер — и живет спосибо только потому, что приносит своему издателю в месяц по книжке. Что ты будешь делать, когда правда кончится?

— Писать еще, у меня бойкое перо, — отвечал я, потому что после третьей кружки эля сам был в этом исключении убежден.

— Этого мало, мой юный друг.

Лет мне тогда было под сорок, юношью я отнюдь не благоухал. А Джереми, если только он не врал, исполнилось тридцать, но он был из той породы людей, на ком с рождения висит ярлычок со словами «старый пройдоха».

— Всякий клерк, читая мои приключения, вообразит себя мною, — продолжал я, — и будет счастлив хоть не-надолго скрыться из своего скучного мирка в моем блестательном мире!

— Вот это ты, заботай тебя лягушка, здорово придумал! — воскликнул Джереми. — Блистательный мир — этого-то нашему клерку и недостает! Но у тебя и у клерка разное понятие о месте, где хочется укрыться от тупой суеты. Сделаем так — ты напишешь первую главу и покажешь мне. А я укажу тебе на все ошибки, заставлю переписать неудачные куски, объясню, как...

Он резко наклонился, и кружка из-под эля угодила в стену.

Из таверны нас выводили в шестером.

Уже на следующий день я кое-что мог разглядеть левым глазом. С рукой было хуже — в свалке мне наступили на запястье. Кости уцелели чудом, и три дня спустя я уже мог взяться за дело. Все равно у меня других за-

нятий не было, — покидая таверну, я провалился ногой в какую-то мерзкую дыру и теперь мог ступить только на самые кончики пальцев.

Я исписывал страницу за страницей и ржал от воссторга, словно жеребец на пастбище. Юность моя представляла предо мной во всех ее очаровательных подробностях, и я заново наслаждался ею — насколько позволяла боль в боку. Проклятый Джереми, возможно, сломал мне ребро, или же там образовалась внушительная трещина.

Закончив первую главу, я решил, что пора мириться. В конце концов, из всех моих знакомцев только Джереми немного разбирался в изящной словесности. Иными словами, только он мог воспеть мне заслуженную хвалу.

Я нашел его на чердаке убогой гостиницы неподалеку от собора Святого Петра, который никому не суждено увидеть достроенным до конца. Он орал на четырех языках, что не желает меня видеть, но прислуга, не обученная португальскому и тому английскому, на котором говорят в колониях, впустила меня к нему.

— Послушай, Джереми, мой друг! — начал я. — Вот то, что сделает нас богачами! По крайней мере, теперь ты сможешь оплатить услуги доктора, который каждый день поднимается в эту жалкую обитель, чтобы перебинтовать твои раны, а это уже кое-что! Слушай!

Я сел на единственный стул и принялся вдохновенно читать первую главу. Он сперва перебивал, потом умолк. Когда я замолчал, он не сказал ничего — только отвернулся к стене.

— Зависть не украшает моряка, Джереми, — сказал я ему. — Конечно, тебе не дано написать о своей юности так причудливо и захватывающе. Но у тебя есть другие добродетели. Не всем же быть модными писателями.

— Болван, — отвечал он. — Эта писанина никому не нужна. Ты совершил самую страшную ошибку — не представил себе воочию своего читателя.

— А что тут представлять? — удивился я. — Мы же с самого начала решили, что читатель этот — клерк из торговой конторы, каких в Лондоне, пожалуй, тысяч десять. Это человек, которого в юные годы усадили переписывать

бумаги, потом доверили ему канторские книги, и он пятьдесят лет только этим и занимался. Это человек, который горько оплакивает мечты молодости и хочет хотя бы в книге подышать воздухом странствий и приключений.

— Когда ты в последний раз видел живого клерка, Боб? — спросил Джереми.

— Я сам был этим клерком! — возмутился я, потом подумал и добавил: — Два месяца.

— Ступай, дитя мое, — горестно прошептал он. — Ступай к издателю. А я отрясаю прах от ног своих.

И он действительно дрыгнул левой ногой — правая была забинтована и примотана к доске, как это иногда делается при переломах.

— Нет, Джереми, нет! Не покидай меня! — вскричал я. — Что я сделал не так?

Два часа я бился с этим проклятым ирландцем, прежде чем он соблаговолил повернуться ко мне лицом.

— Ну что же, — сказал он наконец, — может, ты еще не совсем безнадежен. Итак, ты описываешь свои юные годы. Ты живо изображаешь, как в четырнадцать лет соблазнил служанку своей матери. Скажи, о мой юный друг, как ты полагаешь — сколько мальчиков начали свое знакомство с прекрасным полом именно путем соблазнения материнской служанки?

— Угодно ли тебе услышать точную цифру? — ехидно осведомился я.

— Нет, я просто ищу способ заставить тебя задуматься. Большая часть лондонских клерков лишились невинности именно так, без затей, потому что денег на простиуток у них не было. Увы — в объятиях старой жирной служанки, которой уже все равно, кого пускать в свою постель, потому что если она будет задирать нос, то и этого не получит...

— Побойся бога, Джереми! Моя Дженни была хороша, как майская роза, и...

— Кому ты это рассказываешь? Давай сюда первые страницы.

Я помог ему устроиться поудобнее, и мы взялись за дело.

— Итак... «Я родился в 1632 году в городе Йорке в зажиточной семье иностранного происхождения... Мой отец... фамилия моего отца была...» Ладно, сойдет. «Так как в семье я был третьим, то меня не готовили ни к какому ремеслу, и голова моя с юных лет была набита всякими бреднями». Хорошая фраза. Читатель сразу видит, что ты не лжец и лгать не собираешься. Дальше... «Довольно сносное образование... мечтал о морских путешествиях...» Вот! Вот это место, где ты после отцовской трепки ищешь утешения в объятиях служанки. Никакой трепки не было.

— Как же не было? Две оплеухи, а потом...

— А я тебе говорю — не было. Ты тут живописуешь, как твой покойный батюшка спустил с тебя штаны и выдернул тебя старой перевязью от шпаги. Ничего этого не было.

Джереми изъял из стопки страницу, скомкал и бросил на пол.

— Но почему?

— Потому что ты хочешь пригласить клерка в блестящий мир. И первым делом сообщаешь, что там могут парня выдрать перевязью от шпаги. Итак, дитя мое, сколько в Лондоне клерков?

— Не меньше десяти тысяч.

Я назвал эту великолепную цифру сгоряча, но Джереми кивнул.

— Это похоже на правду. Ты ведь хочешь, чтобы каждый клерк, придя вечером со склада или из торговой конторы, а то и из адвокатского бюро, первым делом схватился за твою книгу? За которую он заплатил деньги, пожертвовав ради книги новыми чулками или модными пряжками для башмаков? Так не сообщай же ему того, что он и без тебя прекрасно знает. Не зли его воспоминаниями о том, что он испытал на собственной шкуре.

— Всех в детстве пороли, — неуверенно возразил я.

— Еще бы! Но для тебя это теперь — крошечная неприятность по сравнению с боевыми ранами. Ты бился с пиратами, ты попал в плен, ты бежал из плена, ты вел себя как настоящий мужчина, ты одерживал победы над врагами, а клерк? Для него это — основательная неприятность,

тем более что он остался побежденным, униженным, рыдающим. Ты непременно хочешь напомнить ему об этом? Садись, пиши!

У него было дурно очищено перо, а в чернильнице плавали дохлые мухи, но я, подстегиваемый любопытством, сел к столу и на оборотной стороне счета от квартирной хозяйки под его диктовку написал:

«Отец мой, человек степенный и умный, догадывался о моей затее и предостерегал меня серьезно и основательно. Однажды утром он позвал меня в свою комнату, к которой был прикован подагрой, и стал горячо меня укорять.

Он спросил, какие другие причины, кроме бродяжнических наклонностей, могут быть у меня для того, чтобы покинуть отчий дом и родную страну, где мне легко выйти в люди, где я могу прилежанием и трудом увеличить свое состояние и жить в довольстве и с приятностью...»

— Вот что сказал тебе твой почтенный батюшка, — прервав диктовку, заявил Джереми.

— Да он и слов-то таких не знал.

— Пиши дальше: «Затем отец настойчиво и очень благожелательно стал упрашивать меня не ребячиться, не бросаться очертя голову в омут нужды и страданий, от которых занимаемое мною по моему рождению положение в свете, казалось, должно бы оградить меня».

— Старик скончался бы от желудочных колик, если бы услышал этот бред.

— Но клерк будет доволен!

— Почему?!

— Потому что в блистательном мире разговаривают только так, осел! Больно нужно ему слушать речи, которых и в жизни более чем достаточно! Так, что там у тебя дальние? Роман с прекрасной булочницей? Выбрасываем. Прекрасная сапожница? К черту!

Я отнял у него рукопись и молча заковылял к двери.

Два дня я не прикасался к перу и бумаге. Не только обида владела мной — я хотел понять, чем моему бешено-му ирландцу не понравилась белокурая булочница Полли Браун. В воспоминаниях моих она была и добра, и безотказна, чего же еще?..

И тут мне на ум пришла моя кузина Бетти Смит. Мы были ровесниками и несколько раз неумело поцеловались на темной лестнице. Я строил безумные планы, как прoberусь в ее спальню по веревочной лестнице, но кузину спешно створили замуж за пожилого стряпчего. А я пребывал в таком помутнении рассудка, что всякий порох женской юбки вводил меня в сущее безумие. Еще хорошо, что я покусился на булочницу Полли, а не на ее мамашу. И потом пришлось долго улаживать это дело, чтобы белокурая чертовка не нажаловалась отцу.

Кажется, я начал понимать, что имел в виду Джереми. Бедный клерк, мой будущий читатель, был обречен на унылые и кратковременные романы с женщинами, которые принадлежали другим мужчинам. Ведь никто в здравом уме и твердой памяти не отдаст за него свою дочь. И впрямь, зачем дразнить беднягу?

Я сел за стол и приступил сразу к делу:

«Как-то раз, во время пребывания моего в Гулле, один мой приятель, отправлявшийся в Лондон на корабль своего отца, стал уговаривать меня уехать с ним, пуская в ход обычную у моряков приманку, а именно что мне ничего не будет стоить проезд. И вот, не спросившись ни у отца, ни у матери, даже не уведомив их ни одним словом, а предоставив им узнать об этом как придется, не испросив ни родительского, ни божьего благословения, не приняв в расчет ни обстоятельств данной минуты, ни последствий, в недобрый — видит бог! — час, 1 сентября 1651 года, я сел на корабль моего приятеля, отправлявшийся в Лондон. Никогда, я думаю, злоключения молодых искателей приключений не начинались так рано и не продолжались так долго, как мои. Не успел наш корабль выйти из устья Гумбера, как подул ветер и началось страшное волнение. До тех пор я никогда не бывал в море и не могу выразить, до чего мне стало плохо...»

Я хотел было описать, как первый в жизни приступ вывернул меня наизнанку, но перо замерло над бумагой, и даже большая капля чернил замерла на его кончике, не

срываясь. Бедному клерку наверняка было знакомо это гадкое ощущение, и потому я завершил фразу так:

«...и как была потрясена моя душа».

Дальше было легче — я описал, как мы пришли на Ярмутский рейд, где были вынуждены бросить якорь иостояли при противном, а именно юго-западном, ветре семь или восемь дней. Долго думал, сообщать ли клерку, сколько пунша мы там выпили. Решил, что незачем будить в его душе такой скверный порок, как зависть.

А потом я вспомнил про шторм — про настоящий шторм, а не ту качку, которая так меня перепугала.

«Ярмутский рейд служит обычным местом стоянки для судов, которые дожидаются здесь попутного ветра, чтобы войти в Темзу. Мы вошли бы в реку с приливом, если бы ветер не был так свеж, а дней через пять не задул еще сильнее. На восьмой день утром ветер еще посвежел, и понадобились все рабочие руки, чтобы убрать стеньги и плотно закрепить все, что нужно, чтобы судно могло безопасно держаться на рейде.

К полудню корабль стало сильно раскачивать; он несколько раз черпал бортом, и раза два нам показалось, что нас сорвало с якоря. Тогда капитан скомандовал отдать шварт. Таким образом, мы держались на двух якорях против ветра, вытравив канаты до конца...»

Тут я задумался: знает ли клерк, что такое шварт? И, сообразив, что впереди у нас с читателем еще много морских словечек, пошел мириться к Джереми.

Он выслушал меня довольно мирно.

— Боб, ты на верном пути, — сказал он. — Пиши со всеми подробностями. Не жалей морских словечек! Чем непонятнее, тем страшнее! Лучше всего, чтобы у тебя там порывом ветра снесло мачту, волной пробило борт, а в дырку влезло щупальце страшного кракена. Это клеркам понравится.

Мне показалось странным, что Джереми так живо представляет себе эту неприятность, словно сам стоял в трюме по пояс в ледяной воде и отбивался от чудовища.

— Ты же сам сказал, что их незачем пугать неприятностями, — напомнил я.

— Неприятности бывают разные. Скажем, страшное чешуйчатое щупальце, которое вместе с водой врывается в трюм, хватает беднягу матроса и тащит его в черную пещеру — неприятность приятная. Очень отрадно читать об этом, сидя в своей маленькой теплой комнатке, со стаканом грэга в руке. Только тут такая беда — наш клерк наверняка уже читал про страшного кракена в другом романе, он придется сравнивать, искать ошибки. Ну, ты понимаешь...

— Ничего себе приятная неприятность! Ты когда-нибудь пытался перерубить топором щупальце кракена?

Джереми уставился на меня с некоторым подозрением:

— Уж не хочешь ли ты сказать, что видел его?

— И видел, и вонил с переногу, зажмурившись, пока мне не дали хорошую оплеуху и не всучили топор!

— Хорошо, Боб, хорошо, успокойся, мы понемногу дойдем до того места в романе, где ты повстречал кракена. Итак...

— Да мы уже дошли...

И я заговорил так, как если бы каждому моему слову надлежало лечь на бумагу и обратиться впоследствии в золотой соверен:

— Когда, собравшись с духом, я оглянулся, кругом царили ужас и бедствие. Два тяжело нагруженных судна, стоявшие на якоре неподалеку от нас, чтобы облегчить себя, обрубили все мачты. Кто-то из наших матросов крикнул, что корабль, стоявший в полумиле от нас впереди, пошел ко дну. Еще два судна сорвало с якорей и унесло в открытое море на произвол судьбы, ибо ни на том ни на другом не оставалось ни одной мачты. Мелкие суда держались лучшие других и не так страдали на море; но два-три из них тоже унесло в море, и они промчались борт о борт мимо нас, убрав все паруса, кроме одного кормового кливера. Им повезло больше нашего. Штурман и боцман приступили к капитану с просьбой позволить им срубить фок-мачту. Капитану очень этого не хотелось, но боцман стал доказывать ему, что, если фок-мачту оставить, судно затонет, и он согласился, а когда снесли фок-мачту, грат-мачта начала так качаться и так сильно раскачивать судно, что пришло снести и ее и

таким образом очистить палубу. Судно наше сделалось совершенно беспомощным. В довершение ужаса вдруг среди ночи один из людей, спустившись в трюм поглядеть, все ли там в порядке, закричал, что судно дало течь. Мой приятель Эдди Аскотт по приказу боцмана поспешил туда, и несколько минут спустя мы услышали его отчаянный крик: «Ребята, кракен!»

— Где кракен? В устье Темзы? — перебил меня Джереми.

— А что тут удивительного? Они в наших широтах всегда водились. Правда, не такие крупные, как в Карибском море. Вот там кракен может, вынырнув и выбросившись на палубу, потонуть стопушечное судно с экипажем в восемьсот человек. Наши-то будут поскромнее и похитрее. Они появляются только в шторм и нападают на небольшие суда, потерявшие маневренность. И щупальца у них — футов двадцать, может, чуть побольше.

— Может, детеныши? — предположил Джереми.

— Но очень злобные, доложу я тебе, детеныши. Шум поднялся неимоверный, капитан приказал палить из пушек...

— По кракену?

Я относился с уважением к литературным познаниям ирландца, но в морском деле он ни черта не смыслил.

— Пальбой судно дает знать о своем бедственном положении, Джереми. Все видели, что мы лишились двух мачт, стало быть, нетрудно догадаться о вломившемся в трюм кракене. Кто-то меня толкнул, я побежал вместе со всеми. Как я провалился в трюм — не помню, но помню страшное черное щупальце, которое металось, раскидывая груз, и помню, как страшно вопил наш боцман: «Факел! Дайте мне факел!» Уже позднее я узнал, что кракены не сразу ощущают ожоги, но потом погибают именно от них. Рыбаки знают — если косяк рыбы подался в неожиданном направлении, значит, подох кракен...

— И мы едим рыбу, которая откормилась на этой дряни?!

Слишком поздно я догадался, что квартирная хозяйка кормила ирландца исключительно дешевой треской.

— Извини, Джереми, — сказал я, отворачиваясь.— Извини, но это чистая правда.

Потом хозяйка прислала служанку, девица павела в комнатушке порядок, но работать нам уже не хотелось.

А знаешь, сынок, та ночь многому меня научила. Ведь мы прогнали кракена. Мы обрубили ему концы четырех пупальцев, и он убрался, оставив за собой огромную дыру. Мы сдвинули ящики с грузом, загромоздили ее, этого было мало, вода в трюме поднялась уже на четыре фута. Тогда раздалась команда: «Всем к помпе!» Я хотел было смыться, но матросы остановили меня, говоря, что если до сих пор от меня было мало толку, то теперь могу работать, как и всякий другой. Тогда я встал, подошел к помпе и усердно принялся качать. Мы продолжали работать, но вода поднималась в трюме все выше. Стало очевидно, что корабль затонет, и хотя буря начинала понемногу стихать, однако не было надежды, что он сможет продержаться на воде, покуда мы войдем в гавань, и капитан продолжал палить из пушек, взывая о помощи.

Наконец одно мелкое судно, стоявшее впереди нас, рискуло спустить шлюпку, чтобы подать нам помощь. С большой опасностью шлюпка приблизилась к нам, но ни мы не могли подойти к ней, ни шлюпка не могла причалить к нашему кораблю, хотя люди гребли изо всех сил, рискуя своей жизнью ради спасения нашей. Наши матросы бросили им канат с буйком, вытравив его на большую длину. После долгих напрасных усилий тем удалось поймать конец каната; мы притянули их под корпу и все до одного спустились к ним в шлюпку.

Нечего было и думать добраться в ней до их судна; поэтому с общего согласия было решено гребти по ветру, стараясь только держать по возможности к берегу. Наш капитан пообещал чужим матросам, что если лодка их разобьется о берег, он заплатит за нее их хозяину. Таким образом, частью на веслах, частью подгоняемые ветром, мы направились к северу в сторону Винтертон-Несса, постепенно заворачивая к земле. Не прошло и четверти часа с той минуты, когда мы отчалили от корабля, как он

стал погружаться на наших глазах. Таким было мое первое кораблекрушение.

Описание кораблекрушения Джереми понравилось.

— Наконец-то обозначился просвет в тучах, — сказал он. — Сурово, скучно, по-мужски. Ступай же и пиши в этом стиле. Что там было дальше?

— Ветер стих, и мы смогли причалить...

— Не смей. Клерк должен новолюноваться! Напиши, как вы несколько раз пытались подойти к скалистому берегу и как высокие волны отбрасывали вас в пучину. Напиши, как вы уже отчаялись, и тут ветер стал стихать, — приказал Джереми. — Главное, чтобы это произошло именно в последнюю минуту. Клерки любят такие штучки.

Я вернулся домой, окрыленный похвалой ирландца. Даже времененная моя хромота не раздражала более. И надо же было тому случиться, сынок, что в трех шагах от своего дома я встретил молодую женщину, одетую мило и опрятно, ее золотые локоны выбивались из-под хорошенского чепчика, а наrumянена она была ровно настолько, чтобы понравиться старому морскому волку. Она шла в гости к моей квартирной хозяйке, я любезно распахнул перед ней дверь и... Да ты уж, верно, понял: речь идет о твоей матери.

Что я мог ей предложить? Каморку под самой крышей? Нет, черт побери, я должен был как можно скорее написать эту книгу, получить деньги, принарядиться, стать галантным кавалером! Хозяйка рассказала мне, что ее приятельница — молодая вдова и не прочь снова выйти замуж. Следовало спешить!

Я уговорился с Джереми, что буду работать над книгой у него, чтобы он сразу читал готовые страницы и давал советы. Иначе я тратил бы полдня на беготню туда и обратно.

— Не разводи унылых рассуждений, а сразу отправляйся в Гвинею и постарайся поскорее попасть в плен к каким-нибудь варварам, — посоветовал он.

— Я мог бы попасть в плен только во втором плавании, первое было весьма успешно. Закупив безделушек на сорок фунтов стерлингов, которые ссудила мне мать, я выручил за свой товар пять фунтов девять унций зо-

лотого песка, за который по возвращении в Лондон получил без малого триста фунтов стерлингов. Эта удача преисполнила меня честолюбивыми мечтами, которые впоследствии довершили мою гибель.

— Стой, стой! — завопил ирландец. — Запиши последнюю фразу немедленно! Клерку должно сделаться любопытно, какая такая гибель тебе угрожает.

— Сейчас, — сказал я. — И это будет чистой правдой.

Несколько минут спустя он уже читал мои строки:

«Большим моим несчастью было то, что во всех этих приключениях я не нанялся простым матросом; хотя мне пришлось бы работать немногим больше, чем я привык, но зато я научился бы обязанностям и работе моряка и мог бы со временем сделаться интурманом или помощником капитана, если не самим капитаном. Но уж такая была моя судьба — из всех путей выбрал самый худший. Так поступил я и в этом случае: в кошельке у меня водились деньги, на плечах было приличное платье, и я всегда являлся на судно заправским барином, поэтому я ничего там не делал и ничему не научился».

Джереми почесал в затылке.

— Знаешь, — сказал он, — клерку это может не понравиться. Когда клерк читает роман с приключениями, он воображает себя героем и ему кажется, что, не держав в руках ничего тяжелее гусиного пера, он способен в минуту опасности лихо рубиться пиратским тесаком. На том держится большая часть литературы для клерков. Он будет очень огорчен, Боб, очень огорчен...

— Не соберутся же обиженные клерки в стаю и не пойдут же дружными рядами сворачивать мне шею, — возразил я.

— Помяни мое слово, Боб, настанет день, когда читатели такого рода литературы начнут сбиваться в стаи и диктовать писателям, как им творить, чтобы нравиться Мистеру Клерку, — прозорливо заметил ирландец. — Хуже всего будет то, что издатели начнут прислушиваться к глупейшим из них, здраво рассудив, что дураков всегда больше, чем умных, и если большинство покушателей книг — дураки, то под их вкус и следует подлаживаться.

Это, увы, звучало нравдоподобно.

Я уже был не рад, что затеял эту возню с книгой. Но золотые кудряшки твоей будущей матери, сынок, не давали мне покоя.

— Слушай, а понравится ли клерку история, как моего приятеля Джона Сильверстона захватили в плен? — спросил я.

— Это который Сильверстон? Тот, что спился и живет теперь в Гринвиче? Или тот, который уехал в Новый Свет? — уточнил Джереми.

— Тот, что спился.

— Худо, Боб. Он может прознать о книге, когда ее напечатают, и явится к тебе требовать денег. Но... но попробуй! Пусти в ход фантазию! Искажи эту историю до неузнаваемости!

И я взялся за дело!

«Однажды на рассвете наше судно, державшее курс на Канарские острова или, вернее, между Канарскими островами и Африканским материком, было застигнуто врасплох мавританским корсаром из Алжира, который погипался за нами на всех парусах. Мы тоже подняли паруса, какие могли выдержать наши реи и мачты, но, видя, что пират нас настигает и неминуемо догонит через несколько часов, мы приготовились к бою (у нас было двенадцать пушек, а у него восемнадцать). Около трех часов пополудни он нас нагнал, но по ошибке, вместо того чтобы подойти к нам с корамы, как он намеревался, подошел с борта. Мы навели на него восемь пушек и дали по нему залп, после чего он отошел немного дальше, ответив предварительно на наш огонь не только пушечным, но и ружейным залпом из двухсот ружей, так как на нем было до двухсот человек. Видочем, у нас никого не задело: ряды наши остались сомкнутыми».

— Прекрасно! — воскликнул Джереми. — Так и должно быть — наши побеждают, не получив ни единой царепинны! Клерк придет в восторг.

— Там дальние судно возьмут на абордаж, а меня захватят в плен, — напомнил я.

— Главное, чтобы шкура твоя осталась цела. Клерку неприятно воображать себя раненым героем.

- Кстати, Джереми, как у тебя с географией?
- Зачем тебе география? Клерк в ней не разбирается — ну и тебе незачем.
- Нужно название какого-нибудь мавританского порта в Африке. Я-то там ни разу не высаживался.

Джереми задумался.

- Помнишь того моппенника в тюрбане, который сидит у дверей кофейни «Лебедь» и предсказывает будущее? Как там его — Салех-Бармалех, что ли? Ну так пусть это будет порт Салех.

Я не возражал. С каждым часом я все более делался писателем.

«Нас отвезли в качестве пленников в Салех, морской порт, принадлежащий маврам. Меня не увили, как остальных наших людей, вглубь страны ко двору султана; капитан разбойниччьего корабля удержал меня в качестве невольника, так как я был молод, ловок и подходил для него. Так как мой новый господин взял меня к себе в дом, то я надеялся, что, отправляясь в следующее плавание, он захватит с собой меня. Я был уверен, что рано или поздно его изловит какой-нибудь испанский или португальский корабль, и тогда мне будет возвращена свобода. Но надежда моя скоро рассеялась, ибо, выйдя в море, он оставил меня присматривать за его садиком и вообще исполнять по хозяйству черную работу, возлагаемую на рабов; по возвращении же с крейсеровки он приказал мне расположиться на судне, в каюте, чтобы присматривать за ним».

— Тут, помнится, у Джона было какое-то приключение с двумя прекрасными мавританками, — неуверенно сказал я.

- Никаких мавританок!
- Но почему?

Джереми вздохнул.

— Ты все еще не понял, что за птица наш клерк? — ласково спросил он. — Как ты полагаешь, какое время тратит он на чтение приключенческих книг?

— Я полагаю, свое собственное, — отвечал я. — То свободное время, которое остается после службы. Разве я не прав?

Джереми вздохнул.

— Как ты полагаешь, много ли книг прочитал я за свою жизнь? — спросил он. — Не трудись отвечать, их было всего лишь около двадцати, но этого хватило — я получил понятие о том, что такое нынешняя литература. А все потому, что у меня есть на плечах голова!

Ирландское хвастовство всегда выводило меня из терпения. Мы опять поссорились, и он объяснил мне, чтоб имел в виду под «свободным временем клерка», лишь ближе к концу моего романа.

Собственно говоря, я тоже успел побывать в плену, только недолго. Бежать удалось на обыкновенном баркасе, который мой хозяин приобрел для рыбной ловли. Со-участником моим был молодой мавр, которого преследовало правосудие, а за какие подвиги — об этом я умолчу. Описывая наши сборы, я вдруг забеспокоился — получится ли моя книга достаточной толщины, и стал перечислять все подробности. Потом я перечитал этот кусок, он показался мне скучным, и я опять потребовал совета у Джереми.

— Попробуем прочитать вслух, — решил он. — Я знал, где стоит у хозяина ящик с винами (захваченными, как это показывали ярлычки на бутылках, с какого-нибудь английского корабля), и, покуда мавр был на берегу, я переправил их все на баркас и поставил в шкафчик, как будто они были еще раньше приготовлены для хозяина. Кроме того, я принес большой кусок воску, фунтов пятьдесят весом, да прихватил моток пряжи, топор, пилу и молоток. Все это очень нам пригодилось впоследствии, особенно воск, из которого мы делали свечи. Я пустил в ход и еще другую хитрость, на которую мавр тоже попался по простоте своей души. Его имя было Измаил, а все звали его Моли или Мули. Вот я и сказал ему: «Моли, у нас на баркасе есть хозяйские ружья. Что, кабы ты добыл немножко пороха и зарядов? Может быть, нам удалось бы подстрелить себе на обед штуки две-три альками (птица вроде нашего кулика). Хозяин держит порох и дробь на корабле, я знаю». — «Хорошо, я принесу», — сказал он и принес большой кожаный мешок с порохом (фунта пол-

тора весом, если не большие) да другой с дробью фунтов пять или шесть. Он захватил также и пуль. Все это мы сложили в баркас. Кроме того, в хозяйствкой каюте нашлось еще немного пороху, который я пересыпал в одну из бывших в ящике больших бутылок, перелив из нее предварительно остатки вина».

— Ну как? — спросил я. — Там еще можно написать, какие припасы принес на борт мальчик Ксури, наш третий попутчик.

— Я бы назвал это смертной тоской, но клерку понравится. Ты не забывай, Боб, что имущество у клерка мало, и он очень любит такие хозяйствственные рассуждения. А что ты собираешься сделать с этим мавром Мули? Неважко взять его с собой в христианские страны?

— Тогда Джон с ним уговорился, что отвезет его в Кадис, но по дороге им попались морские девы, а мавры — большие любители этого дела...

— Кто попался? — в ужасе спросил Джереми.

— Морские девы. Они как раз в тех краях пасут свои стада и часто пристают к морякам. Выныривают из воды по пояс и зазывают. Джон даже слушать их не хотел и дал мальчишке по шее, чтобы привести в чувство, а мавр совсем одурел. Так вот бедный Мули с ними и остался.

— Ты шутишь, Боб? — дрожащим голосом спросил Джереми.

— Какие уж тут шутки, дружище, я тоже имел с ними дело.

И я, засучив рукав, показал ему метку от сладострастных губ морской девы. У меня на теле были и другие, не такие заметные. Их трудно с чем-то спутать — и по прошествии нескольких лет эти круглые знаки сохраняют зеленоватый оттенок, не как у угасающего кровоподтека, а совсем иной.

Джереми сильно разволновался. Я рассказывал ему о повадках морских дев битых полчаса, прежде чем уразумел: он всю жизнь мечтал о красивой женщине, которая знает всего три десятка слов, которым обучил ее мужчина, да и те произносит крайне редко. Конечно, их красота не на всякий вкус, кожа у них грубовата, особенно на

плечах и на груди, лица широкие, и ни у одной морской девы не видел я тонкой талии, что искудивительно — не плавать же им в корсетах. Зато пахнут они изумительно — если, конечно, встретишь деву часа два спустя после того, как она пообедала сырой рыбкой.

— Никаких морских дев! — объявил Джереми, узнав все, что его интересовало. — Половина Лондона снимется с места и поплынет к африканским берегам! Хватит с нас кракена.

— Это еще места знати надо, — успокоил я его, и мы принялись решать судьбу бедного Мули.

— Всякий клерк в мечтах своих видит себя суровым и справедливым, — сказал Джереми. — А также деловым и практическим. До завтрашнего дня ты напишешь, как, опасаясь хитрости мавра, ты спихнул его за борт и велел плыть к берегу. А мальчика Ксури, так и быть, оставим. Африканский берег, африканский берег... Куда, говоришь, вы поплыли?

— Джон рассказывал, что взял курс на Гибралтар.

— Гибралтар подождет. Вы должны устроить охоту на льва. Клерк любит, когда охотятся на крупных животных, которых нет в Англии. Читая, он ощущает себя более значительным, чем лорд-канцлер, который всего лишь горняется в своем поместье за лисицами.

— А как выглядит лев? — спросил я. — Нет ли у тебя картинки?

Ты понимаешь, сынок, моряки знают только то зверье, которое встречается на побережье, а придя в порт, они уж скорее пойдут в бордель, чем в зверинец, честное слово. Джереми кое-как описал мне льва, и я решил, что эту скотину можно застрелить из ружья. Когда сцена со львами была готова, Джереми ни одной ошибки в ней не нашел и потребовал еще одну такую же, более кровавую. Он остался доволен — мы с Ксури не только убили льва, но и освежевали. Я боялся, что проклятый ирландец заставит меня сожрать туши, но он в тот день был мирно настроен — мы сошлись на том, что мясо у львов несъедобное.

Потом Джереми вспомнил, что клерки любят встречи с туземцами, — они якобы ощущают себя при этом умны-

ми, сильными и хорошо одетыми белыми людьми, несущими прогресс и цивилизацию. Мне уже было все равно — я написал про голых туземцев, прибавив заодно сцену охоты на гигантского леопарда. Получилось не очень достоверно, однако внушительно — застрелить опасного зверя и великодушно отдать его несъедобное мясо голым дикарям мечтал бы каждый клерк.

— Кстати, как твой приятель Джон поступил с мальчиком Ксури? — спросил Джереми, когда баркас уже приближался к Гибралтару.

— Гадко он с ним поступил. Продал в рабство.

— Замечательно! Клеркам это понравится! Они любят, когда герой удачно занимается коммерцией, — они бы сами продали мальчишку, понимаешь, Боб?

Мы спорили долго. Кроме всего прочего, мне совершенно не хотелось высаживаться в Гибралтаре — я никогда не бывал в Испании. И мы придумали такой поворот сюжета: баркас встречает португальское судно, идущее в Бразилию, и беглецов принимают на борт. В Бразилии я бывал и мог обойтись в романе без особого вранья.

Вот что получилось в итоге:

«Что касается моего баркаса, то капитан, видя, что он очень хороши, сказал, что охотно купит его у меня для своего корабля, и выдал мне письменное обязательство уплатить за него восемьдесят пистолетов в Бразилии. Кроме того, он предложил мне шестьдесят золотых за Ксури. Мне очень не хотелось брать эти деньги, и не потому, чтобы я боялся отдать мальчика капитану, а потому, что мне было жалко продавать свободу бедняги, который так преданно помогал мне самому добить ее. Я изложил капитану все эти соображения, и он признал их справедливость, но советовал не отказываться от сделки, говоря, что он выдаст мальчику обязательство отпустить его на волю через десять лет, если он примет христианство. Это меняло дело. А так как к тому же сам Ксури выразил желание перейти к капитану, то я и уступил его. Наш переход до Бразилии совершился вполне благополучно, и после двадцатидвухдневного плавания мы вошли в бухту Тодос лос Сантос, или Всех Святых».

— И там я свалял дурака. Я согласился приобрести участок невозделанной земли, как будто моряк может стать плантатором! И хлебнул же я с ним горя! А ведь меня звали в экспедицию — добывать левиафана, — пожаловался я Джереми на свою глупость.

— Ты хочешь сказать, Боб, что левиафан тоже существует?

— Кто ж этого не знает?!

Мы видели играющих левиафанов где-то на полпути к Бразилии. Только умалишенный может спутать их с китами. Во-первых, фонтан: у левиафанов это две широкие водяные ленты, которые плоской дугой лежат в воздухе по сторонам его гигантской башки. Во-вторых, они кувыркаются и замирают, задрав к небу толстый хвост. В-третьих, их всегда сопровождает рыба-утопленник. Она плоская, плавает в верхних слоях воды, и, если видишь ее с борта, в первый раз смертельно пугаешься, — кажется, будто сквозь воду на тебя таращится злая образина. Такой уж у нее странный рисунок на спине.

Помнишь, сынок, мои старые охотничьи сапоги? Так вот, они из шкуры левиафана. Но добыл этого левиафана, увы, не я. Я только купил сапоги — и то много лет спустя.

Я нарочно пришел в этих сапогах к Джереми, он их опнулся и признал — да, такое видит впервые. Поэтому я сел сочинять охоту на левиафана. Кое-что мне рассказывали бывалые промысловики, и потому вышло малость получше, чем африканская охота на льва. Я писал и оплакивал зря прожитые годы. Ведь я самым скучным образом выращивал табак, а потом даже разделал большой участок под сахарный тростник.

— Ты не годишься в плантаторы, Боб, — сказал Джереми.

— Я навязал себе на шею дело, не имевшее ничего общего с моими природными наклонностями, прямо противоположное той жизни, о какой я мечтал, ради которой я покинул родительский дом иренебрег отцовскими советами, — отвечал я ему. — Хуже того, я сам пришел к той золотой середине, к той высшей ступени скромного существования, которую советовал мне избрать мой отец

и которой я мог бы достичь с таким же успехом, оставаясь на родине и не утомляя себя скитаниями по белу свету. Как часто теперь говорил я себе, что мог бы делать то же самое и в Англии, живя между друзьями, не забираясь за пять тысяч миль от родины, к чужеземцам и дикарям, в диковую страну, куда до меня никогда не дойдет даже весточка из тех частей земного шара, где меня немного знают!

— Весточка — это приятно, — согласился ирландец.

— Кроме моего соседа-плантатора, с которым я изредка виделся, мне не с кем было перекинуться словом; все работы мне приходилось исполнять собственными руками, и я постоянно твердил, что живу точно на необитаемом острове, и жаловался, что кругом нет ни одной души человеческой. Как сираведливо покарала меня судьба, когда впоследствии и в самом деле забросила на необитаемый остров...

— Стой! Вот с этого места подробнее! — вскричал Джереми. — Ты действительно жил на необитаемом острове?

— Да, два года. И это были не худшие годы моей жизни.

— В печку рукопись! — завопил он. — Что же ты пишешь ерунду и враки про льнов и мавров, когда у тебя есть необитаемый остров?!

Встать и самолично сунуть рукопись в печку ему не позволила поврежденная нога, тогда он вознамерился ее порвать. Я с немальным трудом отнял у него эту стопку бумаги. Ирландцы слишком горячие ребята, их воображение развито беспредельно, сынок. Тебе только кажется, что ирландец на тебя работает. Просто в голове у него некий страшный мир, и его поступки в этом мире временно и совершенно случайно совпадают с делом, которое ты ему поручил.

Джереми отнесся с подозрением и к кракену, и к морским девам, и к левиафанам только потому, что он сухопутный человек. У самих ирландцев есть выдумки, рядом с которыми живой настоящий кракен меркнет и отступает в свои адские пучины. Но за несколько дней мой ирландец освоился с морской живностью и привык бы всякого,

кто бы опрометчиво заявил, будто левиафан на самом деле кит.

— Подумаеть, необитаемый остров, — отвечал я. — Конечно, сперва там было неуютно и жутковато, но потом очень даже приятно. Особенно когда появились Пятница и Среда.

Я долго не понимал, отчего Джереми так вцепился в этот чертов остров. А он все расспиривал и расспиривал.

Ты, сынок, знаешь, как я там оказался. Мои приятели-плантаторы сделали мне, моряку, выгодное предложение. Все мы больше всего нуждались в рабочих руках. Поэтому они вздумали снарядить корабль в Гвинею за неграми. Но так как торговля невольниками обставлена затруднениями и им невозможно будет открыто продавать негров по возвращении в Бразилию, то они решили ограничиться одним рейсом, привезти негров тайно, а затем поделить их между собой для своих плантаций. Вопрос был в том, соглашусь ли я поступить к ним на судно в качестве судового приказчика, то есть взять на себя закупку негров в Гвинее. Они предложили мне одинаковое с другими количество негров, причем мне не нужно было вкладывать в это предприятие ни гроша. Я подумал и согласился.

Джереми считал, что два года на необитаемом острове — это сущий ад. Я не сразу понял, что он имел в виду, но покорно записал под его диктовку:

«В недобрый час, 1 сентября 1659 года, я взошел на корабль. Это был тот самый день, в который восемь лет тому назад я убежал от отца и матери в Гулль, тот день, когда я восстал против родительской власти и так глупо распорядился своею судьбой».

— Клеркам нравятся роковые совпадения, — объяснил он.

Я же, откровенно говоря, не помнил, было это первого сентября или в какой-то иной день. И далее я пустился излагать на бумаге все возможные и невозможные ужасы морских странствий. Полагаю, что получилось неиллюзорно.

«После двенадцатидневного плавания мы пересекли экватор, когда на нас неожиданно налетел жестокий шквал. Это был настоящий ураган. Он начался с юго-востока,

потом пошел в обратную сторону и наконец задул с северо-востока с такою ужасающей силой, что в течение двенадцати дней мы могли только носиться по ветру и, отдавшись на волю судьбы, плыть, куда нас гнала ярость стихий. Нечего и говорить, что все эти двенадцать дней я ежесчасно ожидал смерти, да и никто на корабле не чаял остаться в живых.

Один из наших матросов умер от тропической лихорадки, а двоих — матроса и юнгу — смыло с палубы. На двенадцатый день шторм стал стихать, и капитан произвел по возможности точное вычисление. Оказалось, что мы находимся приблизительно под одиннадцатым градусом северной широты, но что нас отнесло на двадцать два градуса к западу от мыса Св. Августина. Мы были теперь недалеко от берегов Гвианы или северной части Бразилии, за рекой Амазонкой и ближе к реке Ориноко, более известной в тех краях под именем Великой Реки. Капитан спросил моего совета, куда нам взять курс.

Рассмотрев карты берегов Америки, мы пришли к заключению, что до самых Караibских островов не встретим ни одной населенной страны, где можно было бы найти помочь. Поэтому мы решили держать курс на Барбадос, до которого, по нашим расчетам, можно было добраться в две недели.

Но нас захватил второй шторм. Так же стремительно, как и в первый раз, мы понеслись на запад и очутились далеко от торговых путей, так что, если бы даже мы не погибли от ярости волн, у нас все равно почти не было надежды вернуться на родину, и мы, вероятнее всего, были бы съедены дикарями.

Однажды ранним утром, когда мы бедствовали таким образом — ветер все еще не славал, — один из матросов крикнул: «Земля!» — но не успели мы выскоичить из каюты, в надежде узнать, где мы находимся, как судно село на мель. В тот же миг от внезапной остановки вода хлынула на палубу.

Нечего было и думать сдвинуть корабль с места, и в этом отчаянном положении нам оставалось только изобретаться о спасении нашей жизни какой угодно ценой.

У нас было две шлюпки; одна висела за кормой, но во время шторма ее разбило о руль, а потом сорвало и потопило или унесло в море. Оставалась другая шлюпка, но как спустить ее на воду? А между тем нельзя было мешкать: корабль мог каждую минуту расколоться на двое; некоторые даже говорили, что он уже дал трещину».

— Великолепно! — воскликнул Джереми. — Мой мальчик, ты научился писать! Тебя ждут безумные гонорары! Клерки будут рыдать над этими страницами!

— Особенно те, кто видел море только на картинке.

Джереми торопил меня — ему не терпелось оказаться на необитаемом острове. И я, отхлебнув виски из большого стакана, продолжал пугать ужасами беззащитных клерков.

«В этот критический момент помощник капитана подошел к шлюпке и с помощью остальных людей экипажа перебросил ее через борт. Мы все, одиннадцать человек, вошли в шлюпку, отчалили и, поручив себя милосердию божию, отдались на волю бушующих волн. На берег набегали страшные валы, и море могло быть по справедливости названо *den vild Zee* (Дикое море) — как выражаются голландцы.

Наше положение было поистине плачевно: мы ясно видели, что шлюпка не выдержит такого волнения и что мы неизбежно потонем. Идти на парусе мы не могли — у нас его не было, да и все равно он был бы нам бесполезен. Мы гребли к берегу с камнем на сердце, как люди, идущие на казнь: мы все отлично знали, что, как только шлюпка подойдет ближе к земле, ее разнесет прибоем на тысячу кусков. И, подгоняемые ветром и течением, предавши душу свою милосердию божию, мы налегли на весла, собственноручно приближая момент нашей гибели».

— Прекрасно! Прекрасно! — воскликнул Джереми, хватая исписанные мною страницы, на которых еще не высохли чернила. — Слушайся меня, и ты станешь знаменит! А скажи, тебе приходилось тонуть во время шторма?

— Бог уберег меня, — отвечал я. — Во-первых, я хорошо плаваю, а во-вторых, в тот раз и настоящей бури-то

не было, а шлюпка перевернулась из-за глупости нашего рулевого.

— Но почему же погибла вся команда?

— А потому, что не надо в ожидании смерти пить ром черпаками. Мы по меньшей мере три недели мотались по волнам без всякого толка — и как ты полагаешь, чем развлекали себя матросы? А еще ирландец...

— Про это не пиши, — предупредил Джереми. — Клерку нельзя пить столько, сколько хочется, ведь ему наутро нужно быть в торговой конторе бодреньким и свеженьким. Не буди в клерке зависть, Боб. Кстати, а не налить ли нам еще по стакану?

Я нуждался в отдыхе, поэтому не возражал.

Два часа спустя, мало что соображая, я сел за работу. Мне нужно было высадиться на берег, но так, чтобы клерк как следует поволновался. Я напустил на шлюпку вал высотой с гору, опрокинул ее и принялся спасаться.

«Лишь когда подхватившая меня волна, пронеся меня изрядное расстояние по направлению к берегу, разбилась и отхлынула назад, оставив меня почти на сушке полумертвым от воды, которой я нахлебался, я перевел немногого дух и опомнился, — написал я. — У меня хватило настолько самообладания, что я поднялся на ноги и опрометью пустился бежать, в надежде достичь земли прежде, чем нахлынет и подхватит меня другая волна, но скоро увидел, что мне от нее не уйти; море шло горой и догоняло, как разъяренный враг, бороться с которым у меня не было ни силы, ни средств. Мне оставалось только, задержав дыхание, вынырнуть на гребень волны и плыть к берегу, насколько хватит сил. Главной моей заботой было справиться по возможности с новой волной так, чтобы, поднеся меня еще ближе к берегу, она не увлекла меня за собой в своем обратном движении к морю».

Вдруг я понял, что нужно делать!

Набежала вторая волна, похоронила меня футов на двадцать, на тридцать под водой, подтащила к берегу, оставила на отмели, и я понесся вперед. Набежала третья волна, увлекла меня в океан, потом кинула к берегу и отступила, я встал и устремился к суше. Набежала четвертая

волна и проделала тот же трюк. Набежала пятая волна... шестая... седьмая... Я все писал и писал...

Когда Джереми проснулся, дело дошло до сорок шестой волны. Он отобрал у меня перо с бумагой, я рухнул лицом на стол и заснул так, как, говорят, снят моряки, которые действительно чудом уцелели.

Наутро Джереми выкинул несколько липких волн, сказав, что они чересчур одинаковые. И я принялся устраиваться на необитаемом острове.

— Морские девы в тех широтах знают все острова и часто их навещают, — сказал я. — Тем более они видели, как судно борется с бурей, и предположили, что кто-нибудь из моряков уцелеет. Я провел ночь на дереве, боясь диких животных, задремал, а утром проснулся оттого, что они кидали в меня камешками.

— Сколько их было?

— Две. Потом одна уплыла, а другая осталась со мной. Мы потерпели крушение в пятницу, и я назвал эту девицу Пятницей. Морские девы неважные хозяйки, Джереми, но она делала все, что могла, и повторяла за мной слова. Правда, вряд ли она как-то увязывала слова с предметами. Просто им приятно повторять звуки, исходящие из уст кавалера. Я ее отправил на корабль за едой, и она принесла мне морские сухари — эту еду она знала прекрасно. Потом потихоньку мы перетащили на берег довольно много всякого добра.

— Это добро нужно описать подробно — каждый мешок с зерном, каждую бутылку рома, — сказал Джереми. — Клеркам понравится такая обстоятельность. Они мало внимания обращают на сюжет и прощают автору грубейшие ошибки, лишь бы он тщательно выписал мир, в котором действует герой, со всеми мелочами, даже нелепыми.

— Ладно, — согласился я. — В конце концов Пятница и Среда притащили вилавь даже книги из капитанской каюты. И мы весьма неплохо устроились, каждый день у меня была к обеду свежая рыба... Джереми, я даже не заметил, как пролетели эти два года!

— Не два, а четыре... — задумчиво произнес он. — Нет, четырех мало. Пусть будет восемь лет.

— Восемь лет на острове? Да ты спятил! — возмутился я. — За восемь лет можно сойти с ума и разучиться говорить по-человечески.

— Зато как трогательно, а? Клерки любят такие несправедливо большие цифры. Человек десять лет разговаривал сам с собой! Да твою книгу сметут с прилавков в считанные часы! А лучше — двенадцать лет. Садись, пиши! Описывай, как ты в одиночку разгружал застрявшее на мели судно.

— Без Среды с Пятницей я бы вообще до него не добрался. Ведь у меня не было шлюпки.

— Ну, ну... ну, придумай что-нибудь!

— Но почему ты не хочешь, чтобы в моем романе появились морские девы? Они выручили меня в беде, были мне добрыми подругами! Когда мне было грустно, я действительно разговаривал сам с собой и жаловался на свою участь. А эти проказницы подслушали, запомнили и, играя, вопили на весь остров: «Бедный Робин Крузо, как ты сюда попал?!» Я хохотал до колик...

Вспомнив их хорошенъкие мордочки, я невольно рассмеялся.

— Помнишь, мы толковали о том, какое время клерк тратит на чтение книг? — спросил Джереми. — Сейчас я скажу тебе прямо — он тратит на книги время, которое принадлежит женщинам! Вот я тратил на женщин даже то время, которое следовало бы отдать книгам, и не жалею об этом.

— Да и я, наверно, тоже. Потому-то мне так тяжко дается этот роман. А вот прочитай я хотя бы полсотни книг...

— Мой юный друг, ты дуралей! — отрубил Джереми. — Достаточно прочитать один роман из морской жизни с приключениями — остальные похожи на него как две капли воды, меняются лишь имена да названия фрегатов. Но именно это страшно нравится клеркам! Читая очередное творение военно-морского автора, они узнают все подробности, они ощущают себя словно в родном доме, откуда волей-неволей приходится каждое утро уходить на службу. Если же дурак-писатель вздумает сочинять хоть чуточку иначе, они будут страшно разочарованы. Нет, сэр, этим

господам требуется их привычная любимая жвачка, сегодня — то же, что вчера! Так вот, на чем я остановился?

— Ты остановился на женщинах, Джереми.

— Да. Женщины... Признайся честно, Боб, они тебе надоели?

— Ты же знаешь, что я задумал жениться.

— Это значит, что в твоей жизни будет «женщина». А я сказал «женщины»... Ладно. Мне они еще не надоели. Но это потому, что у меня сильный характер и сангвинический темперамент. Мне нужен тот мир, в котором есть виски, эль, трубка с табаком и женщины. Я вижу его вокруг себя и доволен! А у клерка вообще нет ни характера, ни темперамента. Он еще способен натянуться дешевым элем, но женщины пугают его. Он не знает, как с ними обращаться. Слишком много дурного бабья окружает его — или ему мерещится, будто окружает. Толстая мамаша, полдюжины родных и двоюродных теток, прислуга, волчья стая прыщавых кузин... Ему некого полюбить, он не в состоянии полюбить! Он не знает, с какой стороны подойти к красавице, как с ней говорить! А если вдруг заговорит, то совершенно не понимает ни ее слов, ни ее поступков! И страдает из-за этого! Он хочет в мир, где вообще нет женщин! И он находит этот мир в приключенческих романах. Знаешь, Боб, мы, ирландцы, умеем предсказывать будущее...

— После третьей кружки эля.

— Без всякого эля, черт тебя побери! Я предвижу... я предвижу, как сто лет спустя будут писать книги о приключениях не на воде, а под водой, под землей, над землей — там, высоко, куда не всякая птица залетит. И грядущие клерки будут платить за них деньги, потому что они найдут там мир без женщин!

Я понял, что пора убираться.

Дома я решил немного поработать. Слова Джереми о клерках и женщинах наконец угнездились в моей душе, и я стал изображать свою жизнь на острове такой, как если бы я был там один. Начал с судна.

«Но меня крайне поразило то, что корабль очутился на другом месте, почти у самой той скалы, о которую меня так сильно ударило волной: должно быть, за ночь его при-

подняло с мели приливом и пригнало сюда. Теперь он стоял не дальше мили от того места, где я провел ночь, и так как держался он почти прямо, то я решил побывать на нем, чтобы запастись сдой и другими необходимыми вещами».

Дальше мне нужно было придумать, как без помощи морских дев доставить на берег корабельное имущество. Я изобрел плот. Для него я даже распилил на три куска запасную мачту — после того, как пустил в ход запасные стеньги и реи. Мне пришло в голову, что клерк не поймет, о чем это я толкую, а слово «мачта» ему, несомненно, известно, он же любит гравюры, на которых суда красуются под всеми парусами. То, что на нашем кэче (некоторые называют такое судно со смешанным парусным вооружением «гукор»), с трюром в двести английских бочек, запасные стеньги отсутствовали, а мачта была составная, клерки вряд ли знали. Рангоутную древесину в большом количестве брали с собой военные суда, а мы ни с кем воевать не собирались.

Потом, помня о клерках, я пустился перечислять добчу.

«Прикинув в уме, что из вещей могло мне понадобиться больше всего, я отобрал эти вещи и наполнил ими все три сундука. В один я сложил съестные припасы: рис, сухари, три круга голландского сыра, пять больших кусков вяленой козлятины (служившей нам главной мясной пищей) и остатки зерна, которое мы везли для бывшей на судне птицы и часть которого осталась, так как птиц мы уже давно съели. Это был ячмень, перемешанный с пшеницей; к великому моему разочарованию, он оказался попорченным крысами. Я нашел также несколько ящиков вин и пять или шесть галлонов арака, или рисовой водки, принадлежавших нашему шкиперу».

Вздохнув о морских девах, вместе с которыми я пил на острове вино и распевал солнечные матросские песни, я опять всjomнил о клерках. Джереми говорил как-то, что они обожают оружие, хотя совершенно в нем не разбираются. Ладно, подумал я, будет вам оружие!

«В кают-компании я напил два прекрасных охотничих ружья и два пистолета, которые и переправил на

плот вместе с пороховницей, небольшим мешком с дробью и двумя старыми заржавленными саблями. Я знал, что у нас было три бочонка пороху, но не знал, где их хранил наш канонир. Однако, поискав хорошенъко, я нашел их все три. Один казался подмокшим, а два были совершенно сухи, и я перетащил их на плот вместе с ружьями и саблями», — написал я, и вдруг мне пришла в голову страшная мысль! Ведь даже клерк спросит, как перемещается этот тяжелый и неповоротливый плот.

Я задумался, как добраться до берега без паруса, без весел и без руля: ведь довольно было самого слабого ветра, чтобы опрокинуть это сооружение. Наконец я сочинил несколько сломанных весел от корабельной шлюпки, которые чудом не смыло с палубы.

Потом я нарисовал план острова, насколько помнил его (мы с девами не совершили экспедиций, и потому я знал всего лишь одну его часть, ограниченную справа и слева ручьями с пресной водой). И полночи маялся, описывая первые часы островной жизни.

— А как ты вообще догадался, что это остров? — спросил утром Джереми.

— Пятница со Средой объяснили. Нарисовали на песке палочкой...

— Мы же договорились, что никаких морских дев ты не встретил.

— Ну, тогда... тогда... Я залез на высокий холм и оттуда увидел бескрайний океан со всех сторон.

— Уже лучше. Теперь нужно описать, как ты вывез с судна на плоту все, до последнего гвоздика.

Эта работа заняла у меня четыре дня. Джереми все ворчал, что в моем хозяйстве слишком мало имущества. Наконец я сел считать и доказал ему, что перевез на остров груз небольшой, судов на пять-шесть, флотилии. Тогда только он успокоился и позволил вычеркнуть двенадцать сундуков, семнадцать мушкетов, три бочки муки и пушку.

Ничего более скучного, чем описывать жизнь одиокого чудака на острове, делать мне не доводилось. Если бы не Джереми, то и дело подбрасывавший новые идеи, да не золотистые кудряшки твоей матери, сынок, я бы кицул роман

в тонку и нанялся полевым сторожем в имение графа Саутгемптона — потом, кстати, я жалел, что не сделал этого.

Если бы чертов ирландец позволил мне написать правду!

Но потом я благословил его — твоя мать была особой высоконравственной, ей не следовало знать про мои шалости с морскими девами.

У Джереми срослась нога, он уже выходил на улицу и утратил интерес к роману. Тут только я понял, что в течение двух месяцев развлекал его своим сочинительством, как комедиант. Но отступать уже не мог — я проболтался твоей матери, что пишу роман, за который мне заплатят пять тысяч фунтов.

Наконец я поставил точку. Как мне казалось, удачно — на горизонте появляется корабль и после десятилетнего отшельничества забирает меня вместе с ручными козами в цивилизованный мир.

А ведь нужно было придумать всяких хозяйственных дел столько, чтобы на десять лет хватило! Я был очень горд собой и пошел хвастаться к Джереми.

— Мало, — сказал ирландец. — Всего десять лет? Да и рукопись твоя больно тощая. Издатели любят толстые рукописи, мой юный друг.

— Мне больше не о чем писать, Джереми, — признался я. — Я целый год строил ограду, способную удержать слона, хотя самое крупное животное на острове — коза, я копал пещеру, я мастерил мебель, разводил домашний скот, а когда не смог придумать себе еще каких-то занятий, устроил землетрясение, чтобы тратить время на ликвидацию его последствий.

Джереми задумался, листая рукопись.

— Да, весьма деловито и хозяйствственно, — пробормотал он, — но утратилось нечто... утрачена некая энергия... Вот что! Тебе необходимы людоеды! Сражений с людоедами хватит еще на четыре года!

— Как будто мне мало было морского змея, — проворчал я. — Когда я увидел однажды на песке его следы — чуть не помер от ужаса. На сущу он редко вылезает, но мог сожрать моих девочек, Пятницу и Среду.

— Ну так вот, ты увидел на песке след босой ноги! И это была нога людоеда! — объявил Джереми.

— Но откуда он взялся?

— Не он, а они. Приплыли на лодке.

— Зачем, ради всего святого?!

— Не знаю, — честно сказал Джереми.

О, эти честные глаза ирландца! Убереги тебя от них Господь, сынок.

Делать нечего — я стал припоминать все ужасы, которые у нас в Бразилии рассказывали про людоедские племена, и превратил мою прелестную Пятницу в преданного дикаря...

Не буду многословным, сынок, я и так тебя утомил. Теперь ты знаешь правду. Скажи, ты все еще хочешь стать моряком? Я знаю, из-за моей проклятой книжки у молодежи завелась мода — удирать на пустынные острова, откуда потом очень трудно выбраться. Но, сынок, подумай хорошошенько — хочешь ли ты попасть в щупальца к кракену? Хочешь ли разнимать драку двух ревнивых и когтистых морских дев? Хочешь ли, бултыхаясь в ледяной воде, лупить палкой по морде любознательного маленького левиафана? Хочешь ли стать на мертвый якорь в Саргассовом море и с ужасом ждать явления смерти в виде Водяного Старца?

Джереми нашел издателя, некоего мистера Тейлора, соблазнил его будущими барышами и сговорился об условиях. Согласно этим условиям книга должна была появиться через два-три месяца и быть определенной длины. Тейлор прочитал рукопись и назначил мне встречу.

— Мистер Крузо! — сказал этот изверг рода человеческого. — Я прочитал ваше сочинение и готов напечатать его при условии, что вы внесете в него кое-какие изменения.

— Я весь внимание! — отвечал я издателю.

— Это похвально. Вы, надеюсь, представляете себе вашего будущего читателя? Это простой лондонский клерк, у которого вся радость жизни — в чтении подобных книг.

Я помянул добрым словом Джереми. Все-таки ирландец разбирался в литературе.

— Он любит приключения, но это еще не повод забивать ему голову всякой ерундой, — продолжал издатель. — Поэтому из вашей книги придется изъять все, связанное с кракенами...

— Любой моряк подтвердит вам, что в Северном море полно кракенов и их часто относят течениями в Ламанш, — возразил я.

— Это проблемы моряков. А вы пишете для клерков, мистер Крузо. Вовсе ни к чему, чтобы в торговых конторах Лондона знали, как именно живут, размножаются и нападают на суда эти чудовища. Вы что-либо слыхали о страховании кораблей и грузов?

— Да, разумеется.

— Человек, знающий повадки кракенов, может этим воспользоваться, чтобы сыграть со страховой компанией в нечестную игру.

— Но любой моряк вам расскажет!..

— Любой моряк не пишет книг. И рассказывают эти истории скорее всего в грязных тавернах, на пьяную голову и таким же пьяным слушателям. Так что все упоминания о кракене извольте убрать.

— Что же тогда останется? — спросил я.

— Это уж ваша забота, мистер Крузо. Я бы на вашем месте добавил в роман нравоучений. Дело в том, что он маловат, а мне нужна книга в триста шестьдесят страниц, не больше и не меньше. И еще один совет. Четырнадцать лет на необитаемом острове — это немало, но для рекламы нужно что-то посильнее. Я представляю себе первую страницу так:

Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, прожившего двадцать восемь лет в полном одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки близ устья реки Ориноко, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого весь экипаж корабля, кроме него, погиб; с изложением его неожиданного освобождения пиратами, написанные им самим.

— Пиратами? — в ужасе повторил я.

— Да, клерки любят пиратов.

Я еле вышел из кабинета мистера Тейлора. Опять писать!.. Опять сочинять!.. Однако сумма, о которой шла речь, позволяла мне нанять помощника. Я направился к Джереми.

— Мой друг, — сказал я ему. — Ты живешь небогато. Наними, сделай милость, остальные четырнадцать лет приключений, воюй с пиратами, седлай морского змея, плыви на нем в Сибирь, стреляй медведей — мне все равно! Я хорошо тебе за это заплачу.

— Я не умею писать, — признался Джереми. — Я только знаю, как надо писать.

— Но ведь мы работали рука об руку! Ты диктовал, я писал! Ты умеешь, Джереми!

— Нет, Боб... — Он печально вздохнул. — Если бы я умел писать, какого черта я подался бы в издатели? Проклятые книги разорили меня! Я до сих пор скрываюсь от хозяев семи типографий!

От наших неприятностей было только одно надежное средство. И мы пошли в таверну.

Три дня спустя я пришел в себя и снова принялся за тяжкий писательский труд. Страшный образ клерка с окровавленными клыками витал надо мной.

Он и сейчас порой является мне во сне. Я вскакиваю, зажигаю свет, понемногу успокаиваюсь и тихо, чтобы не разбудить твою мать, шепчу:

— Бедный Робин Крузо, в черный дель вздумал ты стать писателем...

ВАСИЛИЙ МИДЯНИН

Что делать, Фауст

Просим читателя не зазрить и извинить нас, что помещаем здесь некое количество отрывков из премерзких стишатцев сих; делаем мы сие токмо в показание примера.

Василий Тредиаковский. Мнение о начале поэзии

Л. (открывая бутылку): Сейчас для начала я почитаю вам Пушкина. (Пьет из бутылки.)

Владимир Шапкарев. Митъки

Л след това Пушкин си добави.

Христо Найденов. Приказки за Пушкин¹

Александр Сергеевич Пушкин медленно, с трудом раскрыл глаза, неохотно впуская в свою многострадальную голову бледное отражение мира вещных форм.

В приоткрытую балконную дверь неумолимо вползало сырое петербургское утро. Непременный сквозняк вальсировал по комнате, то и дело цепляя занавеси; голуби снаружи толкались на узком карнизе, ворковали и негромко царапали кирпич тонкими изящными когтями. Где-то вдалеке, на канале, едва слышно бил колоколами недавно отреставрированный собор Святого Николая Угодника. В комнату просачивался привычный городской шум: слышались зазывные крики лотошника, прощающего свежую выпечку; по набережной шелестели экипажи; дворник-татарин бранился на своем причудливом языке с коллегою, стоявшим в дверях парадного через улицу; переулок под окнами шуркал, скрипел, лязгал и шаркал — жаворонок Петербург уже трудился вовсю.

Пушкин сполз с кровати, однако утвердиться на ногах не сумел и, переломившись в коленях и пояснице, в самой неудобной позиции очутился на прикроватном коврике. Здесь было жестко, тоскливо и пыльно, из-под двери невыносимо дуло. Еще полминуты Александр Сергеевич

¹ А потом Пушкин налил себе сие. Христо Найденов. Рассказики о Пушкине (болг.).

стоял на четвереньках недвижно, прикрыв глаза и безуспешно пытаясь превозмочь отголоски застарелой головной боли, стремительно вращавшиеся между черепом и мозгом, однако вскоре чувство долга и неудобство позы заставили его с горестным стоном усесться на полу. Прищурившись, Пушкин обвел мутным взором стены своей скорбной кельи и пришел к выводу, что это, пожалуй, гостиничный номер.

Он отчетливо помнил, как вчера они с Гнедичем, Вяземским и Вадимом Назаровым кутили у Дюме; по крайней мере, начинали определенно там, и с ними в начале вечера, вне всякого сомнения, были *madame Marie* и баронесса Г***. Но ближе к полуночи Пушкин несколько злоупотребил шампанским, кое в тот вечер милостью Назарова лилось рекою, и перестал четко различать действительные события от горячечных фантазмов, явившихся порождением его собственного воображения, до крайности изумленного воздействием неумеренного количества спиртуозных паров. Баронесса Г*** каким-то чародейным образом превратилась в Фифи, *madame Marie* — в Ксю, Гнедич с Назаровым исчезли в ночи, зато вместо них в клубах серного дыма в банкетном зале «Астории» явились Американец Толстой и Левушка Пушкин, кои для каких-то целей привели с собой цыгана с медведем на веревке и заказали великое множество столового хлебного вина № 12. Далее в воспоминаниях следовала впечатительная цензурная купюра. Хотя нет, в уголке сознания еще застряла весьма яркая сцена: полунасвая Фифи, беззаботно плещущаяся в фонтане какого-то обширного беломраморного холла, пьяный Американец, настойчиво пихающий в карман брезгливо отстраивающемуся городовому скомканные ассигнации, свирепо хохочущий Вяземский и он сам, Александр Пушкин, яростно рвущий из рукава рубашки застрявшую руку в неистовом желании незамедлительно присоединиться к купающейся шалунье.

Все. Больше ничего. Табула раса форматом ин кварт.

— Утро красит нежным светом... — страдальчески пробормотал Пушкин.

Он снова вернулся в исходную позицию — на четвереньки. В голове все еще шумело после вчерашнего. С недавних пор Пушкин начал замечать за собой одну преинприятную особенность: просыпаясь по утрам после ночных застолий, он продолжал ощущать себя слегка хмельным. При этом сопутствующие радостному опьянению в кругу друзей воодушевление и развязность ко времени пробуждения уже проходили без следа, и на долю утреннего хмеля оставались лишь плачущая, невыносимая, ненавистная тьма в голове и гулкая пустота в сердце, усугубляемые привычным похмельным синдромом: отвратительным головокружением, тошнотой, нарушенной координацией движений и мерзкой тяжестью во всех членах. Печень, утомленная многолетними бесчисленными возлияниями, решительно отказывалась перерабатывать попадающие в организм хозяина токсины с тою же непринужденною легкостью, что и в лицейские годы.

Ползти в туалетную комнату на четвереньках было крайне, крайне унизительно. Пусть никто не видел этого, но это было, безусловно, унизительно. Вот уж воистину обезьяна с тигром!. Покойный Дельвиг не упустил бы обидно съязвить что-нибудь по сему поводу. Посидев некоторое время на корточках, Александр Сергеевич тяжко оперся о смятую постель и снова попытался выпрямиться. *Voila!* на сей раз ему это удалось. Придерживаясь рукой за стену, он осторожно двинулся в выбранном направлении, памятуя смутно, что туалетная комната должна располагаться где-то на северо-востоке, если принять за север ту часть света, к которой он сейчас был обращен лицом.

Из туалетной Пушкин вернулся заметно посвежевшим. Холодное умывание, а также сокращенный комплекс упражнений по системе доктора Лодера сделали свое дело. Он даже несколько преодолел похмельную мигрень свою. Великий поэт поймал краем глаза робкий солнечный луч, пробившийся через неплотно задернутые занавеси, умиротворенно прижмурился, пристроился на краешке стола, дотянулся до своей одежды, которая

комом лежала на стуле, решительно извлек из внутреннего кармана записную книжку, раскрыл ее и поспешно набросал:

Мороз и солнце! день чудесный,
La-la-la-la-la прелестный,
Вставай, красавица, пора,
Открой la-la-la-la-la очи,
La-la-la-la-la долгой ночи,
La-la-la-la-la со двора...

На этом прозрачный источник вдохновения иссяк. Пушкин задумчиво захлопнул записную книжку, отодвинул ее от себя. Стихотворение обещало быть славным.

«Мороз и солнце, — подумал Пушкин, глядя в занавешенное окно, за которым неуловимо перемещались легкие тени, — мороз и солнце. Карапуз непременно упомянест тонкое, эфирное, едва уловимое, но явственное ощущение января, во время коего возникли новые хрустальные строчки maotre. Добролюбов заявит, что в темном царстве безнадежной зимы правящего режима автор наконец узрел революционный луч света, решительно пронизывающий холод и тьму. Пирогов напишет: „Положительно с редкостным омерзением прочел очередное зимнее сопле Пушкина, пыльное и пропыльгое, определенно вынутое из долгого ящика“. Критикам и обозревателям невдомек, что поэт — не акын, что он не обязательно поет то, что видит. Тончайшая ассоциативная цепочка: теплый сентябрь — солнце в окне — дохнуло внезапным холодом — колоколья вдали бьют колоколами чисто и ладно, словно в цеподвижном морозном воздухе, — и вот уже сам собой слагается гимн январю, ясный и свежий, как солнечное зимнее утро».

Холодная вода явно пошла на пользу мыслительной деятельности мэтра. Он снова взял записную книжку, включил ее, активировал файл «Срочности и нужности» и быстро пробежал глазами.

Коле предложить совм. проект. Соавторство в пополаме, или, м. б., отдать идею насовсем (????). «А. П. представляют: Николай Гоголь». «Мертвые души» (????) — по-

думать над назв. Не примут ли за ужастиковый трэш а-ля Белобров-Попов? Или прямиком нести в «Ад Маргинем» от «Ультра. Культура»? Подумать.

«Амфора» предл. серию: «Из книг А. Пушкина». Авторы и произв-ния, к-рые мне интересны. Выборка рукописей моя + рекомендации Фрая, Коваленина и Веневитинова. Надо согл. Или ну к черту лебедя, рака да щуку?..

Я помню чудное мгновенье! ты предо мной явилась вдруг, как мимолетное виденье, как tra-la-la-la, tru-la-la. Однако пречудные выходят стишатцы. Дописать непременно.

ММКВЯ в Москве. Встречи с читателями: 2-й и 3-й дни. Цветница, суббота. В воскресенье в павильоне совершеннейшая душегубка; отказываться до последнего. Гостиница, проезд — Новиков, «ЭКСМО». Забежать в «Дрофу» за гонораром за хрестоматию 5-й класс. НЕ ЗАБЫТЬ ОПЯТЬ АВТ. ЭКЗ!!! Посидеть с Михалковым, Битовым и Юзефовичем, максимально избежать Проханова и Греч. Фиглярина проигнор-ть. Приглашают на ТВ: «Апокриф», «Постскриптум», «Пусть говорят», «Доброе утро на НТВ», «Кто хочет стать миллионером», «Новости на канале „Культура“» (Костя Мильчин). Побеседовать с Рыковым («Поп. книга»), предл. сотрудничество; знатную раскрутку делают, шельмы. Обедать в «Билингве» с Гавриловым, Ермиловым и Фочкиным. С Фочкина, м. п., статься в «МК». Ночью клуб «Б-2».

Рекл. слоган для йогуртов «Данон». 5000 у. е. за строчку??? Проверить. Если бы анонимно, но ведь как раз подпишут: «Пушкин! Пушкин! обратите внимание, новая бессмертная строфа Пушкина!» Подонки, однозначно. Подумать.

Напоминаю про московскую книжную ярмарку Пушкин удалил безжалостно: это мероприятие уже осталось в прошлом. Разумеется, с Михалковым он так и не посидел, хотя и повидался коротенько на стенде «Вагриус», Проханова не избежал, Булгарина проигнорировать не сумел, авторские экземпляры хрестоматии в очередной раз благополучно позабыл в «Дрофе». С дружественными журналистами, правда, отобедал наскоро, подгоняемый

жесточайшим цейтнотом; Гаврилов потом, честь по чести, отдал солнцу отечественной поэзии половину полосы с фотографией в «Книжном обозрении», а вот подлец Фочкин отделался в «Московском комсомольце» абзацем в общей статье, посвященной ММКВЯ. Спасибо, впрочем, что вообще вспомнил, хотя Оксане Робски, следует заметить, были посвящены два абзаца, а Аксенову так и все три, пусть и коротких.

Поморщившись, Пушкин сосредоточенно отстучал:

Понять, что происх. с продажами Онегина. Почему падаем, невзирая на успешный сериал???

Мороз и солнце — день чудесный. Чучело, припиши хотя бы пару строф!!! Шоколадку куплю!

Напрячь Мамлеева, Фета и Диму Быкова непременно для очередного вып. «Современника». М. б., Немзер или Лёва Данилкин — большой лит. обзор (???) «Литература катастроф». Непременно поругаться наконец с Некрасовым по поводу его МТА.

Попробовать разобр. с Дантесям.

Глядя на последнюю строчку, Пушкин глубоко задумался.

За его спиной возникло слабое шевеление, затем раздался хриплый девичий голос:

— Паша! Пристают...

Александр Сергеевич даже вздрогнул, столь бесцеремонно выведенный из состояния задумчивости. Не то чтобы присутствие в помещении юной дамы стало для него совершеннейшей неожиданностью, но из-за тяжелого пробуждения и всегдашней рассеянности он как-то упустил из виду саму возможность такого присутствия.

Повернувшись к двуспальной кровати и окинув ее оценивающим взглядом, он сделал вывод, что, пожалуй да, под вздыбившимся холмами одеялом на второй ее половине вполне могла укрываться женская фигурка небольших размеров.

— Сколько тебе лет, прелестное дитя? — поинтересовался Пушкин.

— Пшол ты, — глухо донеслось из глубин одеяла.
— Ясно.

На спинке соседнего стула, задвинутого под стол, Пушкин обнаружил скомканные женские джинсы с низкой посадкой, блузку и трусики, а на сиденье — вывалившийся из заднего кармана джинсов паспорт. Судя по фотографии, паспорт принадлежал юной нимфе, что уже обнадеживало: растление несовершеннолетних в жизненное credo поэта никак не входило. Александр Сергеевич несколько мгновений размышлял, не вернуться ли в постель, под теплый бочок к нагой прелестице, но мысль об этом вызвала у него внезапный и мгновенный приступ душевной пустоты. Трезвое утро определенно мудренее пьяного вечера. Он неторопливо оделся, сунул записную книжку во внутренний карман, затем потрогал завернувшуюся в одеяло девушку за плечо.

— Я тебе ничего не должен? — осторожно поинтересовался он.

— Нет, вообще-то, — сонно проговорила девица. — Я не такая, но если оставишь что-нибудь на булавки, возражать не буду... Папашка у меня миллионщик, а на карманные расходы у него не допросишься. Козел. Сквалыга...

Пушкин полез в портмоне и озадаченно поскреб нереноисцу. Однако вчера он покутил более чем изрядно. В бумажнике оставались одинокая сотенная бумажка и еще какая-то отечественная мелочь. А банковскую карточку он, естественно, забыл дома.

Пиит задумался. С одной стороны, ста долларов было жалко — с оставшимися деньгами рассчитывать на маломальски приличный завтрак не приходилось. С другой стороны, мелочь девушка вполне обоснованно сочтет смачным плевком в лицо, а этого желательно было бы избегнуть. Еще, чего доброго, пойдет слушок в свете, будто ефиона не галантен в обхождении с дамами...

Вздохнув, Пушкин вытащил сотенную и положил ее на столик перед зеркалом.

— Ведь мы играем не для денег, а лишь бы веселье провести! — бодро продекламировал он. Сегодняшним утром с него вполне хватит и чашечки кофе.

— А? — вскинулась девица под одеялом. — Чего ты опять?..

— Вон, бабки на столе, — сказал Пушкин. — Судя по тому, что нас не вышвырнули из номера в полдень, мы оплатили его на сутки, так что отсыпайся, прелестное дитя. Можешь еще кого-нибудь привести вечером.

— У меня вечером лекции в университете, — засыпающим голосом проговорило юное создание. — Окно прикрой, холодрыга...

Покинув номер и захлопнув за собой дверь, солнце русской поэзии решительно и неудержимо устремилось к лифтам, чувствуя некоторый эмоциональный подъем от совершившегося благородного поступка. Оно даже любезно раскланялось с воспетыми на восьмом этаже вьетнамцами, хотя их щебечуще-мяукающая речь, коей они без остатку наполнили тесную кабинку лифта, вновь отзывалась в висках оттенками мигрени. Выходя на первом этаже, Александр Сергеевич с затаенной надеждой приблизился к гостиничному ресторанту — судя по визитной карточке постояльца, которую он обнаружил во внутреннем кармане вместе с электронной записной книжкой, за оплаченный на сутки номер ему сегодня полагался бесплатный завтрак в форме шведского стола, — однако, изучив расписание на дверях ресторана, поэт пришел к неутешительному выводу, что завтрак закончился полтора часа назад. Впрочем, он ни на что особо и не рассчитывал и оттого с подчеркнутым достоинством двинулся к выходу, лишь ненадолго задержавшись в гостиничном баре напротив рецепции, дабы подкрепить подорванные похмельем силы рюмкою текилы с солью и ломтиком лимона. Сидевший за стойкой ирландец-дальнобойщик, преогромный рыжий мужчина самой свирепой наружности, в необъятном татуированном кулаке которого совершенно терялась полулитровая кружка пива, дружелюбно покивал ему. Самочувствие еще более улучшилось, хотя финансовое состояние в результате проделанной операции стало вовсе прискорбным. Теперь, пожалуй, великому пищугу не следовало рассчитывать даже на чашечку кофе, ибо необходимо было еще каким-то образом попасть в центр города.

Шофер стоявшего возле гостиницы таксомотора спросил за проезд такую сумму, что поверг Пушкина в состояние самого унылого размышления. Обе возможные альтернативы поездке в таксомоторе — добираться до редакции час пешком либо четверть часа на метрополитене, но перед этим неизбежно еще четверть часа на своих двоих до ближайшей станции «Балтийская» — вызывали решительное отторжение у ослабленного спиртуозной интоксикацией организма. Впрочем, находчиво отойдя от гостиницы метров триста и свернув в один из бесчисленных питерских переулков, Пушкин без особого труда поймал старенький «жигуленок», водитель которого согласился домчать пассажира до «Нашего современника» за цену в два с половиною раза меньшую. Чрезвычайно довольный собой, Александр Сергеевич забрался на переднее сиденье экипажа и велел трогать.

Салон «жигуленка» значительно уступал в комфорта-
бельности салону Наташкинского «БМВ», но это таки была машина, а не троллейбус. В экипаже аппетит, подогретый ранней текилой, заворочался с новой силой, и Пушкин, плонув на приличия, начал припомнить, кто из его друзей может завтракать в такую рань. По всему выходило, что подобных безумцев среди сих достойных господ нет. Хотя директор «Петербургского востоковедения» Николай Гнедич, убежденный жаворонок и по сему случаю белая ворона среди питерской литературной ботемы, вполне мог об это время обедать с Гоголем, кое-го он по праву непосредственного начальника и старшего товарища приучал перманентно к умеренности и аккуратности.

Пиит выбрал на мобильнике телефон Гнедича и надавил зеленую кнопку дозвона. Николай Иванович ответил сразу — хороший признак, значит, телефон лежал прямо перед ним на столе ресторана.

— Душа моя Александр Сергеевич? Жив ли после вчерашнего гульбария, дорогой друг?

— Некоторым образом, — отозвался Пушкин. — Николай Иванович, брат, отвечай мне немедленно и как на исповеди: обедаешь ли ты сию минуту?..

— И вновь страждёт безденежная натура твоя? — хмыкнул Гнедич. — Видишь ли, мы уже слетка отобедали с Коленькой, но неосторожно совершили послеобеденный моцион мимо «Тинькоффа», и я не сумел совладать с собой, дабы не увлечь хохла на пару бокалов платинового нефильтрованного. Исключительно ради лучшего пиццеварения и премии «Странник», кою Коленька, как выяснилось, получил намедни за «Шипель». Так что когда поспешишь, получишь отличную возможность обмыть с нами несомненный успех коллеги. Обещаем также допустить тебя к дележу заказанного нами метра колбасы и оставшейся строганины.

— Мчусь, — сказал Пушкин и, погасив мобильник, обратился к водителю: — Планы меняются прямо на глазах. Правь-ка, любезный автомедонт, к Казанскому собору.

— Как скажешь, барин, — равнодушно откликнулся водитель.

Денег Пушкину в обрез хватило расплатиться за экипаж, и он сразу почувствовал себя голым: не в его привычках было оказываться в городе без соответственных депансов. Водитель высадил его прямо на Невском, у начала Казанской улицы: в связи с приближающимся праздникою Зоопарка вся улица была вскрыта, там и сям виднелись задумчивые рабочие с отбойными молотками. Тут же Пушкина взял в клещи проходивший мимо патруль городовых, кои с видимым предвкушением во взоре потребовали у поэта документы. Тот уже привык, что его южная внешность непрестанно смущает российского обычного, поэтому безропотно полез за паспортом, который от постоянного таскания в кармане уже понемногу начал разрушаться. Убедившись, что смуглый и курчавый хачик, стоящий перед ними, — русский, коренной петербуржец, имеющий, ко всему прочему, корочки Союза писателей, Союза журналистов и Союза кинематографистов, патрульные вежливо козырнули и немедля устремились в сторону замешкавшегося перед витриной кофейни господина узбекской внешности. А Пушкин свернул на Казанскую и побрел по разбитому отбойными молотками тротуару к «Тинькоффу».

«Догадал же меня Господь, — сердито думал он, перешагивая через кучи щебенки и строительного мусора, — с моей внешностью и талантом родиться в России!»

Взлестев по ступеням заветной пивоварни, Пушкин окинул близоруким взглядом пивной зал и обнаружил своих друзей на их любимом месте возле окна. Гоголь, радостно хохоча, издали махал Александру Сергеевичу своим массивным литературным призом. Несколько лет назад Пушкин, кстати, тоже получил от фантастического гетто приз за «Руслана и Людмилу» — «Бронзовую улитку», которую последние годы собственным волевым решением вручал Борис Стругацкий.

— Ну что, господа фантасты, — сказал Гнедич, тепло поприветствовав Пушкина, — позвольте уж мне теперь так вас называть.

— Нет, нет! — в притворном ужасе закричал Пушкин. — Нас с сей каиновою печатью ни в один толстый журнал не примут! Пощади, батюшко! живота!..

— А я доволен, — заявил Гоголь, водруженный приз в центр стола. — Сальвадор Дали говорил, что он выше всех этих глупых условностей; мол, если даже его наградят орденом Ленина или медалью Мао Цзедуна, он их примет и будет совершенно счастлив. Я вполне разделяю данное компетентное мнение. Если коллеги не хотят давать «Миргороду» «Букера», пусть это будут хотя бы фантасты.

— Покажи цацу-то, — произнес Пушкин, бесцеремонно сгребая со стола бронзовую статуэтку, символизирующую собой литературу премию Гоголя.

— Почитать разве какого-нибудь отечественного фантаста? — раздумчиво проговорил Николай Иванович. — Вдруг упускаю что-нибудь важное? «Гиперболоид инженера Гарина» и «Война миров», скажем, произвели на меня в детстве довольно заметное впечатление.

— Сейчас усиленно пиарят Лукьяненко, — заметил Гоголь. — Попробуй. Видимо, лучший из. Вынужден признаться, Жанна Фриске в «Дневном дозоре» воистину хороша. Стильная такая, с рожками и рюкзачком в виде гробика.

— Чего бы ты съел, душа моя Александр Сергеич, когда был бы дома? — вернулся Гнедич к животрепещущему, отобрав у пробегавшей мимо официантки меню и элегантно подав его Пушкину.

— Куриного супчику, Глеб Егорыч, да с потрошками, — заявил тот, отставляя статуэтку и приимая меню. — Да с потрошками. Нет, если серьезно, Николай Иваныч, дома я бы сейчас съел китайской лапши из пакетика и бутербротъ с генетически модифицированной ветчиной. Посему дом отставить. А съем-ка я лучше что-нибудь из ниппонской кухни. В этакой вот, знаешь ли, деревянной лодочке.

— Обитатели страны Ямато живут возмутительно долго, — заметил на это Гнедич, — и практически не страдают инфарктами и инсультами, но уверенно занимают первое место в мире по заболеванию ботулизмом и раком кишечника. Задумайся над этим, прежде чем поглощать специфическую для всякого русского брюха пищу.

— Неоднократно страдал раком, — рассеянно произнес Пушкин, листая меню в поисках суши. — Господи, пикантный экспромт! Надо где-нибудь использовать.

— Подари Стогоффу, — порекомендовал Гоголь, — он оценит.

— Стогофф ныне ударился в сугубое богоискательство, — проворчал Гнедич. — Боюсь, уже не оценит. Читали «Челость Адама» и «Так говорил Йихвэ»?. Ба! Это же опера в трех действиях. Это бой быков. Это лазерное шоу Жан-Мишеля Жарра на Воробьевых горах — с фейерверком и сверхзвуковыми бомбардировщиками. Батюшка Охлобыстин рукооплещет стоя. — Он огорченно крякнул. — Ну ладно. Выпьем с горя — где же Пушкин?..

Пушкину как раз принесли ноль пять платинового нефильтрованного, которое заказал ему Гнедич, едва только завидев друга в дверях.

— Пиво? С утра?! — ужаснулся Александр Сергеевич. — Девушка, принесите мне двойной эспрессо, пожалуйста!

— Пиво всегда у места! — запротестовал Гнедич. — Множество витаминов, ценные для организма дрожже-

вые грибки и бактерии, активная стимуляция мочевы-водящей системы. В Чехии, между прочим, пивом лечат камни в почках. Пей, дорогой, не кривляйся.

— Подчиняюсь грубому нажиму, — вздохнул Пушкин, обреченно придвигая к себе бокал.

— За Сальвадора Дали и сгенерированную им мудро-ту, — предложил тост Гнедич.

— За гоголевского «Странника», — отозвался пинит.

Они погрузили посы в пивную пену.

Через несколько минут к столику снова подошла официантка, доставившая эспрессо, и Пушкин сделал основательный заказ.

— Ты вообще откуда такой встрепанный? — поинтересовался Николай Иванович, изящно, двумя перстами, выуживая из миски длинную рыбную стружку.

— Кажется, из гостиницы «Советская», — рассеянно пожал плечами Пушкин.

— Бог мой, что ты там делал? — поразился Гнедич. — Это же экономкласс! Имел я несчастье как-то ужинать там с группой дружественных славянистов из пекинского университета. Ты видел, какие там в ресторанте крошки на столах? Там вот такие вот в ресторане крошки на столах! С кулак величиной! Я с петицией к официанту, а тот само хладнокровие: «Вы при входе в гостиницу название видели? Ну так не взыщите, милостивый государь!»

— Я там не ужинал, — поспешил оправдаться Александр Сергеевич, отхлебывая пива. — Я там, кажется, почевал. По крайней мере, проснулся.

— Безумец! Каким же ветром тебя туда занесло с Невского? Тебе что, для блэдства «Астория» тесна?

— Сам не знаю. Ворочается в голове, что вроде бы действительно ушел я от вас вчера с какой-то девчонкой... — Пушкин внезапно ощутил разрывы в своей сплошной амнезии на вчерашние события и напряг память. — Ага, вот что: мы ходили к Исаакию, я ей на память читал Баркова на лавочке, затем мы, вполне естественно, решили не противиться природе и переместиться в нумера, но вначале непременно следовало взять с собой бутылку хорошего вина, иначе получался какой-то азиатский разврат. Только

двинулись мы почему-то в обратную от цивилизации сторону, к порту. Дальше ничего не помню, но осмелиюсь реконструировать последовавшие события, ибо все достаточно прозрачно. Естественно, хорошего вина мы в той стороне не нашли, что было бы с самого начала ясно вся кому трезвому человеку. Оттого брели вплоть до того маленько-го винного погребка на набережной Фонтанки, что в переулке от гостиницы «Советская», — знаешь? Там еще хозяин трек. Приобретя искомое, устремились наконец в нумера. А поскольку по дороге к погребку мы наверняка еще завернули в клуб «Гравицана», коий стратегически крайне удачно расположен как раз на пути от Дворцовой площади к «Советской», и там дополнительно приняли внутрь ис-установленное количество спиртуоза, то разыскивать более других нумера, нежели ближайшая вышеупомянутая «Со-ветская», нам было решительно тяжело. Я так понимаю прискорбный инцидент сей. — Пушкин сунул в рот сигарету и щелкнул зажигалкой. — А что, вполне приличный хотел. Три звезды, белье чистое, зеркальный лифт, кругом иностранцы, биде есть, все дела. Приходилось мне просыпаться в местах и похуже.

— И это вот ведущий отечественный литератор, — со-крушил покачал головой Гиедич. — Надежа российской изящной словесности, буквально наше всё. Алкоголик, лебошир, потаскун. Кто вчера зеркальное стекло разбил в «Пассаже» спяну? А? Бери пример с Коленъки: вечером пришел из тренажерного зала, об одиннадцатом часу уже был в постели, встал в семь, зарядочка, принял душ, кефиру выпил — огурчик!

— У Коленъки солидный любовник, который держит его в форме, — сказал Пушкин. — Суриозный человек. Мой же женщина самой нянька нужна.

— Вы когда виделись-то последний раз?

— Позавчера. Пустое, Николай Иванович! — Пушкин предостерегающе поднял ладонь, заметив, что Гиедич хочет что-то добавить. — Со своими личными делами я сам разберусь. Умны все больше стали учить меня. Я же вон не учу тебя, как обходиться с Коленъкой.

Он раздраженно уткнулся в свой бокал.

— Ладно, ладно, не серчай, дорогой.

Пушкину наконец принесли мелко порубленную японскую кухню, соевый соус, маринованный имбирь, горячую салфетку и палочки. Увидев внушительные размеры деревянной лодочки, в которой прибыли дары моря, Гнедич горестно вздохнул, но ничего не сказал по сему поводу.

— Как роман продвигается, Александр Сергеич? — поинтересовался он вместо этого.

— Никак не продвигается, — рассеянно буркнул пиит, с треском разламывая палочки. Сейчас его занимало совсем другое; в сладостном предвкушении пищи он приободрился и даже несколько порозовел лицом.

— Отчего же?

— Девятый вал работы, уважаемый коллега, — пояснил Пушкин, тщательно протирая ладони салфеткой. — Погребен лавиною рукописей и организационных проблем.

— По выходным, брат, писать надо.

— По выходным, брат, я едва в себя прийти успеваю после трудовой недели.

— Да полно, Александр Сергеич! А вот чем ты, к примеру, занимался на последние майские вакации? Ведь вотку же полторы недели трескал, скотина!

— Молчи, несчастный! — патетически возвысил голос Пушкин, погружая нигири в соевый соус. — Я все майские «Историю Пугачевского бунта» дописывал! А вотку попил лишь на девятое число, да и то небрежно! Нельзя было не уважить ветеранов.

— Врешь ведь, подлец. — Гнедич снова покачал головой. — Но что, «История»-то хотя бы скоро выйдет?

— В ближайшем номере «Современника» первая часть. Весьма неплохо получилось вроде бы. Наши уже все чли, хвалили премного. Хочешь, брошу тебе на мыл?

— Ты же знаешь, я с экрана не читаю, — с достоинством ответствовал Гнедич. — Выйдет в бумаге, зачу, отчего ж.

— А распечатать на принтере — не?

— Не то это, Александр Сергеевич. — Гнедич пожал плечами. — Не та верстка, не та длина строки, не те душевые ощущения. Не люблю я эту электронику, привык

к запаху типографской краски и бумаги офсетной белой шестьдесят пять. Слушай, а ты действительно уверен, что Пугачева была наиболее знаковой фигурой нашей эпохи? Не Высоцкий, скажем, не Вознесенский, не Миронов?.. Стоило ли такзывающе называть свой мемуар?

— Я пишу как ощущаю, Николай Иванович, — сказал Пушкин. — Не претендуя на мессианство и не насилия свое мироощущение в угоду праздной публике. Может быть, я и не прав в данном случае. А напиши собственный мемуар об эпохе! Нет, кроме шуток. Тебе наверняка есть что вспомнить, дедушко.

— Ладно, поглядим ужо. Может, и сберусь.

Они замолчали, погрузившись в пиво. Хохол умело заполнил возникшую паузу, рассказав, как питерский телеканал снимал лауреатов «Странника» для вечерних новостей. В гоголевском изложении эта история звучала пересказом комедии положений, а сам Гоголь выглядел в ней если не Джимом Керри, то уж как минимум Луи де Фюнесом. Разомлевший от еды и пива Пушкин хохотал от души, Гнедич одобрительно хмыкал и отпускал дружелюбные колкости. Когда Гоголь закончил, вошедший во вкус Александр Сергеевич принялся азартно рассказывать, как участвовал в телепрограммах, будучи в Москве на последней книжной ярмарке.

— Затем, весь в мыле, прибыл сниматься в «Пусть говорят», — увлеченно излагал он, размазывая васаби по тобико. — Включают камеры, клакеры усердно бисируют. Направляется ко мне Малахов с микрофоном и уже издали энергично кричит: «Ну что, брат Пушкин?» Я, честно говоря, столь опешил от подобного панибратства и света прямо в глаза, что лепечу едва слышно: «Да так... так как-то всё...» А он поворачивается и радостно кричит в зал: «Большой оригинал!»

— Надо это где-нибудь использовать, — задумался Гоголь. — Знаешь, такой монолог записного хвастуна: с Путиным рассуждал о судьбах Отечества... С Киркоровым пел дуэтом на «Новогоднем огоньке»... С Пушкиным на дружеской ноге...

-- Солженицын плачет, читая мои работы, — предложил Гнедич, флегматично отрезая себе солидный кусок от метра колбасы. В продолжение разговора метр сей его стараниями сократился примерно на треть, словно г-н издатель и не отобедал только что с аппетитом у Дюме. — «Как нам сию минуту обустроить Россию и ничего себе при этом не сломать-с». — Он заглянул в свой опустевший бокал. — Однако надо было сразу предупредить официанток, чтобы неизменно несли за этот столик платиновое нефильтрованное, пока я не скажу «хватит». Одного не могу понять, господа: для чего же они в этой пивоварне подают столь отменное пиво, а в бутылки со своим логотипом мочатся? То же относится и к «Наулагнеру», ибо в бутылках сей достойнейший разливной напиток сущая моча есть. Зачем они так жестоко обращаются с малоимущими?

— Неизбежное при рыночной экономике имущественное расслоение, Николай Иванович, — пояснил Гоголь. — Не дело быку пить амброзию Юпитера.

— Скажи-ка мне, Коленька, а не ты ли тихими украинскими ночами резвишься на форуме prozak.ru под ником «А. Л. Коголь»? — внезапно вопросил Пушкин, подцепляя палочками непослушный кусочек сашими. — Товарищ тоже крайне любит пощутить про Юпитера, быдло и амброзию.

— Я, — тут же сознался Гоголь, даже не пытаясь запираться. — Только смотри, это строго между нами! Главное, Грошку не говори. Мы тут с ним недавно зацепились языками, до матюков дело дошло. Он ведь такой зануда и мизантроп, мертвого достанет. Но я его буквально попрал в ходе сложной многочасовой дискуссии. Истинно втоптал в грязь.

— Так это он — Прохфессор?! — удивился Пушкин.

— Ну. Только не говори никому. А не то тебя черти на том свете железными рогатками припекут, вот припекут. Я договорюсь.

— Вон оно когда все выясняется-то... Что ж ты себе столь прозрачный ник выбрал? Тебя же раскусят в два счета.

— Эдгар Пое на последней Франкфуртской ярмарке справедливо заметил, что если хочешь спрятать истину — положи ее на самое видное место, — ответствовал Николай Васильевич. — Никто даже вообразить не может, что Коголь — это Гоголь. Кем только меня не разоблачали: и Галковским, и Мальгиным, и Слаповским, и Минаевым, и Воейковым... Девушки меня настоящего даже жалеют в форуме: вот, дескать, какое-то чмо путинофанристское, против оранжевой революции имеющее высказываться, взяло себе ник с прозрачным намеком на видного независимого писателя!..

— Гляди же. Я ведь тебя мигом разоблачил, — напомнил Пушкин.

— Ну, ты меня просто слишком хорошо знаешь.

— В этой связи позволено ли будет недостойному задать глупый вопрос? — влез Гнедич, который все это время манерно попивал пиво, прислушиваясь к диалогу. — Почто же у тебя, батюшко, такой неудобный адрес сайта — pouchkine.ru? Вчера полез по служебной надобности, так дважды обдёрнулся, пока набирал. Понимаю, конечно, неудержимую галломанию хозяина, но ведь девяносто девять персентов твоих поклонников, разыскивая в сети сайт Пушкина, в первую очередь наберут pushkin.ru...

— И попадут на сайт московской ресторации «Кафе Пушкинь», — продолжил Александр Сергеевич. — Занято уже, Петя. Не считай меня глупее князя Доцукова-Корсакова. Галломан я, конечно, знатный, но не настолько же.

— Вон оно что.

— Именно, — кивнул Пушкин. — Вообще презабавная штука — Интернст. Огромная и зловонная назозна куча, в которой там и сям блещут россыпи жемчужных зерен. Горчев, Березин, Тредиаковский, Тургенев, в конце концов. Читали его «Стихотворения в прозе», что он вывесил вечер в Живом Журнале? Это же прелесть что такое! Рассказывал он мне тут, кстати, за бокалом «Франциканера» пару своих задумок, под условным названием «Дети и родители» и это... забыл как называется... где собачку уто-

пили; шедевры! истинные шедевры! Говорил я Тургеневу, вдалбливал ему: Ваня, родной, пипи, дурак, талант у тебя от Бога, ведь в землю зарываешь талантище свой! Спасибо, говорит, Шурка, проза — это хорошо и все такое, всю жизнь мечтал, спасибо тебе на добром слове, но только сеть ресторанов пожирает у меня все свободное время, глубокой ночью притащишься домой — и ни о чем не думаешь больше, как только добраться до кровати. Хочется секса, но нету рефлекса. Только и успеваю за обедом половину стихотворения в прозе накидать, — Пушкин безнадежно махнул рукой с зажатым в палочках суши, едва не выронив оное на колени Гнедичу. — Вот и все. Еще один упавший вниз на полпути вверх.

— Кстати, — оживился Гоголь, — а не забежать ли нам по сему поводу ввечеру к Тургеневу в ресторацию? Он нам славную скидку делает.

— Балбес ты, хохол, — невесело фыркнул Пушкин.

— За что и ценим, — уточнил Гнедич.

— А не то пойдемте в «Саквояж беременной шпионки», — невозмутимо продолжал Гоголь. — Сегодня вечером там выступает «Нож для фрау Мюллер». Я бы послушал. Пригласим девчонок, позовем Ксю...

— Давайте уже тогда сходим в «Палкин», — предложил Гнедич. — Для пафосу молодецкого.

— Что ты, Николай Иваныч, родной! — замахал руками Пушкин. — В моем нынешнем финансовом положении это ослепительно дорого.

— Александр Сергеевич! батюшко! Нельзя думать о деньгах, когда речь идет о святом — о желудке! — искренне возмутился Гнедич.

— Нет, дорогой друг, извини, я сего дни уже приглашен; Костя дает королевскую партию в боулинг по случаю выхода своей эндцадтой книги.

— Да! — восхликал Гнедич. — Как жс я забыл! Мы с Коленкой тоже идем. По слухам, у Шустова весело и вполне сносно кормят.

— А вот проверим.

— Я покорнейше прошу прощения, господа... — донеслось из-за широкой спинны Николая Ивановича.

Массивный Гнедич с трудом повернулся на стуле и уставиля на приблизившегося к их столику молодого человека в парадном гвардейском мундире корнета.

— Что вам угодно, милостивый государь? — подозрительно осведомился Николай Иванович. — Если вас раздражает сила моего голоса, я обещаю несколько сбавить обороты.

— Нет-нет, что вы! — испугался незнакомец. — То есть да, голос у вас знатный, но это ни в коем случае не упрек, а, как бы это точнее выразить...

— Вы уж постарайтесь выразить поточнее, любезнейший, — с неудовольствием произнес Гнедич.

Офицерик совсем сконфузился.

— Еще раз прошу прощения великолепно... Вы ведь Гнедич, да? Рад, крайне рад, — торопливо забормотал корнет, дождавшись от Николая Ивановича сухого кивка. — Перевод «Илиады» весьма потряс меня в свое время... Мне указал вас половой, коий утверждал ранее, что вы имеете обыкновение захаживать сюда в обеденное время... Вы, насколько я понимаю, имеете некое отношение к книгоиздательской деятельности?..

— Точно так-с, — отозвался Гнедич. — Вы хотели бы заключить со мной долгосрочный контракт на распространение замечательной книги господина Нефёдкина «Босные колесницы и колесничие древних греков»? На складе ее еще довольно.

— Э-э-э... да. То есть нет. Видите ли, дело в том, что я пишу... как бы это поточнее сказать... в некотором роде стихи, что ли...

— Крайне сожалею, сударь, мое издательство называется «Петербургское востоковедение» и не публикует современных отечественных писателей, — послешно сказал Гнедич. — Если бы вы были, скажем, ханьским стихотворцем девятого века, то я бы безусловно и со всем мыслимым почтением...

— Но, возможно, вы, с вашими обширными литературными связями, могли бы посоветовать мои тексты в какой-нибудь журнал?.. — с отчаянием в голосе хватался за последнюю соломинку корнет. — Или... способство-

вать, так сказать... публикации в каком-либо издательстве...

Гнедич с тоскою посмотрел на свой отставленный бокал с пивом.

-- Хорошо, любезный, вот вам моя визитная карточка, -- решил он, поняв, что вежливо отпить юнца не удастся. -- Принесите мне по электронной почте свои экзерсисы, и я, не исключено...

-- Так у меня все с собой! -- радостно сообщил юный пиит. Он сунул руку за пазуху и с остервенением стал выдергивать из внутреннего кармана кителя некий артефакт, запечившийся за подкладку. Наконец глазам литераторов за столиком предстала тонкая ученическая тетрадь, сложенная вдоль. -- Вот, -- произнес офицер, с вежливым полупоклоном подавая ее Гнедичу. -- Труды плодов, так сказать. Ой, то есть плоды трудов. Извините. Искренне надеюсь, что вы изыщете некоторое количество времени, дабы, так сказать, ознакомиться и споспешествовать начинаяющему поэту... э-э-э...

Николай Иванович с сомнением посмотрел на предлагаемый ему артефакт. Было совершенно ясно, что тот не вызывает у него ни малейшего доверия.

-- Ну, полно играть в буку, Коля, -- мягко произнес Гоголь. -- Смотри, какой милый мальчик. Полистай хотя бы приличия ради.

Гнедич покорно, но не без некоторой брезгливости принял потертую тетрадку и развернул ее.

-- «Писатель сел, невольник чести, — скучным голосом без всякого выражения зачес он вслух. — Сел, оклеветанный моловой». Это вы, простите, про господина Лимонова, что ли?

-- Так точно-с, — с готовностью подтвердил корнет.

-- Эдичка-то уже давно на свободе, — между прочим заметил Гоголь, заглядывая в свой бокал с пивом.

Незнакомец заметно смущился.

-- Я знаю, знаю, но это как символ... Символ... э-э-э... отсутствия демократии и... э э-э... борьбы. -- Он окончательно смешкался. -- Я был крайне возмущен тем, как режим расправился с видным отечественным литератором, героям

нашего времени. Возможно, ему будет приятно знать, что в обществе у него есть... э-э-э... сподвижники, что ли...

— Да, разумеется, — сказал Гнедич, закрывая тетрадку. — Эдичка умрет от счастья. Может быть, ты посмотришь, душа моя Александр Сергеич? Это скорее по твоей части.

— Так вы Пушкин? — обрадовался незнакомец. — Редактор «Нашего современника»? То-то я смотрю, знакомы мне ваши бакенбарды!.. Это же вы были у Малахова в последней передаче с Борисом Моисеевым и Светланой Конеген?..

— Грешен аз, — согласился Пушкин. — Вы позволите?.. — Он деликатно указал на тетрадку.

— Конечно, конечно! Буду крайне рад. Считаю, что мне необычайно повезло...

— Да вы присаживайтесь пока, любезный...

— Миша.

— Присаживайтесь, любезный Михаил. Закажите себе пива.

— За счет Николая Ивановича, насколько я понимаю? — флегматично осведомился Гнедич.

— Ясное дело, — подтвердил Гоголь. — Или ты оставил в редакции золотую тинькоффскую карточку?

— Я скорее голову оставлю, — философически произнес Гнедич.

Под тихое Мишино бормотание «Если вы мне скажете, что вы Гоголь, я вообще с ума сойду!» Александр Сергеевич неторопливо просматривал тетрадку.

— Тучки небесные, вечные странники... Гм... Какое-то, простите, салонное жеманство... А он, мягкий, ищет бури... Да, вот это действительно хорошо. Мощно, свежо, хотя определенно навеяно Горьким... А вот тут дрянь... — Пушкин отчеркнул ногтем место в рукописи и показал молодому поэту. — И вот тут. Видите, идет рассогласование глаголов, и от этого рушится весь ритмический рисунок. И аллитерация ужаснейшая. И вот здесь — однако, фраза! Вы ее сами попробуйте вслух прочитать!.. — Он посмотрел на Мишу и осекся. — Извините, ничего, что я так рублю наотмашь?

— Нет-нет, это как раз очень полезно для начинающего автора, — проговорил офицер, хотя уголок его рта начал явственно подергиваться от тщательно скрываемой обиды.

— А вот здесь что за точечки? Почему не хватает одной строки?

— Мне казалось, что это придает необходимый байронизм... э-э-э... свободомыслие... — Михаил бросил искона взгляд на внимательно наблюдавшего за ним Пушкина и в очередной раз стушевался. — Короче, не могу я подобрать нужные слова, — нехотя признался он. — Не идут, и всё, беси.

— Желаете стать вторым Байроном? — строго поднял бровь Пушкин.

— Нет, я не Байрон, я другой!.. — Офицер испугался, что сейчас ему укажут на дверь.

— Да, Байрона нам сильно не хватает... — пробормотал Пушкин, задумываясь.

— Никто его не гнал в Югославию, — сухо заметил Гоголь. — Стингеров там и без него было довольно. А мы потеряли знамя поколения.

— Николя, не говори мерзостей... — Пушкин побаранил длинными ногтями по столу. — Послушайте, любезный Михаил, а если закончить так: «Я думал, чувствовал, я жил»?..

— Блестяще! — Молодой человек просиял. — Но... — тут же погас он, — это уже будут наполовину ваши стихи. Я пока не готов к соавторству. Стихосложение — слишком интимный процесс...

— А вы мне нравитесь, юноша! — улыбнулся Пушкин. — Знаете что? По-моему, у вас замечательные стихи. Прекрасное настроение, безукоризненная поэтическая интуиция, хороший ритм. Но вам не хватает навыка. Что называется, глазомер подводит, и это особенно обидно, ибо стихи могут быть по-настоящему хороши. Как вы смотрите на то, чтобы встретиться еще раз, в более подходящей обстановке, и обсудить все это как следует? После некоторой переработки я наверняка смог бы отобрать что-нибудь для публикации в своем журнале.

— Спасибо большое, — вздохнул Миша, — но завтра нас отправляют в Чечню. Вернусь через полгода, и если ваше предложение останется в силе...

— Да, конечно, — произнес Пушкин, чувствуя, как на лице его замерзает улыбка.

— Вообще-то я сейчас как раз отмечую убытие на передовую, — пояснил корнет. — Сам я человек небогатый, но мой близкий друг, господин Мартынов, известный веб-дизайнер, организовал для меня вечеринку. То есть не вечеринку, конечно, сейчас слишком рано, но у меня поезд в семь часов, и собраться вечером никак не получается... скажем, мальчишник... то есть и не мальчишник, это бывает перед свадьбой... Вон он сидит, видите? Крайне, крайне положительный человек и надежный товарищ.

— Хорошо, милсдарь, ступайте, — нетерпеливо проговорил Гнедич. — Ваши стихи непременно будут рассмотрены. Пока же у нас весьма суриозный деловой разговор, коему вы мешаете своим присутствием.

— Понимаю. Еще раз прошу прощения, господа, что помешал. — Корнет попрощался энергичным кивком и вернулся за свой столик.

— Крайне назойливый молодой человек, — с неудовольствием констатировал Гнедич.

— Ладно тебе, Николай. — Пушкин задумчиво вертел тетрадку в руках. — Но как же все-таки несправедливо устроен мир, если незаурядный поэт вынужден подставлять голову под пули абреков. Умом понимаю, что таков воинский закон, а вот поди ж ты...

— Ты еще спроси, как можно писать стихи после Освенцима, — фыркнул Николай Иванович. — Полно, брат. Этот незаурядный пиит едет в Чечню, рассчитывая, что барышни потом на его мундир будут грозьями вешаться. Таких пиитов на пятак чокнутый пучок в базарный день. Сейчас вон выйдем на улицу, и одари данной рукописью ближайшую урну.

— Ага, — ехидно заметил Гоголь, — старик Державин нас заметил и, в гроб сходя, обматерил.

Покачав горестно головою, Пушкин выбрался из-за стола и направился в уборную. Вернувшись некоторое

время спустя, он застал Николая Ивановича в чрезвычайно возбужденном состоянии.

— Вот кто мне объяснит, господа, почему Оличка Трофимова уже дважды редактор года по версии «Книжного обозрения», а мы с Александром Сергеевичем — по одному? — возмущался Гнедич, тыча пальцем в бок Николая Васильевичу. — Как такое возможно в демократическом государстве, которое стремится поддерживать хорошие отношения с Евросоюзом?..

— И, брат. — Пушкин посмотрел на Гнедича. — Тебе еще работать сегодня, а ты уже набрался по самые брови.

— Что-с! — с достоинством оскорбился Гнедич. — Да я, если хотите знать, милсдарь, могу сейчас еще четыре литровые кружки употребить и пройти потом по перилам Аничкова моста, ни разу не покачнувшись! Давай биться об заклад? Запишусь вои в перипатетики, только вы меня и видели!..

— Терпеть не могу пьяниц, с пониманием отношусь к пьюшим и с редкостной подозрительностью — к трезвенникам, — авторитетно произнес Гоголь.

— Молчи, чухонь! — совсем обиделся Гнедич.

Еще несколько минут Пушкин с Гоголем потратили на то, чтобы умиротворить расходившегося приятеля. Когда это удалось, Гнедич затосковал, потом бросил взгляд на свои наручные часы и заторопился:

— Ну что ж, пам с Николая пора в редакцию; рукописи простишут! И, кроме того, Линор Горалик обещала вывесить в сети новую серию комикса про зайца Ц. Спасибо за весьма уместную и чрезвычайно приятную компанию, душа моя Александр Сергеевич. — Гнедич приобнял Гоголя за плечи и трагическим голосом произнес: — Мальчик, пойдем со мной, я раскрою тебе истинную суть сферы Дайсона!..

На улице друзья и коллеги церемонно распрошались. Гнедич с Гоголем направили свои стопы к «Петербургскому востоковедению», а Пушкин, глубокомысленно подбрасывая на ладони мелочь, обнаружившуюся в кармане брюк, двинулся в сторону набережной Фонтанки, где в крахмистом здании за номером 59 на втором

этаже располагалась его редакция. Первоначально он собирался еще выпросить у Николая Ивановича полтинник на манину, но так и не решился. Одно дело — любезно воспользоваться радушным хлебосольством старшего товарища и совсем другое — униженно клянчить у него гроши. Нет, господа, это решительно низко; у российского дворянина собственная гордость. В конце концов, теперь до «Нашего современника» уже и пепком было отнюдь не далеко.

Пушкин мечтал назвать свой журнал просто «Современник», но Некрасов решительно этому воспротивился. Был, дескать, в восьмидесятые— девяностые годы прошлого века такой журнал «Ровесник» для пубертатных подростков, печатавший в основном постеры Мадонны и Майкла Джексона. Хочешь, Александр Сергеевич, чтобы у читателя возникла стойкая ассоциация? Не хочешь. Значит, нужно провести небольшой мозговой штурм, дабы подобрать наиболее эффектное название. Читатель предполагается солидный, думающий, денежный, с определенным жизненным опытом, поэтому коммерчески удачные, но безнадежно спермотоксикозные названия наподобие «Подрочи!», «Паприколу!» и «Зыкинско!» сожалением отбрасываем сразу. Название нужно меткое и лаконичное, при этом достаточно пафосное, дабы привлечь высоколобых интеллектуалов, и недостаточно заумно, дабы не отпугивать основную аудиторию и рекламодателя. К примеру, «Птич» и «Jalouse» — замечательные примеры того, как журнал называть не надо, ислепое, беспомощное манерничанье для как бы продвинутой молодежи, которой хочется казаться умнее, чем она есть.

Совершенно справедливо, Коля, покорно отвечал Пушкин. Давай назовем журнал «Экстремальная хирургия».

Смешно, отвечал Некрасов. Хорошее название — «ОМ», продолжал он. Лаконично, многозначительно и многозначично, достаточно умно, но недостаточно заумно, свежо и экзотично, да и само слово «ом», хоть и несколько мутноватое в definicции, все же слишком на слуху, чтобы отпугивать массы; жалко только, что данный журнал находится целиком в формате вышеупомянутых «Птича»

и «Жалюза». Однако, в отличие от них, живет и развивается — вот что значит точное название! Вывеска — это уже полдела.

Угу, угрюмо кивал Пушкин. Давай назовем «Озорные убийства», сокращенно «ОУ» — умно, эффектно, свежо и непременно привлечет внимание скучающей интеллектуальной публики.

Хорошее название у журнала Гоши Свинаренко — «Медведь», упрямо продолжал лекцию Некрасов. Славные названия «Лица» и «Большой город». Что угодно можно публиковать под такими крепкими вывесками. Долголетие данных периодических изданий вполне подтверждает мои выкладки. Замечательное название «Итоги». Вот «Вокруг света» — стопроцентное попадание! Вот «Караван историй» — красиво, загадочно, стильно... А, Александр Сергеевич?

Хорошо, тряс головой Пушкин, пусть называется «Глицериновый отец» или «Мортира и свеча».

А вот, к примеру, почивший в бозе журнал «Другой» Игорька Малышева, со вздохом продолжал Некрасов. Казалось бы, стопроцентное попадание. Это и аллюзия на «Плэйбой», и одновременно четкое указание на то, что это вовсе не клон «Плэйбоя», хотя и работает приблизительно в том же формате, что это совсем другое издание... Увы, прискорбная концентрация на одних и тех же проблемах и персоналиях, к коим питал недружественные чувства главный редактор, а также регулярные экскурсы в будни звезд хард порно вместо невинных голых девочек на развороте довольно быстро подкосили столь многообещающее начавшееся издание. Однако трейд-слоган «Другого» — «Журнал для умных и успешных» — перенять было бы вовсе не лишне. Это позитив, это и правильно; какой же бычара, с золотой цепью на шее и тремя классами церковно-приходской школы, признается самому себе, а тем более окружающим, что он не умеет думать и жизнь у него не удалась? Впрочем, и с названием данного журнала тоже далеко не все столь замечательно, как кажется на первый взгляд. У многих оно вызывало смущенное отторжение, поскольку представители альтернативных

сексуальных ориентаций постоянно и агрессивно подчеркивают при всяком удобном случае, что они другие, не такие, как гетеросексуальное быдло. Видимо, именно поэтому Мальцеву пришлось наводнить журнал грубыми гомофобскими материалами за пределами всяческого житейского приличия — чтобы не сочли случайно журналом для педиков. Видишь, сколько сложностей? В идеале название нашего журнала должно содержать плюсы названия «Другой» и быть избавленным от его минусов. Итак, Александр Сергеевич?..

Одним словом, Пушкин в конце концов уперся рогом. Хорошо, сказал он, пусть будет «Наш современник», дабы не возникало ассоциации с пубертатными подростками и сексуальными меньшинствами; а обсуждение дальнейших модификаций названия — с другим главным редактором, пожалуйста. Некрасов, конечно, еще поскрипел, но деваться ему было некуда: Пушкин — это все-таки неплохой брэнд, под который охотно дают денег и рекламодатели, и меценатствующие инвесторы.

Поднявшись по белокаменной лестнице и поздоровавшись за руку с охранником на входе, Александр Сергеевич вошел в помещение редакции, понетлял по сумрачным коридорам, стены которых были увешаны прошлогодними обложками журнала, в очередной раз запнулся о груду сваленных под стеной пачек с последним номером и попал в офис. Поприветствовал сотрудников, трудившихся за компьютерами в большой общей зале с лепными карнизами и внушительной хрустальной люстрой под потолком, ткнул пальцем в своего заместителя Гузмана — «Саша, зайди, пожалуйста», — чмокнул в щечку секретаршу Леночку — «Чаю, Ленок» — и прошел в свой кабинет, где с наслаждением опустился в высокое кресло на колесиках, вытянул ноги и запустил компьютер.

— Ну, что у нас плохого? — первым делом поинтересовался он, крутанувшись в кресле, когда вошедший следом Гузман плотно прикрыл за собой дверь и занял кресло для посетителей.

— Все в порядке, босс, — бодро отрапортовал зам. — Работа кипит, номер сдаем в срок. С Маципурой догово-

рились: три штуки за четыре растяжки плюс мелкий бартер. Вячеслав Васильевич с утра поехал в суд насчет Вольфсона, там всё довольно скверно, но отделаемся малой кровью, я думаю. Некоторым количеством денежных знаков и опровержением на половину полосы. Звонило питерское телевидение, хочет с тобой интервью. И еще звонил Крусанов: прислал новый рассказ и алкал денег.

— Господи, кругом стяжательство, — вздохнул Пушкин, кладя руки на клавиатуру на манер пианиста-виртуоза. — Но что, почту разбирали уже? Было что-нибудь славное в самотеке для моей кунсткамеры?

— Ага, — с удовольствием отозвался Гузман. — «Город рос и хорошел, набережные обделались мрамором».

— Брависсимо! — вскричал Пушкин. — Непременно запиши мне эту прелесть!

— Уже. А вот это мне особенно понравилось. Самое главное, формально придраться не к чему. Итак, дело происходит на следующий день после походки. «Наутро я проснулся с абсолютно трезвой головой, но полной неспособностью шевельнуть хотя бы членом».

Пушкин откинул голову и оглушительно расхохотался.

— Не Хармс ли, прости Господи? — поинтересовался он, утирая выступившие от смеха слезы.

— Не. После того как ты на прошлом «Нон-фикшин» набил ему морду за «Анегдоты о Пушкине», он к «Современнику» на пущечный выстрел не подходит.

— Напрасно. Я на него зла уже давно не держу.

— Я так понимаю, он держит.

— Н-да... С абсолютно трезвой головой, но полной неспособностью... Это прямо про меня сегодня утром.

— Кстати, о Хармсе. Некночубыпомянутый выложил сего дни в Живом Журнале очредные две «породии на великаго шиита всся Руси Оликсандр П-шкина».

— Опа! — заинтересовался Пушкин. — Это же которые будут по счету?

— Сто двадцать восьмая и сто двадцать девятая. Вчерашия и сегодняшняя. Как и обещал — ровно по одной «породии» в день.

— Однако не предполагал я, что его щенячьего запала хватит на столь продолжительное время... Зачти!

Гузман со значением откашлялся и продекламировал:

О, сколько нам открытий чудных,
И вдруг исчезнут в тот же миг
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, друг степей калмык.
Скажи-ка, дядя, ведь недаром
Златая цепь на дубе том?
Он уважать себя заставил,
Когда весенний первый гром,
Сработанный еще рабами Рима
Времен Очакова и покоренья Крыма.

— Ай, браво, бравушки! — Пушкин снисходительно похлопал пальцами правой руки о ладонь левой. — Эту бы энергию да в мирных целях... Однако зачи же непременно другую.

Гузман охотно, с выражением, зачел:

Петров вскочил, и гости тоже.
Рожок охотничий трубит.
Петров кричит: «О боже, боже!» —
И на пол падает убит.
И гости мечутся и плачут,
Железный градусник трясут,
Через Петрова с криком скачут
И в двери страшный гроб несут.
И, в гроб закупорив Петрова,
Уходят с криками: «Готово!»

— Виць, ракалья! — Пушкин слова захохотал. — Но ведь как тонко почувствовал ритм и стилистику, гляди-ка! Какой великий пиит пропадает...

— Босс, — произнес Гузман, дождавшись, пока начальство утратит выступившие слезы, — еще вот что: звонил Седой, просил напомнить, что у вас завтра стрелка в «Черной речке»...

— Вот завтра бы позвонил и напомнил, — буркнул мигом насуриозневший Пушкин. — Какого черта?..

— У вас встреча в восемь, а он хорошо знает, что раньше шести тебя в редакции застать проблематично. — Гузман помолчал, потом осторожно проговорил, безуспешно глядя на мерцающий с тыльной стороны системного блока одинокий красный огонек: — Обратился бы ты к Бенкendorфу, а? Самая крутая в городе крыша. Силовики. Вы вроде бы вместе учились, он в твоих поэмах души не чает. Доступно разъяснят человеку политику партии насчет чужих жен.

— У нас с ним давние трения... — Пушкин задумался. — Он меня еще при советской власти шпынял. На комсомольском собрании писочил за «Сказки». Да и потом, уже когда работал в Комитете...

— «Несложно и уснуть навек, послушавши, как наш генсек рассказывает сказки!» — продекламировал Гузман. — Босс, да он тебя просто облагодетельствовал, выставив на время из Ленинграда! За такое в то время могли и в психушку усадить. А это: «Тот в кухне нос переломил, а тот под Каандаром»? В рифму с «перегаром»? Басня про двух Леонидов Ильичей?

— Нет, — упрямо покачал головой Пушкин. — К Бенкendorфу я на поклон не пойду. Точка. Достаточно я перед ним унижался. Что у нас с иллюстрациями в ближайший номер?

— Все в ажуре. Брюллов и Камаев, обложка Кленина. Как раз бросил на распечатку, через полчаса представлю в цвете. Не ждал тебя сегодня так рано. Кстати, изучаю тот шедевруозис, что ты мне подсунул намедни.

— Шедевруозис? — поднял бровь Пушкин.

— Ну, той важной тетеньки, которой необходимо ответить во что бы то ни стало, подробно и аргументировано. Из администрации Президента.

— А, — вяло сказал Александр Сергеевич, придвигая к себе пепельницу. — Каково?

— Одолел пока девяносто страниц и на сем застопорился. Не то чтобы катастрофично плохо, но... — Гузман сделал пальцами в воздухе этакую фигуру. — Мне скучно, босс.

— Что делать, Саша, — пожал плечами Пушкин. — Работа такая... — Он щелкнул зажигалкой, прикурил, с наслаждением затянулся. — Погоди-ка. — Наморщив лоб,

быстро достал из внутреннего кармана пальм, активизировал его и отстучал:

Мне скучно, бес. — Что делать, Саша:
Такой уж выпал вам удел.

Поразмышлив с минуту, не выпуская сигареты изо рта, Пушкин дал двенадцать отбивок и напечатал последнюю строчку будущего стихотворения:

Но чорт был занят: он писал стихи.

— Недурственно! — произнес поэт вслух, картино потирая руки.

— Вдохновение скоропостижно настигло? — осведомился Гузман.

— Вроде того. — Пушкин спрятал записную книжку в карман. — Если бы только из этого последнее время что-нибудь выходило путное! Все карманы набиты удачными строками и меткими образами. А писать — никогда и никогда.

— Что делать, босс, — хмыкнул Гузман. — Работа такая.

— Ладно, зонд, ступай, — распорядился Пушкин, разворачиваясь вместе с креслом к компьютеру и набивая свой пароль. — И, Саша, во имя человеколюбия: напиши Мидянину, чтобы он больше не пытал меня своими экзерсисами. Сил уже нет читать эту бездарную конъюнктурщину. Или научи меня настроить почтовую программу так, чтобы все письма с его адресса падали сразу в корзину.

— Тогда он сменит адрес, — рассудительно заметил Гузман. — Лучше я вежливо-превежливо поблагодарю его и попрощу более ничего не слать, ибо его тексты чудо как хороши, но никак не попадают в формат нашего издания, кое печатает в основном коммерческую чепуху для непритязательной публики. С неизменным уважением и все такое.

— Тогда он станет слать разношерстные вещи, стараясь угадать пушкинский формат, — обреченно вздохнул главред. — Может, лучше сразу пристрелить его, чтобы не мучил себя и окружающих?

— Хорошо, босс, попробую разобраться, — пообещал Гузман.

— Займись, брат. Патроны в сейфе. — Пушкин болезненно поморщился: отголоски мигрени снова бесами стучались в черепную коробку. — Вообще надо бы написать на имя Некрасова докладную записку, дабы приобрел нам на редакцию винтовку с оптическим прицелом для работы с авторами...

— Было бы неплохо, — оценил зам. — Однако телевидению что сказать?

— Ступай, ступай. После.

Гузман ушел в общую залу, плотно притворив за собою дверь. Несколько мгновений Пушкин бездумно наблюдал, как на экране разворачивается заставка Microsoft Word.

— Времен Очакова и покоренья Крыма... — пробормотал он.

Быстро открыв новый файл, он наколотил:

Над седой равниной моря
Гордо реет черный ворон.
И несет его теченьем
По бескрайним по морям.
Черный ворон, что ж ты вьешься,
Черный ворон, ты опасен,
Как опасен в океане
Айсберг встречным кораблям.

Перечитав написанное, Александр Сергеевич поспешно все стер и вышел в Интернет.

Зайдя в свой Живой Журнал, Пушкин первым делом полез в дашные о пользователе. За последние сутки прибавилось еще тридцать френдов, и теперь их общее число равнялось трем тысячам восемистам девяты. Александр Сергеевич хмыкнул: до Носика и Паркера ему все еще было как до Луны.

Быстро пробежав френдленту и сделав пару закладок на новостях, которые показались ему достойными внимания, Пушкин открыл почту. Япик, как обычно, оказался доверху забит спамом. Немцов давно предлагал

поставить антиспамный фильтр, но вышло бы некомильфо: в редакцию приходили письма из самых разных мест, в том числе с корпоративных адресов, и часть важной корреспонденции могла быть отсечена фильтром. Пушкин не в состоянии был позволить себе подобного неуважения по отношению к конфидентам.

Он быстро пролистал почту, держа палец на кнопке SHIFT, а затем нажал на клавишу «Удалить». Из ста восемьмидесяти шести писем, пришедших за истекшие сутки, лишь двенадцать представляли собой какую-то ценность. Четыре рукописи, авторы которых ухитрились раскопать его личный адрес, в том числе и мидянинскую, он на всякий случай пролистал по диагонали, прежде чем сбросить Плетневу, чтобы тот направил авторам стандартный отказ. Увы, чуда не случилось и на этот раз.

Поначалу извечное пушкинское стремление к перфекционизму заставляло его самого читать весь приходящий самотек, работать с авторами, редактировать направляемые в печать рукописи. Однако когда его с головой пакрыл девятый вал забот, стало не до перфекционизма. Впрочем, какой-то моральный капитал он успел наработать, сделав пять номеров от корки до корки, -- редакционный штаг во главе с Гузманом в то время занимался лишь второстепенными организационными делами. Читающая публика не обманулась, покупая «журнал Александра Пушкина», и с энтузиазмом приветствовала новое гламурное глянцевое издание с чрезвычайно сильным литературным отделом и массой пикантных сплетен из жизни словесной богемы. Тиражи и доходы от рекламы медленно, но неуклонно росли, что не могло не радовать Некрасова. Потом времени стало катастрофически недоставать, но, к счастью, в редакции один за другим появились толковые ребята -- Саша Етоев, Миша Погодин, Маша Галина, Макс Немцов, -- которые взяли на себя основную работу с авторами. Разумеется, до сих пор ни одно произведение не имело права попасть в номер, не будучи прочитанным главным редактором, но по крайней мере Пушкин оказался избавлен от бесконечного перелопачивания писем вроде «здрасуйте господин дорогая редакция как я есть маладой толентли-

вый аффтар изглыбинки пепу прозу встихах (раскас) про-
сба алубликовати скажыте число ганаара». А таких писем,
увы, по-прежнему приходило три из пяти. Наиболее же
характерными из присылаемых стихов были следующие:

Тонкие нити железно связали, только...
Одно.... Что, канаты сковать не смогли.
Нити. Да, нити вам жизнь сберегали.
Как их понять, не щадились они.
И почему так рубили их, рвали?
Если душили, зачем ещё, жгли?
Нити за правду — зло убивали.
Их до конца, истребить не могли.
Тонкая нить — куда ведет не знаешь.
Иди за ней, смелей не прогадаешь.

Работая в одиночку над журналом, Пушкин впервые почувствовал глухое растущее ожесточение к начинающим авторам как к классу, хотя ранее всегда сочувствовал им и делал все возможное, дабы помочь новому таланту пробиться к аудитории. Каким-то образом они добывали его домашний телефон и е-мэйл и целыми днями называли на мобильник, обходя редакционные фильтры в лице Гузмана и Плетнева. Он научился уже по голосу автора, по манере держаться, по приветству, по первым же словам безошибочно определять абсолютный непропускник. Впрочем, тут не приходилось даже быть особым пророком. Когда число пропущенных через главреда «Нашего современника» рукописей из самотека достигло ста, он полюбопытствовал, сколько из них пошло в работу.

Одна. Ровно один процент. Всё остальное, что выходило в журнале, было написано авторами с некоторым именем. Пропорция не изменилась ни к двухсотой, ни к трехсотой рукописи. КПД самотека по-прежнему оставался крайне низким.

Пушкин очень быстро утомился беседовать с ненормальными личностями, наводнившими его редакцию своими диковинными сочинениями, и по полчаса объяснять каждой из них, для чего он не станет публиковать, к примеру, фэнтези в стихах с элементами острой социальной

сатиры, политического памфлета и биографического романа, в коем главным героем является Эдит Пиаф, которая после смерти воплотилась в воевавшего в Афганистане русского майора спецназа, который, в свою очередь, будучи в другом воплощении внебрачным сыном Мерлина, проваливается через пространственную дыру в магическое королевство эльфов, где, совершая головокружительные подвиги, время от времени огромными кусками текста вспоминает свою прежнюю парижскую жизнь в качестве Эдит Пиаф. Причем написан роман фразами на подобие «На поле битвы не осталось живых в человеческом смысле воинов», «Страх холодными когтями окутал мой разум» и «Горящая мачта рухнула на ненасытную воительницу, яростно покрыв ее». Причем всякий развернутый отзыв неизменно вызывал десятки новых идиотских вопросов вроде «А если я уберу упоминание Чечни и Ходорковского, вы ведь наверняка перестанете позорно трусить перед цензурой и роман вполне можно будет опубликовать?» Пушкин начал бояться давать развернутые отзывы о графоманских рукописях и предпочитал ограничиваться лаконичным «Уважаемый автор, Ваше произведение нам не подходит, с уважением имярек».

Пушкин всегда полагал, что всякий поэт, писатель, композитор или художник обязан быть немножко сумасшедшим. Абсолютно здоровые и довольные жизнью люди не творят, им это незачем: они и без того наслаждаются бытием, у них не свербит на ментальном плане. Но, к великому сожалению, далеко не всякий сумасшедший способен стать поэтом, писателем, композитором или художником.

Однажды свою поэму прислал Пушкину некий Пузанов. С виду это был типичный графоманский гештальт: отвратительная желтая бумага с лохматыми краями, словно извлеченная автором из какого-то архива, где она пылилась полвека среди никому не нужных справок и отчетов, слепой машинописный текст на двух сторонах листа, сделанный, наверное, через четвертую копирку, вырезанные и наклеенные на страницу картинки из газет и журналов, неумелые рисунки шариковой ручкой, корявые

стишатцы, рефреном через которые проходил некий загадочный ветрострой. Пушкин до сих пор помнил два четверостишия, которые поразили его настолько, что оказались навсегда выжжены в его памяти ковбойским тавром:

Собачка у соседа моего жила
Недель, примерно, двое.
По почам она смеялась, и тогда
Соседа сбросил я с балкона.

Однажды мент пришел ко мне. Пошла
У нас беседа, часов двое.
Когда хотел его я выкинуть, тогда
Он выкинул меня с балкона...

Александр Сергеевич с отвращением полистал сей масштабный труд двумя пальцами — исключительно из любопытства. Поэма явно принадлежала перу человека, скорбного умом, так что господин редактор, даже не прочитав толком сей бредовой каши, послал автору вежливый формальный отказ и присовокупил данный гентльмен к своей замечательной кунсткамере литературных министров и языковых уродцев, коими с завидной регулярностью снабжали его «маладые толстячие аффтары», в надежде завоевать популярность и восторг читающей публики.

Во второй раз на имя г-на Пузанова главный редактор «Нашего современника» наткнулся, когда перелистывал в библиотеке подшивку старых газет в поисках какой-то дурацкой информации для одной аналитической статьи. Сему пишту была посвящена внушительная статья почти на целую полосу. Он оказался сумасшедшим маньяком-людоедом. Его уже дважды арестовывали за многочисленные убийства — и выпускали через пару лет после ремиссии.

Тогда Пушкин впервые подумал о пистолете.

Один старый и битый жизнью редактор, когда измученный Александр Сергеевич обратился к нему за советом, рекомендовал каждую минуту помнить, что авторы вовсе не так плохи, как кажется на первый взгляд, они много, много хуже, и оттого следует относиться к ним с нежностью сиделки в сумасшедшем доме: так проще

и авторам, и редактору. Он же подарил Пушкину длинный, но весьма точный афоризм: «У писателя два врага: критики и знакомые, поскольку первые своими жестокими придирками отбивают у него охоту писать, а вторые неуемными восторгами на любой авторский чих поощряют его к граffiti. У писателя ровно один друг — редактор, потому что у них одна идентичная цель: они оба хотят выпустить хорошую книгу; хотя со стороны автора, конечно, возможны варианты».

Увы, дружбы с авторами у Пушкина как-то не складывалось. Покладистый, похожий на ежика в очках Батюшков весь ощетинивался, когда Пушкин указывал ему на очередную дурную рифму или хромающий размер. Вяземский, стоило сделать ему несколько дельных замечаний, забирал свою рукопись и молча уходил, что неизменно знаменовало собою начало жесточайшей многонедельной ссоры. Гнедич начинал нервически язвить, приводить неудачные, на его вкус, строки самого Пушкина (излюбленной мишенью была фраза из «Дубровского»: «В одном из флигелей его дома жили шестнадцать горничных, занимаясь рукоделиями, свойственными их полу») и вообще всячески демонстрировать оскорблённые чувства — двум редакторам вообще плохо давались деловые взаимоотношения, так что в конце концов они решили ограничиться чисто дружескими. Гоголь покорно соглашался на все поправки, но после страшно переживал, подолгу ныл, ходил осунувшийся и непрестанно заявлял, что ощущает приближение неминуемой смерти.

С начинающими было проще — многие были готовы на все, лишь бы попасть в «журнал Александра Пушкина»; но некоторые, однако, бились насмерть за свои набережные, обделяющиеся мрамором. Пушкин, впрочем, сам будучи автором, прекрасно их понимал. Слепоглухонемые стилистически полуграмотные, нахрапистые редакторы, имя коим было легион и коих на пушечный выстрел нельзя было подпускать к работе с изящной словесностью, уже давно уронили репутацию профессии ниже плинтуса; оттого всякий автор, в упор не видящий своих вопиющих промахов и ошибок, уже заранее бывал настроен, что в издательстве

его выстраданный текст исключительно из самодурства начнут корежить, рвать на куски и сладострастно калечить проклятые комиражи от литературы. Пушкин сам однажды в одном из интервью сказал, к примеру, что массовая аудитория ныне предпочитает романы «малой форме» — то есть рассказам, как он подразумевал. Когда текст интервью прислали на согласование, в нем стояло: «романы малой формы». Пушкин не поленился позвонить интервьюеру и пояснить, что вышла форменная бессмыслица и что слово «форме» должно стоять, пардоне мух за каламбур, в правильной форме. Тот рассыпался в извинениях, пообещал все исправить и, следует признать, не обманул. Когда «Литературная Россия» с интервью Пушкина наконец вышла в свет, там было сказано буквально следующее: «Массовая аудитория ныне предпочитает романы в малой форме». Занавес, парод; эпизодий второй.

Была еще знаменитая скандальная история с одним литературным журналом, в котором из набора пушкинского стихотворения в первой строке выпал пробел, в результате чего оно начиналось так:

Слыхали львы за рощей глас ночной...

Толстому, статья коего открывала данный журнал, не повезло еще более того, поскольку в одном из абзацев неистовый старец в результате аналогичной опечатки риторически вопрошал: «Можно ли быть равнодушным козлу?» Сей «зоологический» номер журнала быстро стал культовым раритетом среди поклонников изящной словесности.

До тех пор пока Пушкин не посвятил себя всецело журнальному делу, он всерьез недоумевал: что, ну что, во имя всех святых угодников, мешает этим канальям издателям выпускать хорошие, качественные, выверенные тексты? И лишь поварившись в бизнесе около полугода, он понял, что не все так просто, как кажется по ту сторону баррикад. А уж синематографистов он тем более теперь старался не ругать почем зря: раз уж невозможно добиться идеального результата в издательском деле, то в синематографе, где один только список принимавших

участие в создании фильма людей занимает до десяти минут экранного времени, согласно законам Паркинсона энтропия достигает поистине астрономических масштабов.

Пушкин на всю жизнь запомнил, как однажды тщательно вылизанную повесть Одосовского внимательно прочел перед сдачей в шумер он сам, затем рукопись прошла редактуру Немцова, была проверена автором, проплыла первую корректуру, снова была проверена автором, прошла вторую корректуру, была тщательно вычитана Етоевым, затем еще раз бегло была просмотрена Пушкиным — и все равно когда журнал с повестью вышел, во втором абзаце горделиво красовалось: «Он шел по пустотому залу», что немедленно вызвало торжествующее многоабзацное улюлюканье Булгарина, хотя более в тексте не было ни единой ошибки. Мистика, да и только.

Разделавшись с почтой, Пушкин придинул к себе полуостывший чай и погрузился в составление текущей редакторской статьи. Ее следовало сдать позавчера, оттого никакие резоны и самооправдания более не действовали.

За работой время летело стрелою. Пушкин успел четыре раза поругаться по телефону, просмотреть обложку и иллюстрации для свежего номера, прочитать рассказ Крусанова и перевод Немцова, побеседовать с двумя просочившимися через секретарский фильтр графоманами, выгнать окончательно зажравшийся и потерявший всякий нюх персонал из курилки (с мотивировкой: «А работать кто будет? Пушкин?»), с грехом пополам закончить редакционную статью и решить ряд неотложных финансовых и организационных вопросов. На улице понемногу смеркалось, в шахматном порядке загорались фонари, превращая пространство за окном в мутную серо-зеленую бездуу воду, там и сям озаряющую слабым фосфоресцированием глубоководных удильщиков-гимантолофов.

К вечеру Пушкин обычно ощущал себя выжатой половкой тряпкой, которой целый день елозили по ступеням бесконечных лестниц Эрмитажа. Не избегнул он этого и сегодня. Посмотрев на часы, господин главный редактор потарабанил пальцами по столу, снова уставился в мони-

тор, но был вынужден признать, что смысл строчек, по которым он вновь и вновь скользит взглядом, колдовским образом бежит его сознания — так же, впрочем, как и последние четверть часа. Решительно выключив компьютер, дабы не успеть передумать, Пушкин спял с вешалки свой плащ и вышел в редакционную залу. Свет везде уже был притушен, редакция оказалась почти пуста, лишь в углу под лампой деликатно прихлебывал кофе Гузман, вперившись воспаленным взглядом в принтерную распечатку, да за столом возле кабинета главреда сумерничала Леночка, раскладывая на компьютере пасьянс «косынка».

— Ступай домой, Ленок, — устало проговорил Пушкин. — Ты бы хоть напоминала о себе иногда. Ни к чему тебе так задерживаться.

— Ой, ну вдруг вам что-нибудь понадобится, — сконфузилась Леночка.

— Ступай, ступай, — сказал пиит и направился к столу Гузмана. Замредактора поднял на него ошелевший от многонедельной усталости взгляд. — Саша, не сочти за труд: выдай мне из кассы пятьсот баксов в счет аванса за очередную «Повесть Белкина».

Гузман пошелестел распечаткой, помолчал, затем проговорил осторожно:

— Босс, у тебя уже выбраны авансы за две повести. Некрасову это более чем не понравится.

— С Некрасовым я сам договорюсь, — нахмурился Пушкин. — Потрудитесь выполнить распоряжение непосредственного начальника, господин сотрудник!

Он знал, что если соберется и не нажрется в хлам, как это регулярно происходило последние три недели, а примет внутрь не более трехсот граммов очищенной, то за просто выдаст за две ночи листов шесть-семь первоклассного текста.

Гузман поворчал еще, но нокорно отомкнул редакционный сейф и выдал искомую сумму. Пушкин с самого начала установил, чтобы кассой заведовал не главный редактор, а кто-нибудь другой, иначе облазн был бы слишком велик; впрочем, замредактора, как и следовало ожидать,

оказался довольно призрачной преградой между Пушкиным и некрасовскими деньгами, однако он служил прекрасным немым укором и моральным стимулом отнюдь не брате более необходимого.

Попрощавшись с коллегами, видный отечественный литератор вышел на улицу, поймал таксомотор и направился в заветный боулинг, адрес которого Батюшков записал ему на бумажке еще третьего дна.

Игровой зал располагался в развлекательном комплексе Шустова на Елагином острове. На втором этаже находились довольно презентабельный ресторан, кинозал и несколько баров. Войдя в игровой зал, Пушкин сразу же вычислил месторасположение друзей: возле двух дорожек, снятых Батюшковым для королевской партии, было весьма шумно и дымно. При виде пинта именинник Константин Николаевич тут же сорвался с места и ринулся ему навстречу, широко раскрыв объятья и совершая пальцами резкие щелкающие движения, как если бы это были клешни краба или, скажем, скорпиона. Вначале Пушкин собирался матадорским полуразворотом пропустить его мимо себя, тем более что виновник торжества явно испил за сегодняшний вечер не одну чару и столкновение с ним определенно не доставило бы мэтру удовольствия; однако сразу же оставил эту мысль, поскольку возникала реальная угроза того, что Батюшков с размаху ударится о резной мраморный стол, поддерживающий угловую ротонду, и что-нибудь важное повредит себе.

Поймав-таки Пушкина в объятия, Батюшков принял ся хлопать его по спине с такой увлеченностю и энергией, будто пытался выбить из дыхательного горла товарища застрявший кусочек пищи.

— Alexandre! — приговаривал он, пытаясь поцеловать схваченную жертву в щеку и не вполне понимая, почему это никак ему не удается; Пушкин меж тем отчаянно вертел головой и уклонялся по мере сил. — Как хорошо, что ты пришел! Они вон все не верили, что ты придешь! — Он описал рукою широкий полукруг в направлении игровых дорожек. — Фетюки! как же ты мог не прийти? Ты ведь брат? Ты ведь брат мне?.. — Внезапно

Батюшков схватил Пушкина за локоть и потащил к столикам. — Пойдем, пойдем скорее; мы уж по партии сыграли! Я тебя к нам записал. С нами Вяземский, Соболевский и Нащокин. А на другой дорожке Веневитинов, Оболенский, Яковлев и Гнедич, скотина такая! — Батюшков засиял радостным смехом.

— У вас что, опять семейнаяссора с Николаем? — ехидно поинтересовался Пушкин.

Он все никак не мог простить Батюшкову того, что в своем известном стихотворении «К Гнедичу» тот написал:

...Тебе твой друг отныне
С рукою сердце отдает!

Во время публичного чтения стихотворения в литературном салоне madame Marie Zvezdetskaya Пушкин воскликнул в комическом ужасе: «Батюшков женится на Гнедиче!»

Батюшков, в свою очередь, никак не мог простить Пушкину этой его ремарки, особенно в свете известной в обществе ориентации Гнедича. Вот и сейчас он насунулся, остановился как вкопанный и сварливо проговорил:

— Злой ты человек, Доцент. Как сабака.

Однако долго сунуться ему не дали. Из-за столиков уже поднимались коллеги и друзья, завидевшие Пушкина, — похожий на вечно удивленного медведя Гнедич, и деловитый Вяземский, и красавец Яковлев, и добродушный, постоянно улыбающийся Нащокин... Окружив пинта, они принялись шумно приветствовать его, пожимать ему руку, одобрительно похлопывать по плечу и говорить комплименты. Мимо компаний порхнула официантка в белом фартучке, принеся водки.

— Где же Николя? — поинтересовался Пушкин.

— Прихврнул, — вздохнул Гнедич. — Просвистало в редакции у открытого окна. Он у нас вообще болезненный мальчик. Коленъке вреден петербургский климат, вот думаю свозить его на воды в Форж.

— Дельно, — одобрил Александр Сергеевич.

Изрядно встретив старого друга, общество вернулось к игре в кегли. Между ударами на экранах мониторов

показывали короткие дурацкие мультики, изображавшие бесконечное противостояние антропоморфных шаров и кеглей. Судя по всему, создатели мультиков задумывали их смешными. Под потолком боулинга Фил Коллинз скандальным голосом оповещал окружающий мир, что он не танцует.

Великий поэт сменил свои щегольские «Tod's» на специальные тапки для боулинга и присоединился к обществу. Ожидая очереди, игроки сидели за столиком у начала игровой дорожки и предавались ленивой беседе о литературах.

— Граф Хвостов-то как поднялся, — говорил Вяземский. — Слышали? Выпустил новую поэтическую книгу. В бархате, с золотым обрезом и блинтовым тиснением, все дела. На финской мелованной бумаге-с.

— Читал-с! — восторженно подхватил Батюшков. — И даже приобрел себе в личное пользование на Московской книжной ярмарке. Обожаю такие библиофильские артефакты. А каков слог, господа: «По стогам валялось много крав, кои лежали тут и там, ноги кверху вздрав»! Уверяю вас, лет через тридцать этот книгоиздательский казус будет стоить хороших денег. Раскрылась, извольте видеть, пасть, зубов полна, зубам числа нет, пасти — dna!

— На «Нон-фикшн» опять брататься полезет, — поморщился неодобрительно Пушкин. — Рассказывать про то, как нам с ним, гениальным литераторам, тяжко посреди разверстой толпы неудачников. «Я бы даже сказал, посреди зияющей толпы неудачников», — весьма похоже передразнил он Хвостова. — Не велит Христос жалеть зла ближнему, но хоть бы его кто трактором переехал, этого Герострата отечественной словесности!

— Однако, как ни крути, — заметил Соболевский, — Хвостов действительно гений. Быть настолько полно, дистиллированно бездарным — для этого необходимы недюжинное дарование и могучий душевный талант.

— Не произноси сего даже в шутку! — решительно возразил Наполин с игровой дорожки, выбирая себе шар по руке. — Гений у нас один — Александр Сергеевич, все прочие — от лукаваго.

— Полно, Павел Воинович, — защищался Пушкин. — Не вгоняй меня в краску. Гениями были Мандельштам и Бродский. Гениями были Толстой и Горький. Гениями были Райкин и Смоктуновский. Гениями были «Пинк Флойд» и «Битлз». Мы же так, просто пописать вышли. И вообще, после Шекспира сочинять что-либо о любви и ненависти — самоуверенно до смешного.

— Шекспир-то небось не гнушался писать сценарии для кинематографа, — напомнил Вяземский.

— Для Курасавы?! Пардон, друг мой, это более чем не зазорно! Курасаву с Бергманом я еще забыл добавить в список.

Нащокин издал горестный вопль: его шар, который, казалось, катится точно в центр композиции из трех кеглей, оставшихся после первого броска, на середине траектории начал понемногу сваливаться влево и в конце концов вообще ушел в аут. Загрохотал автоматический уборщик, сметая роковую композицию в преисподнюю.

Сверившись с монитором, на котором велся счет, на исходную отправился Пушкин. Выбив страйк с двух ударов, он вернулся, уступив место Вяземскому.

— А вообще я знаю, что будут говорить и писать про меня лет через десять, — поведал лев боулинга, пытливо оглядывая стол на предмет еды. — Будут говорить так: «Не, сейчас он пишет полное говно, но некоторые ранние рассказы были у него вполне неплохи». Так всегда говорят про всех крупных современных российских литераторов. Ни единого исключения не знаю.

— Уже говорят, Саша. Ты уже крупный современный российский литератор.

На столе имелись некие полуразорванные блюда с салатами. После прихода Пушкина еще принесли кропичные канапе из слабосоленой семги с гренками, потом кусочки ягненка на косточке. Дважды подали пиво, трижды водку и один раз текилу. Пушкин сполна вкусил всякого напитка, онущая, как с каждым глотком, с каждым броском все более и более уверенно плывется застывшая где-то в верхней части груди смертельная усталость, как расслаиваются одревесневшие за день мышцы лица, как в

голове начинают мыльными пузырями лопаться тревожные мысли и проблемы, столь беспокоившие его еще пару часов назад.

Пушкин очень страдал от своей алкогольной зависимости, он отчетливо видел, что та постепенно церерастает в нечто большее, нежели просто психологическое влечение, но отказаться от алкоголя был не в силах — только эта отрава в последнее время приносила ему долгожданый покой и блаженную расслабленность. Слишком много всего навалилось на него со всех сторон за последнее время: Наташка со своим Седым, Некрасов, падение интереса публики к двенадцатой главе «Онегина»... Общий творческий кризис. Кризис среднего возраста. Чудовищное утомление от всего на свете.

— Оказио новую с Белинским знаете? — поинтересовался Соболевский, обглядывая ягнячье ребрышко. — Сел, сердешный, к извозчику, поехал. «А ты кто будешь? — спросил, осмотрев дряненькое пальтишко своего пассажира, возница. — Барин али как?» Белинский смущился: «Я — критик». Удивился извозчик: «Это как? — «А вот так — писатель напишет книжку, а я ее обругаю». «Ну и гнида ты! — возмутился возница. — Вылезай!»

Господа российские литераторы огласили игровой зал дружным хохотом, вызвав несколько заинтересованных взглядов со стороны девушек с соседней дорожки. Вечер определенно удавался.

К середине партии Пушкин уже вошел в азарт и начал вести в счете, когда внезапно услышал у себя за спиной:

— Саша!

Он оглянулся и вскочил с места:

— Лепка!

Это был Алексей Дамианович Илличевский, брат лицеистский, пинит от Бога и актер по последней профессии.

— Черт худой! — закричал Пушкин, заключая приятеля в тесные объятья. — Сколько же мы с тобой не виделись?

— Да уж почитай, года полтора, — отозвался Илличевский. — Но что, брат, не захватить ли нам по сему поводу на полчаса столик в ресторации? Угощаю!

— Слыша это магическое слово, я не в силах противиться неизбежному, — сознался Пушкин. — Веди меня, добрый Виргилий!

— Вот тут у них на втором этаже можно более чем неплохо посидеть. Я, собственно, туда и направлялся, у меня через полчаса заказаны кабинеты. Думал, стану скучать в одиночестве у барной стойки, ан вон какая удача!

— Отлично. Костик, — обратился пинит к Батюшкову, — изволь пока покидать за меня. Я тут брата встретил!

— Левушка вроде не обещался быть, — озадачился Константин Николаевич.

— Да нет, какой еще Левушка! — нетерпеливо махнул рукой Пушкин, уже удаляясь.

Поднявшись по накрытой багряной ковровой дорожкой лестнице, они с Илличевским расположились в общей зале ресторана, неподалеку от оркестра, который довольно негромко и ненавязчиво исполнял полонезы. По знаку Алексея Дамиановича, коий определению был тут завсегдатаем, им сию секунду принесли водку, восхитительно настоящую на хрену, семужку, соленые моховики и минеральной воды «Перье»; сверх того, Илличевский заказал еще кальмаровые жульены, которые, по его уверению, были здесь особенно лакомы.

— Однако что же нам мешает чаще встречаться? — риторически спросил Пушкин, когда они с аппетитом опорожнили по рюмке хреновухи за встречу и закусили нежною семужкою. — Ну ие срам ли — всякий раз случайно сталкиваться с лучшим другом в элитных питейных заведениях?

— Отчего же, — возразил Илличевский, — в предпоследний раз мы повстречались, если мне не изменяет, в книжной лавке у Сытина. Вполне достойно, на мой вкус.

— На фуристе по поводу открытия новой серии издательства «Азбука»? — прищурился Александр Сергеевич. — Перестаньте юродствовать, Штирлиц!

— Ну так а что-с? — шутливо возмутился собеседник. — Времени нет абсолютно ни на что. Дух перевести некогда, не то что встречаться.

— Ладно, брат, рассказывай, — велел Пушкин, отодвигая пустую рюмку. — Что ты? где ты? Только и слышно от Жуковского, что в люди выбился, не чета мне, грешному.

— Ты, отец, ровно телевизор не смотришь, — усмехнулся Алексей Дамианович, деловито подкладывая себе в тарелку моховиков.

— Смотрю, — сознался Пушкин. — Когда обедаю дома. Наташка выставила телевизор в кухню, так я поглядываю за едою новости вполглаза. Или когда приползаю за полночь недостаточно пьяный, чтобы уснуть на пороге, и Наташка высыпает меня на кушетку в ту же кухню — «Плэйбой поздно ночью» гляжу или там кино какое-нибудь умное по «Культуре». «Куб», скажем, или «Отсчет уточленников». А так готов всецело согласиться с Пелевиным, что телевизор есть не более чем окошко в трубе духовного мусоропровода...

— Сам ты окошко, — беззлобно фыркнул Илличевский. — То-то, что не смотришь. Смотрел бы, небось лицезрел бы меня каждый день. Я там ныне во всех ракурсах, позициях и эполетах. Надысь вон вернулся со съемок «Последнего героя-4», а завтра опять лечу в Москву — сниматься в следующем сезоне «Моей прекрасной няни» и обсуждать с руководством свое новое ток-шоу.

— Ну, поздравляю, коли так, — скривился Пушкин, безуспешно тыча вилкою в неподатливый скользкий гриб. — Да нет, на самом деле твоя физиономия мне уже все глаза намозолила. Я имел в виду, живець-то как, академик?

— А вот так и живу, Саша, — пожал плечами Илличевский. — В самолетах и на студиях. Вот, приезжаю время от времени на родину за глотком невского тумана. В Москве хорошо, но уж больно суматошно.

— Чего там хорошего еще, — проворчал Пушкин, — купеческий посад. Одна силопиная пробка. Торт с позолоченным кремом посреди города, говорят — самый большой православный собор. Арбат скуджавовский окончательно превратили в бараколку, застроили дрянью архитектурной. Целый город ма-а-асквичей! Рехнуться можно.

Илличевский иронически заломил бровь:

— Да ну, брось ты свой поребриковый шовинизм! Барахолка... Зато там сейчас крутятся основные деньги Российской империи.

— Основные деньги... — сварливо передразнил Пушкин:

Они вышли еще.

— Простите, Алексей Дамианович... — К столику деликатно, боком приблизился официант. В руках у него был свежий выпуск журнала «Семь дней».

— Что вы, Аркадий?..

— Видите ли, моя коллега... Она очень стесняется... Не могли бы вы дать ей автограф?

Официант аккуратно положил журнал на стол. С обложки ослепительно улыбались обнимающиеся Илличевский и Анастасия Заворотнюк.

— Видал-миндал? — Алексей Дамианович показал журнал Пушкину и ухмыльнулся — совсем как на обложке, но несколько более глумливо. — Сам еще не видел. Тут со мною должно быть большое интервью... Ручка есть?

— Вот-с. — Аркадий поспешно подал артисту гелевое стило.

— Что ж! Кому надписать?

— Марине-с, Кашицевой.

— Чудесное имя.

Уверенным размалистым почерком Илличевский набросал несколько строк и протянул журнал официанту:

— Соблаговолите, друг Аркадий.

— Спасибо огромное-с, Алексей Дамианович!..

— Ты чего ей написал? — поинтересовался Пушкин, когда официант унес драгоценный артефакт в подсобные помещения.

— А, пустяки всякие написал. Замечательной Мариночке Кашицевой от страстного поклонника, bla-bla-bla. Девчонки во дворе умрут от зависти. Да и Аркадию, думаю, перепадет благосклонности — наверняка ведь не просто так старается. Наполним?

— Безусловно.

Они вышли вновь.

— Вот так вот, брат, — произнес Илличевский, со вкусом заедая очередную порцию половинкой моховика. — Слава преследует меня по пятам. На улицу невозможно выйти, чтобы не обступили тут же с автографами. Только автомобилем и спасаюсь.

— Ну и стоило ли оно того? — поинтересовался Пушкин, понемногу кончиками пальцев подталкивая свою опустевшую рюмку к графинчику с водкой.

— Что именно, брат? — удивился Илличевский.

— Ну вот эта вот слава дурацкая, с журнальчиками? Это ты, выходит, для того заканчивал Лицей, для того был первым стихоплетом курса, чтобы теперь скакать по экрану дрессированной обезьяною?..

Пушкин хотел сказать это в шутливом тоне, однако уже к середине реплики свалился на дискант. Солидная порция хмельного не позволяла ему уже в достаточной степени владеть собою, и то, что у него всегда было на уме у трезвого, внезапно прыгнуло на язык пьяному.

— Господи, Саша! — вскричал Илличевский так, что вернувшийся из подсобки официант с испугом устремил взор на него. — Да о чем ты? Я карабкаюсь в гору, мне солдатствует успех! Я успешен, Саша! Разве же не для этого учились мы в Лицее? Разве не с этой целью создавался он — воспитать некоторое количество успешных людей, которые добивались бы замечательных результатов на любом общественном поприще?

— По-твоему, то, чем ты занимаешься, — искусство? — горько усмехнулся Пушкин.

Он уже мысленно проклинал себя за то, что не сумел вовремя перевести все дело в шутку, но отступать было поздно: вожжа уже попала ему под хвост и намертво заклинилась там.

— А при чем здесь искусство, душа моя? На общественном поприще, Саша, на общественном — в государственном аппарате, во внешней политике, в политтехнологиях, в СМИ, и уже затем, если угодно, в культуре! Те мои стишкы, кои ты столь высоко ценил, — что за вздор! Саша, я давно перерос это. Как ты не поймешь, что иныс невозможно перевернуть мир книгами? Смотри, ты вот даже

в «Онегине» написал: «К ней как-то Вяземский подсел...» Понимаешь, не Гоголь как-то раз подсел, не Крылов, не Липскеров — Вяземский! Тебе необходимо было показать, что Татьяна поднялась достаточно высоко, чтобы обратить на себя внимание Евгения, и ты использовал для этого один из символов современного и модного преуспевающего человека, собирательный образ отечественного литературного бомонда. Понимаешь? Что она уже достигла того уровня, когда к ней запросто может подсесть повеса Вяземский. То есть интуитивно ты все прекрасно понимаешь, ты осознаешь, что Вяземский или, скажем, Илличевский успешнее тебя, только боишься себе в этом признаться.

— Ну и чем ты успешнее меня, чучело? — обидчиво вскинулся Пушкин. — Тем, что на улице тебя узнают семь из десяти, а меня один? Ради всего святого, ерундистика какая. Или вопрос в том, что твоё величество изволит больше денег получать за свою деятельность? Так ведь всех денег в могилу не унесешь, Леша.

— Деньги, как справедливо замечает в таких случаях один мой хороший знакомый, отнюдь не главное, но важнейшее из второстепенного. Оттого когда у тебя уже есть в достатке здоровье, любовь и увлекательная работа, когда за них уже не надо каждый день идти на бой, деньги неизбежно выходят на передний план. Надо же чем-то мерить свой успех, раз уж прочие показатели и так зашкаливают. А вот когда, напротив, чего-то из перечисленного главного не хватает, начинаешь за него активно бороться, баражаться, деньги отходят для тебя на второй план, и довольные жизнью люди, которые осмеливаются всего-навсего не презирать денег, начинают казаться меркантильными монстрами.

— На полметра мимо, Лешк. На полтора. Все у меня есть.

— Ну, насчет здоровья понятно. Сам тебе бывалочайогурты таскал в больницу. У тебя там к язве, рассеянному склерозу и хроническому бронхиту от курения ничего больше не прибавилось? Чего-нибудь по линии Венеры?

— Ладно, Леша, будет тебе. — Пушкину уже совсем не нравилось направление разговора, но он старался

отделяться короткими увещеваниями, опасаясь, что иначе снова сорвется и наговорит ненужностей.

— Работа... — хладнокровно продолжал Илличевский, будто не слыша собеседника. — Ты ведь всю жизнь мечтал выпускать собственный литературный журнал, да? Повезло... Только вот незадача — опять что-то не так! Не спешат к тебе в редакцию серьезные молодые люди с гениальными рукописями, по прочтении коих тебе захотелось бы восхлиknуть: «Новый Гоголь родился!» Помнишь, жалился мне по телефону? Не пишут сейчас ни черта молодые талантливые люди, находят себя в более интересных и престижных областях деятельности. Гоголь, на мой вкус, был последним толковым. А пишут в основном нелепые недообразованцы, жалкие пятидесятилетние дебютанты, в головах коих после развала Союза полный сумбур и пшеничная каша с изюмом. А с благополучно состоявшимися в большой литературе друзьями ты разругался вдребезги, поскольку одно дело — драть их произведения в хвост и в гриву, стоя с ними на одной доске, с позиций такого же, как они, литератора, и совсем другое — редактировать, резать, переписывать их произведения, оказавшись по другую сторону баррикады. И несут твои друзья свои произведения в обход «Нашего современника» господам Суворину, Чулприну и Василенскому...

— Ну ясно. Остапа понесло.

— Денег ты категорически не любишь, однажде сосешь их отовсюду — из журнала своего, из Некрасова, из Тургенева, из Гнедича... Из Натали. Как же, ты ведь это делаешь вовсе не из любви к деньгам, как какой-нибудь недостойный Илличевский, просто привык жить на широкую ногу, привык не задумываться, откуда они берутся, — это ведь столь низменные материи! Этакая пиявица иенасытная, коя, насосавшись крови, говорит своей жертве: «Ну что ты сокрушаешься по этой глупой теплесной жидкости? Разуй глаза, в мире столько прекрасного!»

— Леша!..

— Кстати, о Натали. Это что касается любви. Наблюдал я ее на прошлой неделе глубокой ночью у «Лиссажу»

в сопровождении супруга. Подошел поздороваться. Смог-
рю: ба! что такое? Александр Сергеич-то в плечах раздал-
ся, шевелюра вся белая у него, точно мукою посыпали,
одет в мундир, говорит с французским пропонисом...

— Хватит!!! — взревел Пушкин и с такой силой хва-
тил кулаком по столу, что столовые приборы подпрыгну-
ли, жалобно звякнув.

— Простите, у вас все в порядке? — У стола мигом
возник официант.

— В порядке, в порядке, — заверил Илличевский, не
спуская глаз с побагровевшего Пушкина. — Мы просто
немного поспорили по философическим вопросам.

— Нормально все, — выдавил Пушкин. — Несите уже,
наконец, горячее!

— Сию минуту-с подадут, — вежливо поклонился
официант.

Жюльенов дожидались в тягостном молчании. При-
няв под горячее еще по рюмке душистой, разговорились
справа, хотя настроение уже, конечно, было упущенено.

— Я сейчас пишу что-то вроде мемуарцев, — пове-
дал Илличевский, ковыряя свой жюльен серебряной ло-
жечкой. — Про телевидение начала девяностых. Ну, когда
я туда только пришел. «Взгляд», Листьев, Бодров-млад-
ший, «Поле чудес». Заинтересует тебя?

— Конечно.

— Только с условием, что ты там ни буквы не попра-
вишь. Иначе окончание будет печататься у Диброва в
«ПроСвете».

— Ладно, поглядим. Корректуру все равно ведь будешь
вычитывать. Договоримся. — Пушкин с тоской по-
смотрел на график с водкой, потом решительно от-
странил рюмку. — А что наши, лицейские? Видишь кого-
нибудь?

— Костю Даизаса вижу регулярно. Пишет тексты для
Сердючки и Шафутинского. Раздобрел, разленился. Ку-
пил себе дачу на Рублёвке.

— Встречался с ним недавно, — усмехнулся Пушкин. — На книжной ярмарке. Отрастил себе славное пуз-
цо, пиджак не сходится.

— Барон Корф, сказывают, уехал послом в Канаду. Бенкендорф...

— Знаю про Бенкендорфа.

— Ну и все. Матюшкин до сих пор у меня выпускающим редактором работает. Про остальных тоже знаешь, наверное. Пущин в Германии на ПМЖ, Гурьев — зампред «Внешторгбанка», Дельвиг умер, Корнилов спился, Кюхля умер...

— Как — Кюхля умер?! — оторопел Пушкин.

— Уж месяца три как. Не оборол он своего туберкулезу.

— Господи, но как же это? — растерялся Александр Сергеевич. — Я же тогда ездил к нему... он ведь шел на поправку...

Илличевский задумчиво помял в пальцах сигарету.

— Я так понимаю, не осталось у него воли к жизни. Истаял он. Положа руку на сердце, не у места он был в лвадцать первом веке. Муторно ему здесь было, гадко, низко... Такое ощущение, что он вообще во всякое время был лишился. Кощунство говорить такое, но на своем месте он был, пожалуй, только в колонии. Было плохо, но он типа страдал по сфабрикованному обвинению за вольнолюбивые помыслы. Там он написал свои лучшие строчки. Потом вышел при перестройке — полный радужных надежд, перспектив, планов... Ах глядь — великое государство развалилось, народишко измельчал, не осталось в людях ни стремления к свободе, ни силы духа. Вроде бы пришли к власти те, с кем Кюхля вместе баланду хлебал и по западным «голосам» выступал, а ничего, в сущности, не изменилось, стало только хуже. Ему бы примкнуть к правозащитникам, к какой-нибудь Хельсинской группе — были бы и деньги, и уважение на Западе. Нет, не смог наши Кюхля: избыточно честен был, оттого и не мог устроиться как следует при всяком режиме...

— Но почему? — горестно пробормотал Пушкин. — Почему никто мне не сказал?

— А никто и не знает практически. — Глядя мимо собеседника, Илличевский мучительно долго щелкал зажигалкой и, наконец прикурив, продолжил: — Я, Матюшкин и Пущин. Пущин специально примчался чартером из

Дюссельдорфа. Больше у гроба никого не было. Кому ни позвонишь — либо «Оставьте телефон, он вам перезвонит», либо «Абонент временно недоступен или находится вне зоны действия сети». Барон в Канаде, Бенкendorf перманентно на совещании у руководства, Данзас на гастролях в Уфе с «Фабрикой звезд»...

— Меня-то всегда можно вызвонить, — с упреком сказал Пушкин. — По мобильнику или на работе. Какого же хрена ты...

— Александр Сергеич! — Илличевский наконец посмотрел ему прямо в глаза. — Помнишь, дорогой друг, я звонил тебе три месяца назад? Помнишь?

— Наверное, помню... — осторожно проговорил Пушкин, уже начиная понимать.

— Друг мой Александр Сергеевич был изрядно навеселе и хихикал через слово. Я ему: здравствуй, брат. Ты знаешь, Кюхля... А Александр Сергеич кричит: привет, Пашка, мы тут зажигаем не по-детски, приезжай немедленно! Подожди, говорю, Саша, тут Кюхля... А Саша кричит: хватит болтать, приезжайте вместе с Кюхлей, угощаю! Познакомлю с мадмуазель Ксю!.. Так вот и поговорили.

— Кюхля... — с тоской проговорил Пушкин. — Ну как же так, брат Кюхельбекер, а? Почему?..

Кюхля, с которым в середине восьмидесятых они вместе ходили на полуподпольные концерты БГ и Цоя, с которым они неоднократно облизали сверху донизу Эрмитаж и Петергоф, неуклюжий Кюхля в нелепых очках, громоздкий рифмоплет, над творчеством коего он постоянно глумился, порой даже излишне жестоко, — но пронзительно чистый и честный человек, самый близкий друг детства...

Пушкин внезапно развернулся всем корпусом к почитательно стоявшему поодаль официанту:

— Эй, человек! Еще водки!..

Официант подошел к их столу, смахнул со скатерти на серебряный поднос пару использованных салфеток, наклонился к Илличевскому, спросил тихонько:

— Может быть, уже хватит, Алексей Дамианович?

— Водки, халдей! — заревел Пушкин. — Кюхля умер! Илличевский сделал усмокивающий жест.

— Принесите, Аркадий, — попросил он. Официант кивнул и тут же исчез. — А ты, Саша, держи себя в руках; срам, честно слово. Изволь, побеседуем на отвлеченные темы. Не стоит тебе нервничать, невролог не велит.

Они беседовали еще с четверть часа, но разговор совсем уже не клеился. Приходилось вымучивать и темы, и реплики. Помянули Кюхельбекера, обсудили Московскую книжную ярмарку, договорились на будущий год вместе поехать на биеннале в Роттердам. Наконец после очередной затянувшейся паузы Илличевский произнес:

— Ладно, Саша, ты извини, но меня уже люди ждут. — Он нашел взглядом официанта и поднял руку. — Аркадий, с этого столика на меня запишите, пожалуйста.

— А то бы и познакомил друзей с видным отечественным литератором, — пьяно ухмыльнулся Пушкин. — Ась? Тоже ведь до известной степени величина.

— Прости, Саша, у меня деловая встреча, — произнес Илличевский, подымаясь из-за стола. — А ты в пьяном виде совершенно непереносим, и терпеть тебя в таких обстоятельствах способен только очень узкий круг знакомых. Ладно, увидимся еще года через полтора. Позвони мне на следующей неделе, что ли, если будешь трезвый, пообщаемся.

Пожав Пушкину на прощанье руку, он степенно удалился за малиновый бархатный занавес в кабинеты. Александр Сергеевич еще посидел немного, глядя расфокусированным взглядом в пространство, затем налил из графинчика в хрустальную рюмку водки и вдумчиво опростал последнюю. Посидел еще, угрюмо сгреб со стола графинчик с остатками и поплелся обратно в боулинг, откуда по-прежнему доносились азартное громыханье шаров и тарзанские вопли Вяземского. Опустился за один из свободных столиков, положил на него ноги и начал флегматично отхлебывать прямо из графинчика, наблюдая бездумно за коллегами. Сидевший за соседним столом Гнедич картиноно изаплодировал ему, одобряя проявленное приятелем богатырское презрение к крепкому алкоголю.

— Иваныч, — хрипло сказал Пушкин, — а вот ты, к примеру, знал, что Кюхля умер?

— Кюхля? — осторожно удивился Гнедич. — Кто это?

— Понятно. Проехали. — Пушкин поднялся из-за стола, направился к своей дорожке, склонился над монитором, едва не повалив его. — Ну что, Костя, много без меня накидал?.. У-у-у, бестолочь! Давай-ка я сам теперь...

Еще с четверть часа Пушкин неутомимо метал тяжёлые шары, успев за это время оприходовать до дна заветный графинчик и еще дважды заказать по пятьдесят. Когда он выбрал шестой страйк и, отдуваясь, плюхнулся за свой столик, мобильник у него во внутреннем кармане тоненько запикикал «Le Vent, Le Cri». Поэт выдернул телефон из кармана, поднес его к уху.

Это был Некрасов.

— Здравствуйте, Александр Сергеевич, — произнес генеральный директор «Нашего современника». — Гуляете, сударь?

— Не без этого, Николай Алексеевич, — смиленно согласился Пушкин.

— Не изволите ли пояснить, на какие нужды пошли пятьсот долларов из кассы журнала, кои вы соблаговолили получить сегодня вечером?

— Это аванс, — хмуро проговорил Пушкин. — Мне. За новую «повесть Белкина».

— Что-с, и авторский договор на нее уже, наверное, имеется? — ядовито осведомился Некрасов.

— Николай, ну брось. Я сказал, сделаю — значит, сделала.

— Видите ли, Александр Сергеевич, пару раз вы уже брали авансы под новые произведения, после чего все как-то рассасывалось. Не помнишь? Поэма «Чечепский пленник» и документальное исследование «Кровавые разборки в Кремле: Сталин против Берии»?

— А, — пробурчал Пушкин. — Это. Ну да. Напишу ужо. Собираю материал.

— Это я проглотил, ладно, — продолжал между тем Некрасов. — Но всякому терпению рано или поздно наступает предел. Мне не жалко денег; это не те деньги, которые

способны меня расстроить; мне жалко, когда они падают в пустоту. В никуда. Короче, Александр Сергеич: с завтрашнего дня все гонорарные и прочие выплаты осуществляются лично через меня. Ключ от сейфа я у Гузмана изыму. Представительские расходы не отменяю, если надо носиться с автором в ресторане или подмазать слетка кого-нибудь — финансы будут, но в конце каждой недели изволь мне полный отчетец: куда пошло, сколько, коим образом.

— Кюхельбекер умер, — угрюмо произнес Пушкин.

— Поздравляю. И давай-ка наведем, наконец, порядок в бухгалтерии. Вот прямо завтра и займемся. На тебе довольно крупные суммы висят, а я до сих пор не знаю, на что они истрачены.

— Николай, — с трудом проговорил Пушкин, — давай лучше завтра побеседуем. Я уже пьяный и наговорю тебе сейчас всяких дерзостей...

— А мы уже обо всем побеседовали, — заявил Некрасов и отключился.

Обериувшийся Соболевский с тревогой заметил, что его приятель уже с трудом держится вертикально. В глазах великого пиита плескался туман — так же, как и в запотевшей рюмке, которую он пытался ровно держать перед собой.

— Александр, тебе не хватит? — обеспокоенно осведомился Соболевский.

— Отвали, халдей! — злобно огрызнулся Пушкин.

С этими словами он опрокинул рюмку в себя, практически не промахнувшись.

— О горе! — вздохнул Соболевский и от греха подальше отправился в туалет.

— День такой, — обратился Пушкин к Вяземскому, который, широко раскинувшись за столом, устало обмахивался иллюстрированным рекламным проспектом. — Весь день такой. С утра. Дерьмо. Петр, для чего мы тут? Мы, два орла...

Вяземский фыркнул, расчищая на столе место, дабы утвердить локоть, но ничего не ответил.

— А хочешь, я тебе анекдот р... расскажу? — Прижал ладонь ко рту, редактор «Нашего современника» едва по-

давил рвотный спазм. — Сегодня придумал. Ну, смотри... Идут три быка: молодой, постарше и матерый... И типа видят в долине стадо коров...

— Знаю я этот анекдот.

— Нет, ни хрена ты не знаешь! И вот смотри: молодой говорит — давайте, мол, сейчас бегом спустимся с холма и отыщем все телок...

— Да-да, а господин постарше возражает: нет, давайте лучше неторопливо спустимся с холма и покроем всех стельных коров.

— Не перебивать, скотина! Короче, господин постарше ему возражает: нет, давайте лучше неторопливо спустимся с холма и покроем всех стельных коров... А старик снисходительно смотрит на них обоих и говорит: значит, так, сейчас мы ме-е-с-едленно спустимся с холма и покроем все стадо...

— Ну, всё? Знаю я этот анекдот.

— Нет, не всё еще.

— Как — не всё? Ну и чем же сия оказия закончилась, любопытно знать?

— Когда они ме-е-е-едленно спустились с холма, в долине уже никого не было.

Пушкин неуклюже потянулся за оставшейся от Соболевского водкой, попутно сворачивая на бок не в добрый час подвернувшиеся под руку стаканы и бутылки.

— Вона что, попрыгунья-стрекоза, — насмешливо произнес Вяземский, отдуваясь. — Да ты никак лето красное пропела?..

— И ты туда же, — беспадежно махнул рукой Пушкин. — А еще друг... С французским иронионом в мундире, мать его ети!.. А вот нарочно позвоню сейчас Наташке!

Он схватил мобильник и начал тыкать непослушными пальцами в клавиши, пытаясь найти в адресной книге телефон жены. Это удалось ему не сразу. Минуло не менее восьми гудков, пока на том конце линии сняли трубку.

— Наташка, ты где?.. — Пушкин пьяно улыбнулся, хотя конфидент и не мог его видеть. — Наташенька... Наташк, ты знаешь, я... — Язык у него заплетался. — Нажрался?.. Нет... Наташк, подожди... Ну чего ты...

Он умолк, некоторое время слушал, а затем широко размахнулся и яростно швырнул мобильником об стену. Миниатюрный телефонный аппарат в противоударном корпусе радостно заскал по мраморным плитам пола.

— Дерьмо! — страшным голосом прохрипел Пушкин, карабкаясь на стол. — Весь мир — дерьмо, и люди в нем — актеры! — Брызнули во все стороны столовые приборы, хрустнула тарелка с канапе под подошвой великого отечественного литератора. — Колька, хватит дрыхнуть! Поехали к блядям! Давай вызванивай Ксю!

— Извините, пожалуйста, сударь, — деликатно произнес метрдотель, коснувшись локтя Батюшкова, который с умилением любовался беснующимся приятелем, — вы не могли бы попросить своего товарища иметь себя в виду?

— Он памятник себе воздвиг нерукотворный! — гордо возгласил Батюшков, тыча пальцем в лихо отплясывающего на столе Пушкина. — К нему не зарастет звериная тропа!

Метрдотель вздохнул — он странно не любил пьяные скандалы, которые в его работе были печальной неизбежностью, — и дал знак рослым официантам.

Черный «БМВ» остановился возле крытого ржавым кровельным железом двухэтажного особняка княгини Болконской на набережной Мойки, где Пушкин с женой снимали квартиру.

Наталья Александровна Гончарова тихонько прошкользнула в дверь и зажгла свет в прихожей. Густой сивунный запах, плававший в воздухе, и болезненный храп, доносившийся из кухни, безошибочно подсказали ей, что муж дома. Быстро скинув туфли и плащ, Наталья Николаевна прошла в гостиную, на ходу раскладывая мобильник и не глядя набирая хорошо знакомый ей номер.

Абонент отозвался после второго гудка.

— Да, — тихо проговорила Натали в телефон, прикрывая трубку рукой. — Да. Доехала. Да. Ну что ты меня мучишь?.. Да. Нет. Нормально. Да. Спит... Когда?.. — Закусив губу, она некоторое время молча слушала. — Поскорее бы,

Жора... Да, понимаю... Но я... Я измучилась. Да. Ничего, на мой век хватит. По новому закону об авторском праве наследники получают гонорары еще семьдесят лет после того, как... Нет... А если он тебя?! Жорж, давай не будем... Да... Нет... Черт, я совсем запугалась... Да, хочу. Да. С тобой. Да, завтра. В «Черной речке»?. Хорошо. Да, буду. Хорошо. Согласна. Да. Тоже. Пока.

Она сложила телефон, бросила его на диван. Закусив губу, повернула голову в сторону кухни. Прислушалась.

Нет, показалось.

Неслышно ступая, Наталья Николаевна двинулась в кухню.

Пушкин сидел за столом, уронив голову на руки. Он был в ботинках — значит, доехал сам, друзья непременно сняли бы с него обувь, уложили на кушетку и покрыли бы покрывалом. Если только сами не упились до полного опьянения. Но тогда в гостиной непременно обнаружилось бы еще от одного до пяти болезненно хранивших беспозвоночных бревен.

Поморившись, Гончарова аккуратно высвободила из-под локтя спящего Пушкина работающий палм и активизировала экран. По экрану побежали строки:

— Мне скучно, бес.

— Что делать, Фауст?

Такой уж выпал вам удел (*все-таки предел, может быть? по-думать; предел не может выпадать*).

Его ж никто не преступает (*удела нельзя преступить! думай, как поменять, скотина!!!*),

Вся тварь разумная скучает:

Иной от лени, тот от дел (*и это правильно*);

Кто верит, кто утратил веру;

Тот насладиться не успел,

Тот насладился через меру,

И всяк зевает да живет —

И ВСЕХ ВАС ГРОБ, ЗЕВАЯ, ЖДЕТ (*вот это воистину хорошо! ай да П-н, ай да с-ин с-н!*)

КЮХЛЯ

КХЛЯ

ЮХЛЯ

И Я БЫ МОГ

В своем лэптопе залиши:
Fastidium est quies — скука,
Отдохновение души.

Tru-la-la-la — о, вот наука!.. (*Психоанализ? подумать*)
Скажи, когда ты не скучал?
Подумай, поищи. Тогда ли,
Как над Вергилием дремал,
А розги ум твой возбуждали? (*А на тебя весь день орали? Нет, все скверно; подумать*)
Тогда ль, как розами венчал
Ты благосклонных дев веселья
И в буйстве шумном посвящал
Им пыл la-la-la-la похмелья?

A l'instant, si vous le désirez, venez avec un témoin.
Распреканальство.

Тогда ль, как погрузился ты
В (*честолюбивые*) мечты,
В пучину темную науки?
Но, помнится, тогда со скуки
Как (*саламандру*) из огня
Ты вызвал наконец меня.

АФФТАР ЖЖОТ!!! ЖЖОТ!!!

Я мелким бесом извивался,
Развесслить тебя старался,
Возил и к ведьмам и к... (*к кому? читатель ждет уж рифмы «розы»!!!*)
И что же? всё по пустякам.
Желал ты славы — и добился,
Хотел влюбиться — и влюбился.
Ты с жизни взял tra-la-la дань,
А был ли счастлив?..

— ПОШОЛ НАХ, ПРИДУРОК!!!
ТРАЛЯЛЯ!!!
!!!

Mauvais sujet que vous êtes, Alexandre, d'avoir reprusen-tu de la sorte l'idiot!

Je connais l'homme des lettres anonymes et dans huit jours vous entendrez parler d'une vengeance unique en son genre; elle sera pleine, complète; elle jettera, l'homme dans la boueecc

— Сокройся, адское творенье!
Беги от взора моего!
— Изволь. Задай лишь мне задачу:
Без дела, знаешь, от тебя
Не смею отлучаться я —
Я даром времени не трачу.
— Что там блеет? Говори, скуко!
— Корабль испанский трехмачтовый,
Пристать (*в Голландию?*) готовый (*отчего же в Голландию?* а
собственно, отчего бы и не в Голландию?):
На нем мерзавцев сотни три,
(*Две обезьяны*), бочки злата,
Да груз богатый шоколата,
Да модная болезнь: она
Недавно вам подарена...

После тройной отбивки внизу электронной страницы крупным полужирным шрифтом была набита последняя строчка, выделенная подчеркиванием:

ВСЁ УТОПИТЬ

Наталья Николаевна сохранила файл, выключила записную книжку, погасила свет и на цыпочках вышла из кухни.

Содержание

Русские разборки или игра в бисер?.. В. Черных	5
Часть первая	
ЭТИ СТАРЫЕ, СТАРЫЕ СКАЗКИ	
Мария Галина. ИСТОРИЯ ВТОРОГО БРАТА	9
Тимофей Алёшин. СРАЖЕНИЕ У СТЕКЛЯННОГО ШКАФА	60
Артём Царёв. САНДРИЙОН	75
Часть вторая	
ЗВОН МЕЧЕЙ И ПУШЕК ГРОМ	
Олег Дивов. МЫ ИДЕМ НА КЮРАСАО	103
Елена Переушина. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ТРОЮ!	128
Тимофей Алёшин. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ	130
Наталья Резанова. ТИГРЫ ВЕРОНЫ	148
Часть третья	
ВЕЧНОЕ ОЧАРОВАНИЕ ДЕТЕКТИВА	
Даниэль Клугер. ДЕЛО О ДВОЙНОМ УБИЙСТВЕ	179
Виктор Точинов, Надежда Штайн. ПЛЯШУЩИЕ ЧЕЛОВЕЧКИ	189
Наталья Резанова. HE IS GONE	207
Елена Викман. КРОВАВАЯ МАНТИЯ ДЕВИЦЫ ДЕРЕДЕРЕ	222
Далия Трускиновская. «ГРАФИНИЯ МОНТЕ-КРИСТО»	247
Часть четвертая	
МАЛЕНЬКИЕ ЗЕЛЕНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ	
Елена Переушина. ДОБРОЕ УТРО, ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ!	293
Виктор Точинов. МУХА-ЦОКОТУХА	301
Лилия Трунова. ВРАГИ	327
Часть пятая	
ГОРЬКИЙ ПИСАТЕЛЬСКИЙ ХЛЕБ	
Виктор Точинов. НОЧЬ НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	337
Наталья Резанова. VITA VERITA	377
Далия Трускиновская. РОМАН ДЛЯ КЛЕРКОВ	381
Василий Мидянин. ЧТО ДЕЛАТЬ, ФАУСТ	415

Литературно-художественное издание

ЛУЧШЕЕ
ГЕРОИ. ДРУГАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Антология альтернативной классики

Руководитель проекта Денис Лобанов

Редактор Ник Ример

Художественный редактор Александр Золотухин

Технический редактор Татьяна Раткевич

Корректоры Елена Орлова, Светлана Федорова

Верстка Алексея Положенцева

Подписано в печать 27.10.2009.

Формат издания 84 × 108 $\frac{1}{32}$. Печать офсетная.

Гарнитура «Петербург». Тираж 5000 экз.

Усл. печ. л. 25,35. Заказ № 4911022

Издательская Группа «Азбука-классика».
191014, Санкт-Петербург, ул. Чехова, д. 9, лит. А, пом. 6Н.
www.azbooka.ru

Отпечатано по технологии СтР
в ОАО «Нижполиграф».
603006, Нижний Новгород, Варварская ул., 32



FLU246302R

**ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ
КНИГ ОБРАЩАЙТЕСЬ:**

Издательская Группа «Азбука-классика»

Санкт-Петербург:

ул. Чехова, д. 9, лит. А, пом. 6Н

Почта: 191014, Россия, Санкт-Петербург,

ул. Чехова, д. 9, лит. А, пом. 6Н

Тел.: (812) 324-61-49, 388-94-38

факс: (812) 321-66-60

E-mail: office@azbooka.spb.ru

Москва:

тел./факс (495) 951-74-36, 959-55-69

info@azbooka-m.ru

*Информация о новинках и планах,
а также условия сотрудничества
на сайте*

www.azbooka.ru

**«Золушка» в исторических реалиях 1786 года —
во Франции назревает революция, но дочь
лесничего очень хочет выйти замуж за принца
де Рогана. Питер Блад, пиратствующий на Волге.**

**Александр Сергеевич Пушкин, живущий
в XXI веке, публикующийся в Интернете и в роли
гостя участвующий в передаче Тины Канделаки...
Все это — альтернативная классика, литературные
вариации на тему произведений, знакомых с
детства. Любимое развлечение писателей —
размышлять о том, как развивался бы сюжет
классических произведений, если бы принц
Гамлет вовремя принял противоядие, а у
Боромира в загашнике оказался тяжелый
пулемет? На страницах антологии,
представленной на суд читателя, в эту
увлекательную игру играют Олег Дивов, Дафия
Трускиновская, Наталья Резанова, Виктор
Точинов и другие отечественные мастера
фантастики.**



ISBN 978-5-9985-0726-7 02



9 785998 507267



www.azbooka.ru